АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

16-9
49

Л. С. Васильев

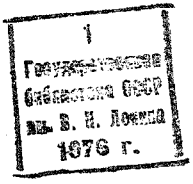
ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА КИТАЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТНОСА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1976

9(М)03
В 19

Ответственные редакторы
акад. А. П. ОКЛАДНИКОВ,
д-р истор. наук Л. П. ДЕЛЮСИН



В книге исследуются сложнейшие вопросы возникновения основ древнекитайской цивилизации в бассейне Хуанхэ. На материале археологических раскопок и многочисленных работ, посвященных этой теме, автор показывает процесс формирования первых культур земледельческого неолита и зарождения первичного очага цивилизации городского типа. Рассматриваются также тесные связи между культурами китайского неолита и бронзового века и соседними с ними аналогичными культурами других регионов Евразии.

В $\frac{10605\text{-}068}{013(02)\text{-}76}$ 245-75

© Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука», 1976.

глава первая

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Понятие «цивилизация», как и «культура», принадлежит к числу необычайно емких и полисемантичных. Существует множество его дефиниций [427, 154—157; 14, 54—59]. В рамках данной работы термин «цивилизация» используется в двух основных и тесно связанных друг с другом смыслах: во-первых, когда речь идет о развитом обществе, уже вышедшем из недр первобытности, и, во-вторых, когда ставится целью подчеркнуть особенности того или иного из таких обществ, связанные со специфическим, присущим именно и только данному обществу (а иногда и соседним с ним, находящимся под сильным его влиянием) комплексом культурных черт и признаков (китайская цивилизация, индийская и т. п.).

Что же такое цивилизация и как отличить ее от других, нецивилизованных обществ? Г. Чайлд в свое время предложил десять основных критериев, которые позволяют определить первичные цивилизации, принципиально отличные от первобытных коллективов: крупные оседлые поселения типа городов; монументальные общественные сооружения; наличие системы налогов или регулярного взимания дани с централизованным накоплением средств; определенное развитие экономики, включая торговый обмен; отделение ремесленников-специалистов; письменность, некоторое развитие зачатков наук (арифметики, геометрии, астрономии); развитое искусство; существование привилегированных классов; государство [323, 3—17]. Критерии Чайлда были приняты рядом специалистов почти без изменений либо с незначительными оговорками [483, 23—24; 261, 9—10]. Другие авторы предложили свои варианты, во многом перекликающиеся с этими критериями. Так, известный синолог В. Эберхард говорит о пяти кардинальных отличиях так называемых высших культур, т. е. тех же цивилизаций, от примитивных: стратифицированное общество и государственная организация; зерновое земледелие с применением одомашненных животных; наличие по крайней мере одного центра типа города (с городской архитектурой и т. п.); письменность и ведение документации; использование металлов [353, 10].

Словом, это уже достаточно сложный социально-экономиче-

ский и культурно-идеологический комплекс, знакомый с начальными формами эксплуатации и административно-политической организации. Комплекс такого рода складывается не сразу — его возникновению предшествуют тысячелетия предварительного развития, закладывающего его основу, фундамент будущей цивилизации. Поэтому в более широком смысле понятие «цивилизация» в рамках данной работы включает в себя и процесс генезиса, приходящийся преимущественно на период новокаменного века — неолита. К этому существенно добавить, что в центре внимания стоят не все ранние очаги мировой цивилизации, а только некоторые из них, так называемые первичные, складывавшиеся в различных местах ойкумены в то далекое время, когда ничего, кроме неолитического фундамента, не было.

А. Тойнби в свое время выделил всего четыре таких первичных очага — египетско-шумерский, минойский, китайский и майяандский [526, 186—188]. Если оставить в стороне Новый Свет с его гораздо более поздним и далеко еще не достаточно изученным процессом развития, то очагов первичной цивилизации у Тойнби останется только три. Другие специалисты склонны в отличие от Тойнби разделять египетскую и месопотамскую первичные цивилизации, а также выделять индийский очаг. Зато минойскую цивилизацию сейчас уже обычно не считают первичной. Таким образом, в современных работах количество очагов первичных цивилизаций в пределах Старого Света обычно достигает четырех-пяти [261, 21; 341, 190; 367, 729].

ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА ПЕРВИЧНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

С самого начала важно оговориться, что речь пойдет о проблемах, связанных с кардинальными сдвигами в материальной и духовной культуре, благодаря которым был создан фундамент и возникла возможность появления первичного очага цивилизации (о проблемах уже сформировавшегося очага, и в частности о сложении новых форм социальной структуры и политической администрации, возникновении классов и государства в рамках данной работы речь идти не будет). Что же касается проблем материальной и духовной культуры, то они должны быть рассмотрены в двух различных, но тесно связанных друг с другом аспектах: во-первых, в плане механизма возникновения первичного очага цивилизации и, во-вторых, в плане оценки роли взаимных связей и влияний в процессе возникновения первичных очагов цивилизации (о вторичных речи нет — там эти связи и их роль в доказательствах не нуждаются). Иными словами, вопрос стоит примерно так: как и почему все-таки возникли самые первые очаги нового типа обществ и был ли это спонтанный процесс, либо здесь сыграло важную роль культурное взаимодействие и заимствование?

Пожалуй, одним из первых крупных ученых, подробно исследовавших этот вопрос и давших свой ответ на него, был А. Тойнби. В первом томе «A Study of History» он писал, что ни расовый тип, ни географическая среда не играли при этом решающей роли, ибо все расы так или иначе принимали участие в генезисе какого-либо из очагов цивилизации и почти в любых климатических условиях этот процесс мог протекать. Причин генезиса было много, причем самых различных. Но главное заключалось не в их совокупности, а в их взаимодействии, предугадать характер и результаты которого так же невозможно, как узнать заранее исход сражения или карточной игры. Происхождение первичных цивилизаций — результат мутации примитивных обществ [526, 188—301].

Все это выглядит достаточно серьезно и убедительно. Но остается неясным, как же все-таки примитивные общества преобразовались и превратились в цивилизацию. Ведь сам Тойнби довольно образно и интересно показывает колоссальную разницу между теми и другими. Уподобляя их кроликам и слонам, он пишет, что примитивных обществ много, они мелки, малочисленны, занимают немного места, существуют недолго и быстро увеличиваются в количестве посредством сегментации, т. е. давая начало новым. Цивилизации, напротив, характеризуются большим населением и территорией, длительным существованием и т. п. [526, 148—149]. Далее Тойнби обращается еще к одному аспекту различий и пишет, что все примитивные общества отличаются статичностью, культом традиций и обращены назад, тогда как цивилизации склонны следовать творческим индивидуумам и потому они движутся вперед и являются динамичными [526, 192]. Уже эта попытка свести едва ли не всю сложность проблемы к внутреннему озарению и божественному вдохновению творческого меньшинства вызывает настороженность и в силу своей явной упрощенности (если не извращенности) не может быть принята [137, 57—58]. Тем более что при этом остается неясным, что же все-таки заставило появиться на свет творческое меньшинство, столь разительно действовавшее вопреки традициям, и почему это меньшинство не было побито камнями, но оказалось во главе остальных, так привыкших смотреть назад. Тойнби не мог уйти от ответа на этот вопрос, но для этого он в полном соответствии со всей своей концепцией философии истории должен был сойти с твердой почвы научных фактов и логических выводов и вступить на зыбкий путь мистических и интуитивных спекуляций. Тойнби обратился к своему излюбленному тезису о «вызове» и «ответе» и пояснил, что «вызов» природы и «ответ» на него со стороны человека сыграли решающую роль первотолчка и запустили в действие весь сложный механизм взаимодействовавших факторов, приведший к генезису цивилизации [526, 271 сл.].

Конечно, многое в концепции Тойнби неудовлетворительно.

Пожалуй, отличительной чертой ее следует считать нарочитое, даже подчеркнутое пренебрежение материальными факторами в пользу мистики и провидения. Но это не значит, что в ней вовсе нет серьезных наблюдений и достаточно убедительных выводов. Можно согласиться со многим — и с тем, что во взаимодействие приходит множество факторов, и с тем, что результата предугадать нельзя, и даже с тем, что сам процесс генезиса в чем-то напоминает мутацию. Но нельзя согласиться с тем, что такого рода мутация так уж безразлична к условиям среды, как это получается у Тойнби. Видимо, небезразлична она и к уровню развития той культуры, того общества, которое стоит накануне процесса генезиса цивилизации. И уж, во всяком случае, мистический «вызов» и «ответ» творческого индивидуума никак не могут заменить отсутствия или недостаточности материальных факторов, которые только и могли создать условия для мутации, т. е. для процесса генезиса очага цивилизации.

Все эти и многие другие слабые места концепции Тойнби привели к тому, что она встретила значительно больше критиков, нежели последователей. С одной стороны, она подверглась критике за недостаточное внимание, уделенное культурной диффузии и роли взаимовлияний, о чем говорилось в специальной статье Р. Гейне-Гельдерна [385, 96—97]. С другой стороны, чрезмерный уклон в сторону мистики явно помешал Тойнби уделить достаточное внимание специфике каждой цивилизации, которые в рамках его теории должны были эволюционировать и даже гибнуть по одинаковому шаблону. Неудивительно поэтому, что специалисты с бо́льшим доверием стали относиться к иным концепциям, ставившим своей целью проанализировать сущность культурной эволюции, в частности к концепции Д. Стюарда.

Речь идет о теории многолинейной эволюции, суть которой сводится к тому, что каждая цивилизация являет собой нечто уникальное и неповторимое, что у каждой — свой путь, свои закономерности эволюции, своя специфика. Стюард внес в науку представление о так называемом ядре цивилизации, т. е. о совокупности тех черт и особенностей, которые отличают эту цивилизацию от всех остальных [520, 37, 84 и др.]. Споря не столько даже с Тойнби, сколько с эволюционистами XIX в., включая Э. Тэйлора [221; 222] и Л. Г. Моргана [153], Стюард резко выступает против идеи детерминизма и какой-либо строгой закономерности в смене этапов эволюции культур, противопоставляя этому тезис о многолинейности процесса эволюции. Надо заметить, что теория Стюарда ставит своей целью не столько подчеркнуть стерильную самобытность того или иного очага древней цивилизации, сколько поставить вопрос о его самостоятельности как культурного феномена. Именно эти идеи Стюарда были охотнее всего поддержаны его последователями, приняв-

шими и его основную мысль о ядре цивилизации [261, 14], и положение о многолинейности культурной эволюции [341, 190].

Теория многолинейной эволюции существенно помогла исследователям в решении ряда запутанных проблем генезиса цивилизаций. Так, она фактически сняла сложный вопрос об истоках тех или иных важнейших культурных новшеств, составлявших суть самой цивилизации: принявшим идеи Стюарда, например Г. Дэниэлу, уже не столь важно, откуда именно впервые появилась в данном очаге древней цивилизации идея, скажем, выплавки металлов или доместикации скота,— важно лишь то, что все эти идеи, вписавшись в данное ядро, влились в конечном счете в тот своеобразный и неповторимый комплекс, который и являет собой именно данную, уникальную и самобытную, не сравнимую с другими цивилизацию [341, 133, 190 и др.] Влияние концепции Стюарда за последние годы стало весьма ощутимым [см., например, 521], в том числе и в работах тех специалистов, которые, не будучи близко знакомы с нею и не ссылаясь на нее, по существу разрабатывают те же идеи на своем конкретном материале, как это делает Чжан Гуан-чжи, о работах которого по проблемам генезиса китайской цивилизации речь пойдет ниже.

Казалось бы, теория многолинейной эволюции и уникального ядра, столь легко снявшая ряд сложных проблем, может быть сочтена вполне удобной и приемлемой. Однако это не так. Она не отвечает на главный вопрос, который ею фактически оттеснен на второй и даже третий план: а откуда же все это пошло и как возникло само это загадочное ядро, столь решительно определявшее судьбы будущих цивилизаций? Если Тойнби для ответа на этот вопрос вынужден был обратиться к мистическим спекуляциям, то сторонники концепции Стюарда просто не уделяют ему серьезного внимания, считая его несущественным. Между тем именно этот вопрос,— если ставить и изучать не вообще проблему цивилизаций, а проблему генезиса древнейших очагов цивилизации,— заслуживает самого серьезного внимания, особенно когда он поставлен в центр исследования, как это сделано в данной работе. Неудивительно поэтому, что как концепция многолинейности эволюции, так и теория Тойнби в ее «чистом» виде для ответа на этот вопрос недостаточны.

Слабые места концепции Тойнби были пересмотрены в трудах некоторых его последователей, в первую очередь в монографии Р. Кулборна, специально посвященной проблеме происхождения цивилизаций. Кулборн выдвинул несколько новых тезисов, основанных на анализе ряда материальных факторов. Прежде всего, он подчеркнул, что необходимейшим условием для возникновения цивилизации было зерновое земледелие, как основной вид занятий населения. Но даже это не вело с неизбежностью к генезису цивилизаций. Для того чтобы появился этот новый феномен, нужен был целый комплекс благоприятных ус-

ловий. Одно из важнейших среди них — фактор природно-климатический. Кулборн при этом специально подчеркивает, что он имеет в виду плодородные речные долины с их аллювием и регулярными разливами, с широкими возможностями для ирригации, где, собственно, и возникли все первичные цивилизации [336, 11—13]. Другим важным фактором, способствовавшим процессу генезиса этих очагов, было смешение племен и культур на этой сравнительно незначительной и компактной территории. Как писал Кулборн, каждая первичная цивилизация возникла в результате амальгамации конгломерата примитивных коллективов, бывших в то время наиболее передовыми и, как правило, оказывавшихся пришельцами в том районе, где протекал процесс генезиса [336, 9]. По его мнению, генезису очагов первичных цивилизаций содействовали в первую очередь не урбанизация или письменность, но способность к быстрым изменениям, влияния извне (диффузия), циклическое развитие и сила контроля над средой. Кроме того, свою роль играла формировавшаяся в недрах каждой новой цивилизации новая религия, составленная, однако, из элементов старых религий. Наконец — и это едва ли не самое существеннейшее добавление Кулборна,— новая цивилизация вырабатывала свой стиль, включавший в себя и сходные с другими элементы, и свои особые, присущие только ей [336, 16—24].

Итак, в рамках теории Кулборна были обновлены основные тезисы Тойнби и приняты некоторые позиции Стюарда и его последователей. Цивилизация появляется прежде всего под воздействием ряда вполне материальных факторов и условий, имеет свой «стиль» (в сущности, это то же «ядро» Стюарда) и есть результат амальгамации множества племен и культур, в первую очередь пришлых. Последний момент теории Кулборна как бы сближает ее и с позициями диффузионистов, выявившими себя в упомянутой уже статье Р. Гейне-Гельдерна.

В теории Кулборна наиболее удачно собрано и взаимосвязано все то, что действительно играло важную роль в процессе генезиса первичных очагов цивилизации. Пожалуй, единственный вопрос, который так и не нашел ответа в его обстоятельной монографии,— это проблема механизма процесса генезиса цивилизации, который Г. Чайлд назвал «городской революцией», подчеркнув тем самым революционизирующую роль этого важнейшего качественного скачка [235, 193 сл.; 322, 19] [1]. Что же может сказать современная наука об этом процессе?

[1] Эта «городская», или «вторая», революция, в свою очередь, была производной от предшествовавшей ей неолитической революции, которая подготовила ее материально-техническую базу. Не случайно Р. Брэйдвуд, возражая Чайлду, писал, что огромная качественная разница между донеолитическим, присваивающим, и неолитическим, производящим, хозяйством неизмеримо больше, чем различие между земледельческим неолитом и первыми очагами цивилизации, ибо в первом случае это разница в экономике и технике, а во втором — в культуре [292, 42]. Это мнение Брэйдвуда заслу-

Отправной его точкой была неолитическая революция, которая в ближневосточной зоне около 8—10 тыс. лет назад привела к замене присваивающего хозяйства производящим, основанным на зерновом земледелии и оседлом образе жизни, знакомым с домашним скотоводством, керамикой, большим набором хорошо выделанных каменных орудий и т. д. Первые очаги зернового земледельческого неолита, как и весь процесс неолитической революции, локализовались в ряде предгорных районов (Загрос, Анатолия, Палестина [458; 459, 5—6]), где существовали дикие предки впоследствии одомашненных культурных растений [42; 89; 260; 339, 13—15; 386]. Все эти зоны предгорий были хороши, однако, лишь как колыбель неолита. Коль скоро население неолитических стоянок возрастало (а его рост в новых условиях оседлой жизни и производящего хозяйства был намного более ускоренным, чем прежде [146, 85—88; 147, 141; 210, 202; 231, 52—55]), для его расселения и пропитания требовались новые земли, что и вело к быстрому освоению соседних территорий (освоить которые в лесистых районах предгорий было не так уж легко) и в конечном счете к выходу на равнины, в первую очередь в обширные низменные районы речных долин.

Роль речных долин великих рек в возникновении цивилизаций была отмечена и описана довольно давно [148]. Однако далеко не сразу стали они той плодородной житницей, на основе которой сложились первичные очаги цивилизаций. В то далекое время зоны речных долин, видимо, представляли собой заросшие травами и камышом болотистые низменности. И вполне прав Г. Чайлд, когда оспаривает мнение египтолога У. Перри, который полагал, что долина Нила чуть ли не сама по себе была способна выращивать пшеницу и ячмень и единственное, что должен был сделать «какой-то гениальный человек»,— это изобрести каналы и обеспечить орошение [235, 68; 477, 30]. На деле все было гораздо сложнее и требовало немало времени и усилий. Но зато и награда была велика. Ведь именно орошаемое земледелие, изучению которого специалисты ныне уделяют немало внимания [12; 346], лежало в основе почти всех первичных цивилизаций [292, 39].

Первыми великими речными долинами, освоенными человеком, были междуречье Тигра и Евфрата и долина Нила, освоение которой началось, по-видимому, с дельты [553, 364]. Обе эти долины были ближайшими по отношению к тем предгорным районам ближневосточной зоны (в первую очередь к Загросу и Палестине), где началась и делала свои первые шаги неолитическая революция. Заселение обеих долин шло за счет пришельцев, двигавшихся поэтапно, волнами. Различные племена и на-

---

живает внимания, хотя его окончательный вывод не может быть принят: «вторая революция», породившая цивилизацию, тоже являет собой качественный скачок, причем отнюдь не только в сфере культуры — достаточно напомнить об изменениях в производственных отношениях [53, 180].

роды прибывали в эти долины из разных мест и в разное время, оседали там и начинали активно взаимодействовать друг с другом. Так, среди первых насельников Месопотамии были семиты и протошумеры, причем культурные традиции древнейших поселений типа Убайда восходят к неолитическим культурам, распространенным неподалеку от Междуречья [144, 408—410; 235, 165]. Среди ранних земледельцев Нила были и азиаты, и африканцы: в стоянках ранних египетских культур (Таса, Файюм, Бадари, Меримде) археологи находят культурные признаки, связывающие население этих стоянок с африканскими мезолитическими и переднеазиатскими неолитическими культурами, например натуфийской. При этом важно подчеркнуть, что одомашненные злаки (пшеница и ячмень) и овца древнейших египтян были явно азиатского происхождения [63, 119; 235, 86 сл.; 254а, 45; 336, 76; 339, 20 и 39, карты; 380, 233—237; 553, 366—367].

Таким образом, на примере двух наиболее ранних и сыгравших едва ли не самую важную роль в истории очагов цивилизации можно видеть, что основные тезисы концепции Кулборна вполне справедливы. Группы неолитических земледельцев — пришельцев из разных мест — друг за другом появляются в долинах больших рек и, вступая во взаимодействие, создают основу для генезиса цивилизации. Этому способствуют благоприятнейшие природные условия (плодородные долины, регулярное естественное орошение, мягкий климат) и спорадическое обогащение культурного потенциала за счет притока все новых пришельцев. На этом, однако, теория Кулборна останавливается. Что же дальше? Дальше идет мутация по Тойнби.

Но почему все-таки происходит мутация? В результате чего появляется новый феномен? Пытаясь найти ответ, Л. Вулли обратил внимание на одно очень важное, ключевое по своему значению обстоятельство. Если до возникновения ирригации земледельческие поселения были разбросаны сравнительно редко, далеко отстояли одно от другого (ибо только при таком расселении богарное земледелие могло прокормить пахарей), если земледельческие предгорья и долины были обычно сравнительно небольшими и отделялись одно от другого лесами, горами, водными или иными преградами, то в долинах больших рек картина была иной. Возможность интенсивного хозяйства на хороших орошаемых землях с устойчивым, гарантированным урожаем предоставляла благоприятные условия для роста населения. При этом отпочковавшемуся населению не было нужды мигрировать в далекие края в поисках хороших земель — эти земли были рядом. Расселяясь вдоль речных долин, осваивая с помощью ирригации все новые земли, то или иное племя — пусть даже смешиваясь и вступая во взаимодействие с другими племенами и культурами — оставалось компактным и резко возрастало. Другими словами, орошаемые территории могли прокормить такое количество населения, которое не шло в сравнение с обычными

для неолита возможностями [553, 364]. Возникали крупные многочисленные поселения, некоторые из них разрастались в города, и с заселением всего Междуречья и образованием городов появлялись сложные социальные структуры с политической властью, разделением труда, классами, письменностью и т. п.

Таким образом, в процессе генезиса по крайней мере двух наиболее ранних и формировавшихся почти параллельно в двух плодороднейших долинах Старого Света очагов цивилизации (в Египте и Двуречье) можно проследить взаимодействие и переплетение огромного количества благоприятных, подчас уникальных явлений, условий и факторов, которые сыграли свою важную роль. Важно отметить, что один из них (египетский) на протяжении всего раннего этапа своего формирования испытывал культурное воздействие со стороны начавшего развиваться чуть раньше другого — месопотамского. На это обращают внимание специалисты-египтологи [179; 366, 100—111], хотя некоторые выражают сомнение [105], и историки культуры [147, 121; 341, 92—93; 542; 553, 380—381]. Собственно говоря, здесь имеется в виду лишь одно: прибывавшие в долину Нила сравнительно поздние волны пришельцев приносили с собой уже не только культуру неолита, но и некоторые нововведения и достижения, бывшие плодом «городской революции» в Месопотамии. Разумеется, это нисколько не умаляет того факта, что цивилизация долины Нила была именно египетской. Просто эта цивилизация, развивавшаяся чуть позже шумерской, могла заимствовать — и успешно заимствовала — кое-что из уже приобретенного другими опыта. В этом смысле абсолютно «стерильной» может считаться лишь одна первичная цивилизация — шумерская, сложившаяся ранее всех остальных.

В значительно большей степени заимствовала чужой опыт древнеиндийская цивилизация, первичные очаги которой стали складываться намного позже шумерского и нильского. Эту цивилизацию Тойнби даже не включил в число первичных, видимо, имея в виду ее зависимое от шумерской происхождение. Современная наука подходит к проблеме более осторожно. Конечно, никто не отрицает и не может отрицать заметного шумерского культурного влияния, как, впрочем, и влияния ближневосточного неолита до эпохи возникновения шумерской цивилизации (дометаллический неолит Белуджистана) [341, 177; 359, 86—88, 104][2]. Однако здесь ситуация сложнее.

Описывая условия генезиса цивилизации в долине Инда, Л. Вулли указывает на то, что антропологический анализ костяков из Хараппы позволяет заключить, что около половины населения этого наиболее раннего очага цивилизации в Индии

[2] По данным известного индийского археолога Х. Д. Санкалия, соседний с Белуджистаном район Кветты (Северный Пакистан) был заселен неолитическими земледельцами с середины VI тысячелетия до н. э. [496, 69].

были выходцами с Запада, по физическому типу близкими к шумерам. К Шумеру тяготеют и многие культурные элементы и традиции. И все-таки, подчеркивает Вулли, это не обязательно означает простую миграцию и перенесение культуры из Шумера в Индию. Напротив, речь идет лишь о заметном влиянии шумерской цивилизации на формирование очага древнеиндийской [553, 396—397]. Примерно такая точка зрения сейчас является почти общепризнанной [341, 107]. Во всяком случае, она достаточно подкреплена имеющимися в распоряжении ученых фактами.

Не приходится говорить и о том, сколь значительную роль сыграло культурное влияние месопотамской и египетской цивилизаций на формирование европейских очагов цивилизации, которые в этом плане даже едва ли могут считаться первичными. Строго говоря, проблема гомогенности всей цивилизации Старого Света практически упирается лишь в вопрос о генезисе китайской цивилизации.

Таким образом, очень многое говорит в пользу того, что ранее возникшие и развившиеся очаги цивилизации могли оказывать и часто оказывали влияние на формирование других очагов цивилизации, складывавшихся позже и нередко под их влиянием. При этом очень существенно то, что в этих новых условиях несколько менялись и те необходимые предпосылки, которые играли решающую роль в генезисе первичных очагов цивилизации.

Так, факты свидетельствуют о том, что во II тысячелетии до н. э. очаги цивилизации появлялись уже не только в речных долинах. Крито-микенская цивилизация, например, складывалась в иных природных условиях, но зато в ее формировании принимали участие, по-видимому, мигранты из Египта. Во всяком случае, следы влияния египетской цивилизации прослеживаются на ранних этапах крито-микенской цивилизации достаточно отчетливо [553, 391—393]. Словом, есть некоторые основания заключить, что для возникновения более поздних цивилизаций Старого Света имели значение уже не только те неповторимые сочетания множества благоприятных возможностей и условий, которые вызвали к жизни месопотамский феномен и сыграли, по Тойнби, роль мутации, но и непосредственное или опосредствованное воздействие уже развившихся очагов цивилизации. Это воздействие как бы компенсировало некоторую недостаточность благоприятных условий (по сравнению с теми, что были, скажем, в Месопотамии) и при наличии необходимого минимума таковых приводило к оптимальному результату, т. е. к генезису нового очага цивилизации.

Каков же был механизм этого воздействия? Здесь мы обращаемся к одной из наиболее острых и спорных проблем истории человеческой культуры — к вопросу о роли и соотносительной значимости трех важнейших импульсов эволюции.

МИГРАЦИИ, КУЛЬТУРНАЯ ДИФФУЗИЯ, КОНВЕРГЕНЦИЯ

К этим трем импульсам наука относит миграции, диффузию культурных нововведений и самостоятельное (конвергентное) развитие техники и культуры в рамках данной общности. Значение этих импульсов отмечалось еще эволюционистами XIX в., в частности Э. Тэйлором [16, 109]. Как правило, все они действуют вместе, однако далеко не всегда и не везде. И, что самое существенное, не всегда ясно, на долю какого из них в том или ином случае пришлась основная нагрузка, т. е. который из трех сыграл в данном определенном случае решающую роль. Можно, конечно, как это получается у последователей теории многолинейной эволюции, просто не придавать этому значения, но только в том случае, если проблема генезиса данного комплекса культурных компонентов считается второ- и третьестепенной (признается важным лишь наличие комплекса, как такового). Если же решать проблему генезиса, то соотносительная важность каждого из трех импульсов окажется едва ли не наиболее существенным моментом для ее решения.

Сначала несколько общих вводных замечаний. В том, что любое общество и любая культура развиваются, эволюционируют и в конечном счете движутся вперед за счет нововведений, усовершенствований, изобретений, не сомневается никто. Это — закон, проявляющийся почти повсюду, за редким исключением крайне отсталых в силу неблагоприятных условий обитания и полной изоляции коллективов, которые подчас не только не развиваются, но и деградируют, вымирают. Однако темпы эволюции и тем более нововведений у различных коллективов различны — они зависят от множества разных причин, среди которых наряду с оптимальными условиями обитания важнейшую роль играют контакты с соседями. Если взять коллективы, находящиеся в примерно одинаковых условиях и на одинаковом уровне (стадии) развития, то теоретически вполне допустимо, что каждый из них способен самостоятельно, независимо от других, т. е. конвергентно, придумать, скажем, сходные формы орудий или строений, прийти к идее земледелия и искусственного орошения, научиться плавке металлов и т. п. Но идеально равных условий и абсолютно синхронно развивающихся коллективов, к тому же отделенных друг от друга практически непреодолимыми препятствиями, никогда не было. В действительности одни обычно опережали других, пусть даже ненамного. Это опережение давало им определенные преимущества, в силу которых они успевали изобрести что-то новое, нужное для всех. Это новое могло с достаточной быстротой распространиться, в первую очередь среди тех, кто по своему уровню был близок к идущим впереди и хотя бы уже только по одному этому был подготовлен к восприятию этого нового, а может быть уже и находился на

путн к нему. Таким образом, внешний импульс — это могла быть информация, принесенная коллективом мигрантов (миграция) или полученная через третьи руки в ходе культурных контактов с соседями (диффузия культур),— играл роль толчка, катализатора, резко ускорявшего спонтанный процесс эволюции коллектива, уже подготовленного к восприятию того или иного новшества. Именно в результате воздействия такого рода внешних импульсов условия существования сходных по своему культурному развитию обществ уравнивались, что, в свою очередь, благоприятствовало функционированию в недрах каждого из них своего внутреннего импульса эволюции, действовавшего конвергентно.

Процесс такого рода уравнивания потенциалов особенно характерен и нагляден на примере близких друг к другу (как географически, так и в хозяйственно-культурном плане) обществ, скажем, тех, которые существовали в эпоху неолита в рамках обширного ближневосточного региона. Здесь непрерывные взаимовлияния и взаимообогащения очевидны и неоспоримы. Труднее зафиксировать этот процесс тогда, когда речь идет о коллективах, отстоявших друг от друга на значительные расстояния и заметно различавшихся по уровню и характеру культуры. Конечно, большие расстояния — не помеха для массовых миграций (достаточно напомнить об арийском нашествии в древнюю Индию). Но миграции такого рода далеко не всегда могут быть зафиксированы, еще в меньшей степени поддается визуальному анализу медленный процесс культурной диффузии. Изучению роли миграций и культурной диффузии посвящено немало специальных трудов [см., например, 394; 452; 508; 509; 518]. Однако особенности процесса просачивания чуждых элементов и компонентов в рамки данной общности, связанные с быстрым усвоением заимствованного и превращением его в органическую часть своего, нередко мешают с точностью определить, чему обязано данное общество знакомством с тем или иным важным культурным нововведением и изобретением. В этих неясных случаях многие специалисты предпочитают, не мудрствуя лукаво, исходить из кажущегося им вполне естественным предположения, что данное общество самостоятельно, конвергентно приобрело свои познания. При этом роль внешних импульсов обычно считается второ- и третьестепенной, а постулат о закономерной спонтанной конвергентной эволюции чуть ли не каждой этнокультурной общности представляется неоспоримым.

Итак, ни внутренние, ни внешние импульсы эволюции никем из специалистов в принципе никогда не отрицались, но именно оценка соотносительной значимости этих импульсов резко разделяет их, причем своего рода фронт дискуссий проходит между диффузионистами (к которым относятся сторонники придания важной роли внешним импульсам) и их противниками. Стоит в этой связи заметить, что спор идет не вообще о том, что важ-

нее — собственные изобретения каждого коллектива или заимствование извне. Даже самый «крайний» диффузионист не станет отрицать, что в любой этнокультурной общности возможно конвергентное повторение чего-то уже изобретенного ранее в совсем другом месте и в другую эпоху — тому немало конкретных примеров. Суть спора в ином: являются ли важнейшие достижения мировой культуры результатом распространения их под воздействием внешних импульсов, или это следствие закономерно и обязательно повторявшихся по достижении определенной стадии независимых, конвергентных изобретений? При этом имеются в виду лишь немногие важнейшие изобретения, которые сыграли решающую роль в процессе эволюции мировой культуры.

В этом своем аспекте проблема диффузия или конвергенция стала перед наукой сравнительно недавно, около полувека назад. Начало спорам положили атаки диффузионистов на устоявшуюся школу эволюционистов XIX в., в основном придерживавшихся концепции стадиального развития. Вопрос о роли диффузии культур был поставлен во главу угла при сравнительном изучении цивилизаций представителями так называемой культурно-исторической школы, которые выдвинули теорию культурных кругов [422, 148—149]. Суть этой теории сводилась к тому, что одно изобретение в сфере материальной или духовной культуры, появившись в каком-либо центре, распространялось затем из этого центра во все стороны. В результате создавался своеобразный культурный круг, центр которого и считался местом возникновения того или иного важного явления культуры. Естественно, что при такой постановке вопроса изучение диффузии культур было выдвинуто на передний план [506]. Не случайно один из апостолов этой школы, Ф. Гребнер, писал, что изучение культурных связей — важнейшая цель истории культуры [374, 107]. Ученые культурно-исторической школы немало сделали для сравнительного изучения цивилизаций и анализа связей между ними. Однако слабость и несовершенство их теории, принижавшей своеобразие и роль независимого развития отдельных культур, вызвали закономерный отпор как со стороны их коллег на Западе, так и особенно — после образования СССР — со стороны молодой советской марксистской историографии.

Советские археологи, этнографы, лингвисты и историки культуры в 20—30-е годы находились под сильным влиянием учения Н. Я. Марра о стадиальном развитии языков, культур и народов. Суть этого учения была прямо противоположна теории культурных кругов и сводилась к тому, что в эволюции существуют определенные стадии, по достижении которых данная культурная общность едва ли не автоматически становится обладателем тех или иных явлений и достижений цивилизации [139]. Таким образом, роль взаимовлияний и диффузии оказывалась вспомогательной, а бесспорные факты, свидетельствовав-

шие о наличии большого сходства, подчас тождества явлений и элементов культуры у различных народов, воспринимались лишь как убедительное доказательство правоты теории стадиальности (одинаковые стадии — сходные и даже тождественные явления и элементы культуры). Вот один очень характерный пример такого подхода. Известно, что в эпоху развитого неолита в разных районах Евразии существовала серия очень близких по характеру и формам земледельческих культур расписной (крашеной) керамики. Причины столь поразительного сходства этих культур вызывают различные мнения [см. 50; 57; 109; 119; 145]. Словом, есть серьезные основания для научной дискуссии. На этом фоне особенно рельефно выступает та легкость, с какой подходили к решению подобных проблем с позиции теории стадиальности. Провозгласив свою преданность этой теории и заявив, что этнографические материалы можно использовать только в том случае, если изучаемые общества и культуры принадлежат к одной стадии, А. В. Шмидт писал, что «не так давно процветали у нас теории о едином происхождении расписной керамики». «Мы знаем теперь,— утверждал он далее,— что появление расписной керамики есть закономерное явление, являющееся результатом внутреннего развития в определенных общественных условиях. Миграции и заимствования тут ни при чем» [253, 14].

И такая категоричность была в ту пору нормой, тогда как теория миграций и диффузий воспринималась как символ реакционной, буржуазной историографии. «Миграционная теория живуча, и наши археологи отравлены ею»,— писал И. И. Мещанинов [149, 39]. Даже вопрос о роли завоеваний (а ведь это тоже форма миграций и диффузии культур) был отодвинут сторонниками теории стадий на задний план. Показательно, что для того чтобы реабилитировать эту роль, А. Н. Бернштаму потребовалось не только сослаться на мнение Маркса о месте завоеваний в истории, но и подчеркнуть, что пренебрежение к роли завоеваний является прямым следствием «критики теории миграции» [24, 46] [3].

Таким образом, в довоенные годы в советской историографии была заложена основа резко отрицательного отношения к теории миграций и диффузии, как к чему-то откровенно буржуазному, реакционному, антимарксистскому [см., например, 19; 31; 41; 182; 183]. Следует заметить, что подобное отношение косвенно подкреплялось теми откровенно политическими (и скажем сразу, стоящими вне науки, хотя они иногда принадлежали перу известных и признанных ученых) спекуляциями на выводах из теории диффузии, которые были весьма распространены в то время, особенно в фашистской Германии (теории неполноценно-

[3] Впрочем, параллельно с этим тот же А. Н. Бернштам весьма энергично упрекал своих коллег в недостатке внимания к теории стадий и в следовании теории культурных кругов [23].

сти рас и народов, творческих народов-завоевателей и носителей культуры и т. д.). И хотя подлинная наука, разумеется, не несет и не может нести ответственности за все эти политические спекуляции, многие позиции теории диффузии были скомпрометированы именно благодаря этому. Естественно, что поколения советских историков, археологов, этнографов воспитывались в русле объективно сложившейся и весьма определенной шкалы ценностей, на вершине которой стояла теория стадий, а в самом низу находилась теория миграций и диффузии.

В послевоенные годы, когда культурно-историческая школа и теория культурных кругов с их примитивным подходом к проблеме диффузии оказались уже достоянием истории, а ценные данные новых раскопок и специальные исследования подтвердили принципиально очень важную роль миграций и диффузии в истории мировой культуры, многое изменилось. Изменилась и позиция советских ученых, преодолевших вульгаризацию теории стадий и вставших на путь углубленного изучения истории мировой культуры. Правда, наследие резко отрицательного отношения к миграциям и диффузии нередко по-прежнему продолжает сказываться. Даже авторы первоклассных исследований, богатейшие материалы которых убедительно свидетельствуют в пользу огромной роли культурных контактов в зарождении неолита и развитии ранних очагов цивилизации, считают своим долгом оговариваться в тех случаях, когда эта роль вполне очевидна, и отвергать ее apriori тогда, когда, она сомнительна или недостаточно выяснена [144; 145]. В трудах более общего характера отношение к теории миграций и диффузии тоже подчас строится не столько на основе объективного анализа ее методики, возможностей и аргументированности, сколько из-за опасения тех выводов, которые иногда базируют на этой теории отдельные представители реакционных кругов. В результате возникают любопытные парадоксы: с одной стороны, миграции и диффузия служат могучим катализатором развития, с другой — «теория миграций как аргумент в первобытной истории ошибочна, теория миграций как аргумент общеисторический и ошибочна и опасна» [152, 52 и 56].

И все-таки справедливости ради необходимо заметить, что в послевоенный период априорно отрицательное или по крайней мере настороженное отношение к роли культурных контактов в истории культуры стало ослабевать. В тезисах доклада Е. Ю. Кричевского, зачитанного в 1946 г., говорилось о необходимости обращать серьезное внимание на изучение контактов и заимствований, влияний извне как важного условия сложения новых культур [118, 8]. С начала 60-х годов количество призывов подобного рода заметно возросло. В статьях археологов А. Я. Брюсова и Л. С. Клейна обращалось внимание на великие перемещения племен, на роль миграций и на ограниченность в этом плане теории стадиальной этнической трансформации [38;

112]. На важную роль диффузии в этногенетических процессах древности стали указывать в своих работах и другие археологи и этнографы [220]. Показательно, например, что С. П. Толстов, который в свое время критиковал теорию «культурных кругов» и вместе с ней всех «супердиффузионистов» [218], в 60-х годах писал о всемирно-исторических процессах древности в несколько ином плане, сравнивая эпоху неолита с эпохой «великих географических открытий» и явно имея при этом в виду экстенсивное распространение достижений неолита по ойкумене [219, 114].

Словом, в наши дни, в 60—70-е годы, отношение советских археологов и этнографов к проблеме миграций и культурной диффузии несколько изменилось. В частности, появляются серьезные монографии, ставящие своей целью показать важную роль внешних контактов в процессе происхождения той или иной древней культуры [250; 251]. Однако споры по этому вопросу продолжаются, причем по-прежнему распространены взгляды тех, кто весьма настороженно относится к выдвижению на передний план роли диффузии, миграций и культурных контактов [см., например, 173]. Именно поэтому специальное и серьезное рассмотрение этой проблемы в принципе, в плане теории и методологии, не только оправдано, но и прямо необходимо.

ФЕНОМЕН ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ

Роль миграций и культурной диффузии, значение заимствований в процессе эволюции мировой культуры неизбежно сталкивают исследователя с проблемой генезиса важного изобретения, фундаментального открытия, кардинально меняющего образ жизни и характер существования тех, кто с ним знаком. Имеются в виду открытия земледелия или домашнего скотоводства, металлургии и колеса и т. п. Как совершались такие открытия?

Существует широкоизвестный постулат: «Необходимость — мать изобретения». Подразумевается, что по достижении определенного уровня развития и при ощущении острой необходимости в радикальных сдвигах эти сдвиги рано или поздно обязательно будут осуществлены. В принципе этот тезис бесспорен, но реализуется феномен изобретения далеко не автоматически, вслед за потребностью общества. Прежде всего, необходимость не следует приравнивать к понятию «нужда». Голодающим, как на это специально обращал внимание К. Сойер, не до экспериментов, и самая острая нужда не в состоянии толкнуть общество вперед [499, 21]. Для поисков и находок, для экспериментов и изобретений нужны благоприятные условия, так что в этом смысле феномен изобретения — результат подходящих условий и вызванного ими удобного случая [378, 59—60].

Один из ведущих специалистов в области предыстории, и в частности истории техники, А. Леруа-Гуран, писал о том, что

феномен изобретения уникален, что эволюция в этом смысле является следствием мутаций, однако сами эти мутации, по существу, бывают подготовлены многими мелкими сдвигами, улучшениями, рационализациями, которые в своей совокупности как бы подводят к крупному, кардинальному техническому новшеству. Естественно, что дальнейшую судьбу изобретения, и в частности его распространение по ойкумене, Леруа-Гуран связывает с механизмом диффузии [442, 401—408, 460]. Другой крупный авторитет в этой области, Р. Форбс, автор монографии по истории технологии, также стоит на позиции оценки кардинального нововведения в технике или технологии как удачной и редкой случайности. Его выводы сводятся к тому, что многие второстепенные изобретения (например, лодки различных типов в разных регионах мира) могли повторяться, но чем сложнее и важнее изобретение или открытие, тем менее вероятно его дублирование [361, 9—10]. Некоторые историки техники прямо утверждают, что открытия — это редкое исключение, а не правило, что важнейшие культурные сдвиги своим происхождением и развитием обязаны именно диффузии. В своем фундаментальном многотомном труде, посвященном наукам и цивилизации Китая, Д. Нидэм писал, например, что такие важнейшие изобретения человечества, как огонь, колесо, плуг, ткачество, доместикация животных или металлургия, восходят к одному центру, где они были изобретены и откуда затем распространились повсюду [467, 229]. Г. Гаррисон высказывался еще более определенно: «Общепризнанно, например, что фундаментальные элементы культуры, на которых были основаны все цивилизации Старого Света, обязаны своим происхождением тем сдвигам, которые были сделаны на Ближнем Востоке около 7 тыс. лет назад, а не независимым и спорадическим вспышкам гения в ряде районов Европы, Азии и Северной Африки» [378, 64].

Ознакомление с процессом неолитической революции [292; 332; 458; 459; 460] показывает, что, начавшись с доместикации злаков и скота и завершившись изобретением керамики, этот процесс занял сравнительно немного времени (по масштабам той эпохи) — четыре — пять тысячелетий. После этого возник уже более или менее развитый неолитический комплекс, центральным пунктом которого оставалось злаковое земледелие, и достижения ближневосточной неолитической революции начали распространяться по Старому Свету. Разумеется, ведя речь о комплексе, не следует представлять его в виде строго фиксируемой суммы черт, элементов и признаков, которая перемещалась по ойкумене, практически не меняясь. Как раз напротив, элементы культуры всегда бывали подвижными, легко взаимозаменялись в зависимости от множества обстоятельств. Даже в одном и том же ближневосточном регионе преобладала либо пшеница-однозернянка, либо двузернянка, различными были типы построек, формы сосудов и орудий. Но едва ли это дает основание для

вывода о двух или даже нескольких чуть ли не независимых центрах неолитической революции в этом регионе, как это получается у В. М. Массона [144, 114]. Сочетание различных элементов — естественный результат самого процесса, а замена одного вида изделия или растения другим может быть вызвана множеством различных причин. Принципиальный же процесс при этом был и не мог не быть единым, общим для всех тесно связанных друг с другом культур данного региона — и именно в этом смысле говорится о комплексе открытий и изобретений, знаний и навыков, идей и практического опыта. Этот комплекс и стал распространяться по ойкумене — вначале в соседних с ближневосточным регионах (Египет, Индия, Европа) [4], а затем и в более отдаленных [298, 345—349; 380, 239; 427, 384]. Но можно ли считать этот комплекс единственным, хотя бы в рамках Старого Света?

В свое время К. Сойер выдвинул тезис, согласно которому наиболее древним центром возникновения земледелия следует считать юго-восточно-азиатский с его преимущественно клубнеплодным земледелием [499]. И хотя некоторые специалисты поддержали идею о независимом неолитическом комплексе в Юго-Восточной Азии [447, 173—182], в целом в те годы тезис Сойера не был принят [336, 44], причем даже теми, кто в принципе соглашался с возможностью независимого возникновения земледелия в сходных условиях [402, 41—42]. Вопрос, однако, не был снят с повестки дня. Специалисты обратили внимание на то, что количество так называемых центров Вавилова, т. е. зон, где в силу благоприятных условий и наличия диких предков культурных растений мог возникнуть самостоятельный очаг земледелия, должно быть в свете данных современной науки сокращено до двух (в пределах Старого Света), причем вторым мог быть именно юго-восточно-азиатский [58, 10—11]. Серия археологических раскопок 60-х годов в Японии, Таиланде, Вьетнаме, на Тайване подтвердила это предположение и заставила новыми глазами взглянуть на проблему происхождения земледелия [247; 304; 306; 308; 510; 511; 512; 513; 514].

Археологами были обнаружены керамические сосуды, которые методами радиокарбонного анализа датировались X—VIII тысячелетиями до н. э., т. е. оказались намного древнее наиболее ранних — ближневосточных. И хотя эти сосуды были весьма примитивны по форме и выделке, они имели то несомненное преимущество, что возникли и существовали независимо от ближневосточных. Археологами были обнаружены и следы древнейшего земледелия: выжигание джунглей (подсечно-огневое земледелие), выращивание бобовых и овощных, корне- и клубнеплодных культур, которое также оказалось возможным датировать временем, примерно параллельным эпохе

[4] Как полагает У. Фэйрсервис, это распространение началось уже на рубеже IX—VIII тысячелетий до н. э. [359, 104].

неолитической революции на Ближнем Востоке [510, 898—899]. Все это заставило по-новому поставить вопрос о древнейших центрах земледелия. Ныне едва ли есть серьезные основания сомневаться в том, что в прибрежно-островных и полуостровных районах Юго-Восточной Азии среди охотников, рыболовов и собирателей мезолита около 10 тыс. лет назад шел процесс перехода к новому типу хозяйства — к земледелию. Другими словами, в Юго-Восточной Азии ныне наукой зафиксировано нечто напоминающее неолитическую революцию на Ближнем Востоке. Но означает ли это, что речь действительно идет о неолитической революции такого типа, который мог привести ко «второй революции» т. е. дать толчок возникновению самостоятельного очага цивилизации городского типа?

Есть немало оснований ответить на этот вопрос отрицательно. Во-первых, археология фиксирует раннее появление зачатков земледелия и керамики в Юго-Восточной Азии, но не фиксирует заметной эволюции. Другими словами, нет процесса неолитической революции. Да, есть зачатки земледелия, но оно явно носило еще второстепенный, вспомогательный характер и, так же как и керамика, лишь в определенной степени обогащало те традиционные формы хозяйства, которые и после знакомства с земледелием клубне- и корнеплодного типа оставались, видимо, главными. Во-вторых, сам тип земледелия, развивавшегося в основном не в форме злакового, не мог стимулировать расцвет нового типа хозяйства, новых форм жизни, ибо земледелие, не основанное на выращивании злаков, не может привести к накоплению запасов зерна, т. е. определенного богатства, дающего стимул к развитию прибавочного труда и увеличению прибавочного продукта, способствующего убыстрению темпов роста населения[5]. Наконец, юго-восточно-азиатское земледелие не сопровождалось развитием домашнего скотоводства (кроме разве птицеводства), да для этого и не было условий в том регионе. Все эти и многие другие факторы определили весьма специфический путь эволюции юго-восточно-азиатского очага древнейшего земледелия: рано возникнув, он очень медленно развивался, причем земледелие не стало ведущим видом хозяйства, не привело (по крайней мере до III—II тысячелетий до н. э., когда началось выращивание риса в районах Юго-Восточной Азии) к тем последствиям, которые зафиксированы в ближневосточном регионе. Пока нет оснований считать, что переход к злаковому (рисовому) земледелию в этом регионе произошел целиком на местной основе, без всякого влияния со стороны более развитых неолитических земледельческих культур, которые к III тысячелетию до н. э. уже

[5] Стоит напомнить в этой связи, что в месопотамском очаге цивилизации первые храмы, эти социально-религиозные и административно-политические центры складывавшихся поселений городского типа, возникали прежде всего как пункты хранения общинных зерновых запасов [324, 47—49].

весьма широко распространились по Евразии, включая Индию и Китай [307, 183; 529, 63].

Таким образом, открытия последних лет в Юго-Восточной Азии, хотя они и заметно меняют привычные представления о древнейших очагах земледелия и о возникновении керамического производства, не нарушают устоявшегося и имеющего солидные основания вывода о том, что неолитическая революция во всем ее сложном комплексе со злаковым земледелием и домашним скотоводством в качестве основы произошла на территории Старого Света лишь однажды и в одном регионе, откуда этот комплекс распространялся в основном за счет миграций и культурной диффузии. Но если земледельческий неолит распространялся в виде зрелого комплекса (о неземледельческих субнеолитических культурах, знакомых лишь с некоторыми достижениями этого комплекса и располагавшихся обычно в зонах сравнительно неблагоприятных природных условий, на окраинах ойкумены, речь не идет), то все последовавшие за этим фундаментальные открытия возникали и распространялись поодиночке, даже в том случае, когда это были родственные изобретения (гончарный круг и колесо, повозка). Все такого рода изобретения являлись лишь дополнением к необходимому комплексу земледельческого неолита, дополнением, без которого в общем-то обходилось множество неолитических культур. Даже в том случае, когда речь шла о металле и металлургии и неолитическая культура, получив знание о металлах, превращалась в культуру бронзового, железного века, принципиальных, качественных изменений в образе жизни (сравнимых с изменениями, внесенными неолитической революцией) это не влекло[6] и возникновения очага цивилизации само по себе отнюдь не обеспечивало. Просто то или иное племя, та или иная культура в дополнение к уже имевшемуся у нее комплексу необходимых сведений и достижений неолита становились обладателями еще какого-либо великого достижения цивилизации, значительно облегчавшего труд и условия существования. О каких достижениях следует сказать в первую очередь?

Колесо, вращательное движение, гончарный круг — вот, пожалуй, первое фундаментальное открытие в сфере материальной культуры после неолитической революции. Не только ранние, но и большинство развитых неолитических культур гончарного круга еще не знали: ему, как и колесу, не более шести тысяч лет [325, 187]. Существуют две разновидности круга — медленный (ручной), более примитивный, и быстрый (ножной). Видимо, первый был изобретен и распространился раньше вто-

[6] За исключением тех случаев, когда именно переход к веку металла способствовал возникновению земледелия у народа, жившего в сравнительно малоблагоприятных природных условиях (в средней полосе Европы, например).

рого. Медленный круг представлял собой диск, вращавшийся рукой гончара, этот диск имел либо втулку, насаживавшуюся на неподвижный выступ, либо выступ, вращавшийся в фиксированной снизу втулке. Первый подтип был широко распространен в Китае, Юго-Восточной Азии и Сибири [28; 325, 197], второй — в Индии и на Крите. Поскольку принципиально эти два подтипа ничем не различаются (достаточно каждый из них перевернуть — и нижний, фиксированный диск окажется рабочей частью, а верхний станет неподвижной), то в общем речь идет, видимо, об одном изобретении, ставшем достоянием различных неолитических культур после IV тысячелетия до н. э.

Быстрый круг, возникший, по-видимому, на базе медленного, принципиально отличался от него. Собственно говоря, именно он только и может считаться кругом в подлинном смысле этого слова. Суть нововведения до предела проста: верхний и нижний круги фиксируются на неподвижной оси, причем оба скреплены с помощью втулки и выступа с лежащей на земле плитой. Вращая ногой нижний круг, гончар обеими руками лепит посуду на верхнем. Этот быстрый круг был изобретен в Месопотамии в конце IV тысячелетия до н. э. и очень быстро стал известен в Египте, Сирии, Индии, Греции, а затем и в Китае [234, 73—74; 325, 198—203; 553, 578—579]. Изобретение быстрого круга произвело решительный переворот, революционный скачок в гончарном деле [200, 8—14], благодаря ему стало возможным изготовлять сосуд за очень короткое время [325, 204; 507, 378 и 388—390]. И если раньше керамика была домашним подсобным промыслом женщин, то после изобретения круга она превратилась в отрасль ремесла и стала делом мужчины [507, 407].

Колесо, как и быстрый круг, возникло не сразу. Вначале средством передвижения служили сани или волокуши, которые затем были поставлены на колеса [15; 86; 325, 205; 331; 707—710]. Первым типом колеса были деревянные диски из трех скрепленных между собой досок — именно такой тип был в III тысячелетии до н. э. распространен во всем ближневосточном регионе [235, 358]. Вначале такое колесо, по-видимому, фиксировалось на оси, вертевшейся вместе с ним. Как полагает Г. Чайлд [325, 207—208], только во второй половине III тысячелетия до н. э. появились колеса с неподвижной осью и даже с медными ободами-протекторами, снабженными гофрированной поверхностью. Как бы то ни было, но уже в середине IV тысячелетия до н. э. в Шумере была изобретена повозка, которая на рубеже IV—III тысячелетий стала известна также в Эламе и Ассирии, в середине III тысячелетия — в долине Инда, с начала II тысячелетия — в Европе и Египте. Примерно на рубеже III—II тысячелетий до н. э. дощатые колеса-диски заменили колесами из спиц, что позволило создать легкие и прочные боевые колесницы. В Месопотамии они датируются

примерно 2000 г. до н. э., в Египте — 1600 г., в Микенах и в Китае — около 1300 г. до н. э. [325, 209—213]. Появление колес со спицами совпало по времени с одомашниванием лошади. Г. Чайлд предполагает, что в одомашнивании лошади и применении ее в боевой колеснице сыграли свою роль племена, жившие к северу от Месопотамии, в широкой степной полосе, где водились дикие предки одомашненной лошади — онагры [326, 725—727; см. также 345]. Как известно, одним из первых народов, едва ли не целиком «севших» на запряженные лошадьми боевые колесницы, были хетты, жившие в Анатолии на рубеже III—II тысячелетий до н. э.[7]. Возможно, что с их помощью боевая колесница попала в Месопотамию, а затем и в другие регионы ойкумены. Показательно, что верхом ни на лошади, ни на быках или мулах в те отдаленные времена еще не научились ездить. Самые ранние свидетельства верховой езды для Вавилонии, Египта и Микен датируются примерно XIII в. до н. э. [326, 728—729], и лишь после этого верховая езда стала не только излюбленным делом, но даже чуть ли не одной из основ образа жизни появившихся незадолго перед тем кочевых скотоводческих племен [345, 1201]. По-видимому, практика верховой езды тоже распространялась из районов Западной Азии: во всяком случае в степях Центральной Азии, где были наиболее подходящие для кочевого скотоводства условия и где с середины I тысячелетия до н. э. сложился центр обитания кочевников, на рубеже II—I тысячелетий до н. э. верховая езда еще не была известна.

Изобретение металлургии явилось еще одним гигантским скачком. Нередко именно умение использовать металл воспринимают как существенную грань между неолитом и цивилизацией, бронзовым веком, что, впрочем, не совсем верно. Факты свидетельствуют о том, что еще в эпоху развитого неолита люди нередко находили самородный металл, золото или медь, и умели путем примитивной ковки выделывать из кусочков этого металла различные изделия. В отдельных уникальных условиях, например в культурах Нового Света, включая цивилизации инков, ацтеков и майя, именно такой способ использования металла оставался главным и единственным. Металлургии в собственном смысле слова, т. е. литья металлических изделий, индейцы Америки до прихода европейцев, видимо, так и не узнали [553, 549], хотя золота у них в обиходе было, как известно, более чем достаточно. Вот почему использование золота, которое было первым металлом, ставшим известным человеку [294, 563], равно как и начавшееся в Западной Азии чуть ли не в VI тысячелетии до н. э. применение самородной меди [263, 20], еще ни в коем случае не означало наступления но-

[7] Впрочем, сами хетты заимствовали боевую колесницу, видимо, у митаннийцев, поднявших культ лошади и колесницы до высокого уровня.

вого века — века металла. Л. Эйчисон и Л. Вулли убедительно показывают, что примитивная обработка металла и изготовление из него различных мелких изделий посредством ковки было лишь одним из элементов развитой неолитической культуры, которую иногда называют также энеолитом или халколитом, а в прошлом именовали и медным веком [263, 18—20; 553, 548—549]. Главное же в том, что между умением использовать случайно или даже намеренно найденный металл и искусством плавить его и отливать нужные предметы — огромная дистанция. Отсюда видно, что сама по себе металлургия, как важнейшее нововведение, давшее начало бронзовому веку, не была связана взаимообусловленными отношениями с цивилизацией: некоторые цивилизации (например, в Новом Свете) могли существовать без нее, а знание искусства плавки и литья металлов тоже не гарантировало движения в сторону возникновения очага цивилизации.

Согласно данным современных исследователей, практика выплавки металла не могла возникать случайно и спорадически (в прошлом существовала теория, что случайно попавшая в костер медная вещица могла расплавиться и натолкнуть человека на мысль о плавке) хотя бы потому, что для плавки меди нужна температура около 1085 градусов, тогда как обычный костер дает лишь 600—700 градусов [553, 550]. Необходим был, следовательно, специально подготовленный очаг. Возможно, что этапом в этом направлении было знакомство со свойством меди лучше поддаваться ковке в горячем состоянии. Но как бы то ни было, в сколько-нибудь широком масштабе поиски и эксперименты могли в ту далекую эпоху осуществляться, во-первых, в районе наиболее высокого уровня развития и, во-вторых, в зоне, богатой природными рудами. Специальные исследования показывают, что этим условиям удовлетворяли прежде всего территории к северу от Месопотамии, в районе истоков Тигра и Евфрата, в Восточной Анатолии и Армении, где и были в IV тысячелетии до н. э. изобретены плавка металла и литье изделий из него [263, 23, 26; 553, 511—553]. Так было положено начало бронзовому веку.

Металлургия бронзы очень рано стала известна в Шумере, где она, как и некоторые другие изобретения, совершенные на периферии ближневосточного очага цивилизации, была творчески переработана и усовершенствована. На рубеже IV—III тысячелетий до н. э. в век плавки металла вступил Египет, заимствовавший искусство литья из Азии [553, 551], вскоре металлургия стала известна в Европе (Кипр, затем Крит) и в Индии. Говоря о появлении технологии изготовления изделий из металла в Афганистане и Индии, специалисты обращают внимание на то, что заимствование с Запада выражалось прежде всего в получении идей и техники, но не в виде новых форм изделий [433, 160]. Это замечание очень важно для Китая, где, как и

в Сибири, бронзовый век начался во II тысячелетии до н. э. Как известно, китайцы стали применять литье бронзы для изготовления уникальных по форме и орнаменту сосудов, что до сих пор является чуть ли не главным аргументом в глазах некоторых специалистов по китайской бронзе в пользу независимого изобретения литья металлов протокитайцами [280]. Однако, даже учтя высказанные специалистами соображения по поводу заимствования прежде всего идеи и технологии, нельзя не заметить, что вместе с ними, пусть не в полном объеме, распространялись и некоторые наиболее удобные и общеупотребительные формы изделий, например, проушные топоры, кельты и т. п. Специальные исследования показывают, что знакомство с принципом их изготовления было результатом культурной диффузии, параллельной или почти параллельной диффузии самой металлургии бронзы [321; 328; 450].

Генезис металлургии железа кое в чем напоминает этапы эволюции бронзового века. Первым этапом было использование «мягкого» железа, природного или метеоритного, которому нередко приписывались чудодейственные свойства. Первое железо, выплавленное человеком в специальных горнах с особо высокой температурой, датируется рубежом III—II тысячелетий до н. э. и локализуется в тех же районах Анатолии и Армении, где тогда уже обитали хетты [553, 561]. Как утверждает Г. Чайлд, в Месопотамии плавка железа относится примерно к 2000 г. до н. э., несколько позже железоделание распространилось и в остальных районах ближневосточного региона [234, 76]. Однако это железо было еще низкого качества и не могло быть соперником бронзы, по крайней мере в сфере изготовления оружия, вплоть до XII в. до н. э. [329, 620]. Как полагает Л. Вулли, железо этой эпохи следует считать принадлежностью бронзового века, а подлинный железный век начался лишь тогда, когда человек сумел изготовить сталь [553, 562]. По-видимому, открытие закалки стали и овладение искусством переработки мягкого железа в прочную и твердую сталь было результатом длительных усилий железоплавильщиков. Специалисты полагают, что и это открытие было сделано где-то в горах Армении в начале II тысячелетия до н. э.; овладели им прежде всего хетты, которые в середине II тысячелетия до н. э. были монополистами в области изготовления стальных изделий [362, 594; 553, 562]. Лишь с XII в. до н. э. эта монополия была ликвидирована и искусство выделки стальных изделий стало быстро распространяться по Европе и Азии. В Центральную Азию и Китай это искусство проникло сравнительно поздно, в середине I тысячелетия до н. э. Зато высокоразвитая китайская цивилизация в это время сумела очень быстро освоить сталелитейный процесс, так что уже в эпоху Чжаньго ремесленники южнокитайских царств славились своими великолепными стальными мечами. Еще позже, не ранее IV—III вв.

до н. э., в Китае стал известен плуг со стальным лемехом [719, 355—356]. В Шумере, Египте и на Крите плуг использовали еще в III тысячелетии до н. э., причем некоторые авторы полагают, что его распространение было результатом диффузии [284, 544]. Интересно заметить, что, хотя существует несколько основных разновидностей плуга, связанных с различием климата и почвы, в принципе это одно изобретение. Тот тип, который наиболее характерен для Китая, именуется специалистами «среднеевропейским» и распространен помимо Китая в средней полосе Европы [163, 104].

На этом перечисление фундаментальных открытий, их генезиса и распространения можно ограничить, хотя список далеко не полный. Правда, далеко не все еще доказано, и сам факт наличия в разных районах ойкумены сходных явлений, оказавшихся там в различное время, не для всех может показаться убедительным доказательством именно диффузии как основного механизма, способствовавшего их распространению. Многие специалисты продолжают относиться к диффузии достаточно скептически, иронизируя по поводу того, что для некоторых их коллег формула «ex oriente lux» превыше всего и что нередко далеко идущие выводы строятся на весьма недостаточном материале [262, 213; 432, 139—142]. Имено это недоверие вызывает горячность со стороны диффузионистов и приводит подчас к излишним резкостям. Так, Г. Фрэнкфорт, обращаясь к своим оппонентам, писал, что «есть ученые, которые, гордо бравируя своим невежеством в антропологии[8], утверждают безо всяких оснований автономию и самостоятельность великих культурных центров» даже в ближневосточном регионе [366, 100].

Как правило, в спор с диффузионистами наиболее охотно вступают узкие специалисты-страноведы, которые, в деталях изучив свой предмет и хорошо видя все великое множество отличий, несходств, своеобразий, скажем, неолита или металлических изделий исследуемой ими культурной общности, нередко отвергают любую мысль о каких-либо заимствованиях[9]. Представляя себе культурно-исторический процесс в несколько упрощенном виде, многие из них стремятся к тому, чтобы провести своего рода прямую линию наследственно-преемственной связи от древнейших стоянок или культур к чуть более поздним, от них — к следующим по времени и т. п. В результате палеолит оказывается предтечей мезолита, мезолит — неолита в рамках данной страны или даже части ее. В то же время на втором плане в такого рода трудах остаются те черты, кото-

[8] Термином «антропология» (или «культурная антропология» в отличие от «физической») на Западе обычно обозначают историю культуры.

[9] Это многообразие, например в методах и технике строительства в эпоху неолита, отмечают и историки техники. Но в выводах они обычно осторожнее — даже если не разделяют идеи диффузионистов [448, 457—458].

рые отличают местный неолит от местного же мезолита и т. п. Здесь многое зависит от подхода к проблеме. Те, кто берет во внимание всю совокупность материалов, говорят, например, о «тесных связях» неолитической стоянки Джейтун в Южной Туркмении с «раннеземледельческими памятниками Ближнего Востока» [147, 77], кто изучает местные связи этой культуры с мезолитом пещеры Джебел, делает акцент на том, что неолит стоянки Джейтун — местного происхождения [116, 195—197].

Хотя узость и ограниченность чрезмерно «специализированного» подхода к общим проблемам закономерностей развития культуры вполне очевидна, а непонимание существа проблемы порой влечет за собой гигантские затраты энергии, направленной на доказательства автохтонности и самобытности данной этнокультурной общности, никак не следует относиться к подобной постановке вопроса с пренебрежением хотя бы потому, что она являет собой весьма необходимый противовес «крайностям» диффузионизма. Ведь нет ничего легче, чем, увлекшись далеко ведущими теоретическими построениями, позабыть о такой «мелочи», как конкретный материал из истории данной общности, и тем самым свести всю сложность проблемы к простому навязыванию своей точки зрения. А это, в свою очередь, ведет к тому, что оппоненты диффузиониста с легкостью найдут его слабые места и наглядно продемонстрируют неубедительность его построений, как это проявилось, в частности, на примере критики позиций У. Фэйрсервиса в вопросах генезиса китайской цивилизации. [375, 52].

МЕХАНИЗМ ДИФФУЗИИ

Если отказаться от мистического принципа А. Тойнби, согласно которому «вызов» и «ответ» на него являются решающим импульсом, дающим толчок процессу развития, и взглянуть на проблему более реально, то окажется, что, раз возникнув (в результате случайного совпадения благоприятных обстоятельств, т. е. своего рода мутации [см. 210, 187]), нововведение затем распространяется преимущественно посредством механизма диффузии. По мнению некоторых авторитетных специалистов в области истории культуры, например А. Кребера, в тех случаях, когда речь идет о сходстве структуральном, а не концептуальном[10], следует искать генетические связи и заимствования [427, 58]. Как исходная эвристическая посылка, этот принцип монофилетизма имеет право на существование, как, впрочем, и противоположный ему, отдающий приоритет самобытной, конвергентной эволюции. Но, если брать за исход-

[10] Концептуальное сходство — это тот случай, когда, скажем, использование металла базируется на различных принципах: на плавке его в Старом Свете и лишь ковке — в Новом [427, 91].

ную посылку примат конвергенции, возникнет вопрос: чем объяснить довольно стройную последовательность распространения кардинальных нововведений (чем далее от ближневосточной зоны, тем позже)? И если основа всему — самостоятельная эволюция, то почему в развитых цивилизациях Нового Света не было ни плавки металлов, ни колеса? Видимо, достижение определенных успехов в эволюции зависело не только от уровня развития, но и от множества благоприятных условий и просто случайностей, удачное совпадение которых вело к важным нововведениям, распространявшимся затем повсюду, куда только мог проникнуть (и где мог быть воспринят) поток информации. Таким образом, сам принцип регулярного распространения нововведений по ойкумене с помощью внешних импульсов безусловен, оспаривается лишь роль этих импульсов. И хотя вопрос по-прежнему остается открытым, есть веские причины присоединиться к мнению известного синолога К. Хэнце о том, что тезис об автохтонности любой культуры едва ли вообще правомочно брать в качестве рабочей гипотезы [387, 12].

Таким образом, есть некоторые основания предпочесть принцип поступательной эволюции в форме мутаций (если речь идет об органической жизни) или аналогичного им механизма для воссоздания сложного процесса генезиса мировой цивилизации. При этом важно, что само по себе понятие «мутация» при всей случайности и практической неповторимости этого явления не должно ассоциироваться с чем-то мистическим, сваливающимся как снег на голову. Как известно, мутации далеко не беспричинны и обычно являются результатом взаимодействия различных сил и факторов. Другое дело, что сущность всех этих сил и механизм их взаимодействия нередко не поддаются контролю или предвидению. Быть может, на тысячу различных мутаций или экспериментов (если идет речь о социально-культурной сфере), проведение которых соответствует мудрому принципу «проб и ошибок», может выпасть лишь одна удачная. Но появление этой удачи не так уж случайно: ведь оно подготовлено тысячью пробных опытов, проведенных в относительно благоприятных условиях. Рано или поздно эти опыты должны были привести к успеху, и в этом смысле эволюция является законом, движение вперед неизменно и неотвратимо.

Но это движение никогда в истории не было всеобщим и одновременным. Всегда были не только передовые и отстающие — это понятно и обусловлено объективными обстоятельствами существования различных коллективов и обществ. Гораздо важнее то, что даже примерно равные по уровню общества развивались каждое по-своему. У каждого был свой «стиль», свое «ядро», в силу чего энергия, поиск, направленность исторически сложившихся систем ценностей различались, причем чем дальше, тем больше. И вот здесь-то именно внешние импульсы выполняли важнейшую задачу уравнивания потенциа-

лов и доведения самой необходимой и важной информации до всех тех, кто был в состоянии ее воспринять. Если каждое из великого множества первобытных обществ всегда развивалось бы прежде всего и главным образом самостоятельно и спонтанно, заново совершая те громадные скачки в области культуры, которые даются так нелегко и требуют столь гигантских усилий, столь великого напряжения, то картина мира была бы сегодня крайне удручающей. Но в том-то и заключена великая мудрость закона эволюции социальной, эволюции культурной в отличие от эволюции биологической, сводящейся чаще всего к вымиранию менее приспособленных (менее удачные мутации) и выживанию и повсеместному распространению за их счет наиболее приспособленных (удачная мутация), что в социальной и культурной областях возможно заимствование, обмен знаниями, идеями, открытиями. Как писал в свое время Г. Чайлд, быстрота прогресса человечества, которая несоизмерима с темпами органической эволюции, обязана способности человека учиться у соседа, усваивать изобретения и достижения других [322, 4].

Механизм распространения информации, культурной диффузии, можно уподобить системе сообщающихся сосудов. Система эта действует практически везде, во всяком случае в пределах человеческих возможностей (изолированные материки, например Новый Свет или Австралию, мы оставляем в стороне). Но она далеко не всесильна, и пользоваться ее преимуществами в состоянии отнюдь не все. Для получения и усвоения сообщаемой ею информации этнокультурная общность должна была обладать не только минимальным уровнем развития, но и благоприятными условиями, способствовавшими реализации полученной информации.

Так, без подходящего климата, земель, водного режима земледелие либо было вовсе невозможно, либо требовало таких капитальных затрат и усилий, которые в ту далекую эпоху еще не могли быть приложены. Без наличия руд или обмена, ведшего к их появлению, невозможна была выплавка металлов и металлообработка. Кроме того, малочисленность или изолированность коллектива, живущего, скажем, в суровых условиях полюса или тропиков, в горах или на островах, неизбежно вели к отставанию его, а это, помимо всего прочего, сильно затрудняло усвоение чужого опыта, который мог оказаться чересчур сложным, необычным, просто ненужным. В результате возникала парадоксальная ситуация: система, служившая по идее для уравнивания потенциалов, на практике нередко способствовала дальнейшему усилению неравенства. Тот, кто активно перенимал достижения передовых и преуспевал в этом, получал тем самым добавочный толчок, дополнительный стимул, ускорявший темпы эволюции. Остальные отставали, причем их отставание становилось подчас еще большим (во всяком случае,

по сравнению с развивавшимися более быстрыми темпами соседями). Этот феномен может показаться фактором, свидетельствующим против роли внешних влияний, в пользу примата конвергентной эволюции (кто как может, тот так сам и эволюционирует). На деле же он отражает лишь парадоксальную противоречивость развития человечества и его культуры. И значимость фактора самостоятельного развития здесь очевидна, от него в конечном счете зависит, как будет развиваться данная этнокультурная общность. Но, во-первых, общности мобильны, и не раз случалось, что более развитые и удачливые оттесняли своих отставших соседей в менее благоприятные условия существования. А, во-вторых, коль скоро данная общность все-таки вступала на путь более или менее активной эволюции, дальнейшие темпы этой эволюции во многом зависели от информации извне, от механизма распространения достижений мировой культуры, механизма, действовавшего постоянно и всегда открытого для любого, желавшего и умевшего им воспользоваться.

Если механизм культурного взаимодействия и диффузии можно в какой-то мере уподобить системе сообщающихся сосудов, то реальный, практический результат этого взаимодействия, достижение и распространение по ойкумене того или иного уровня в процессе эволюции человека и его культуры целесообразно представить в виде своего рода многоступенчатой пирамиды.

Представим себе, что нижний ярус — это эпоха верхнего палеолита, сапиентного человека, жившего первобытными ордами. Будем исходить из того, что каждая из многочисленных и широко расселенных орд эволюционирует и тем самым как бы стремится подняться на следующую ступень пирамиды, символизирующую эпоху мезолита. Одним ордам, более активно взаимодействующим с соседями и находящимся в более предпочтительных климатических и природных условиях (теплая погода, обилие растительной и животной пищи, сравнительная легкость ее добывания, наличие подходящих карьеров для изготовления каменных орудий и т. п.), движение вперед дается легче, другим труднее. Одни уже почти достигли заветной черты, другие еще весьма далеки от нее. Наконец наступает момент, когда в одном достаточно обширном регионе (в данном случае в широкой полосе Северной Африки и Ближнего Востока) какая-то серия взаимодействующих друг с другом орд прорывает эту грань, вступает на новую ступень пирамиды — в мезолит. Значит ли это, что другие орды в другом месте не смогут добиться того же? Разумеется, не значит. Они могут, но, как правило, не успевают сделать это. Почему же?

Дело в том, что проникшие на вторую ступень быстро и энергично пользуются преимуществами своего положения. Они решительно используют новые приемы техники, новые дости-

жения культуры и занимают самые лучшие, самые удобные для их нового образа жизни территории. Остальные, естественно, оттесняются в менее удобные районы. В ходе столкновений часть верхнепалеолитических групп уничтожается, другие оттесняются, третьи ассимилируются и смешиваются с группами мезолитическими. Практически грани между первой и второй ступенью уже нет. Она разрушена. Стремиться преодолеть ее уже бессмысленно. Главное для отставших — выжить любой ценой, не дать поставить себя в тяжелые условия жизни. Некоторым ценой немалых усилий это удается, и их развитие за счет взаимодействия с передовыми мезолитическими коллективами резко ускоряется, что позволяет им стать в один ряд с передовыми. Для большинства же обычно бывала уготована более печальная участь. Вытесненные в неблагоприятные условия, они постепенно вымирали, уступая место опередившим их коллективам или оставаясь на положении оторванных от остального мира, изолированных и потому почти не развивающихся групп (австралийцы, тасманийцы и т. п.).

Примерно ту же картину можно наблюдать при попытке передвинуться со второй ступени на третью. Серия передовых мезолитических культур прорвала следующую грань и вышла на уровень неолита. Новые достижения, комплекс изобретений и открытий неолита за короткий срок дали ей в руки такое преимущество над остальными, которое позволило неолитическим земледельцам быстро увеличиться в числе, занять лучшие для земледелия места и начать быстро распространяться по ойкумене. Снова встает вопрос: могли ли где-либо в другом месте ойкумены (здесь речь идет только о Старом Свете — проблема неолитической революции в условиях Нового Света оставляется в стороне) мезолитические племена другой группы тоже прорвать грань, открыть и усвоить основные нововведения неолитического комплекса и успеть закрепиться на следующей ступени пирамиды до того, как быстро катившаяся волна неолитических земледельцев из первого очага неолита докатится до них? И снова можно ответить на него в принципе утвердительно. Такое не только могло быть, но и случилось в действительности. Но, как уже отмечалось, в юго-восточно-азиатском регионе земледелие имело иной характер, комплекс неолита оказался далеко не полным, земледельческий неолит не сыграл и не мог сыграть ту революционную роль, которую он сыграл в условиях неолитической революции на Ближнем Востоке.

Все это привело к тому, что земледелие и иные неолитические успехи племен Юго-Восточной Азии как бы застыли на самой грани, отделявшей мезолитическую ступень пирамиды от неолитической. Застыли и фактически не сумели прочно закрепиться на новой ступени. Не случайно некоторые специалисты отказываются даже говорить в этом случае о полноценном неолите [340, 104—106]. В результате все основные достиже-

ния неолитического земледельческого комплекса оказались обязаны своим распространением лишь влиянию Ближнего Востока — следов другой неолитической революции, которая в других районах могла бы независимо и самостоятельно привести к доместикации злаков и скота, пока на территории Старого Света не обнаружено.

В результате возникла сложная и пестрая картина населения ойкумены, состоявшего из передовых земледельцев, земледельцев чуть поотставших (и населявших поэтому менее удобные земли), племен с постепенно все более развивавшимся уклоном в скотоводство, неземледельческих племен охотников и собирателей, знакомых с комплексом неолитических открытий, и, наконец, племен, еще незнакомых или мало знакомых с ним. Разумеется, вся эта пестрота подвергалась нивелирующему воздействию механизма культурного взаимообмена, однако действие этого механизма все более затруднялось и различиями условий среды, и различиями в уровне развития, становившимися с течением времени все более заметными. Важно иметь в виду, что чем большими становились эти различия, тем более трудной оказывалась задача механизма культурного взаимодействия, с тем меньшим успехом шла диффузия, тем меньший результат давали культурные контакты [378, 78].

Четвертая ступень пирамиды — это генезис очагов первичных цивилизаций. Здесь действовал тот же принцип, что и прежде. Но механизм распространения и культурного взаимодействия был уже несколько усложнен, да и сама четвертая ступенька стала намного уже, как это характерно для любой ступенчатой пирамиды. Интересно, что грань этой ступени была достигнута и прорвана в нескольких местах в различное время. Казалось бы, это обстоятельство нарушает стройность теории. Это, однако, не так. Ведь и на предыдущих ступенях прорыв в других местах грани не исключался — он не оказывал влияния лишь потому, что распространение вширь было настолько быстрым и эффективным, что грань сама рушилась раньше, чем кто-либо еще успевал ее прорвать. На четвертой ступени, на ступени генезиса цивилизации, дело обстояло иначе. Процесс генезиса цивилизации, который более всего может быть уподоблен мутации, отличался тем, что основное направление развития данного первичного очага цивилизации шло не вширь, как это бывало прежде, а вглубь. Основное внимание в ходе этого развития отныне и впредь было направлено внутрь, а роль внешних контактов и влияний начала становиться — но только с этого времени — второстепенной.

Неудивительно поэтому, что наряду с первым очагом и лишь при некотором влиянии с его стороны вскоре возникло еще несколько первичных очагов цивилизации. И все эти очаги, хотя они уже и развивались под известным воздействием импульсов извне, ускорявших темпы эволюции и способствовавших же-

ланному прорыву очередной грани, были в целом вполне самостоятельными, разумеется, если эту самостоятельность понимать не как абсолютную автохтонность и полную независимость ото всех, а как результат спонтанного развития в условиях смешения различных культурных традиций и серьезного влияния извне, включая заимствование таких важных элементов цивилизации, как, например, металлургия бронзы. При этом необходимо иметь в виду, что чем позже совершался прорыв, чем позже возникал тот или иной очаг первичной цивилизации (а последним в Старом Свете был китайский), тем более значительную роль могли играть достижения культуры других цивилизаций[11]. С течением времени эти достижения практически стали достоянием всех тех культур и народов в ойкумене, которые могли или были близки к тому, чтобы вступить на путь развития цивилизации. С этого момента возникновения первичных очагов цивилизации более не могло произойти. Грань к четвертой ступени наконец рухнула, и все последующие очаги цивилизации, возникавшие, как правило, на производственно-культурной и социально-этнической базе погибших ранее цивилизаций, были уже очагами вторичными, чья генетическая связь с их предшественниками не вызывает сомнений у специалистов.

Какую же роль на этом фоне следует отвести внутреннему фактору? Эта роль была не только очень значительной, но и в определенном смысле решающей.

Во-первых, от внутреннего фактора зависела степень восприимчивости внешнего импульса. И в том случае, если эта информация — пусть даже в виде слабого толчка, ознакомления с идеей и смутного представления о технологии изготовления изделия — воспринималась, в силу снова вступали факторы внутренней эволюции, которые в результате ускоренных темпов развития довольно быстро воплощали в жизнь полученную идею, прибавляя к ней новые, самостоятельные решения. Иными словами, именно внешние импульсы давали толчок развитию внутреннего, что, в свою очередь, нередко приводило к новым оригинальным открытиям и усовершенствованиям.

Во-вторых, роль внешних импульсов бывала ничтожной, если племя или культура были не подготовлены к восприятию полученной информации. В этих условиях внутренний фактор — пусть в виде крайне замедленных темпов спонтанной эволюции — продолжал быть ведущим, и только после того, как волна информации оказывалась достаточно мощной (либо спонтанный процесс эволюции подвел данную этнокультурную общность к уровню, на котором она уже могла воспринять эту информацию), могли, да и то лишь на короткий срок, вступить

[11] Некоторые специалисты на этом основании высказывают даже сомнение в том, можно ли считать китайскую цивилизацию первичной [261, 23].

в действие внешние импульсы, после чего дальнейшая эволюция опять-таки ложилась на плечи внутреннего.

В-третьих, в любом случае внешние импульсы, как правило спорадические и кратковременные (в этом смысле упоминавшуюся выше систему сообщающихся сосудов точнее было бы представлять себе как механизм, работавший хоть и постоянно, но импульсивно, со своего рода «перебоями»), никак не меняли того, что внутреннее развитие общности шло по своим законам и нормам [12]. Именно на этом и построена, собственно, вся теория многолинейной эволюции и «ядра» цивилизаций. В этом смысле роль внутреннего фактора первостепенна и неоспорима. Более того, именно он и создавал всегда уникально-неповторимый облик любой данной культуры. Не будь этого — все неолитические культуры, скажем серии культур расписной керамики, были бы похожи, как близнецы. Однако культуры этой серии настолько различны, что специалисты подчас отказываются увидеть их родство, пусть хотя бы отдаленное. Словом, как писал Г. Фрэнкфорт, между механическим копированием и творческим заимствованием — огромная разница [366, 100].

Наконец, в-четвертых, по мере накопления культурного потенциала роль внутреннего фактора неуклонно возрастала. И если, скажем, при переходе от верхнего палеолита к мезолиту или в период неолитической революции заимствование новых методов и приемов в сфере производства и культуры играло решающую роль, то позже роль заимствования (и, следовательно, внешних импульсов в процессе эволюции данной общности) стала заметно уменьшаться. На передний план выходят факторы спонтанной эволюции, пока они не превращаются — с момента генезиса цивилизации, оформления ее «стиля» или «ядра» — в основную движущую силу. Конечно, это не значит, что и в более поздние эпохи не случалось, чтобы под воздействием внешних факторов (религиозные и иные войны, социальные и политические катаклизмы) решительно изменялись страны, народы и культуры. Все это нередко случалось (достаточно вспомнить, например, победоносное шествие ислама и сравнить древний Египет с современным). Однако, если не вести речь о катаклизмах и войнах, то развитие каждого народа и каждой страны в историческую эпоху было связано, как правило, с закономерностями ее внутренней эволюции.

Таким образом, роль внутренних факторов эволюции достаточно весома. В рамках же данной работы речь идет не о соотносительной значимости внешних и внутренних факторов вообще, а об их роли в период генезиса цивилизаций, т. е. в

[12] Отмечая это, А. Кребер писал, что ойкумена — великая мать всей человеческой цивилизации, что все изобретения рано или поздно распространяются по ней из конца в конец, но что все это никак не мешало индивидуализации отдельных цивилизаций, например китайской [427, 392].

ту отдаленную пору, когда шел процесс формирования древних этнокультурных общностей. Ставя своей задачей ответить на вопрос об истоках той или иной цивилизации, и в частности китайской, необходимо обратить внимание на все стороны процесса эволюции и зафиксировать ту важную роль, которую играли в ходе этого сложного процесса факторы различного порядка, в том числе и внешние импульсы, миграции и культурная диффузия.

глава вторая

ИСТОРИОГРАФИЯ ГЕНЕЗИСА КИТАЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Как и когда возникла китайская цивилизация?

Эта проблема намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Так, например, путь от синантропа до протокитайца-яншаосца был не только крайне извилистым, но и, видимо, пересекался таким количеством боковых, окольных и возвратных тропинок, что распутать этот клубок едва ли под силу современной науке. Мы вправе предположить существование определенной генетической связи между тем и другим, разделенными почти 400 тыс. лет, но у нас нет никаких оснований ограничиться только этой одной линией и заранее отвергнуть как невероятные любые другие культурные и генетические связи того же яншаосца. В еще большей степени это относится и к происхождению иньцев и всей иньской цивилизации, которые, безусловно, связаны корнями с китайским неолитом (в том числе и с Яншао), но которые при этом имели и иные этнокультурные связи.

Вопрос об истоках китайской культуры был поставлен в науке давно, но до сих пор еще не разрешен. Накопилась обширная историография вопроса, зафиксированы самые разнообразные гипотезы и концепции. Их исходные позиции и выводы, аргументированность и методика доказательств весьма различны. Подавляющее большинство их уже давно потеряло свое значение и стало достоянием истории. Однако знакомство с ними важно не только для уяснения истории вопроса, но и для более четкого представления о всех тех постулатах и презумпциях, которые довлели в синологии в прошлом и нередко оказывают свое воздействие и сегодня, особенно в тех случаях, когда затронуты такие щекотливые и имеющие подчас далеко не только академическое значение вопросы, как проблема происхождения китайцев и их культуры.

В многовековой китайской конфуцианской историографической традиции эта проблема практически не ставилась. Считалось само собой разумеющимся, что корни китайской цивилизации уходят в глубочайшую древность, что именно тогда, в эпоху правления легендарных мудрецов (Хуанди, Шэньнуна,

Фуси, Нюйва, Яо, Шуня, Юя и др.), которые научили простых людей всему необходимому в жизни, и был подлинный «золотой век», причем этот век был, естественно, китайским. Вообще влияние конфуцианства на историографическую традицию Китая особенно заметно в вопросе о роли китайской цивилизации и ее месте в мире [55, 205—207]. Дело в том, что, как бы ни решать проблему истоков китайской цивилизации, возникла она на окраине ойкумены, в отдалении от других центров мировой культуры. Ее заметное и со временем все возраставшее отличие в темпах развития и культурных потенциях от окружавших ее народов не могло не найти своего отражения в идеологии. Уже в начале I тысячелетия до н. э. китайцы воспринимали свою страну как своеобразный центр вселенной, что нашло выражение в принятых тогда ее наименованиях — Поднебесная (Тянься), Срединная империя (Чжунго). Позже, под непосредственным влиянием приобретавшего все больший авторитет конфуцианства, стала складываться концепция, суть которой сводилась к тому, что главное в китайской цивилизации — это ее моральная культура, выработанные древними обычаи, традиции, принципы поведения и взаимоотношений. Именно этим, а не языком, цветом кожи, разрезом глаз или еще чем-либо в первую очередь и главным образом отличаются китайцы от всех своих соседей.

Другими словами, именно принадлежность к цивилизации, причем к единственно возможной и, естественно, наилучшей цивилизации, отличала китайцев, по их мнению, от остальных, обычно пренебрежительно именовавшихся «варварами». Эту характерную для китайской конфуцианской историографической традиции особенность отмечали в своих трудах и зарубежные синологи, да и сами китайцы [444, 3—5]. Конкретное же свое выражение она находила не только в практике взаимоотношений с соседями, не только в высокомерной уверенности в собственном превосходстве, но и в становившемся со временем все более осознанным и глубоким представлении об извечном приоритете Китая и его культуры. Это легко понять: коль скоро вся писаная история страны, охватывающая два-три тысячелетия, полна сообщениями об иноземных данниках, заимствовавших с благодарностью достижения китайской цивилизации, то едва ли могут быть даже сомнения в том, кто был в процессе культурных контактов донором. Отсюда естественный и логичный шаг к представлению о китайской цивилизации как о сияющем центре, излучающем культурную радиацию. Едва ли можно и обвинять конфуцианских историков за то, что они столь прямолинейно интерпретировали естественно складывавшиеся взаимоотношения Китая с его соседями. Это было для них нормальным выводом; в свое время и в аналогичных обстоятельствах идеология культурной радиации и взаимосвязи между «цивилизацией» и «варварами» была постулирована и в древнем

Риме. Но иметь это в виду и постоянно держать в памяти при оценке китайских историографических традиций нужно, даже необходимо, так как китаецентризм стал со временем устойчивым стереотипом, частью национального самосознания воспитанных в духе конфуцианских традиций жителей Поднебесной. Не случайно главное, чем гордились подданные сына Неба,— это то, что они рождены в Китае и являются китайцами, а не какими-нибудь жалкими «варварами».

ЗАПАДНАЯ СИНОЛОГИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ КИТАЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (XVII — начало XX в.)

Понятно и естественно, что синология как наука о Китае, ставящая целью изучать Китай, китайцев и их культуру, возникла за пределами этой страны и развивалась в основном усилиями западных специалистов. Если не считать «Книги Марко Поло» [113], которая в конце XIII в. впервые более или менее обстоятельно познакомила Европу с Китаем, пусть даже в форме описания путешествий с перечислением чудес и диковинок, то начальным этапом развития синологии следует считать XVII век, когда в Европе на различных языках, прежде всего на латыни, стали появляться одно за другим сочинения миссионеров-иезуитов о Китае. И, что весьма любопытно, уже в этих первых сочинениях и в реакции специалистов на эти сведения немалое место занимали рассуждения на тему о возможном происхождении китайской цивилизации. Так, в 1670 г. в сочинении А. Кирхера [424] был поставлен вопрос о возможном египетском происхождении китайской цивилизации. И если труд Кирхера был примечателен лишь тем, что в нем впервые была выдвинута подобная гипотеза, обоснованная, кстати сказать, не только попытками сблизить китайские и египетские иероглифы, но и ссылками на библейские материалы («дети Хама создали колонию в Китае»), то в следующем столетии к этой гипотезе стали склоняться и некоторые известные синологи, например Дегинь [342, 36—38].

Почти параллельно с «египетской» была выдвинута «вавилонская» гипотеза, которая обращала внимание на сходство китайской письменности с вавилонской эпохи строительства «вавилонской башни» [см. 335, 26]. Надо сказать, что признание китайцев, как и всех других народов, «детьми Ноя» было одним из решающих аргументов и в XVIII [461, т. I, 93] и даже в XIX в. [551, 11]. Вообще авторитет Библии играл в синологии, особенно в XVII—XVIII вв., решающую роль, едва ли не большую, нежели весьма сомнительное сходство китайских иероглифов с египетскими или с финикийским алфавитом. Не случайно известный «богоборец» Вольтер, весьма заинтересованно следивший за книгами о Китае и воспринимавший описанные иезуи-

тами [1] конфуцианские порядки как идеал «просвещенной монархии», в одном из своих сочинений едко высмеял теории о западном происхождении китайцев, подчеркнув, что ни язык, ни письмо, ни нравы их не схожи с древнеегипетскими [см. 335, 19].

С XIX в. в синологии многое изменилось. Оставив в стороне спекуляции на библейских преданиях, ученые более подробно занялись проблемой сходства письменности и пришли к выводу, что сходства немного. Клапрот, например, писал в начале XIX в., что сегодня гипотезу Дегиня о том, что древнекитайские иероглифы суть монограммы финикийского алфавита, уже отвергли все серьезные ученые [425, т. II, 99—100]. Это не значит, однако, что синологи перестали разрабатывать гипотезы о западном происхождении китайской цивилизации. Напротив, именно со второй половины XIX в. начинается подлинный расцвет такого рода гипотез и теорий. Но в отличие от примитивных построений, основанных преимущественно на библейских преданиях, синологи, использовавшие теперь в своих трудах достаточно строгую научную методику, начали предлагать намного более аргументированные теории. Этому способствовали и достигнутые к тому времени первые значительные успехи в области изучения древнейших ближневосточных цивилизаций, расшифровки их письменности и т. п.

Одними из первых с более или менее обстоятельными и разработанными теориями о ближневосточном (месопотамском или месопотамско-армянском) происхождении китайцев выступили Д. Челмерс [299] и Д. Эдкинс [354], которые основывали свои выводы на сравнительном изучении различных древних языков. Как известно, Эдкинс пришел к выводу, что европейские и азиатские (в том числе китайский) языки вышли в конечном счете из одного корня, из района Армении — Месопотамии. Правда, вскоре после выхода в свет обеих книг Г. Шлегель упрекнул их авторов в том, что они не овладели подлинно научными методами сравнительной филологии [504]. Однако, несмотря на это, сам Шлегель, изучая древнекитайскую астрономию, пришел к аналогичным с Челмерсом и Эдкинсом выводам о ее возможных истоках [505]. Этот вывод, кстати сказать, впервые был сделан С. Байи столетием раньше: как полагал Байи, в астрономических знаниях древних китайцев, индийцев и халдеев настолько много общего, что их следует считать одной общей наукой, принадлежавшей, по-видимому, какому-то «пранароду», от которого она и стала известна остальным [278, 18 и 62; 335, 33—34].

Работы Челмерса, Эдкинса и Шлегеля возбудили в синологии интерес к проблеме месопотамского происхождения китайской цивилизации. Для второй половины XIX в., когда историкам и лингвистам становилось все более ясным, что корни всей евро-

[1] Немалая часть их трудов издавалась на французском языке, например книги Дегиня, Дюгальда [342, 347].

лейской цивилизации уходят в ближневосточный регион, это было вполне логичным. Неудивительно поэтому, что в конце XIX и начале XX в. для ряда ученых исследование проблемы культурных связей и аналогий между Китаем и ближневосточными странами стало основной темой. В первую очередь здесь следует упомянуть французского синолога Т. де Лакупри.

Перу Лакупри принадлежит немалое количество работ, посвященных изучению истоков китайской цивилизации и возможных параллелей между ней и другими древними очагами мировой культуры [429; 430; 431]. В этих исследованиях скрупулезно, с обилием деталей и подробностей, сносок и ссылок на научные авторитеты говорилось обо всех тех элементах этноса и культуры, которые, по мнению Лакупри, были заимствованы китайской цивилизацией из Западной Азии. В заключительных главах своей итоговой монографии исследователь предложил даже реконструкцию всего того гипотетического пути, который проделали предки китайцев во главе с Хуанди: Хорасан — Бадахшан — Туркестан — Ганьсу — Шэньси [431, 316—337].

Нельзя сказать, чтобы поистине титанический труд Лакупри был напрасным. Кое-что в его исследованиях и отождествлениях заслуживает серьезного внимания. Некоторые реконструкции имеют под собой реальные основания, так же как и факты генетической близости ряда отмеченных им элементов культуры, прежде всего аналогии в сфере астрономических и географических представлений [429, 29; 431, 4—19 и др.]. Однако допущенные им явные натяжки и преувеличения, равно как и отмеченная его критиками тенденция к смешению данных разных эпох [335, 27—28], во многом обесценили его работу, не говоря уже о том, что гипотетическая реконструкция пути протокитайцев в Китай была вовсе лишена тогда хоть каких-либо серьезных оснований. Вот почему исследования Лакупри критиковались в работах последующих синологов [396, 14—18; 443, 9].

По-видимому, неудачи Лакупри во многом предопределили и скептическое отношение к ряду его последователей, позиции которых значительно окрепли после открытия древнешумерской письменности. Аналогии между шумерским письмом и китайскими иероглифами оказались гораздо более очевидными, нежели все предыдущие (Китай и египетские иероглифы, финикийский алфавит, халдейское письмо и т. п.). В статьях некоторых авторов [399; 549], а затем и в обстоятельной монографии Ч. Болла [279] были детально проанализированы все моменты сходства древнекитайской и раннешумерской письменности. Болл, в частности, нашел до сотни шумерских идеограмм, которые оказались вполне сопоставимы, подчас даже идентичны китайским, что было признано рядом синологов [335, 29—30; 428, 116]. Однако это сходство было явно недостаточным для вывода о взаимных влияниях. Противники идеи западного происхождения китайской

Государственная библиотека СССР

цивилизации поставили вопрос о том, что такого рода сходство могло быть результатом случайности и что едва ли даже можно полагать, что древние китайцы и шумеры получили зачатки своей письменности из одного источника [428, 116].

Действительно, в распоряжении науки на рубеже XIX—XX вв. было еще слишком мало серьезных и неопровержимых данных, чтобы ставить вопрос о связях китайской цивилизации с ближневосточными. Неудивительно, что многие синологи придерживались более осторожных взглядов и полагали, что истоки китайской цивилизации восходят к Средней Азии или Восточному Туркестану. Это предположение, кстати сказать, находившее себе поддержку в мифологических преданиях китайцев о горе Куэнь-Лунь как их прародине, имело то несомненное преимущество, что оно давало возможность не отрываться от реальности и тем самым не быть вынужденным пускаться в сложные и неубедительные миграционные построения. Средняя Азия и тем более соседний с ней бассейн Тарима были расположены сравнительно близко от Китая, так что миграции культур в подобных масштабах могли уже не ставиться под сомнение.

Одним из первых теорию о бассейне Тарима как о прародине китайцев, кстати, не только китайцев, но и ряда других древних народов, выдвинул Ф. Рихтгофен [486, 404—428]. Параллельно с ним примерно в том же духе высказывался и маститый английский синолог Д. Легг, автор классического перевода древнекитайских источников, давший описание возможной миграции предков китайцев из Средней Азии [440, т. III, ч. 1, Prolegomena, 190]. Наконец, в 1888 г. с двумя книгами, посвященными анализу китайских иероглифов в связи с проблемой среднеазиатского происхождения китайцев, выступил С. Георгиевский [66; 67], продолживший в этом плане изыскания и предположения своего учителя акад. В. П. Васильева [45]. Характерной особенностью этих и ряда других «умеренных» концепций был уклон в сторону более обстоятельного изложения тех аспектов проблемы, которые позволяли ставить под сомнение тезис об автохтонности китайцев и китайской цивилизации. Даже если и шли споры по поводу возможных направлений миграции, то это в основном были уже споры «внутри Китая», т. е. о том, через какие реки и провинции пролегал гипотетический путь из Туркестана в Китай [66, 11 сл.]. Главным же было стремление учесть свидетельства самих китайцев, в том числе древнекитайских текстов, об их западных связях.

Обратив основное внимание на собственно китайские данные и подвергнув их строго критическому анализу, синологи прежде всего поставили под сомнение весь древнейший пласт китайской истории с ее легендарными героями и правителями. Пожалуй, первое место в плане критического анализа китайских древностей по праву принадлежит В. П. Васильеву. Если о происхождении китайской цивилизации и о ее истоках наука может рас-

суждать только гипотетически, то еще большего скептицизма заслуживают, по его мнению, данные полулегендарных преданий о древнейших периодах истории Китая. И если подлинный ученый не хочет оперировать гипотезами или опираться на недостоверные легенды, то он заранее должен строго ограничить тот круг источников, которым следует доверять. Руководствуясь такими исходными принципами, Васильев вообще как бы отсек все те сведения, которые восходили ко времени, предшествовавшему IX в. до н. э. Только с этого времени, о котором источники сообщают уже вполне реальные и достоверные сведения, можно начинать документированную историю Китая [46, 27]. Пример В. П. Васильева сыграл определенную роль: некоторые синологи вслед за ним тоже стали строго отметать как недостоверные данные о более ранних эпохах. Так, Э. Паркер свою историю древнего Китая тоже начал лишь с IX в. до н. э. [473].

Возможно, что в начале XX в. такой гиперкритицизм в какой-то степени был уже и реакцией на все ставшие тогда распространенными гипотезы о западном происхождении Китая. По-видимому, многие синологи были пресыщены перепевами на тему о сходстве иероглифов и бесчисленными, но малодоказательными миграционными построениями. Показательно, что в 1916 г. появилась монография Д. Росса, поставившая своей целью опровергнуть все эти гипотезы и теории и доказать автохтонность и самобытность китайской цивилизации [487]. Правда, в этом направлении Росс достиг немногого по сравнению с тем, что уже задолго до него было сделано китайской историографической традицией, а его контраргументы, сводившиеся к утверждению, что элементы сходства китайской цивилизации с другими могли быть результатом влияния именно китайской цивилизации [487, X], в условиях начала XX в. выглядели просто анахронизмом. Однако усталость от бесконечных гипотез о западном происхождении китайцев была, видимо, настолько велика, что маститый синолог Г. Джайльс в своем предисловии к этой книге [487, VI] выразил согласие с главной идеей автора об автохтонности и самобытности китайской цивилизации.

В таком или приблизительно таком состоянии находилась проблема генезиса и истоков китайской цивилизации в западной синологии начала XX в. Эвристические посылки, лежавшие в основе всех ранних теорий об иноземном происхождении китайской цивилизации, были столь же слабо аргументированы, как и противоположные им посылки, лежавшие в основе китайской историографической традиции. С точки зрения логики можно было на равных основаниях принять и ту и другую исходную точку и, базируясь на ней, пытаться отстаивать или опровергать автохтонность китайской цивилизации. Для выяснения истины в то время просто не было достаточных данных: их не хватало даже для того, чтобы в осторожной форме, на основе серьезных аргументов предположить наибольшую вероятность той или иной точ-

ки зрения. Поэтому состояние изучения проблемы накануне 20-х годов нашего века в западной синологии во многом определялось уже не столько объективными причинами, сколько субъективными факторами, подчас просто симпатиями, априорными пристрастиями, скептицизмом и т. п. В китайской синологии, которая в начале XX в. переживала процесс бурного развития, положение было значительно более сложным.

СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ СИНОЛОГИИ

Если историографическая традиция Китая уходит своими корнями далеко в глубь веков, то современная наука и синология как часть ее появились там сравнительно недавно. Практически только в конце XIX в. в Китае под влиянием Запада стала возникать прослойка хорошо образованных и эрудированных уже не только в конфуцианстве и китайской истории интеллигентов с характерным для них критическим мышлением и стремлением переоценить все традиционные догмы. Разумеется, пафос переоценки и разрушения отживших предрассудков был вначале направлен в сторону самых актуальных явлений, находившихся весьма далеко не только от проблем генезиса китайской цивилизации, но и от истории и философии истории вообще. Не случайно деятельность наиболее выдающихся просветителей и реформаторов той эпохи — Янь Фу, Кан Ю-вэя, Лян Ци-чао — была связана прежде всего со стремлением к преобразованиям в сфере социальной политики, образа жизни страны и народа. Однако уже на рубеже XX в. движение за разрушение догматических традиций, схоластики и устоявшихся стереотипов стало заметным и в историографии. По словам Ли Цзи, с начала XX в. в области изучения истории, особенно древней, стал все более отчетливо давать о себе знать новый для Китая дух скептицизма и критики с его главным принципом «Предъявите ваши доказательства!». «Если кто-нибудь хочет воздать должное золотому веку Яо и Шуня,— пожалуйста, предъявите ваши доказательства; если кто-либо намерен порассуждать о чудесах инженерного искусства великого Юя в III тысячелетии до н. э. — доказательства тоже должны быть представлены. И, что особенно важно в этой связи, ссылки на одни только письменные источники теперь уже не считались достаточным аргументом» [446, 4].

Движение «4 мая» сыграло огромную роль в гигантском ускорении процесса модернизации всех отраслей науки, всех сторон жизни и быта страны. Критика конфуцианских традиций, тормозивших развитие страны, становилась все резче и звучала все громче. Реформаторы, демократы, радикалы, революционеры различных направлений от Чэнь Ду-сю, Ли Да-чжао, Лу Синя до Ху Ши всеми силами способствовали преодолению догматизма и схоластики, стремились создать новые принципы и новые

методы изучения и оценки исторических событий, культурных явлений. Бóльшая часть китайских историков во главе с Гу Цзеганом заново, с позиций современной методики исследования и аргументации стала изучать многие спорные проблемы древней истории Китая [401]. И хотя в центре их внимания в первую очередь оказались проблемы внутренней социальной и политической истории, некоторая часть статей в сборниках, выходивших под редакцией Гу Цзе-гана [602], была посвящена и вопросам, прежде не ставившимся в китайской историографии. К числу таких вопросов можно отнести, например, проблему этимологии некоторых терминов. При этом характерно, что авторы статей не бравировали своей убежденностью в чисто китайском происхождении этих терминов, но, напротив, демонстрировали немалую эрудицию, сопоставляя китайские знаки с греческими и латинскими терминами, с древнемесопотамскими иероглифами [634, 24—26].

Наряду со сборниками Гу Цзе-гана некоторое количество статей, посвященных проблеме происхождения китайского народа и миграциям протокитайцев, было помещено в 30-х годах XX в. на страницах ряда журналов [619; 639; 645; 796][2]. Для части этих работ было характерно немалое внимание к достижениям ученых Запада, стремление перенять у них современные методы исследования, заимствовать аналитический подход и широту взглядов на всемирно-исторический процесс. Обращение к Западу, однако, приносило различные плоды. Нельзя не напомнить о том, что многое из западной науки воспринималось в Китае сквозь призму христианской религии, авторитет которой был превыше всего в миссионерских колледжах, широко распространенных в то время в Китае. Естественно, что представители таким образом христианизированных китайцев нередко воспринимали из западных наук не столько современные методы и новейшие достижения, сколько новые схемы и догмы, вытеснявшие в их мышлении старые. В этой связи необходимо упомянуть об одной брошюре, написанной в 1914 г. и специально посвященной проблеме сотворения мира и происхождения китайцев.

Автор брошюры попытался увязать библейские сюжеты и предания с хорошо известными каждому китайцу древнейшими мифологическими преданиями о деяниях мудрецов. Не мудрствуя лукаво, он с завидной легкостью произвел ряд отождествлений и составил генеалогические таблицы рода человеческого, начиная от Адама. Заменив библейские имена на китайские (Адам — Хуан, Каин — Хуанди, Ной — Нюйва, Сим — Шэньнун, Енох — Фуси и т. п.) и не утруждая себя даже аргументацией,

[2] В соответствующих разделах изданного в 1957 г. Указателя статей по истории Китая, опубликованных до 1937 г. на страницах китайских журналов, можно насчитать десятки работ такого характера, являющихся ныне в большинстве библиографической редкостью, практически недоступной для изучения.

автор затем вкратце рассказал о потопе, переселениях потомков Ноя и счел свою миссию в основном выполненной [532].

Эта курьезная брошюрка — одна из первых, если не первая в китайской историографии специальная работа, посвященная проблеме происхождения китайской цивилизации и опирающаяся при этом не только на китайскую традицию. В ней наглядно проявилась слабость научного мышления христианизированных китайских интеллигентов, доля которых в образованных кругах Китая в начале XX в. была не столь уж мала. Эта слабость имела и свои последствия. Ведь нельзя не учитывать, что наряду с тенденцией заимствовать у научной мысли Запада ее методологию и идеи в среде китайской интеллигенции существовали и со временем даже усиливались и иные, националистические, китаецентристские тенденции, восходившие к традиционному чувству превосходства всего китайского и обостренные чувством унижения со стороны Запада. И эти тенденции тоже не могли не сказаться на результатах процесса переоценки ценностей, процесса становления новой китайской историографической традиции. Вольно или невольно, но они толкали китайских исследователей в сторону привычных истин, сводившихся к признанию безусловной автохтонности китайской цивилизации.

Этой своеобразной реставрации, которая была уже вполне ощутима в 20-х годах и стала весьма заметной позже, особенно в КНР, способствовало и то обстоятельство, что сам процесс становления новых методов и форм анализа протекал далеко не быстро и не гладко: сказывалось влияние конфуцианства с его догматикой и схоластикой. Конфуцианское искусство умелой интерпретации, ловкая трактовка, подчас подгонка фактов к априорно принятой концепции — все это наследие многовековой традиции комментирования играло в процессе становления новых историографических приемов китайской синологии немалую роль. Естественно, это сказалось и в работах китайских историков, посвященных проблемам генезиса китайской цивилизации.

Китайские историки первой четверти XX в. были знакомы со спекуляциями западных синологов на эту тему. Разумеется, они при этом превосходно знали и сообщения древнекитайских источников и мифологической традиции о ранних этапах истории Китая. Перед ними (также, впрочем, как и перед их западными коллегами) стояла задача сопоставить все факты, гипотезы и аналогии и прийти к каким-то выводам. Как это делалось? Вот один весьма характерный пример.

В «Чжуан-цзы», составленном примерно в IV—III вв. до н. э., есть упоминание о том, что легендарный первопредок китайцев некогда прогуливался в районе хребта Куэнь-Лунь и даже поднимался на вершину одной из гор [776; гл. «Тянь-ди», 71]. В несколько более поздних источниках можно найти еще более конкретные упоминания о том, что в районе гор Куэнь-Лунь была столица, т. е. местопребывание Хуанди [256, 353]. Но и это еще

не все. Сведения древних источников подтверждаются топонимикой: одна из гор хребта Куэнь-Лунь, расположенного на северо-западных окраинах Китая, действительно называется Хуанди. Из всего этого следует, что предки китайцев были каким-то образом связаны с северо-западными территориями Китая, что, кстати, обычно обыгрывали в своих построениях и западные синологи. Учитывая это, один китайский историк, Дин Цянь, принявший концепцию о западном происхождении китайцев, в качестве одного из аргументов сослался на название горы в Куэнь-Луне и заключил отсюда, что китайцы во главе с Хуанди в свое время мигрировали из Центральной Азии в Китай. Однако как бы в ответ на это другой китайский ученый, Чэнь Дэн-юань, в специальной работе, посвященной истории китайской цивилизации, на этом же основании пришел к прямо противоположному выводу. Он утверждал, что гора Хуанди была так названа именно потому, что к ней в свое время, при правлении Хуанди, прибыла группа эмигрировавших из Китая китайцев [см. 428, 117—118].

Понятно, что на таком уровне аргументации никакой серьезной научной дискуссии быть не могло. Факты оставались фактами, но эти факты были нейтральными по отношению к гипотезам, которые пытались на них опереться. Иными словами, этих фактов было просто недостаточно. Для доказательства правоты той или иной концепции нужны были новые данные, без которых спор о проблемах генезиса и культурных контактах древнекитайской цивилизации оставался лишь упражнениями в схоластике. Необходимость в этих новых данных в то время ощущали уже все синологи, как китайские, так и западные, уставшие от бесконечных вариаций на тему о генезисе китайцев и их культуры. И эти данные вскоре были найдены, причем данные очень убедительные, достоверные и многочисленные. Речь идет о первых успехах молодой тогда еще археологии, крупные открытия которой в Китае в 20-х годах нашего века ознаменовали наступление нового этапа в изучении древнейших периодов истории Китая.

НАЧАЛО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ КИТАЯ

Археологическое изучение Китая началось с обследования его центральноазиатских и дальневосточных окраин. Уже первые экспедиции С. Гедина и А. Стейна, ограничивавшиеся в основном предварительным обследованием и подъемными полевыми сборами, обнаружили и впоследствии опубликовали большое количество ценных материалов [65; 519]. Результаты этих экспедиций привлекли внимание крупных синологов, в том числе Э. Шаванна [309], и, в свою очередь, побудили их приступить к археологическому обследованию ряда районов Китая [310].

Однако наиболее значительные первые археологические открытия связаны с именем выдающегося шведского ученого И. Г. Андерсона, приглашенного в Китай в 1914 г. в качестве советника по геологии. В 1919 г. под его руководством и по его инициативе были начаты раскопки в районе Чжоукоудянь [266], которые уже в 1921—1923 гг. привели к обнаружению стоянки человека раннего палеолита. В раскопках приняли участие и молодые китайские археологи, в том числе Пэй Вэнь-чжун, на долю которого и выпала редкая удача первым обнаружить череп ископаемого человека. Раскопки продолжались вплоть до 1937 г. Было найдено и исследовано несколько местонахождений с черепами и скелетными останками нижнепалеолитических людей [311, 18—19; 736]. В этих же стоянках было обнаружено около 100 тыс. каменных орудий, обломков и осколков, в основном выделанных из гальки в чопперной технике, а также огромное количество костей животных и толстые слои золы, свидетельствующие об использовании огня. Геологические данные позволили определить, что найденный в Чжоукоудяне ископаемый человек жил около 400 тыс. лет назад, а мощность культурного слоя в некоторых найденных местонахождениях свидетельствовала о том, что человек жил в пещере очень долго. Тщательное изучение костных останков показало антропологам, что они имеют дело именно с человеком, хотя и с древнейшим его представителем — архантропом. Д. Блэк дал этому архантропу наименование «синантроп», под которым он и стал затем широко известен [273, 23; 736, 7].

Находка синантропа была сенсацией, открытием мирового значения. На этом фоне некоторые другие важные находки палеолитических культур отошли как бы на второй план, хотя и они сыграли свою роль в изучении древнейшего прошлого. Так, в 1922—1923 гг. французская археологическая экспедиция во главе с П. Тейяром де Шарденом и Э. Лисаном при участии молодого китайского ученого Цзя Лань-по обнаружила на севере Китая, в районе Шуйдунгоу (Ордос) еще одну палеолитическую культуру, во многом отличную от чжоукоудяньской. Для этой культуры были характерны преимущественно мелкие каменные орудия, сходные с микролитическим инвентарем мезолита и по форме (остроконечники, скребла) близкие к европейским палеолитическим орудиям. Среди каменных орудий и костей животных было найдено и несколько зубов ископаемого человека, получившего наименование «ордосского», или «хэтаоского» [735; 181][3].

[3] Датировка этой культуры спорна. В отличие от пещерных стоянок Чжоукоудяня археологические находки в степных районах Ордоса были в основном результатом подъемных сборов. В результате специалисты довольно сильно разошлись между собой в оценке древности ордосского человека и его культуры. Андерсон предполагал, что эта культура существовала около 50 тыс. лет назад [273, 30], Цзя Лань-по — 75—150 тыс. [735, 68], а в недав-

В начале 30-х годов Пэй Вэнь-чжуну удалось обнаружить и раскопать в районе Чжоукоудяня «Верхнюю пещеру» (Шаньдиндун), где были обнаружены разнообразные изделия из камня, кости, раковин и останки нескольких сапиентных верхнепалеолитических людей, в том числе три хорошо сохранившихся черепа [657, 23—28]. Эта находка явилась новой сенсацией, ибо культура шаньдиндунцев, не говоря уже об их расовом типе, вызвавшем целую дискуссию среди антропологов, заметно отличалась от ордосской и в некоторых отношениях (галечные орудия, чопперы) была близка к культуре синантропов, живших в этом же районе едва ли не на 400 тыс. лет раньше [4].

Серия находок и раскопок палеолитических культур завершилась в начале 30-х годов открытием и раскопками стоянки Гусяньтун близ Харбина. Вначале эту стоянку исследовали харбинские археологи А. С. Лукашкин и В. В. Поносов [311, 44; 479], затем японцы Токунага и Наора [524]. Правда, в Гусяньтуне не были найдены костные останки человека, но многочисленные изделия из камня и кости, многослойные стоянки со следами жилищ позволили ученым прийти к выводу о позднепалеолитическом характере культуры. Позже этот вывод из-за заметной роли в каменной индустрии Гусяньтуня микролитических традиций был изменен специалистами, так что в сводке Чжэн Дэ-куня эта культура считается уже мезолитической [311, 46].

Не меньшие успехи принесли в 20-х годах и археологические раскопки неолита. В конце 1921 г. Андерсон приступил к раскопкам неолитического поселения близ деревни Яншао (провинция Хэнань), откуда еще в 1920—1921 гг. его сотрудники привозили множество найденных в результате полевых сборов каменных орудий. Результаты раскопок превзошли все ожидания: была обнаружена крупная стоянка эпохи развитого земледельческого неолита с большим количеством каменных орудий и богатейшими фондами керамики: расписной полихромной, серой и черной. Расписных сосудов было особенно много, причем они были весьма совершенны по форме и выделке и покрыты великолепным орнаментом. Вслед за Яншао Андерсон и его сотрудники раскопали целую серию аналогичных стоянок культур расписной керамики в провинциях Хэнань и Ганьсу — Лоханьтан, Мацзяяо, Мачан, Сыва, Шацзин, а также ряд могильников с расписными сосудами в Баньшань и Синьдянь. В провинции Ганьсу была раскопана также стоянка Цицзя, в которой не было об-

ней сводке Чжэн Дэ-куня, обратившего внимание на микролитический характер каменной индустрии ордосцев, весь комплекс помещен под рубрикой верхнего палеолита [40—10 тыс. лет до н. э.] [311, 32—34].

[4] Сходство это показалось настолько разительным, что было даже выдвинуто предположение, что шаньдиндунцы подбирали орудия синантропов и использовали их. Однако специальные исследования последующих лет показали, что дело здесь заключалось в различиях между двумя культурными традициями, развивавшимися параллельно в различных регионах Евразии в эпоху палеолита.

наружено расписной керамики и которую Андерсон счел поэтому более ранней. Сводное изучение материала, собранного Андерсоном в этих стоянках и могильниках, а также в немногочисленных аналогичных стоянках, обнаруженных им несколько позднее в соседних провинциях Цинхай, Шэньси и Шаньси, привело шведского ученого к выводу, что перед ним последовательные этапы эволюции одной и той же неолитической культуры: Цицзя—Яншао—Мачан—Синьдянь—Сыва—Шацзин. Каждый из этих этапов существовал, по его предположениям, около трех столетий, в результате чего общая для всех шести этапов хронологическая шкала охватывала 1800 лет. Начало этой шкалы Андерсон сперва отнес к IV тысячелетию до н. э., а позже — к середине III тысячелетия до н. э. [268; 273; 275]. Почти одновременно с Яншао, в том же 1921 г., Андерсон и Пэй Вэнь-чжун исследовали многослойную неолитическую стоянку в пещере Шаготунь, где в нижних слоях было найдено немало обломков расписной керамики. Видимо, жители этой стоянки, расположенной в Маньчжурии, имели некоторые культурные связи с зоной расписной керамики Яншао в Китае и с зоной микролитического мезо- и неолита более северных районов [267; 273, 149—152; 311, 147—150].

Открытая Андерсоном серия культур расписной керамики локализовалась в основном в западной части бассейна Хуанхэ. Вскоре после обнаружения этой серии культур на востоке страны, в провинции Шаньдун, были найдены следы другой высокоразвитой поздненеолитической земледельческой культуры, заметно отличавшейся от Яншао. Эту культуру первым описал проведший предварительное обследование ее стоянки близ деревни Луншань китайский археолог У Цзинь-дин, который и дал новой культуре наименование Луншань. Вскоре в район новой находки была командирована специальная экспедиция известных китайских археологов — Ли Цзи, Лян Сы-юн, Фу Сы-нянь, Го Баоцзюнь и др., — которая с 1930 г. начала раскопки в районе Чэнцзыяй. Особенностью вновь найденной культуры оказалось обилие черной тонкостенной лощеной керамики при некотором количестве грубой серой и полном отсутствии расписной [319; 554; 783].

Параллельно с Яншао и Луншань, открытыми и исследованными на территории собственно Китая, в те же 20-е годы продолжалась работа и по археологическому изучению северо-западных и северо-восточных окраин страны. Китайско-шведская экспедиция, работы которой в районе Синьцзяна продолжались до 1928 г., обнаружила следы нескольких неолитических культур, частью тяготевших к микролитическим традициям Гоби, частью — к северокитайским культурам расписной керамики, особенно к Мачан [281, 13—37; 311, 60—63, 72]. В Маньчжурии и Внутренней Монголии активно действовали французские, русские (харбинские) и японские археологи, также открывшие и изучившие ряд неолитических культур (Ананци, Линьси, Хун-

шаньхоу). В конце 20-х и начале 30-х годов здесь производил раскопки китайский археолог Лян Сы-юн. В результате всех этих работ были обнаружены серии достаточно своеобразных неолитических культур, часть которых отчетливо тяготела к микролиту Гоби (Ананци, Линьси) [636, 58—90 и 107—144], тогда как другие (Хуншаньхоу, Шаготунь) имели немало общего и с микролитом, и с культурами расписной керамики [311, 145—151; 377]. По мнению современных специалистов, вся эта серия неолитических культур северо-востока несла на себе отпечаток промежуточного своего положения между микролитическими культурными традициями северных районов и земледельческим неолитом Китая [120, 83—87; 121, 11—15].

Таким образом, в 20—30-х годах в Китае наряду с палеолитическими культурами археологи открыли ряд культур неолита. Две из них (Яншао и Луншань) были развитыми земледельческими, представленными в виде ряда сходных по типу стоянок, остальные, в основном окраинные,— переходными по типу, несшими черты и земледельческого неолита, и микролитических традиций собирателей, охотников и рыболовов восточной части Центральной Азии, Сибири и Дальнего Востока. Хотя все эти открытия неолитических культур уже в значительно меньшей степени, нежели то было с палеолитом и костными останками первобытного человека, носили характер сенсации, значение их было огромно. Если культуры палеолита и черепа ископаемых людей подтвердили, что территория Китая была обитаема человеком на протяжении сотен тысяч лет, то факт обнаружения культур неолита, особенно развитых земледельческих культур Яншао и Луншань, свидетельствовал о том, что корни китайской цивилизации уходят в значительно более далекое прошлое, чем это могло быть доказано письменной историей.

Венцом серии блестящих археологических открытий довоенного времени явились начатые в 1928 и завершившиеся в 1937 г. раскопки иньского городища в Аньяне, близ деревушки Сяотунь. Эти раскопки, производившиеся, как и почти параллельные с ними раскопки луншаньской стоянки в Чэнцзыяй, уже исключительно силами китайских археологов, позволили обнаружить и изучить ценнейшие памятники эпохи Шан-Инь — первого подлинно исторического периода в процессе становления китайской цивилизации. История мировых археологических открытий знает немного достижений, сравнимых по своему масштабу и значению с раскопками иньской столицы в Аньяне. Об эпохе Инь письменные источники Китая сообщали некоторые сведения. Однако эти сведения были слишком скупы и, если не считать генеалогическое древо иньских правителей-ванов, приведенное в Шицзи, сводились в основном к полулегендарным сказаниям и назидательным поучениям с явно выраженным конфуцианским уклоном (добродетельный первый ван иньцев сменил погрязшего в пороках последнего правителя предшествовавшей династии Ся, а, в

свою очередь, погрязший в пороках недобродетельный последний иньский правитель Чжоу Синь был побежден добродетельными чжоускими ванами). Неудивительно, что этим сказаниям не очень-то верили и что наиболее критически настроенные специалисты в своих курсах истории Китая попросту отбрасывали эпоху Инь. И вот перед изумленным миром, в первую очередь перед специалистами, археологами и синологами, буквально как в сказке, предстала выкопанная из-под земли столица иньцев с ее величественными дворцами, городскими стенами, могилами-мавзолеями правителей.

Интересна история раскопок — она заслуживает того, чтобы вкратце напомнить о ней. В конце прошлого века крестьяне из района Аньяна все чаще стали предлагать в аптечные лавки так называемые «кости дракона», исстари использовавшиеся китайскими аптекарями и медиками в лечебно-магических целях. К 1899 г. количество костей сильно возросло, причем некоторые из них, содержавшие на себе знаки, напоминавшие древние письмена, привлекли внимание коллекционеров, а известные китайские ученые, в том числе Ван Го-вэй и Ло Чжэнь-юй, начали изучать эти письмена [233].

В начале 20-х годов, когда археология стала приносить в Китае свои первые ощутимые плоды, а большинство китайских историков нового поколения все настойчивее ставили перед собой вопрос о генезисе китайцев и их цивилизации, ведущие деятели только что созданной китайской Академии наук (Academia Sinica) обратили внимание на эти кости, уточнили место их происхождения и приняли решение начать раскопки. Первым сезоном раскопок руководил Дун Цзо-бинь, до того немало сделавший в области изучения надписей на костях, последующими сезонами — всего их было пятнадцать, осенних и весенних,— руководили специалисты археологического отделения Института истории и филологии во главе с Ли Цзи. В результате раскопок, ведшихся широким фронтом, было открыто большое городище, принадлежавшее высокоразвитой бронзовой культуре. Найденные архивы гадательных костей, равно как и все остальные предметы материальной культуры, показали, что городище было столицей иньских ванов, пышные гробницы которых с обильным инвентарем и многими десятками, даже сотнями сопогребенных людей были обнаружены и раскопаны неподалеку от столицы.

Уже первые результаты раскопок были опубликованы в четырех объемистых томах [572]. Затем последовало бесчисленное множество других публикаций. И эта лавина публикаций была не случайной. Была обнаружена высокоразвитая бронзовая культура с характерными для нее бронзолитейной индустрией, боевыми колесницами и оружием, великолепными бронзовыми сосудами, достаточно развитой системой письма и многими другими элементами культуры, которых не было и в помине даже в

позднеолитических культурах Китая. Словом, был раскопан наиболее ранний из известных до того в Китае очаг цивилизации, городской культуры, существовавший — это было довольно легко установить по надписям с упоминаниями ванов, генеалогия которых была уже известна и подтверждена этими надписями,— с XIV по XI в. до н. э. Важно также подчеркнуть, что были точно установлены начальная и конечная даты существования этой иньской столицы: основана она была при ване Пань Гэне, переселившемся в район Аньяна вместе со своим народом (об этом переселении упоминается в Шуцзин, сообщение которого, таким образом, было подтверждено археологией), а погибла в 1027 г. до н. э. после битвы при Муе и падения Инь.

Примерно в 1937 г. закончился первый, довоенный тур археологического изучения Китая, хотя публикация отчетов и исследований по материалам этих раскопок продолжалась и в 40-х и даже в 50-х годах. Значение его в изучении китайской предыстории едва ли можно переоценить. Перед синологами, археологами и антропологами открылись совершенно новые просторы и перспективы для решения многих важных проблем, в первую очередь проблем генезиса китайского народа и его культуры. К этому важно добавить, что параллельно с успехами археологического изучения Китая быстро увеличивался интерес к предыстории, вырастали новые кадры китайских специалистов. Силами этих специалистов были сделаны завершающие открытия первого тура раскопок (Луншань, Аньян). Исследование же этих проблем в связи с новыми археологическими открытиями в Китае тоже вступило в новый, качественно иной этап.

НОВЫЙ ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ ГЕНЕЗИСА КИТАЙЦЕВ И ИХ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Принципиальное, качественное отличие этого нового этапа сводилось к тому, что традиционные письменные источники в процессе изучения ранних периодов китайской истории отошли на второй план. Решающее слово было теперь за материалами антропологов и археологов. Разумеется, это не значит, что о письменных данных забыли вовсе. Напротив, эти источники, в ряде случаев очень убедительно подкрепленные данными археологии, приобрели в глазах немалой части синологов еще больший авторитет и активно использовались для доказательства тех или иных положений. Однако при всем том вторичность их была уже несомненной: авторитет письменных памятников базировался теперь на основе бесспорного авторитета материалов, добытых археологами.

Как же были восприняты специалистами данные археологических раскопок? Западные синологи и археологи — в ту пору самый многочисленный и наиболее квалифицированный отряд

специалистов, интересовавшихся китайскими древностями,— были воспитаны на гипотезах о западном происхождении китайской культуры, и это воспитание, несмотря на то что подобные гипотезы в начале XX в. все чаще критиковались как устаревшие и бездоказательные, не могло не оказывать своего воздействия. К этому следует прибавить, что успехи археологического изучения Евразии в те годы интерпретировались в основном под углом зрения широко распространившейся концепции «культурных кругов». Все большее число специалистов широкого профиля, этнологов, антропологов и социологов приходило к выводу, что вся древняя культура Старого Света была гомогенной, т. е. развивалась как бы в едином мощном поступательном порыве, в ходе постоянных контактов и взаимовлияний, охватывавших практически, хотя и в разной мере, все страны и народы.

Неудивительно поэтому, что круг интересов западных специалистов был настроен на определенную волну и что во всех новых открытиях археологов в Китае они стремились найти прежде всего то, что позволяло сблизить отдаленную и весьма специфическую китайскую цивилизацию с остальными культурами Евразии [369, 6]. Наиболее ярко и отчетливо эта тенденция проявилась в трактовке проблем китайского неолита, хотя бы потому, что многие элементы китайских культур расписной керамики действительно имели немало общего с аналогичными культурами других районов Евразии. Впервые на это обратил внимание сам Андерсон, упомянувший о близости мотивов и манеры росписи на сосудах Яншао с росписью сосудов из Суз, Анау, Триполья [268]. Этот вывод Андерсона поддержал Т. Арне, который в своей работе поставил также вопрос и о сходстве типичных для Яншао триподов типа дин с древнетроянскими [276]. Выводы археологов, основывавшиеся на материалах их раскопок, быстро восприняли и историки [337]. Известный немецкий синолог О. Франке по свежим следам открытий культуры Яншао писал, что не только расписная керамика, но и многие другие элементы древнекитайской цивилизации могли попасть в Китай с Запада и что раскопки Андерсона положили конец «догме об абсолютной автохтонности китайской цивилизации» [365, 107—108]. И хотя некоторые другие маститые синологи, такие, как А. Масперо, отнеслись к результатам раскопок более сдержанно, считая, что их еще далеко не достаточно для решения проблемы генезиса китайской цивилизации [456, 82], в большинстве работ о Китае, как специальных, так и общих, точка зрения о пришлом происхождении китайского неолита стала почти общепризнанной. Специалисты расходились друг с другом лишь в предположениях о том, каким именно путем и откуда шел поток культурных влияний — просто «с запада» [283; 285; 286; 360, 19, 30; 548, 176], более конкретно — по степному поясу Евразии из южнорусских степей через Туркестан и Центральную Азию [270; 277, 251—252; 281, 14; 376, 30—31; 449; 493, 4—5],

или даже через юго-восточные районы Китая [364, 3—5, 28—29, 406, 13—25].

Конечно, среди западных синологов существовали и более серьезные расхождения. Некоторые из них, например, говорили о западных инвазиях протокитайцев в Китай как о чем-то вполне реальном и несомненном (Ч. Бишоп, М. Лер), другие, напротив, ставили этот вопрос в очень осторожной и предположительной форме [436, 28 и 262 сл.; 480, 46—48].

Отдельные известные синологи, такие как В. Эберхард, выступили с развернутыми гипотезами о происхождении китайской цивилизации. В гипотезе Эберхарда, выдвинутой в 1937 г. [348] и обстоятельно разработанной в двух монографиях [349; 350], шла речь о том, что китайская цивилизация — это результат сложного процесса взаимодействия ряда культур, едва ли не испокон веков существовавших и развивавшихся в различных районах Центральной и Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. При этом культуру Яншао Эберхард считал состоящей из различных культурных элементов, в том числе лишь частично — из «западных». Более категорично против идеи о прямых западных истоках Яншао высказался Эберхард в своей «Истории Китая», увидевшей свет в 1950 г. [351, 11—12].

В начале 50-х годов гипотеза Эберхарда критиковалась рядом специалистов [480; 517]. Наиболее серьезные возражения выдвинул Я. Прушек, который был несогласен с самой методикой работы Эберхарда, приводившей его к созданию вневременных схем и побуждавшей конструировать этнокультурные компоненты из различных элементов, взятых из источников разных эпох [480, 45]. Однако упреки по поводу того, что Эберхард «отказывается признать» китайский народ и его цивилизацию «вечно существующими», тогда как, по мнению Прушека, изменения всегда должны были происходить в какой-то внутренней группе [480, 41],— эти упреки, несмотря на их вполне современное звучание (вспомним теорию многолинейной эволюции с ее «ядром» цивилизаций), в общем несостоятельны, ибо о генезисе этого «ядра» и шла, по сути, речь в гипотезе. Как бы то ни было, но гипотеза Эберхарда в предвоенные десятилетия была единственной оригинальной попыткой разобраться в процессе генезиса китайской цивилизации. Близкие к высказанным Эберхардом идеи развивались и в некоторых других работах [см. 503].

Если для западных синологов едва ли не главным в археологических открытиях в Китае было обнаружение культур, часть элементов которых несомненно сходна с соответствующими культурными элементами в других районах Евразии, то у китайских синологов дело обстояло иначе. К различного рода гипотезам о внешних инвазиях и иностранном происхождении китайской цивилизации большинство их относилось заведомо отрицательно, а многие были попросту незнакомы с ними. Для значительной части китайских ученых вопрос о роли внешних влияний в про-

цессе генезиса китайской культуры не стоял вовсе. Автохтонность китайцев, независимость и спонтанное развитие, наконец, глубокая древность и постоянное превосходство над соседями китайской цивилизации традиционно воспринимались как нечто само собой разумеющееся. И если даже в первые десятилетия XX в. многие устоявшиеся представления стали подвергаться сомнению, то это не означало, что китайские ученые, в том числе и наиболее эрудированные, сразу перестроились и стали сомневаться в автохтонности китайцев и их культуры. Напротив, китайские специалисты, как упоминалось, порой охотно вступали в дискуссии, оперировали данными из истории других народов и т. п. Однако при всем том вопрос о генезисе китайской цивилизации для тех из них, кто признавал существование такой проблемы, упирался лишь во временное отсутствие убедительных доказательств, которые могли бы определенно показать автохтонность и древность всего китайского.

Конечно, среди китайских историков и археологов были и представители иных взглядов [523]. Достаточно вспомнить о позиции руководителя аньянских раскопок и всей археологической науки в Academia Sinica доктора Ли Цзи, который, касаясь проблемы происхождения раскопанной им иньской цивилизации, решительно заметил, что об абсолютной автохтонности этой культуры не может быть и речи и что иньская цивилизация, насколько можно судить, складывалась из различных компонентов, как местных, так и пришлых [446, 20 сл.]. Однако ведущей была именно тенденция рассматривать все новые археологические открытия только с точки зрения подтверждения древности китайцев и автохтонности их культуры. Естественно, что при этом обращалось внимание прежде всего на те аспекты находок и их анализа, которые могли дать основание для подобных заключений.

Прежде всего, детальный анализ черепов синантропа позволил Ф. Вейденрейху прийти к выводу о монголоидности синантропа [547], что с энтузиазмом и удовлетворением было воспринято в Китае. Монголоидные черты были найдены и у ордосского человека, и даже у шаньдиндунцев. Наконец, специальный анализ яншаоских и других неолитических костяков, проделанный Д. Блэком [287; 288], показал, что большинство насельников эпохи неолита (хотя и не все) были монголоидами. Таким образом, не только отдаленные предшественники-синантропы, но и ближайшие протокитайцы-яншаосцы, чья культура была столь схожей с культурой более западного происхождения,— все они оказались в расовом отношении близкими к современному населению Китая. Разве этого мало? Уже одно это могло поколебать все те аргументы, которые приводились западной синологией в пользу некитайских истоков протокитайцев-яншаосцев. Но это было еще далеко не все.

Ведь культура Яншао, определение истоков которой было

ключевым для решения многих загадок проблемы генезиса китайской цивилизации, в целом отнюдь не была тождественной аналогичным культурам расписной керамики других районов Евразии. В ней было немало специфических черт, присущих только ей и позволявших говорить о ее самобытности. Сомнение вызывали лишь сосуды и, главное, роспись на них, которая подчас до мелочей совпадала с росписью на сосудах, найденных за многие тысячи километров от Китая. Особенно выделялась своей росписью погребальная утварь из могильников Баньшань и Мачан в провинции Ганьсу [269; 295; 297; 472; 515]. Именно на них роспись оказалась наиболее яркой, богатой и сходной с росписью на сосудах из западноазиатских и восточноевропейских стоянок неолита. Неудивительно, что изучение этой росписи поставило перед исследователями задачу выяснить, какие из древнекитайских стоянок следует считать наиболее ранними — хэнаньские (собственно Яншао) или ганьсуйские (Баньшань и др.). Здесь мнения разделились, и вопрос остался открытым. Однако точка зрения о том, что ганьсуйский неолит следует считать более развитым и потому более поздним, имела, кроме всего, своей опорой предложенную Андерсоном периодизацию этапов (если исключить этап Цицзя, в слоях которого расписной керамики не было обнаружено, самым первым, по Андерсону, было Яншао). Это обстоятельство, по-видимому, сыграло свою роль и в определении позиции самого Андерсона, который, хотя он и приравнивал ганьсуйские Мацзяо-Баньшань по времени к Яншао, констатировал в своей монографии, что наибольшее сходство с западными образцами росписи показывает керамика последующего этапа Мачан и что поэтому следует быть осторожным в определении характера возможных связей китайского неолита с культурами западных районов [273, 287—291]. Большего и не требовалось.

Признание Андерсона было воспринято в Китае как вынужденное свидетельство несостоятельности теории некитайского происхождения Яншао. Тем самым в глазах китайских специалистов археология убедительно зафиксировала древность и автохтонность китайской цивилизации, подкрепив таким образом данные письменных источников. Неудивителен и результат: в последующих работах по истории Китая или китайской культуры изложение шло по стихийно сложившемуся стандарту — сведения археологии подтвердили данные мифологических традиций, которые говорят о том, что истоки китайской культуры уходят в глубокую древность.

Вот характерный пример — фундаментальная шеститомная монография Чжан Син-лана, специально посвященная истории связей Китая с Западом. Огромный фактический материал, богатая эрудиция автора — все в этом капитальном труде как бы настраивает читателя на то, что вот наконец-то ему удалось найти исследование, в котором серьезно и с учетом всех новей-

ших данных будут рассмотрены проблемы древнейших связей и генезиса китайцев. Однако и здесь имя Андерсона мельком упомянуто в связи с его раскопками в Китае, сказано о Яншао и сходстве этой культуры с другими неолитическими культурами Евразии. Упомянуто даже, что это сходство у некоторых людей «создало впечатление», что все эти культуры — единого происхождения. И это все. Напомнив, что между Анау и Яншао — огромное расстояние, автор тем самым как бы закрыл проблему, уделив все остальное внимание данным древнекитайских письменных источников [754].

Можно, конечно, предположить, что тема автора лежала несколько в стороне от проблем генезиса китайцев: в его задачу входило рассказать о тех связях, которые фиксируются в источниках, пусть легендарных, а не о гипотезах, основанных на неопределенно интерпретируемом археологическом материале. Но вот другая работа — статья Го Бинь-цзя, специально посвященная проблемам генезиса китайской цивилизации, одна из немногих в своем роде. Автор статьи, написанной на английском языке, свободно владеет западными материалами, и его никак нельзя упрекнуть в ограниченности знаний. Напротив, статья насыщена различными сведениями, в ней упомянуты гипотезы европейских синологов о происхождении китайцев, дана их критика и сделан довольно осторожный вывод о том, что, хотя точные обстоятельства генезиса китайской цивилизации не могут быть описаны, она, «по всей вероятности, возникла самостоятельно» [428, 117]. Письменные китайские источники, по мнению Го, свидетельствуют именно об этом. Правильно ставя вопрос о том, что суть проблемы в конечном счете упирается в те великие изобретения и усовершенствования, которые подготовили и сделали возможным возникновение цивилизации, Го пытается дать свою гипотезу на этот счет. По его мнению, все великие изобретения были совершены китайскими мудрецами и героями, которых он воспринимает как символ творческой мощи народа, творческого гения «нашей расы». Далее Го, опираясь на данные мифологической традиции, приводит свой список: Суйжэнь изобрел огонь, Шэньнун — земледелие, Фуси — охоту, рыболовство, доместикацию скота, Хуанди — письмо, одежду, монету и т. п. Чувствуя, видимо, всю слабость этой схемы, Го в заключение снова упоминает о том, что имена — лишь символ, что главное — в существе и что вместо сомнений в существовании мудрецов древности лучше проявить уважение к тем, кто помог заложить основы китайской цивилизации [428, 119—123].

Число аналогичных примеров можно увеличить, хотя и ненамного, ибо в подавляющем большинстве китайских работ, косвенно затрагивавших данную тему, проблемы генезиса даже не ставились. Для китайских авторов, как бы «воспрянувших духом» после серии археологических находок, в которых все китайцы увидели главное — подтверждение древности их культу-

ры, авторитет письменных источников и освященных древностью традиций с 30-х годов был восстановлен. Эпоха скепсиса стала заметно уступать место периоду реставрации, апогей которого наступил позже, уже в 50-х годах.

Итак, новые археологические открытия не только не способствовали сближению различных точек зрения синологов по этим проблемам, но, напротив, оказались тем дополнительным материалом, который, как это ни парадоксально, способствовал укреплению позиций представителей полярных концепций. При этом, однако, стоит заметить, что позиции сторонников автохтонности и глубокой независимой древности китайской цивилизации оказались подкрепленными в несколько большей степени, чем позиции их оппонентов, получивших менее убедительные доказательства своей правоты. И это обстоятельство вкупе с рядом других, имевших отношение уже не только к академической сфере, сыграло свою немаловажную роль в дальнейшей ориентации нового поколения китайских синологов, которые с начала 50-х годов стали крупнейшим отрядом специалистов, изучавших древний Китай.

ВТОРОЙ ТУР АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ В КИТАЕ
(50-е — начало 60-х годов)

После победы революции в Китае начался новый этап археологического изучения страны. Ряд новых важных моментов заметно отличал его от первого. Прежде всего, это не был уже период пусть блестящих, но в основном случайных находок. Детальное археологическое обследование и изучение теперь шло широким фронтом, охватив, по существу, весь Китай, хотя главное внимание археологов по-прежнему было сосредоточено на бассейне Хуанхэ. Размах археологических работ сопровождался невиданным прежде ростом кадров, увеличением числа квалифицированных археологов-специалистов, выпускников китайских вузов. Все археологические раскопки в стране велись теперь силами только китайских ученых, число которых увеличивалось буквально с каждым годом. Не только во всех провинциальных центрах, но и в ряде других городов, где велись сколько-нибудь значительные работы (Аньян, Лоян и др.), были созданы постоянные группы археологов, организованы музеи, в которых хранились коллекции найденных вещей. Кроме того, в огромных масштабах увеличилось количество добытого материала, который едва успевал проходить первичную обработку и публиковаться в виде предварительных сообщений. И это несмотря на то, что для публикации археологического материала в 50-х годах в КНР были весьма благоприятные условия. В стране регулярно

издавалось несколько специальных археологических журналов[5], археологические и антропологические материалы публиковались и в других периодических изданиях[6], не говоря уже о том, что многие отчеты о наиболее важных находках в большом количестве издавались в виде специальных монографий, число которых было особенно значительным в юбилейном 1959 г.

Палеолит. В 50-х годах на территории Китая было раскопано и изучено свыше 200 местонахождений эпохи палеолита [573]. Раскопки велись во многих районах страны, как на севере, так и на юге (Шэньси, Шаньси, Хэбэй, Хэнань, Внутренняя Монголия, Гуанси, Гуандун, Юньнань, Сычуань и др.). Наиболее важным достижением этих лет следует считать обнаруженный в 1953—1954 гг. комплекс местонахождений в районе Динцунь (провинция Шаньси). Здесь большой экспедицией китайских археологов и антропологов во главе с Пэй Вэнь-чжуном, У Жу-каном, Цзя Лань-по было раскопано и собрано более 2 тыс. каменных орудий, множество костей животных и три зуба ископаемого человека (подростка 13—14 лет). Детальный анализ морфологических особенностей зубов привел У Жу-кана к выводу, что «динцуньский» человек был монголоидом, жившим позже синантропа и имевшим черты сходства как с синантропом, так и с неандертальцами Европы. Каменная индустрия Динцуня, по оценке Пэй Вэнь-чжуна, отлична от чжоукоудяньской и, так же как и зубы «динцуньского» человека, имеет определенное сходство с ордосской, открытой в начале 20-х годов [660].

В 50-х годах в Китае были найдены и останки других ископаемых людей. К их числу следует отнести фрагмент черепа «чанъянского» человека (1956 г., провинция Хубэй) и череп «мабаского» (1958 г., Гуандун) [233а; 710]. По мнению китайских специалистов, все эти люди жили в эпоху нижнего палеолита или самого начала верхнего палеолита и морфологически представляли собой нечто среднее между неандертальцами (палеоантропами) и сапиентными людьми (неоантропами) [573, 5]. Другая группа палеолитических людей — особи с явно сапиентными чертами, обнаруженные в разных районах Китая в те же годы. В 1951 г. в провинции Сычуань был найден женский череп, названный «цзыянским» [661], в 1958 г. в Гуанси — останки «люцзянского» человека. Кроме того, археологами были раско-

[5] Журнал «Каогу сюэбао» с конца 40-х до 1955 г. выходил отдельными выпусками (№№ 1—10), а с 1956 по 1960 г.— ежеквартально (далее — снова нерегулярно). Журнал «Каогу тунсюнь», в котором публиковались в основном предварительные сообщения и небольшие заметки, выходил с 50-х годов до 1960 г., вначале раз в два месяца, затем ежемесячно. С 1960 г. вместо него стал издаваться журнал «Каогу», в котором публикуются и сообщения, и серьезные обзорные и аналитические статьи.

[6] К числу таких журналов прежде всего нужно отнести «Вэньу» (до 1959 г.— «Вэньу цанькао цзыляо»), в котором много внимания уделяется публикациям материалов по истории материальной культуры, а также различные журналы, посвященные изучению и проблемам истории, достижениям китайской антропологии и т. п.

паны палеолитические местонахождения с большим количеством орудий, но без костных останков человека [см. 656; 659]. Одно из них было обнаружено во Внутренней Монголии и характеризовалось немалым количеством оббитых каменных орудий подтреугольной формы, остроконечников и т. п. [752; 753], другое, формы орудий которого уже напоминали микролит и которое явно следует датировать самым концом верхнего палеолита,— в одной из пещер близ Аньяна, в Сяонаньхай, провинции Хэнань [573, 6].

Мезолит. Стоянок эпохи мезолита, несмотря на густую сеть раскопок, обнаружено немного. Если не считать примыкающие к Гоби и соседние районы Синьцзяна и Внутренней Монголии, то на территории собственно Китая было найдено лишь несколько небольших стоянок в Шаюань (провинция Шэньси) с микролитическими орудиями. Этот докерамический мезолит типологически был точной копией аналогичных культур более северных районов, так что специалисты довольно единодушно признали его лишь южным вариантом центральноазиатского микролитического мезолита [565, 19—20; 571; 109, 245].

Неолит. Совсем иначе обстоит дело с находками эпохи неолита. Их великое множество. Ни по количеству, ни по репрезентативности находки 50-х годов не могут даже сравниваться с находками 20—30-х годов, явившимися в свое время сенсацией мирового значения. Раскопки и предварительные обследования позволили китайским археологам обнаружить и частично исследовать свыше 3 тыс. стоянок неолита [400, 177]. Львиная доля их приходится на бассейн Хуанхэ, однако, если положить на карту все эти 3 тыс. пунктов, то буквально вся территория Китая будет густо покрыта точками [573, 1, 7—42]. По-прежнему первой по времени, наиболее древней и представительной была группа культур расписной керамики, начало изучению которой положил Андерсон. Раскопки 50-х годов подтвердили деление Андерсоном этих культур на две зоны — хэнаньскую и ганьсуйскую. Под культурой Яншао в собственном смысле этого слова китайские археологи стали теперь понимать группу культур и вариантов среднего течения Хуанхэ, где за последние послевоенные десятилетия было обследовано и частично раскопано около 1 тыс. местонахождений неолита [573, 7].

Раскопки 50-х годов позволили китайским археологам в хэнаньской зоне Яншао выделить по меньшей мере два различных варианта. Первый стал олицетворяться стоянкой в Баньпо, близ Сиани, где был раскопан целый поселок с остатками нескольких десятков строений, могильником и большим количеством каменных орудий и керамики [667]. Находка стоянки в Баньпо была событием в истории китайской археологии, а сама стоянка, превращенная в музей, стала своего рода эталоном Яншао. Второй вариант хэнаньского Яншао — стоянка Мяодигоу. Раскопки местонахождений Мяодигоу и Саньлицяо — второе

крупнейшее событие в археологии неолита в Китае в 50-х годах. Обнаружение в этих двух близких по облику и соседних по территории стоянках различных слоев, позволивших наглядно продемонстрировать не только существование в Яншао двух различных вариантов, но и процесс постепенной их трансформации, побудили археологов снова обратиться к столь неясной прежде проблеме соотношения Яншао и Луншань.

Раскопки 20-х годов привели специалистов к убеждению, что Яншао и Луншань — это две параллельные культуры, тогда как раскопки в Хоугане породили представление о том, что Луншань хронологически позже Яншао [636, 91—99]. Это представление было оспорено в полной публикации Андерсоном материалов о Яншао [273, 62—78]. В результате повторных раскопок в Яншаоцунь, проведенных Ся Наем, сомнения Андерсона нашли подтверждение [692], а в некоторых стоянках на востоке Китая была обнаружена аналогичная картина [632], что позволило выдвинуть гипотезу о смешении в средней части бассейна Хуанхэ обеих культур, т. е. об амальгамации Яншао и Луншань [692, 937; 632; 640; 229, 20—21].

После раскопок в Мяодигоу и Саньлицяо, где слои луншаньского типа совершенно очевидно налегали на яншаоские, версия об амальгамации культур стала подвергаться сомнению, особенно резко прозвучавшему в рецензии на первый том монографии Чжэн Дэ-куня [7]. В результате с начала 60-х годов среди археологов прочно возобладала точка зрения о том, что позднеолитическая культура черной керамики Луншань сформировалась на базе Яншао и была преемницей и наследницей Яншао. Эта точка зрения заставила по-иному отнестись и к проблеме происхождения и характеристики ряда новых, обнаруженных к югу от Хуанхэ неолитических культур Цюйцзялин, Цинляньган, Лянчжу и других, происхождение которых остается пока недостаточно ясным.

В публикациях 50—60-х годов много сообщений об обнаруженных стоянках нового типа, новой разновидности неолита [603; 760; 793], в том числе сравнительно позднего неолита штампованной керамики в южных провинциях, особенно в Гуандуне и Фуцзяни [601; 608; 628; 630; 644; 662; 687; 688; 730]. О новых раскопках и обследованиях рассказывалось и в итоговых сообщениях о работах Института археологии КНР [650; 651], и в сводных публикациях трудов маститых исследователей [593; 611; 636; 693]. Кроме того, в эти же годы было опубликовано несколько обобщающих статей об археологии и первобытной истории [702; 703], об эпохе неолита и о проблемах китайского неолита [612; 635; 689; 701; 712; 713; 755; 788; 790; 803 и др.], в

[7] В тот момент, на рубеже 50—60-х годов, эта критика [618, 270] представлялась не только излишне резкой, но и недостаточно убедительной, на что было, в частности, обращено внимание в моей рецензии на тот же том Чжэн Дэ-куня [48, 112].

том числе и о проблемах социальных (формы брака, организации семьи и рода и т. п. [583; 678; 679; 690; 722; 759; 775; 804]).

Бронзовый век. Принципиально новым, сыгравшим огромную роль в изучении Инь и проблемы генезиса китайской цивилизации явилось открытие серии стоянок в провинции Хэнань, к югу от Хуанхэ, где были зафиксированы следы раннеиньского культурного комплекса.

Первая серия стоянок была раскопана в районе Чжэнчжоу, причем центральная, Эрлиган, обнесенная толстой стеной, была уже настоящим городищем, при раскопках которого нашли, в частности, бронзолитейную мастерскую и бронзовые сосуды с орнаментом типично иньского, аньянского типа. Сходство, а в ряде случаев буквально тождество ряда важных этнокультурных признаков и показателей (бронзовые сосуды, типы и формы керамики, мотивы орнаментации, строительные методы) делали неизбежным, даже закономерным вывод о том, что Чжэнчжоу — это именно иньская культура. В то же время отсутствие в Чжэнчжоу ряда других важнейших и зафиксированных в Аньяне иньских элементов культуры (письменность, колесницы, царские мавзолеи, «звериный стиль» и др.) воспринималось как вполне понятное, даже убедительное свидетельство того, что мы имеем дело с раннеиньским комплексом, т. е. с этапом, который постепенно и закономерно трансформировался в аньянский.

В конце 50-х годов вторая серия раскопок в районе Яньши с центром в Эрлитоу позволила обнаружить еще более примитивную модификацию иньской культуры, которая отличалась от чжэнчжоуской, в частности, тем, что в ее стоянках либо вовсе не было бронзы, либо бронзовый век был представлен скудным набором мелких и маловыразительных изделий при отсутствии следов собственного бронзолитейного производства. При всем том, однако, стоянки этого типа по ряду существенных культурных показателей, прежде всего вследствие наличия в них типично иньских форм керамических сосудов со штампованным орнаментом, принадлежали уже не столько хэнаньскому Луншаню (с которым их связывало очень многое), но именно иньской, может быть переходно-иньской, культуре.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ГЕНЕЗИСА КИТАЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Археологические раскопки 50-х годов [8] коренным образом изменили ситуацию. Пожалуй, впервые за всю историю синологии изучение проблем древнейшего Китая, в том числе проблем происхождения китайской культуры, прежде всего неолита и брон-

[8] В начале 60-х годов в этом отношении было сделано сравнительно немного и практически — кроме открытия ланьтяньского синантропа [709] и палеолитической культуры Кэхэ [738; 739; 740; 741; 742] — не было внесено ничего нового.

зового века, иньской цивилизации, получило прочную основу. Дело теперь было за тем, чтобы «переварить» весь этот новый материал, тщательнейшим образом изучить и интерпретировать его, согласовав и с данными прежних раскопок, и с материалами письменных памятников, и — что также весьма существенно — с новейшими данными и выводами, полученными при изучении различных проблем и культур, не имеющих прямого отношения к Китаю, но косвенно связанных с ним.

Следует заметить, что работ, непосредственно посвященных проблеме происхождения китайской цивилизации, в синологии 50—60-х годов оказалось мало, несмотря на резкое увеличение публикаций по другим проблемам. Видимо, это имеет свое объяснение. Во-первых, неимоверно усложнилась сама тема. Для того, чтобы иметь право квалифицированно высказаться о проблемах генезиса китайцев и их культуры, нужно было не только серьезно изучить все китайские материалы, но и сопоставить их с теми, которыми в наши дни оперируют археологи Сибири и Монголии, специалисты по Ближнему Востоку, наконец, антропологи и этнографы, философы и социологи. Во-вторых, если прежде все казалось кристально ясным, достаточно было только избрать исходную эвристическую позицию (китайская цивилизация возникла самостоятельно или, наоборот, откуда-то привнесена) — и можно было смело строить вполне стройные гипотетические конструкции, то теперь все оказалось гораздо запутаннее. С одной стороны, многое явно указывало на то, что важные элементы китайского неолита или культуры бронзового века появились в Китае извне. С другой — столь же многое убедительно и неопровержимо доказывало, что фундаментальнейшие основы китайской цивилизации складывались на месте, здесь, в самом Китае, постепенно все более и более явственно приобретая свой, уникальный, специфически китайский облик.

Казалось бы, выход до предела прост: следует признать, что спонтанная эволюция собственно китайской культуры гармонично сочеталась со спорадическими культурными взаимодействиями с более развитыми народами и культурами, что обогащало китайский неолит или бронзовый век, ускоряло его эволюцию и способствовало в конечном счете возникновению первичного очага городской цивилизации. Однако китайские археологи и историки были настроены против подобной постановки вопроса. Судя по их публикациям, даже мысль о возможных влияниях извне казалась им не только оскорбительной, но и просто «буржуазной» (буржуазная теория миграций). Неудивительно, что это сыграло свою роль в ориентации синологов КНР.

В 50—60-е годы, до начала «культурной революции», т. е. до 1965 г. включительно, в КНР появилось множество обзорно-критических, дискуссионно-полемических и сводно-аналитических работ, в которых всесторонне рассматривались и обсуждались различные проблемы, связанные с археологическим изучением и

историческим осмыслением ранних этапов китайской цивилизации. И хотя в отдельных статьях порой ставились в весьма альтернативном плане вопросы о возможных влияниях извне [747; 750], подавляющее большинство китайских специалистов категорически отвергало подобную постановку вопроса [803, 264] и предпочитало обсуждать лишь проблемы самого китайского неолита, не касаясь его генезиса и молчаливо предполагая, что ни с какими влияниями извне этот генезис связан не был. Искусственное сужение диапазона дискуссии привело к тому, что важные вопросы генезиса китайского неолита в публикациях ученых КНР были оставлены как бы в стороне. Другими словами, как раз те специалисты, кто во всеоружии ценнейших материалов мог бы активно включиться в разработку этой проблематики, в нее не включались вовсе. Инициатива в этом смысле по-прежнему принадлежала западным синологам, среди которых в это время уже немалые позиции заняли специалисты китайского происхождения.

Среди работ западных синологов обращают на себя внимание прежде всего труды Чжэн Дэ-куня, который собрал и тщательно проанализировал накопленный археологами материал о палеолите, неолите и бронзовом веке Китая [311; 312; 314]. Обстоятельно систематизировав этот материал, Чжэн Дэ-кунь не уклонился от тех проблем, которые вставали перед ним в связи с интерпретацией собранных им данных. Но в интерпретации их он был крайне осторожен, что частично объясняется сложностью и неясностью самой проблематики [9]. Гораздо более решительным оказался в этом смысле Чжан Гуан-чжи, в работах которого изложены материалы, касающиеся археологического изучения Китая [300—307]. В двух изданиях его основной монографии [302; 305], включившей весь археологический материал по неолиту и бронзовому веку до Хань, дан серьезный исследовательский анализ основных проблем. В книгах множество таблиц и схем, систематизация материала умело сочетается с оригинальными идеями и гипотетическими конструкциями автора. Словом, монография Чжан Гуан-чжи — это, пожалуй, лучшее, что издано в мировой синологии о проблемах генезиса китайской цивилизации. Однако и в анализе материалов, и в интерпретации их у Чжан Гуан-чжи очень много спорного. В ряде случаев концы с концами явно не сходятся, что, видимо, ощущал и сам автор, очень сильно изменивший содержание первой части своей книги при ее переиздании в 1968 г. И хотя новый вариант в некоторых отношениях более сдержан в выводах, в нем гораздо более явственно, чем, скажем, в работах Чжэн Дэ-куня, прослеживается стремление отстоять генеральную идею автохтонности китайской цивилизации [10].

[9] В своих последних статьях Чжэн Дэ-кунь высказывается уже гораздо решительнее, порой весьма категорично [315; 317; 318].

[10] На излишнюю увлеченность этой далеко не доказанной идеей уже обращали внимание рецензенты книги Чжан Гуан-чжи [333, 208].

Конечно, наряду с капитальными сочинениями Чжэн Дэ-куня и Чжан Гуан-чжи в синологии последних лет появлялись и другие работы, в которых затрагивались интересующие нас проблемы. Наибольшего внимания заслуживает книга Ли Цзи [446], в которой не только изложен материал раскопок, но и предложено вниманию читателя немало ценных идей и наблюдений, позволяющих ставить вопрос о роли внешних импульсов в процессе генезиса иньской цивилизации. В популярной форме многие эти идеи нашли свое отражение в книге известного археолога У. Фэйрсервиса [358], однако недостаточное знакомство автора с китайским материалом значительно ослабило его позиции, открыв их для серьезной критики. О древнейших контактах Китая с другими странами и народами писал синолог К. Гудрич [373]. Интересные мысли в связи с ролью внешних влияний в процессе генезиса китайской цивилизации были высказаны английским археологом и искусствоведом У. Уотсоном [545]. Наконец, стоит сказать несколько слов о новых работах В. Эберхарда. Не отказываясь от основ высказанной им прежде гипотезы, он несколько отошел от ее первоначального духа. Если прежде едва ли не всю сложность проблемы он видел в том, чтобы выяснить, из каких этнокультурных компонентов, чуть ли не извечно существовавших на севере, западе или юге территории современного Китая, складывались Яншао и другие культуры, то теперь вопрос ставится им несколько иначе. В частности, говорится о той немалой роли, которую играли внешние импульсы в процессе генезиса иньской цивилизации [352], ставится вопрос о весьма вероятных — хотя и во многом пока еще недоказуемых — культурных связях и диффузии, благодаря которым протокитайцы получили немало ценной информации [353, 13—16 и др.].

Ряд специальных работ, посвященных в основном археологии Центрального и Южного Китая, был опубликован Ю. Трэйстмэн [527—530]. Можно упомянуть и еще ряд трудов, в которых прямо или косвенно затрагивались интересующие нас вопросы. Однако в целом внимание к проблеме происхождения китайской цивилизации в западной синологии в середине нашего века заметно уменьшилось. Научный интерес ко всей этой проблематике несколько пробудился лишь в самое последнее время, в связи с публикацией в начале 70-х годов в Китае первых результатов радиокарбонного анализа, давших абсолютную датировку важнейшим стоянкам, культурам и вариантам китайского неолита.

Археологи уже давно пытаются найти наиболее достоверные способы точной датировки обнаруженных при раскопках слоев и культур. Наиболее точным считается метод радиокарбонного анализа, основанный на вычислении остатков одного из изотопов углерода, период полураспада которого хорошо известен (он равен примерно 5,5 тысячелетия). За последние годы этот метод

широко распространился [434]. Но применение его вскоре стало все чаще ставить археологов в трудное положение: результаты анализа довольно часто, иногда чуть ли не в половине проб, резко не соответствовали ожидаемому. Сначала это относили за счет несоблюдения методики взятия проб, неумения очистить их от посторонних загрязнений и т. п. [39; 40]. Ставили также вопрос о влиянии геохимических процессов на колебание содержания C_{14} в пробе [17, 39]. Как бы то ни было, но степень несоответствия данных радиокарбонного анализа реальным датам продолжала оказываться слишком большой, чтобы ею можно было пренебречь: величины отклонения для V—IV тысячелетий до н. э. достигали порой 800—900 лет [470, 40].

Детальный анализ причин этих отклонений привел специалистов к выводу, что космос, климат, атмосфера, океан, активность солнца, магнитные аномалии в разных районах и при различных условиях оказывают воздействие на степень концентрации радиокарбона, не говоря уже о том, что дерево могло сгореть после длительного процесса его гниения, и т. п. [470, 43—44]. Пытаясь установить степень отклонения радиокарбонных дат для древнейших поддающихся проверке эпох, специалисты проконтролировали древнеегипетские даты, в которых упоминается о солнечных затмениях и которые тем самым могут быть высчитаны с математической точностью: отклонения оказались велики, в масштабе нескольких веков [482, 11]. Было предложено считать естественным отклонение для датировок неолита в пределах 1—7 столетий [482, 12]. Но беда в том, что для разных районов мира и, видимо, для разных условий залегания образцов и проб эта цифра сильно варьирует.

Неудивительно, что многие археологи относятся к радиокарбонному анализу весьма скептически: как писал Д. Киддер в связи с появлением радиокарбонных дат, резко удревняющих древнеяпонскую неолитическую культуру дзёмон, археологи делятся на «доверяющих радиокарбонной датировке» и «оспаривающих ее» [423, 33]. Однако, как бы то ни было, при датировке неолита радиокарбонный анализ остается единственной возможностью получить хоть сколько-нибудь надежные абсолютные даты.

Стóит напомнить, что до появления радиокарбонных дат единственным методом датировать культуру или слой был типологический анализ, сравнение и сопоставление отдельных изделий, против чего порой резко выступали некоторые специалисты [19; 150, 26; 151, 36; 254, 10—13]. Ныне радиокарбон стал контролировать типологический анализ, причем в тех случаях, когда он вступает в резкие противоречия с принятой археологами относительной хронологией, сами археологи призывают к осторожности, к недоверию радиокарбонным датам [215, 41]. Даже в тех случаях, когда археолог должен опираться только на радиокарбонный анализ (относительная датировка слоев не выра-

ботана, как это характерно для недавних сенсационных раскопок У. Сольхейма в Таиланде), чрезмерно удревненная датировка, полученная в результате этого анализа, несколько смущает вынужденного делать на основании этой датировки далеко идущие выводы автора публикации о раскопках [514, 157—158].

Первые китайские радиокарбонные датировки [668; 669; 670] внесли немало нового в сложившиеся представления о древности и последовательности слоев и культур, главным образом неолитических. Не все эти датировки воспринимаются с доверием. Например, в центральной шэньси-хэнаньской зоне бассейна Хуанхэ на варианты Баньпо и Мяодигоу приходится, по данным радиокарбона, полтора-два тысячелетия, тогда как параллельные и взаимодействовавшие с этими вариантами ганьсуйские культуры (Мацзяяо) датируются лишь самым концом этого долгого периода и оказываются на 1,5 тыс. лет моложе Баньпо. Все эти цифры послужили основой для решительного вывода об автохтонности китайского неолита [570], но убедительность этого вывода явно недостаточна.

Стоит заметить, что и китайские исследователи, авторы радиокарбонных датировок, согласны с тем, что их датировки не дают гарантии абсолютной точности, хотя ими и можно руководствоваться в практической работе [589, 331—332]. Солидаризируясь с этой осторожной формулировкой, следует сказать еще об одном немаловажном обстоятельстве. В своих анализах китайские исследователи исходили из цифры 5730 лет для периода полураспада C_{14}, тогда как общепринятая среди археологов цифра равна 5568 годам.

Эта разница особенно ощутима там, где датировка слоев и культур неолита близка к периоду полураспада, например в случае с датами для Баньпо. Специалисты журнала «Antiquity» пересчитали опубликованные в «Каогу» китайские даты и внесли в них в соответствии с общепринятыми нормами некоторые поправки [475], которые и должны учитываться при оперировании китайскими радиокарбонными датировками. Так, древнейшая проба для Баньпо имеет возраст, по китайским данным, 6080 лет, по пересчитанным — 5894 [668, 55; 475, 142], т. е. не выходит за пределы VI тысячелетия до н. э.

В заключение несколько слов об отношении советских ученых к проблемам генезиса китайской цивилизации и предыстории Китая. Что касается синологов, то до середины 60-х годов к вопросу о генезисе китайской цивилизации они практически почти не обращались. Если не считать статей Г. Е. Грумм-Гржимайло, частично написанных еще до революции [74; 75; 76], то трудно назвать специальную монографию или хотя бы статью, где этот вопрос был бы поставлен в центр внимания. Гораздо больше интереса к китайским древностям и к предыстории Китая проявляли археологи, антропологи, этнографы,

внимательно следившие за новыми раскопками и находками в этой стране [61; 62; 99; 100; 109; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 204; 237; 238; 239; 240; 241; 242; 243 и др.]. Особенно с большим вниманием относились к этим находкам археологи Сибири, которые всегда руководствовались хорошо датированными китайскими данными (в том числе и опубликованными на русском языке) [27] для оценки своих сибирских находок и культур (С. А. Теплоухов, С. В. Киселев). После начала активной публикации новых материалов в китайской археологической печати 50-х годов эти материалы широко использовались археологами и этнографами (А. П. Окладников, Н. Н. Чебоксаров, В. Е. Ларичев, Р. Ф. Итс и др.). Появился ряд работ, посвященных изучению неолита Яншао или Луншань [103; 104; 248]. Что же касается проблематики, связанной с происхождением китайских древностей, то она обычно вызывала противоречивые суждения: с одной стороны, аналогии с Западом были впечатляющими и отмечались в советских работах [63; 229; 230; 231], с другой стороны, специалисты, следуя сложившимся представлениям, подчас склонны были преувеличивать значение китайского влияния на соседние народы. Во всяком случае, вопрос об автохтонности китайской цивилизации практически не подвергался сомнению, что нашло свое отражение в отдельных работах синологов, в том числе и в моих [47, 144; 49, 55].

Внимание к проблемам интерпретации археологических находок в Китае, роли Китая в его взаимоотношениях с соседями и возможных культурных влияний в древности на Китай возросло примерно с 60-х годов [169], которые были отмечены переоценкой многих традиционных для советской историографии концепций, в том числе и отрицательного отношения к роли миграций и диффузии культур, о чем уже упоминалось в первой главе.

В 60—70-х годах на некоторые проблемы генезиса китайской цивилизации было обращено внимание в ряде моих работ [50—53; 57]. Часть их, и прежде всего вопрос о гипотетической реконструкции процесса генезиса Яншао, вызвала возражения со стороны М. В. Крюкова [119]. Некоторые его возражения оказались заслуживающими внимания, и они с благодарностью учтены при написании данной книги. В то же время ряд других его замечаний — результат недоразумения или невнимания к тем процессам культурной эволюции, о которых уже упоминалось.

Внимание к проблематике, связанной с процессами генезиса китайской культуры, с оценкой ее исторических связей и возможных влияний на нее извне, в том числе с запада и с юга, в советской историографии за последние годы заметно возросло. Частично это связано с новыми сенсационными публикациями о находках в Таиланде и других районах Юго-Восточной Азии, где данные радиокарбонного анализа резко удревнили

неолитические культуры и начало бронзового века. Появились новые работы [243; 246; 247; 186], в которых особо обращается внимание на южные связи Китая. О южных древнекитайских культурах подробно рассказано в специальной монографии Р. Ф. Итса [100], хотя проблема связей и влияний в ней мало затронута. Как бы то ни было, но для советской историографии последних лет характерно усиление внимания к вопросам генезиса китайской культуры, которые долгие десятилетия практически игнорировались.

глава третья

РОЛЬ МУТАЦИЙ И МЕТИСАЦИИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО И РАСОВОГО ТИПА ПРОТОКИТАЙЦЕВ

(палеолит и мезолит в Китае)

Вопрос об истоках китайской культуры прежде всего сталкивает исследователя с проблемой древнейшего населения территории Китая. А так как и по количеству находок, и по разнообразию типов, и по древности обитания различных ископаемых гоминид территория Китая является едва ли не наиболее богатой среди других стран и регионов мира, то неудивительно, что концепция полной автохтонности китайского народа и его культуры в немалой степени опирается на материалы антропологии. Более того, несколько специальных монографий, в том числе труды таких авторитетных антропологов, как Ф. Вейденрейх и К. Кун, на основании анализа главным образом китайских антропологических находок ввели в научный обиход концепцию полицентризма, согласно которой в нескольких (трехпяти) регионах мира, в том числе и в Китае, на протяжении всего периода антропогенеза процессы шли почти параллельно и независимо, что и нашло свое отражение в формировании различных рас [547; 334].

Разумеется, это обстоятельство не означает, что все китайские ученые единодушно солидаризировались с выводами Вейденрейха или Куна. Напротив, к этим выводам они отнеслись сдержанно [708, 368—369]. В некоторых статьях китайские антропологи, находившиеся в 50-х годах под заметным влиянием советской школы антропологии с ее почти общепринятым в те годы признанием моноцентризма [190; 198], писали даже, что вопрос о моно- или полицентризме неясен и что есть больше оснований склониться в сторону моноцентризма [704, 20]. Но теория — теорией, а на практике, особенно под пером уже не специалистов-антропологов, а историков, использовавших данные антропологии для более общих построений, прямолинейный эволюционный ряд китайских гоминид и палеолитических культур все более превращался в стереотипную схему, получавшую всеобщее признание.

Строго говоря, против такой схемы трудно возражать: ведь

и синантроп, и «динцуньский» человек, и их многочисленные более младшие собратья действительно обитали на территории Китая в определенные периоды и тем самым являют собой неотъемлемую часть истории этой страны. Неудивительно, что и в некоторых работах специалистов-антропологов вопрос о непрерывности эволюции физического типа и культуры в Китае от нижнепалеолитических гоминид до неолита ставится в центр внимания [224; 186, 91]. Между тем безоговорочно подобную элементарную схему эволюционно-генетического ряда принять нельзя. Реальный процесс антропо- и расогенеза был сложнее и протекал при почти постоянном взаимодействии с пришельцами извне. Сложение более прогрессивных антропологических типов и более развитых культур было — независимо от того, моно- или полицентризм взят за основу,— результатом не столько самостоятельного и изолированного развития, сколько тесно связанных и взаимодействовавших процессов — мутаций, дрейфа генов в замкнутых популяциях и сопутствовавших этому постоянных, неизбежных и необходимых метисаций. В этом убеждает знакомство с некоторыми общими закономерностями эволюции древнейшего человека.

ПРОБЛЕМЫ АНТРОПО- И РАСОГЕНЕЗА

Как возникло человечество? На эту тему написано множество работ [см., в частности, 160; 180; 187; 206], но проблема еще далека от разрешения. Более того, сравнительно недавно картина эволюции человека представлялась ученым более ясной, а общепризнанная шкала эволюции (человекообразная обезьяна →питекантроп, синантроп и гейдельбергский человек→ неандерталец→ человек современного типа) была включена в учебники. Накопление множества новых данных в последние десятилетия усложнило проблему и нарушило устоявшиеся схемы.

Прежде всего, по-новому стала выглядеть проблема гоминизации. Несмотря на то что отдельные авторы и в наши дни продолжают отстаивать идею о прародине человека где-то в Азии [157, 10; 158, 10—21; 160. Подробней об этом см. 127], большинство специалистов после серии блестящих находок Л. Лики в районе озера Танганьика стало склоняться к тому, что такой прародиной была Африка. Материалы Лики, который в 1959 г. нашел череп австралопитековой обезьяны, предшественника гоминид, названной им зинджантропом, а позже, в 1960 г., в том же месте, но в более древнем слое — останки раннего типа гоминид, презинджантропа, который оказался более прогрессивной формой, чем зинджантроп [22, 191—192; 84, 114—115; 97, 16 сл.], перевернули все устоявшиеся представления. Стало несомненным, что процесс гоминизации начался по меньшей мере 1,5—2 млн. лет назад и протекал в достаточно сложных формах. Ранние формы гоминид (архантропы) типа презинджантро-

па развивались параллельно с их более архаичными модификациями (зинджантропами), причем последние даже в одном и том же районе существовали много позже того, как там побывали их более развитые предшественники.

Сам Лики назвал презинджантропа и близких к нему по типу ранних гоминид Homo Habilis. Эти гоминиды, древнейшие из архантропов, уже начали изготовлять орудия [1] и были, видимо, первым этапом в процессе трансформации прегоминид типа австралопитековых в человека. В ходе этого процесса мутация сыграла свою весьма существенную роль; достаточно напомнить, что кариотип человека из 46 хромосом появился, видимо, именно в то время, ибо у прегоминид, как и у крупных человекообразных обезьян, он состоит из 48 хромосом [117, 56—65]. Презинджантроп был уже прямоходящим [10, 80—81]. Есть основания полагать, что именно эти ранние гоминиды, которые в силу нового их генофонда уже качественно отличались от своих предшественников, австралопитековых обезьян (и своих современников — зинджантропов, существовавших рядом с ними, если даже не позже их), могли дать начало ветвям более поздних архантропов, принадлежавших уже к виду Homo Erectus [2]. Архантропы этого вида — уже подлинные предки человека. Но все ли они (питекантропы, синантропы и др.) приняли участие в дальнейшей эволюции гоминид и в равной ли мере? Вопрос неясен, причем в последние годы он еще более осложнился в связи с появлением проблемы пресапиенса.

Проблема пресапиенса тесно связана с более поздней стадией эволюции гоминид — с вопросом о типах палеоантропов, неандертальцев и неандерталоидов. Дело в том, что изучение особенностей анатомического строения неандертальца показало, что его «классический» тип едва ли мог быть прямым предком современного человека. В строении тела «классического» неандертальца были обнаружены столь существенные отклонения от нормы, характерной для современного человека (достаточно напомнить о мощных надбровных дугах-валиках), что эта «специализация» стала рассматриваться многими антропологами как необратимая.

Вывод о необратимости «специализации» классических неандертальцев побудил антропологов резко ограничить круг тех неандерталоидов, которые могли стать предками современного человека. Сначала классическим неандертальцам были противопоставлены «прогрессивные», останки которых, обнаруженные

[1] Вопрос об орудийной деятельности прегоминид (которые тоже умели как-то использовать и даже обрабатывать камни) и ранних гоминид является в настоящее время объектом споров специалистов, пытающихся установить характер этой деятельности и зафиксировать момент, когда эта деятельность превратилась в целенаправленный труд [см. 117, 63 сл.; 10, 83 сл.].

[2] В начале 60-х годов здесь же, в Африке, в районе оз. Чад антропологи нашли останки гоминид, бывших, по-видимому, переходной формой от Homo Habilis к Homo Erectus [228].

в основном в палестинских пещерах Табун и Схул, характеризовались отсутствием заметной специализации. Позже находка нескольких подобных типов (в частности, в Эрингсдорфе), датированных весьма древним периодом, позволила предположить, что не «классические неандертальцы», а некие пренеандертальцы, у которых можно найти сочетание архаических черт с прогрессивными и к которым была отнесена находка в Эрингсдорфе, были предками сапиентных людей. Наконец, находки в Сванскомбе (1936 г.) и Фонтенешваде (1947 г.) фрагментов еще более древних черепов, отличных от неандертальских и сближавшихся по некоторым показателям с сапиентными, поставили в антропологии новую проблему — пресапиенса.

Сначала ее выдвинул Г. Хеберер, затем ею занялся крупнейший французский антрополог А. Валлуа [540]. Суть проблемы пресапиенса [191; 192; 193; 194; 196; 197, 104—119] сводится к тому, что параллельно с неандертальцами и одновременно с ними, если даже не раньше их (ситуация примерно та же, что и с презинджантропом и зинджантропом), появилась и существовала особая ветвь палеоантропов, имевших признаки, отличавшие их от классических неандертальцев и сближавшие с сапиентным человеком. После находок Лики эта теория как бы оживилась, появились новые ее модификации, попытки довести ее до логического конца: от единой базовой формы (Homo Habilis) отпочковались в свое время три параллельные линии — питекантропы, неандертальцы и пресапиенсы, — из которых лишь последняя развилась в современного человека, а остальные зашли в тупик [368, 23—24]. Правда, эта крайняя точка зрения не получила широкой поддержки. Но в то же время количество работ, авторы которых стали рассматривать как тупиковые линии не только неандертальскую, но и дальневосточных архантропов (питекантропов и синантропов), заметно возросло. Эта идея представлена и в генеральных сводках, авторы которых обычно весьма осторожны в выводах и опираются при этом на авторитет большинства специалистов, как это сделала, в частности, Д. Хоукс [380, 43—44 и табл. 1 на стр. 2].

Казалось бы, после появления и широкого признания идеи о пресапиенсе все вновь встает на свои места, только общепринятая шкала-схема эволюции гоминид теперь должна выглядеть примерно так: австралопитековая обезьяна → ранние гоминиды → пресапиенс → современный человек. На самом деле, однако, все намного сложнее. Во-первых, если даже признать существование и ведущую роль пресапиенса в эволюции гоминид, нельзя вовсе сбросить со счетов «боковые ветви», которые вполне могли сыграть свою роль в процессе метисации, сапиентации и приобретения гоминидами различных географических районов определенных специфических расовых признаков. Более того, за последние годы ряд специалистов высказался за признание роли даже «специализированных» неандертальцев в

этом процессе [6, 177—178; 206, 499 сл.], а Г. П. Григорьев заметил, что едва ли верно считать, что все эти непрогрессивные палеоантропы приняли участие в процессе сапиентации лишь как «материал для гибридизации» [72, 47]. Во-вторых, процесс сапиентации тесно связан с процессом расогенеза, а это тоже весьма сложная проблема, вызвавшая за последние годы немало споров.

Как протекал процесс сапиентации? Где, когда и сколько раз палеоантропы (будь то пресапиенсы или другие неандерталоиды) превращались в неоантропов, т. е. в сапиентных людей? Эта проблема — одна из интереснейших не только в антропологии, но и в истории человеческой культуры. Существует несколько гипотез на этот счет.

Наименее вероятная из них — теория панойкуменной сапиентации. Одним из первых ее предложил, правда в осторожной форме, Г. Ф. Дебец, который считал, что количество очагов сапиентации было огромным и рассеянным чуть ли не по всей ойкумене [81]. Насколько можно понять, Дебец при этом исходил из того, что процесс сапиентации протекал повсюду практически одновременно, во всяком случае именно этот тезис концепции стал активно развивать Ю. И. Семенов, который считает, что на определенной ступени развития неандертальцев тотемистические стада, бывшие до того инбредной линией (т. е. замкнутым эндогамным организмом), стали переходить к кроссбридингу, образуя устойчивые дуально-стадные сочетания [206, 496]. Само по себе это предположение вполне основательно, а роль кросс-бридинга в процессе сапиентации признается всеми. Но суть гипотезы Семенова сводится к тому, что механизм гибридизации сыграл свою прогрессивную роль чуть ли не сразу и повсюду, разве что не «абсолютно одновременно», причем в процессе сапиентации принимали участие все неандертальцы, в том числе и едва ли не главным образом специализированные, чья специализация исчезала как раз под воздействием кроссбридинга [206, 499 и 503]. В этом основная слабость гипотезы, ибо если принять, что любая гибридизация (а случайный кроссбридинг бывал всегда: орды сталкивались, мужчин побежденной орды уничтожали, женщин забирали себе) способна повлечь за собой деспециализацию неандертальцев, то окажется непонятным, почему же это случилось только и именно около 40 тыс. лет назад, ни раньше, ни позже. Если же не любая, а только массовая, т. е. в «панойкуменных» масштабах, то почему этот массовый сдвиг произошел столь дружно и практически одновременно? На эти вопросы «панойкуменная» теория ответа не дает.

По сравнению с «панойкуменной» много более убедительной представляется теория моноцентризма. Разработанная усилиями А. Валлуа [539] и Я. Я. Рогинского [190; 197], эта теория не только исходила из того непреложного факта, что наука зафик-

сировала лишь одну «зону сапиентации» в ближневосточном регионе, но и обратила особое внимание на тот несомненный факт, что сапиентный человек характеризуется рядом общих для всех рас важных признаков, отличающих его от более примитивных предшественников и тем самым косвенно свидетельствующих о происхождении его в результате серии уникальных мутаций. Из этого следовал логичный вывод о едином происхождении всех сапиентных людей. Суть его в том, что в определенных благоприятных условиях в рамках достаточно обширного региона, где были оптимальные условия для кросс-бридинга, смешение отдельных групп прогрессивных палеоантропов способствовало появлению и закреплению тех новых морфологических, эндокринных, нейро-психических и иных признаков, которые со временем стали характерными и обязательными для всех неоантропов. Еще раз уточненная и обоснованная в последней работе Я. Я. Рогинского [197], теория моноцентризма может считаться наиболее приемлемой. Уязвимым ее местом, однако, является проблема расогенеза, с разработкой которой, собственно, и был связан выход на передний план в 40—60-х годах теории полицентризма.

Спор между моно- и полигенистами по вопросу о том, считать ли расы различными видами, возникавшими и распространявшимися параллельно и независимо, велся и в XIX в., когда теории полигенизма (различные расы — от разных видов гоминид) решительно преобладали, лишь изредка вызывая возражения моногенистов [221, 9—10]. Но полицентризм Вейденрейха — Куна уже весьма отличался от примитивных постулатов полигенистов. Ф. Вейденрейх, чьи работы высоко оцениваются и его оппонентами [227, 101], в своей наиболее известной монографии пришел к выводу, что различия между питекантропом и синантропом — это различия расовые и что морфологический анализ черепа синантропа позволяет заключить, что существует 12 специфических признаков (в том числе лопаткообразная форма резцов, ореховидные вздутия на внутренней стороне альвеолярного края нижней челюсти и т. п.), которые являются общими для синантропа и современных монголоидов [547, 276—277].

Концепция Вейденрейха была вначале встречена антропологами весьма критически [130; 189; 190, 68 сл.; 398], причем главные возражения шли по линии опровержения специфичного характера выделенных им 12 монголоидных признаков. Антропологи указывали на то, что и среди других рас и гоминид других регионов (неандертальцы Европы, прогрессивные неандертальцы Палестины, современные бушмены, древние норвежцы и т. п.) встречаются аналогичные признаки, иногда даже в большем процентном соотношении [190, 68; 398, 305]. Однако сколь убедительной ни была эта критика, она так и не сумела поколебать центрального пункта 12 признаков — тезиса о присущей именно монголоидам лопаткообразной форме резцов. Как по-

казал Вейденрейх и как это было проверено полевыми обследованиями, среди современных монголоидов эта специфичная форма резцов, хотя она изредка бывает и у представителей других рас, решительно преобладает, встречаясь у 90—100% обследованных [446, 10—11]. Более того, последующие находки в Китае блестяще подтвердили этот тезис: резцы едва ли не всех гоминид и людей прошлых эпох (динцуньцев, яншаосцев, иньцев) неизменно оказывались лопаткообразной формы, так что со временем факт обнаружения в результате морфологического анализа именно такой формы резца стал рассматриваться китайскими специалистами как бесспорное и надежное свидетельство монголоидности его обладателя. Кстати сказать, это обстоятельство сыграло едва ли не решающую роль в построениях последователя Вейденрейха К. Куна, который уже вполне определенно классифицировал всех обнаруженных на территории Китая гоминид «по зубам», зачисляя их по этому признаку в разряд промежуточных форм между синантропом и современными монголоидами [334, 438—481].

Возрожденная и заново аргументированная Вейденрейхом и Куном теория полигенизма отнюдь не получила, несмотря на ее некоторые, заслуживающие внимания выводы, всеобщего признания. Критические отзывы на книгу Куна были в этом смысле достаточно показательными [195]. Однако едва ли следует бороться с этой теорией, лишь утверждая, что она «с научной точки зрения» несостоятельна и развивается «некоторыми реакционными учеными» [159, 30], ибо оценки-ярлыки решению проблемы помочь не могут, особенно если иметь в виду, что и Вейденрейх и Кун являются заслуживающими уважения антропологами, которые в общем-то отнюдь не ставят своей целью защищать тезис о неравенстве или неполноценности рас — это обвинение, иногда выдвигавшееся в их адрес [3, 24], едва ли основательно. Вопрос может и должен быть поставлен иначе: если в распоряжении науки действительно есть некоторые неопровержимые данные, свидетельствующие о преемственно-генетических связях между отдельными группами архантропов и современными расовыми типами, то какова в конечном счете роль этих связей? Иными словами, могли ли параллельные независимые процессы конвергентной эволюции привести несколько различных групп архантропов к сложнейшему и практически одинаковому для всех рас феномену сапиентации, или в ходе этих процессов сыграла свою решающую роль взаимосвязь и метисация представителей различных групп гоминид?

Как специально отметил в своей рецензии Я. Я. Рогинский, К. Кун, уделив некоторое внимание смешению рас и даже признав, что в ряде случаев метисация способствовала превращению Homo Erectus в Homo Sapiens, в целом фактически не считает ее роль существенной [195, 173]. Это парадоксальное противоречие можно понять: ведь признание существенной роли

метисации сразу же изменило бы всю концепцию автора. Как известно, по теории Куна, каждая из пяти основных выделенных им групп архантропов параллельно и независимо от других трансформировалась в соответствовавший ей расовый тип неоантропа. Понимая неубедительность факта такой стерильности и в принципе будучи вынужденным признать определенное место метисации в процессе эволюции гоминид, Кун был вынужден «отступить». Это отступление весьма знаменательно. Заканчивая обзор материалов, посвященных процессу становления монголоидов, Кун заметил, что преемственность между синантропом и монголоидами ясна и что вопрос лишь в том, сам синантроп без чужой помощи совершил все те мутации в центральной нервной и, возможно, эндокринной системе, вследствие которых произошла его трансформация в сапиентный тип, или же был «кто-либо еще», кто «вмешался» в этот процесс. Нам этого никогда не узнать, заключил Кун эту вынужденную попытку поставить проблему в альтернативном плане [334, 481]. Есть, однако, основания считать, что в этом «еще ком-то», может быть даже в этих «еще ком-то», и заключена вся суть проблемы. Прав Рогинский, когда он пишет в своей рецензии, что «ключ к проблеме происхождения рас как раз и заключается в оценке относительной важности» связей и метисации [195, 173].

Таким образом, даже соглашаясь с тем, что многие позиции теории полицентризма достаточно обоснованы, нельзя не заметить, что центральный момент процесса сапиентации разработан ею весьма слабо. Ни Вейденрейх, ни Кун так и не могли доказать, что вся серия мутаций, которая вела к трансформации Homo Erectus в Homo Sapiens, происходила в рамках каждой их трех-пяти расовых линий параллельно и независимо.

В самое последнее время появилась еще одна концепция — бицентризма (дицентризма), своего рода суженная разновидность теории полицентризма. Активно развивающий ее В. П. Алексеев предлагает выделить два основных первичных очага расообразования и несколько более поздних — вторичных. Первичные очаги, западный и восточный, существовали еще до эпохи сапиентации, и именно в них протекал процесс постепенного формирования и накопления определенных расовых признаков и их групп. На Западе это были евро-австралоидные расовые признаки, на востоке — монголоидные. Говоря о восточном очаге, Алексеев с осторожностью упоминает, что слабость фактического материала не дает возможности решить проблему развития монголоидного морфологического комплекса: четко выраженный комплекс такого рода фиксируется лишь в эпоху неолита, тогда как протоморфный монголоидный тип эпохи верхнего палеолита характеризуется определенной нейтральностью, сближающей его с американоидами. Монголоидный комплекс признаков складывался, таким образом, уже по

завершении процесса сапиентации, в пределах вторичного восточноазиатского очага расообразования в верхнем палеолите и мезолите, причем в немалой степени за счет адаптации [7; 8].

Итак, теория бицентризма постулирует существование двух параллельных линий сапиентации и расогенеза, но в то же время вынуждена признать, что материалов для реконструкции самостоятельного процесса сапиентации в восточном очаге явно недостаточно. Вот почему, хотя В. П. Алексеев упоминает о том, что «синантроп связан с современными монголоидами прямой генетической преемственностью» [7, 20], он вынужден несколько смягчить определенность этого утверждения. Во-первых, упоминанием о том, что в пределах вторичного восточноазиатского очага, особенно на юге его, «специфика расообразования выразилась в интенсивном смешении представителей восточного и западного стволов в эпоху верхнего палеолита, а может быть и раньше» [8, 23]. Практически это означает, что именно в ту эпоху, когда шел процесс сапиентации, восточноазиатский вторичный очаг (да и, если уж на то пошло, скорей всего, весь восточный первичный очаг с его становившимися сапиентными американоидами) находился в тесном и достаточно интенсивном контакте с представителями западного очага, где в это время и были достигнуты решающие успехи на пути формирования неоантропов. Во-вторых, тем, что Алексеев специально обращает внимание на то, что постоянный обмен генами между популяциями и распространение полезных мутаций за пределы любой из них существовали всегда, как, впрочем, и тенденция к обособлению популяций на определенной территории, ограничению их подвижности и преобладанию эндогамии в их рамках [9].

Теория бицентризма, совпадающая в некоторых ее основных позициях с концепциями других антропологов, стоит как бы между теориями моно- и полицентризма, в определенной степени смягчая остроту дискуссии между ними, как о том писал сам В. П. Алексеев [7, 18]. Сведя количество независимых параллельных очагов до двух и зафиксировав при этом постоянную взаимосвязь их, она снимает многие из тех сложностей, с которыми неизбежно сталкивались сторонники полицентризма, и в то же время решает те проблемы расогенеза, которые с трудом поддавались решению в рамках теории моноцентризма. Однако слабостью теории бицентризма является то, что она почти целиком обходит сложную проблему сапиентации, стоявшую в центре внимания моноцентристов. Считается как бы само собой разумеющимся, что процесс сапиентации происходил параллельно в обоих первичных (а может быть и в нескольких вторичных) очагах. Между тем, как упоминалось, сапиентация — процесс необычайной сложности и важности, своего рода серия уникально-неповторимых мутаций, в ходе которых

и возникли многие общие для всех людей, для всех рас сапиентные признаки, по сравнению с которыми расовые отличия могут считаться лишь третьестепенными.

Суть вопроса, таким образом, сводится к тому, чтобы отчетливо представить себе возможный механизм процесса расообразования во взаимодействии с сапиентацией. Можно полагать, что ключ к решению проблемы — в признании огромной роли гибридизации, причем не просто панойкуменной, в какой-то момент истории человека, а гибридизации как механизма для обеспечения постоянного взаимодействия между накоплением удачных мутаций и дрейфом генов в замкнутой популяции, с одной стороны, и распространением накопленных прогрессивных признаков по ойкумене — с другой [9; 243]. Практически здесь два тесно связанных процесса. Первый хорошо обрисован гипотезой Вейденрейха—Куна: от различных популяций архантропов с определенными расовыми признаками в нескольких обособленных зонах возникали палеоантропы-неандерталоиды с теми же признаками. Но продолжался ли этот процесс в виде независимых параллельных линий и на этапе сапиентации? Это уже вызывает некоторые сомнения и колебания даже у таких патриархов полицентризма, как К. Кун. В то же время нет сомнений в том, что и специализированные неандертальцы Европы, и неандерталоиды Восточной Азии принимали участие в формировании сапиентного человека, определяя, в частности, его расовые характеристики. Как это могло произойти?

Здесь следует обратить внимание на второй процесс — процесс сапиентации. Очень похоже на то, что он протекал все-таки лишь однажды, в одной зоне и сравнительно быстрыми темпами, завершившись примерно 40 тыс. лет назад [97, 172—177]. Наиболее активную роль при этом играли именно прогрессивные неандерталоиды; с этим согласны и те антропологи, кто в общем не склонен принять концепцию пресапиенса и считает стадию неандертальцев в процессе эволюции гоминид обязательной [71, 228; 228, 124 сл.]. Сам по себе процесс сапиентации был прежде всего следствием положительных мутаций, причем приобретавшиеся и наследовавшиеся в результате этого прогрессивные признаки способствовали выживанию и распространению их обладателей [187, 353—354].

И вот именно на этом этапе оба процесса вступили в активное взаимодействие. Носители прогрессивных признаков, активно расселявшиеся в разные стороны и оттеснявшие отставших от них палеоантропов в районы с худшими условиями обитания, способствовали тем самым ускорению действия механизма гибридизации. Некоторые видные антропологи считают, что именно метисация играла решающую роль в процессе трансформации палеоантропов в неоантропов [194, 179]. В этом смысле интересно положение А. Валлуа, согласно которому контакты сапиентных рас с неандертальскими кончались гибелью послед-

них [539, 117]. Имелось в виду, что потомки подвергшихся гибридизации палеоантропов, в том числе и специализированных, непрогрессивных, приобретали сапиентные признаки и тем самым переставали быть неандерталоидами. Но, приобретая сапиентные признаки, они вместе с тем сохраняли некоторые расовые особенности их несапиентных предков, что и фиксируется столь убедительно исследованиями Вейденрейха и Куна.

За последние годы на это обстоятельство все чаще обращают внимание антропологи. В самом деле, трудно предположить, что сапиентация могла около 40 тыс. лет назад независимо и одновременно протекать в разных зонах. Трудно не только потому, что феномен удачной мутации редок и практически почти неповторим. Гораздо важнее здесь, во-первых, то, что этот феномен пока фиксируется лишь в одной зоне, а во-вторых, то логически неопровержимое обстоятельство, что распространение по ойкумене сапиентных людей было во много раз более быстрым процессом, чем конвергентное накопление удачных мутаций (разумеется, при этом остаются в стороне возможные спекуляции расистского толка, которые могли бы опираться, скажем, на неравноценность одного процесса другому). Ведь завершение процесса сапиентации в одной зоне практически означало, что неоантроп в силу своих несомненных преимуществ перед палеоантропами оказывался в более благоприятных условиях для размножения и распространения.

Быстрое же распространение сапиентных людей по ойкумене вело к тому, что в масштабах каких-либо сотен или тысяч лет (срок ничтожный по сравнению с процессом трансформации палеоантропа в неоантропа) следовавший за пищей (мамонтами и др.) и легкий на подъем неоантроп достигал самых отдаленных точек Старого Света и повсюду вступал в контакты (мирные и немирные) с ордами местных палеоантропов. Контакты в любом случае вели к метисации, что, в свою очередь, давало резкий толчок к эволюции местных палеоантропов, которые исчезали, уступая место своим, уже сапиентным потомкам [381, 36—37]. Можно ли в таких условиях считать местных палеоантропов лишь «материалом для гибридизации» или нет, это уже вопрос терминологии или престижа, но не вопрос науки. Наука же такую гибридизацию не только не отрицает, но, напротив, все чаще считает важнейшим механизмом эволюции человека.

Одним из первых о возможности участия даже специализированных палеоантропов в виде примеси к другим (неоантропным) формам писал В. П. Якимов [257]. Позже на это обстоятельство как на важный момент процесса антропо- и расогенеза обратили внимание другие специалисты [71, 229; 187, 347]. Анализируя данные одонтологии, к аналогичному выводу пришел и А. А. Зубов [95, 72—73]. Косвенно это признал и Ю. И. Семенов, хотя он и счел нужным при этом все-таки про-

вести полный знак равенства между участниками процесса сапиентации: «Нет никаких оснований рассматривать классических неандертальцев, начавших превращаться в современных людей в результате скрещивания с палеоантропами, уже до того вступившими на путь трансформации, как дополнительный, второстепенный материал для формирования Homo Sapiens» [206, 504]. Сама постановка вопроса о «второстепенности» понадобилась здесь для того, чтобы подчеркнуть, что классические неандертальцы и без того уже шли вперед и могли дойти до сапиентации.

Могли или не могли — об этом едва ли стоит спорить. Факт остается фактом: ранее трансформировавшиеся в неоантропов именно посредством метисации резко ускоряли процесс трансформации остальных, причем именно в ходе этого процесса сапиентные неоантропы появлялись во всех зонах ойкумены. Получив такого рода мощный толчок, каждая из таких зон как бы «оживлялась»; внутри нее с новой силой шел теперь все тот же процесс расогенеза, который начался еще со времен архантропов. Снова в рамках каждой зоны — а может быть теперь уже и в более дробных, «вторичных очагах расообразования» — накапливались свои определенные расовые признаки, оставшиеся преимущественным достоянием именно этих зон или очагов. Снова шел процесс накопления этих признаков, дрейф генов в замкнутых популяциях. И все это вновь сопровождалось метисацией во все новых и новых вариантах. Подвергшиеся метисации сапиентные неоантропы усиливали, утрачивали или изменяли унаследованные от предков расовые признаки в зависимости как от новых смешений, так и от географически-климатических факторов, т. е. вследствие адаптации, что теперь играло едва ли не важнейшую роль в процессе расообразования [4, 158; 8, 22; 203; 380, 54].

И только после этого начали возникать современные расы. Сущность заключительной фазы процесса расогенеза до сих пор не вполне ясна, но формирование основных трех рас было результатом миграции неоантропов из ближневосточной зоны в трех различных направлениях: движение в северо-западном направлении (с последующей метисацией) завершилось формированием европеоидов, в южном — негроидов, в северо-восточном — монголоидов [539, 111 сл.]. Некоторые антропологи, отмечая определенную общность между протоевропеоидами и протонегроидами, были склонны считать, что формирование рас первоначально шло двумя основными линиями — евро-австралоидной и монголоидной [156, 359; 5, 20]. При этом имелось в виду, что дальнейшее формирование расовых типов, и в частности разделение первой линии на негро-австралоидную и европеоидную, было делом последующих эпох и закончилось сравнительно недавно, 20—10 тыс. лет назад [101—176; 380, 54]. Но это означает, что неопределенность, нечеткость расового типа

была нормой [133, 330; 178, 40—42], естественным результатом непрекращавшегося взаимодействия противоположных процессов: дрейфа генов в замкнутых популяциях и адаптации, с одной стороны, и постоянной миграции и метисации популяций — с другой.

Таким, вероятнее всего, был процесс антропо- и расогенеза. Но если так, то формирование любого известного ныне расового типа окажется далеко не столь прямолинейным, как это иногда представляется. Можно, например, согласиться с тем, что в Восточной Азии протекал процесс формирования монголоидов параллельно с процессом их сапиентации, как считают поли- и бицентристы. Но признание этого еще далеко не равноценно принятию идеи, будто сапиентация в этой зоне протекала независимо от аналогичного процесса в ближневосточной зоне. Не говоря уже о том, что в восточноазиатской зоне невозможно антропологически зафиксировать процесс сапиентации, контакты между обеими зонами существовали постоянно и, по сути, играли роль сообщающихся сосудов, способствовавших обмену полезной информацией, в данном случае генами, что и вело в конечном счете к завершению сапиентации.

АРХАНТРОПЫ И ПАЛЕОАНТРОПЫ В КИТАЕ

Теперь, после рассмотрения общих проблем антропо- и расогенеза, обратим внимание на собственно китайские материалы. Первый вопрос: входила ли территория Китая, хотя бы частично, в зону очеловечения обезьяны, в зону первичного антропогенеза? Как известно, еще сравнительно недавно некоторые специалисты полагали, что процесс антропогенеза протекал именно на территории Китая, например в районе Тибета [136]. Существовала и довольно тщательно разработанная гипотеза о центральноазиатской прародине человечества, которая ныне является уже достоянием истории [127]. Но, хотя подавляющее большинство антропологов склонно видеть зону очеловечения обезьяны в Африке, где к тому же зафиксировано наибольшее количество возможных предшественников гоминид, третичных антропоидов, продолжают существовать и иные точки зрения.

Так, находка в Китае зубов третичного антропоида дриопитека (дриопитек кайюаньский, провинция Юньнань) и особенно костных останков гигантопитека — представителя антропоидов, стоявших на грани превращения в гоминиды, — позволила В. Е. Ларичеву предположить, что территория Южного Китая была одной из зон очеловечивания антропоидных обезьян [125, 212]. Этот вывод — правда, на основании несколько иных исходных соображений (ссылка на то, что древние формы австралопитеков в Африке вымерли и что предки гоминид были, возмож-

но, выходцами из Южной Азии, где зафиксировано немало форм третичных антропоидов) — был сформулирован и М. Ф. Нестурхом [158, 22—24]. Суть аргументации сторонников южноазиатского центра антропогенеза сводится к тому, что именно южноазиатские третичные антропоиды могли «через неизвестных еще ранних гоминид, соответствующих по уровню развития гигантопитеку», дать начало питекантропу и синантропу, т. е. уже сравнительно поздним формам гоминид, принадлежавшим к Homo Erectus [125, 212].

Конечно, вариант такого рода не может быть исключен. И прав Нестурх, когда он подчеркивает, что между Восточной Африкой и Южной Азией мог протекать регулярный «взаимный обмен формами» как в период антропогенеза, так и в более позднюю эпоху формирования неоантропа [158, 24]. В этом смысле теоретически вполне можно предположить, что и южнокитайские дриопитеки (о гигантопитеках не может быть речи: современные ученые единодушно признают, что теория Вейденрейха о том, что эти антропоиды могли быть предками гоминид и человека, ныне опровергнута обнаружением Homo Habilis, бывшего действительным предком архантропов) сыграли свою роль в формировании того наиболее прогрессивного типа австралопитековых антропоидов, который явился исходной формой для возникновения первых гоминид, Homo Habilis. Но признание этого, по существу, ничего не дает и, во всяком случае, не может служить веским основанием для предположения, что Южная Азия была зоной антропогенеза. Никто не сомневается в том, что в Южной Азии существовали третичные антропоиды, которые могли эволюционировать в сторону гоминид,— условия для этого были подходящими [705, 87]. Однако имеющиеся пока в распоряжении науки факты свидетельствуют о том, что не в Азии, а в Африке произошел решающий переход от антропоидных австралопитековых обезьян к первым и наиболее примитивным из гоминид, что именно там был центр антропогенеза. Что же касается следующего этапа процесса антропогенеза, этапа архантропов, то зона распространения их была уже достаточно широкой, охватив ряд материков, в том числе и многие районы Европы и Азии. Немалое количество архантропов обнаружено и в Китае. Речь идет в первую очередь о знаменитом синантропе, открытие и изучение которого составило целую эпоху в антропологии.

Синантроп появился в Китае с юга, о чем свидетельствует прежде всего характерная для него галечная индустрия чопперов, типичных именно для юго-восточно-азиатских архантропов, а также южная среднеплейстоценовая фауна, постепенно перемещавшаяся в ту пору на север и служившая основным видом пищи для следовавших за ней архантропов [465, 386—403; 121, 11; 124, 144; 125, 214]. Открытия последних лет, в результате которых в провинции Шэньси, близ Сиани были обнаруже-

ны костные останки еще одного архантропа, названного «ланьтяньским» синантропом [629, 707], показали морфологическую близость этого архантропа к чжоукоудяньскому синантропу и к яванскому питекантропу [709, 16] и тем самым подтвердили южное происхождение китайских архантропов.

Начальная дата появления синантропа в Чжоукоудяне, по современным данным, отстоит от наших дней на 360—370 тыс. лет [334, 438; 97, 48]. Это довольно поздняя дата для архантропов, среди которых синантроп считается самым младшим и в некоторых отношениях более прогрессивным типом по сравнению, например, с питекантропом [465, 390; 97, 50]. По мнению китайских антропологов, «ланьтяньский» синантроп несколько старше своего чжоукоудяньского собрата [696; 707, 5], что подтверждается и современной ему раннесреднеплейстоценовой фауной [709, 14]. Интересно заметить, что в начале 60-х годов, незадолго до ланьтяньской находки, на страницах китайской научной периодики разгорелась довольно резкая полемика между Пэй Вэнь-чжуном, с одной стороны, и У Жу-каном, Цзя Лань-по и некоторыми другими антропологами — с другой, по вопросу о том, следует ли считать синантропа «первым из гоминид и первым из людей» [658]. В этой дискуссии Пэй Вэнь-чжун пытался утверждать, что все другие известные науке гоминиды либо сомнительного происхождения, либо обнаружены без сопровождения орудий, либо более поздние, чем синантроп. В ответ на это его оппоненты отвечали, что питекантропы все-таки древнее, что не следует искусственно увеличивать древность синантропа, датируя его самым началом палеолита, и т. п. [732; 737]. Разумеется, в свете последних открытий в Африке (даже учитывая ланьтяньскую находку, действительно несколько удревнившую эпоху обитания синантропов в Китае) дискуссии такого рода выглядят наивными и бесконечно устаревшими. Не исключено, что сам факт несколько неожиданного возникновения спора в Китае в начале 60-х годов на эту давным-давно решенную антропологами тему следует объяснять не только академическими соображениями. Как бы то ни было, но ясно одно: синантроп пришел в Северный Китай с юга примерно 400 тыс. лет назад, причем в то время это была одна из развитых форм архантропов.

Что известно современной науке о синантропах? Раскопано несколько местонахождений в районе Чжоукоудянь — №№ 1, 13, 15 и другие, менее значительные [128, 183 сл.]. Главным из них является среднее по времени местонахождение № 1 — большая пещера с многослойными отложениями, в которых и были найдены останки всех 45 особей синантропа. При этом важно заметить, что особи, обнаруженные в верхних слоях, морфологически не отличались от тех, останки которых были на самом дне пещеры. И это несмотря на то, что мощность культурного слоя здесь достигала 50 м и бесспорно свидетельствовала о

том, что ранние синантропы жили на сотни тысяч лет раньше последних их потомков. Одним из первых на это обратил внимание Тейяр де Шарден, который специально подчеркнул, что столь длительное существование на одном и том же месте неизменного антропологического вида заставляет предполагать, во-первых, что и в соседних местонахождениях несколько более раннего или позднего времени (№№ 13, 15 и др.), где костных останков человека не было найдено, «хозяином» был тот же синантроп и, во-вторых, что биологическая эволюция — крайне медленный процесс, особенно когда она «не нарушается и не ускоряется настойчивым вторжением чуждых элементов» [522, 59—60].

Этот вывод Тейяра, сделанный по свежим следам первого этапа раскопок в Чжоукоудяне, получил признание современной науки [465, 402; 311, 19]. Более того, многие антропологи решительно стали говорить о том, что стагнация антропологического типа синантропа свидетельствует о его деградации и о том, что это была боковая ветвь филогенетического древа гоминид [426, 55 табл.; 465, 411; 187, 204, 339, 358 табл.]. Важно подчеркнуть, что даже те антропологи, кто в принципе исходит из того, что архантропы (как и палеоантропы) — обязательная стадия в процессе эволюции гоминид, считают возможным и даже нужным оговориться, что речь идет об архантропах как виде, а не конкретно о синантропе или яванском питекантропе, которые сами могли быть боковой тупиковой ветвью [226, 108—109]. И такое отношение современных антропологов к синантропу и его месту в процессе эволюции гоминид не случайно. Недаром специалисты подчеркивают, что нет фактов, подтверждающих, что группа чжоукоудяньских синантропов, просуществовав сотни тысячелетий, дала начало более прогрессивному типу человека [187, 311].

Для столь категорического вывода есть достаточно веские основания, и на них стоит остановиться подробней. На территории Китая известны пока три пункта, где были найдены останки гоминид среднего и позднесреднего плейстоцена, т. е. периода, который, как принято считать, соответствовал стадии палеоантропов, пришедших на смену архантропам. Эти три точки разбросаны по всему Китаю: Динцунь — на севере, Чанъян — в центре и Маба — на крайнем юге страны. Следует сразу же заметить, что и абсолютная и относительная хронология этих находок вызывает споры специалистов, причем диапазон различий в оценках весьма велик. Так, череп из Маба одни считают очень ранним, самым древним после синантропа, находящимся на грани между архантропом и палеоантропом [672, 96; 710, 160, 163], а другие — весьма поздним, близким к сапиентному человеку [334, 463—464]. Динцуньского человека одни считают сравнительно поздним, по времени близким к ордосскому [552, 389; 660, 14, 74], другие — очень ранним, едва ли не современ-

ником синантропа [311, 24—29[3]; 124]. Споры эти имеют принципиальное значение, однако для нас они все-таки второстепенны. Главным следует считать то, что все эти три типа гоминид жили на территории Китая после синантропов или в крайнем случае (если иметь в виду длительность существования синантропов в районе Чжоукоудяня) одновременно с последними из них. Другими словами, именно эти китайские палеоантропы, и только они, могли бы считаться преемниками синантропа.

Заметим, что человек из Маба [233а] имеет очень мало оснований считаться непосредственным преемником синантропа. Плохо сохранившийся череп дает очень немного для научного исследования и открывает широкий простор для домыслов, догадок и предположений, что, в частности, нашло выражение в сильно различающейся датировке находки. Культурных остатков (орудий и т. п.) рядом с черепом не обнаружено, что исключает возможность дальнейшего изучения и сравнения, а территориальная отдаленность, исчисляемая в тысячах километров, не позволяет даже ставить вопрос о генетической или культурной близости человека из Маба и синантропа. Единственное, что позволило протянуть хотя бы тонкую ниточку от человека из Маба к синантропу (и к современному монголоиду), — это наличие, как пишет К. Кун, некоторых общих черт в строении черепа [334, 464]. Однако это сходство выражено менее определенно, нежели фиксируемое одновременно сходство с европейскими неандертальцами, о котором специально писали китайские антропологи [710, 162].

Чанъянский человек тоже представлен фрагментами черепа, найденными без сопровождающих изделий. Однако на обломке челюсти сохранились три зуба, которые имеют немаловажное значение для морфологического анализа. Зубы, по определению Куна, представляют собой промежуточный тип между зубами синантропа и современного монголоида [334, 462]. Общий облик находки из Чанъяна свидетельствует, по мнению некоторых исследователей, о большей близости ее, как и человека из Маба, к неандерталоидам, нежели к питекантропоидам, т. е. архантропам [302, 30—32].

Теперь о динцуньском человеке. Несмотря на упоминавшиеся споры о датировке китайских палеоантропов, принято считать, что именно динцуньский человек был наиболее близким к синантропу как хронологически, так и территориально. Некоторые авторы даже более определенно полагают, что, возможно, динцуньцы были потомками синантропов [224, 12]. Тезис огромной важности, ибо если признание генетической связи между, скажем, синантропом и человеком из Маба или Чанъяна, по существу, ничего не дает, так как культура этих людей науке неизвестна, как и их место в дальнейшей эволюции человека,

[3] Позже Чжэн Дэ-кунь отказался от этой датировки и принял наиболее позднюю верхнепалеолитическую [314, 9—10].

то установление такого рода связей между синантропом и динцуньским человеком дало бы очень много. Динцуньский человек и найденная с ним богатая нижнепалеолитическая каменная индустрия через близкого к нему и явно родственного как в генетическом, так и в культурном плане ордосского человека с его уже позднепалеолитической культурой тесно соприкасается с эпохой появления сапиентного человека в Китае. Таким образом, установление идентичности, сходства или различий между синантропом и динцуньским человеком во многом предрешает ответ на спорный ныне вопрос о роли синантропа в формировании современных монголоидов.

Изучение костных останков динцуньского человека — его трех зубов — дало антропологам сравнительно немного. Форма зубов — не очень большие размеры корней и коронок — позволила заключить, что они сходны с зубами сапиентного человека, хотя и имеют ряд примитивных черт. По сравнению с зубами синантропа они намного более развиты и по некоторым показателям сближаются с зубами европейских неандертальцев. В целом же зубы динцуньского человека являют собой промежуточную форму между зубами современного человека и синантропа. При этом давший описание зубов У Жу-кан осторожно заметил, что лопаткообразная форма резцов характерна для монголоидов [660, 16—19; см. также 600, 91—104].

Материала, таким образом, мало, и многое зависит от акцента, который ему можно придать. К. Кун, например, увидел в зубах динцуньского человека только одно — лопаткообразную форму, позволившую ему утверждать, что динцуньский человек является не столько промежуточной формой между архантропами (синантропом) и неоантропами, сколько связующим звеном между протомонголоидом-синантропом и современными монголоидами. Кун даже заключил, что динцуньский человек как связующее звено — это как раз то, что так искал и не успел найти при жизни Ф. Вейденрейх, которому он посвятил свой труд [334, 460].

О резцах и их месте в морфологическом анализе многих специалистов, особенно китайских, уже упоминалось. В этой связи остается неясным только одно: какую роль этот критерий — лопаткообразные резцы — может играть в определении расового типа и его чистоты? Следует, по-видимому, согласиться с тем, что лопаткообразный резец характерен именно для монголоидов, во всяком случае сегодня ни один специалист уже не пытается просто отвергнуть этот вывод. Другое дело, что этот признак встречается, во-первых, не у абсолютно всех монголоидов и, во-вторых, не только у них [190, 68 сл.]. Это обстоятельство ставит под сомнение чистоту расового типа любого обладателя лопаткообразного резца и уж, во всяком случае, способно дезавуировать основанное на одном лишь сходстве резцов утверждение об однолинейной преемственно-генетической

связи, скажем, от синантропа к динцуньцу. Не случайно специалисты-одонтологи, признавая в целом специфичные черты монголоидных зубов, считают вместе с тем необходимым заметить, что эта специфика «еще не позволяет говорить об отдельном монголоидном стволе, идущем к монголоидам со времен синантропа» [96, 73]. Другими словами, наличие лопаткообразных зубов (генетически весьма сильного и потому легко передававшегося по наследству признака) ни в коей мере не исключает того, что обладатель их являет собой продукт метисации, в том числе и смешения представителей различных видов гоминид, скажем, палео- и неоантропов и даже нео- и архантропов. А. А. Зубов, например, прямо высказывает предположение, что сходство зубов синантропа и современных монголоидов — скорей всего результат определенной преемственности, находившей свое проявление в смешении сапиентных типов с потомками синантропа [95, 72—73]. К проблеме генезиса сапиентных монголоидов мы вернемся несколько позже. Пока же важно еще раз подчеркнуть, что такой существенный признак, как лопаткообразный резец, сохранялся, по-видимому, и при метисации, т. е. при смешении его обладателей с теми, кто его не имел.

Таким образом, наличие сходных резцов позволяет ставить вопрос о родстве синантропа и динцуньца, делает несколько сомнительным тезис о полном отсутствии между ними генетической связи и в то же время не дает никаких оснований утверждать, что динцуньцы были потомками только синантропов, даже если синантропы действительно были одной из предковых линий динцуньцев. Понятно, что при такой постановке вопроса решение проблемы во многом зависит от правильной оценки культурных традиций и всего комплекса палеолитических культур синантропа и динцуньца.

Здесь мы из сферы более или менее точных данных антропологического анализа переходим в сферу археологии с ее более спорными критериями и далеко еще не решенными вопросами о соотношении эволюционно-генетического саморазвития и внешних контактов и взаимосвязей. Сложность в том, что археологами вначале были хорошо изучены и детально систематизированы палеолитические культуры Запада, в основном Европы, на базе которых была в свое время выведена ставшая хрестоматийной линия сменявших друг друга культур: шелль, ашель, мустье и т. д. Открытые позже палеолитические культуры Азии не вписывались, однако, в этот эволюционный ряд. Изучение их привело специалистов к выводу, что различия здесь весьма значительные, что позволяет выделить вновь открытую группу палеолитических культур в отдельную зону. Х. Мовиус, проанализировавший эти различия, пришел к выводу, что восточноазиатские культуры палеолита являли собой особую зону чоппероподобных орудий, отличавшуюся довольно специфической техникой обработки камня (гальки) и своеоб-

разным набором орудий, в котором место столь распространенного на Западе топора-рубила занимали чопперы, т. е. односторонне обработанные массивные орудия из гальки [465]. Хотя выводы Мовиуса приняли далеко не все [см. 91, 112—119; 92], причем в ряде случаев несогласие с ними объясняется наличием орудий обоего типа на стыках зон, например в Индии [37, 40—52], теория двух различных зон получила широкое признание и распространение [380, 63—64; 471, 36]. Кстати, наличие смешанных по характеру культур на стыках зон, в той же Индии, признавал и сам Мовиус [465, 411]. По-видимому, к числу такого же рода контактных культур на стыке обеих зон следует отнести и динцуньский палеолит.

В отчете о раскопках в районе Динцуня говорится, что вся нижнепалеолитическая индустрия динцуньцев как комплекс уникальна и что в ней наряду с заимствованиями от культуры синантропа заметно и немало отличий от нее. Зафиксированы иные типы орудий, иная техника их изготовления, причем в ряде случаев формы орудий были аналогичны западноевропейскому палеолиту [660, 109—110]. Выводы авторов отчета не вполне определенны, а их настойчивый тезис об уникальности Динцуня мало что дает для изучения проблемы генезиса этой культуры. Неудивительно поэтому, что некоторые специалисты в первую очередь обратили внимание на те вполне очевидные аналогии, которые сближают Динцунь с западным палеолитом [168, 21]. В этой связи заслуживает внимания та оценка, которую дает динцуньскому палеолиту В. Е. Ларичев, изучавший эту культуру и ее истоки. Опираясь на публикации китайских антропологов и археологов, Ларичев в своей кандидатской диссертации [121] пришел к выводу о резком различии культур Динцуня и Чжоукоудяня. Если культуре синантропа, как это отмечал еще Мовиус, были свойственны галечные орудия и чопперы (а топоры-рубила совершенно отсутствовали), в динцуньской культуре, напротив, встречались ручные рубила, скребла и остроконечники ашельско-мустьерского типа, изготовленные в классической для европейских палеоантропов технике. Отметив этот факт и описав довольно детально орудия динцуньцев, Ларичев сделал из этого вывод о западном происхождении динцуньцев и их культуры [122]. Впоследствии развитию этой гипотезы Ларичев посвятил еще одну работу [124], основные идеи которой — сосуществование в Северном Китае на протяжении всего нижнего палеолита двух культурных ареалов, восточного (чжоукоудяньского) и западного (динцуньского), различавшихся и по истокам (соответственно с юга и с северо-запада), и по традициям, — подкреплялись обнаружением на территории Монголии нижнепалеолитической культуры, во многом близкой динцуньской и явно тяготевшей к западным традициям [123; 172].

Таким образом, ближайшая к синантропу по времени и месту и наиболее вероятная в глазах специалистов «преемница»

чжоукоудяньских синантропов — динцуньская культура в этом варианте оказывается едва ли не совершенно чуждой культуре синантропа. Между тем анализ динцуньских материалов дает основания предположить гетерогенность палеолитической культуры динцуньцев. Показательно, что некоторые авторы [311, 24—29; 573, 4—5], в том числе Мовиус [466], вообще не видят в динцуньской культуре никаких особенных западных традиций, считая ее законной наследницей культуры синантропа. Даже те китайские специалисты, которые отмечают в этой культуре черты, сближающие ее с культурами палеолита Запада, не забывают при этом указать и на преемственность отдельных элементов культур синантропа и динцуньца, о чем, кстати, упоминает в своей работе и Ларичев [124, 136]. В сущности, все специалисты признают наличие отдельных элементов сходства между культурами синантропа и динцуньца, хотя соотношение этих сходных элементов со всеми остальными в культуре динцуньцев оценивается по-разному.

По-видимому, это может означать только одно: культура динцуньца не была генетически чуждой чжоукоудяньской; между ними существовала определенная степень родства. В самом деле, едва ли не основным видом орудий динцуньцев были все те же выделанные из гальки чопперы и чоппинги, хотя техника выделки их отличалась от чжоукоудяньской. Если же сравнивать, как это и делает большинство китайских специалистов, датирующих динцуньскую культуру сравнительно поздним временем, орудия динцуньцев с орудиями из самого позднего чжоукоудяньского местонахождения (№ 15), то сходства окажется еще больше [660, 109; 311, 29]. Неудивительно, что эта близость, равно как и факт существования чопперовидных орудий при отсутствии топоров-рубил (основной признак, по Мовиусу), выдвинули в ряде работ на первый план именно общность культур синантропа и динцуньца, побудив рассматривать и оценивать различия лишь в плане эволюционно-хронологических изменений. Между тем такой односторонний подход едва ли не столь же ошибочен, как и стремление подчеркивать только различия в этих культурах. Факт остается фактом: различия эти весьма значительны, а западное влияние в области техники изготовления орудий и формы некоторых из них (мустьерские остроконечники, иногда близкие к рубилам, рубила-остроконечники типа ля-микок) [124, 131] несомненно и признано [296]. Интересно заметить, что даже проводивший анализ динцуньских зубов К. Кун был вынужден упомянуть о том, что в оценке характера культуры динцуньцев существуют расхождения и что некоторые авторы определенно говорят «о влиянии западного мира» [334, 460].

Таким образом, правильней всего признать, что динцуньская культура была смешанной, гетерогенной, обязанной своим происхождением взаимодействию двух, а может быть, и не-

скольких ранних палеолитических культурных традиций. Эта смешанная по типу культура появилась, по-видимому, все-таки сравнительно поздно (в этом есть все основания солидаризироваться с китайскими исследователями) [660] и продолжала существовать в Северном Китае на протяжении многих тысячелетий, дав начало родственной ей ордосской культуре, а может быть и некоторым другим. Как известно, для ордосской культуры тоже было характерным сочетание традиций культуры чопперов синантропа с мустьерско-леваллуасскими культурными традициями европейских неандертальцев [735, 57; 380, 73]. Культура ордосского человека — Шуйдунгоу, Шараоссогол — просуществовала до верхнего палеолита [311, 32—34; 302, 32—33], а его самого современные китайские исследователи считают типом, переходным от палеоантропа к неоантропу [573, 5].

По-видимому, с эпохи динцуньского человека и до начала верхнего палеолита для Северного Китая была наиболее типичной именно эта палеолитическая культура гетерогенного типа, характеризовавшаяся наличием различных культурных элементов и традиций, причем носители ее, и динцунец и ордосец, имели обычные для монголоидов лопаткообразные резцы [124, 132; 334, 454]. Не совсем ясным в этой связи остается лишь исходный пункт: как, когда, каким образом и при чьем участии возникла гетерогенная культура динцуньско-ордосского типа?

Ответить на этот вопрос пока нелегко: для этого слишком мало данных. Можно высказать лишь некоторые предположения весьма гипотетического характера. Одной из предковых линий динцуньцев — как в физическом типе, так и в культуре — были архантропы типа синантропа. Это не обязательно означает, что именно чжоукоудяньские синантропы играли при этом главную роль. Такая возможность в принципе не исключена, и факт длительного обитания синантропов в одном районе делает ее весьма вероятной. Но теперь известны и другие местонахождения архантропов типа синантропа, причем культура по крайней мере одного из них, ланьтяньского синантропа из района Гунванлин, свидетельствует о большем сходстве с культурой динцуньца (массивный остроконечник треугольной формы) [604, 32; 605, 12], что и отличает ланьтяньца от чжоукоудяньцев. Кроме того, на рубеже 60-х годов китайские археологи в районе провинции Шаньси, т. е. неподалеку от находок ланьтяньского синантропа и динцуньца, обнаружили богато представленную и весьма интересную раннепалеолитическую культуру — Кэхэ [738; 739; 740; 741; 742]. В 11 стоянках этой культуры нашли 138 каменных орудий. Часть их весьма нечеткой формы, но есть и выразительные: чоппинги, скребки, массивные треугольные остроконечники и т. п. Археологи обратили внимание на то, что среди этих орудий выделяются типы, сходные как с орудиями синантропа, так и динцуньца (остроконечники с треугольными остриями, незнакомые синантропу).

Отсюда был сделан вывод, что культура Кэхэ, сочетавшая в себе черты культур синантропа и динцуньца, была предшественницей динцуньской, хотя, может быть, и не непосредственной, а более ранней [741, 37—40]. Датировка Кэхэ вызвала споры: Цзя Лань-по и некоторые его сотрудники были склонны датировать ее весьма ранней эпохой — одновременной с местонахождением № 13 в Чжоукоудяне, а то и более ранней, чем эпоха синантропа. Следует, однако, иметь в виду, что эта удревненная датировка давалась в самый разгар полемики о том, следует ли считать синантропа древнейшим из гоминид и из людей, — полемики, в которой Цзя Лань-по принимал самое активное участие в качестве оппонента Пэй Вэнь-чжуна. Это обстоятельство при характеристике новой находки в Кэхэ отметил Ся Най [694, 453]. В этой связи заслуживает внимания особое мнение еще одного сотрудника Цзя Лань-по, принимавшего участие в раскопках в Кэхэ, — Цю Чжун-лана [751], который высказался в пользу более умеренной датировки, соответствующей эпохе синантропа. Хотя Цзя Лань-по и выступил против этого мнения [738], вопрос все-таки остался открытым. В любом случае, однако, обнаружение в Шаньси нижнепалеолитической культуры, современной синантропу (или ланьтяньскому синантропу) и имевшей черты культурного сходства как с чжоукоудяньской, так и с динцуньской культурой, позволяет сделать вывод, что не сами чжоукоудяньские синантропы, жившие действительно в условиях изоляции и постепенно деградировавшие, а их «родственники» в Шаньси и Шэньси были, по-видимому, теми, кто явился одной из предковых линий динцуньцев (Ланьтянь → Кэхэ → Динцунь) [605, 12].

В трудах китайских исследователей сквозит мысль о том, что сходство культуры Кэхэ с динцуньской может рассматриваться как свидетельство существования генетически-преемственной (хотя и не непосредственной — не хватает промежуточного звена) линии от первой культуры ко второй. Едва ли, однако, эта действительно вполне вероятная предковая линия исчерпывает собой все то принципиально новое, отличное от традиций культуры синантропа и близкое к западным традициям, что оказалось столь характерным для динцуньской культуры. Обнаружение же в соседних с севера районах Китая, в частности на юге Гоби, нижнепалеолитических культур, еще более отчетливо тяготеющих к западным традициям и в некоторых отношениях сходных с динцуньской [123], позволяет предположить, что вторую предковую линию следует искать именно в этом направлении. Можно полагать, что именно в результате смешения двух различных нижнепалеолитических культур и традиций (представленных соответственно различными типами гоминид) где-то в районе современных провинций Шаньси и Шэньси возникла гетерогенная культура типа динцуньской. Когда именно это произошло — неясно. Не исключено, что из-

вестной сегодня динцуньской культуре предшествовала более ранняя «протодинцуньская», по отношению к которой динцуньская выступает как дочерняя. Одно важно заметить: серия подобных культур довольно широко распространилась по всему Северному Китаю, достигнув и Японии[4]. Новые находки все чаще подтверждают существование «динцуньскоподобных» культур в различных районах Северного Китая, особенно в позднеплейстоценовую эпоху [581]. Высказывают даже предположение, что культуры этого типа были знакомы и с изделиями из кости [727, 55].

Словом, именно гетерогенная культура динцуньско-ордосского типа господствовала без особых изменений на территории Северного Китая до верхнего палеолита [743, 83], т. е. до той эпохи, когда в Китае, как и во всей ойкумене, появились первые люди сапиентного типа с их новой верхнепалеолитической культурой.

МОНГОЛОИДНЫЕ НЕОАНТРОПЫ В КИТАЕ

Китайские архантропы и палеоантропы обычно не относятся к разряду прогрессивных, т. е. тех, которые, как это принято считать, дали начало сапиентным людям. Правда, иногда в очень осторожной форме делается вывод о том, что у зубов динцуньца и ордосца «есть некоторые прогрессивные особенности», сближающие их с прогрессивными неандертальцами [224, 13]. Однако при этом делается оговорка, что материалов для таких выводов еще мало — это лишь гипотеза, и только в том случае, если она подтвердится, можно будет считать, что Китай, хотя бы частично, входил в зону сапиентации[5].

Таким образом, вопрос о прогрессивности китайских палеоантропов пока остается открытым. Это в общем достаточно очевидный факт — не случайно Кун выразил сомнение в том, сам ли синантроп совершил необходимые для сапиентации мутационные изменения. По-видимому, положительный ответ означал бы, что китайские неоантропы, как это стремился доказать Кун, а еще раньше Вейденрейх, были дочерней ветвью синантропов, результатом их спонтанной эволюции. Между тем ни один из

[4] Недавние раскопки в Японии позволили обнаружить едва ли не первую бесспорно нижнепалеолитическую стоянку в Содзюдай (Кюсю). Как показывают предварительные публикации, культуру Содзюдай многое роднит с культурами чжоукоудяньской и динцуньской, хотя в ней есть свои специфичные черты. Как полагают специалисты, характер культуры позволяет видеть ее истоки в бассейне Хуанхэ [126].

[5] Гипотеза пока не подтвердилась. В 1955 г. в книге «Народы Восточной Азии» этот тезис был повторен в такой же предположительной форме [стр. 43]. И хотя чуть ниже, на стр. 47, утверждение о вхождении «материковой части Восточной Азии» в зону сапиентации было высказано более категорично, оно не стало от этого убедительнее [54, 199]. Не очень убедителен и тезис о существовании особой восточноазиатской зоны сапиентации (в связи с теорией бицентризма).

известных антропологам китайских неоантропов не может считаться таковым. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Прежде всего — группа южнокитайских неоантропов. Цзыянский человек — один из ранних типов неоантропов [224, 13][6], сочетающий в себе как сапиентные, так и архаичные признаки. Отсутствие лицевых костей не дало возможности точно определить расовый тип этого неоантропа. Некоторые черты сближают его с синантропом и с шаньдиндунцами [661, 71]. Однако ряд особенностей черепа свидетельствует о том, что это в лучшем случае лишь одна предковая линия. Дело в том, что малые размеры черепа побудили описавших его Пэй Вэнь-чжуна и У Жу-кана [661, 34] сделать вывод, что он принадлежал женщине. Но оппоненты этих антропологов, обратив внимание на некоторые другие особенности черепа, предположили, что малые размеры черепа свидетельствуют о его пигмеоидности [748, 114]. Предположение тем более основательное, что зона расселения пигмеоидных негроидов находится близко от Сычуани, где был обнаружен череп. Следует заметить, что и сам У Жу-кан согласен с тем, что мнение о пигмеоидности черепа существует наряду с мнением о его монголоидности [224, 14].

По-видимому, в этом сочетании черт и негроида и монголоида не может быть ничего странного. Такое сочетание характерно едва ли не для всех южнокитайских неоантропов [240, 1—2; 241, 6—7]. Но это означает, как в глазах полицентристов и бицентристов, так и по схеме моноцентристов с ее двумя уходящими в разные стороны ветвями, негро-австралоидно-европеоидной, с одной стороны, и монголоидной — с другой, что цзыянский человек имел по меньшей мере две различные предковые линии, одна из которых вела за пределы Китая и миновала китайских палеоантропов. А коль скоро дело обстоит таким образом, то в отношении цзыянского человека, равно как и других южнокитайских неоантропов, может быть поставлен закономерный вопрос: а не является ли сочетание сапиентных и архаичных черт в данном антропологическом типе результатом того, что здесь налицо метисация сапиентного неоантропа негроидного (негро-пигмеоидного) расового типа с китайским палеоантропом, восходившим к синантропу и уже имевшим некоторые признаки монголоидного расового типа? Конечно, это только одна из возможных линий, один из вариантов. Вполне могли быть и другие, в том числе и прямо противоположные (уже сапиентные монголоиды смешивались с негро-пигмеоидными палеоантропами). Однако на современном уровне знаний первый вариант представляется более предпочтительным хотя бы потому, что нет никаких оснований для утверждений, будто свои

[6] Ранний антропологический тип цзыянца не исключает того, что хронологически обнаруженный китайскими археологами череп принадлежал к сравнительно позднему времени. Радиокарбонный анализ и геологические условия залегания находки датируют ее VI тысячелетием до н. э. [617, 123].

сапиентные признаки смешанный цзыянский неоантроп получил именно от предковой линии китайских палеоантропов, не имевших этих признаков. И наоборот, есть все основания предположить, что от этой линии цзыянский человек заимствовал архаичные черты.

Кроме цзыянского человека в Южном Китае, в провинции Гуанси, обнаружены костные останки еще нескольких ранних неоантропов — лайбиньского, или цилиньшаньского, представленного фрагментом верхней челюсти с несколькими зубами и принадлежавшего, по-видимому, пожилому мужчине [311; 37; 573, 5], и особенно люцзянского, череп которого представляет большие возможности для изучения. Лайбиньский череп сапиентный и, хотя расовую принадлежность его определить трудно, некоторые черты позволяют сделать вывод о его протомонголоидности [573, 5]. Что же касается люцзянского, то здесь картина, почти идентичная цзыянскому. Сапиентные признаки сочетаются с архаичными, причем архаичные имеют сходство как с чертами синантропа, так и с чертами европейских неандертальцев [334, 466—468]. В то же время негро-австралоидный расовый компонент в люцзянском черепе представлен настолько очевидно, что был даже сделан вывод, что люцзянский неоантроп развивался в направлении от монголоида к австралоиду [706, 102 сл.; 334, 469]. Иными словами, люцзянский человек в еще большей степени, чем цзыянский, характеризовался сочетанием монголоидных (в их ранней, американоидной форме) и негро-австралоидных черт. И если даже принять во внимание мнение У Жу-кана о «развитии» этого раннемонголоидного неоантропа в направлении к австралоидам, — все равно этот процесс развития никак нельзя представить себе иначе как результат метисации.

В этом плане любопытна еще одна находка — неоантропа из Линьчжи — в Тибете [627; 185]. Как и другие южнокитайские неоантропы, человек из Линьчжи сочетал в себе признаки сапиентные и архаичные. Что же касается его расового типа, то он оказался на этот раз без заметной примеси негро-австралоидности, зато монгольские черты в нем преобладали в американоидной форме. Отсутствие заметной примеси иного расового компонента могло бы поставить вопрос о том, что человек из Линьчжи и ему подобные как раз и являются тем звеном, которое призвано соединить протомонголоидных китайских палеоантропов с сапиентными монголоидами. Однако на деле все обстоит намного сложнее. В частности, американоидный тип, который антропологами считается ранним, отделившимся от остальных монголоидов около 30 тыс. лет назад, отнюдь не идентичен обычному монголоидному, сложившемуся в его окончательном виде много позже. В американоидах заметна европеоидная примесь [83, 533], а в черепе из Линьчжи американоидные черты фиксируются параллельно с обычными монголоид-

ными [185]. Но это, в свою очередь, означает, что и в человеке из Линьчжи можно обнаружить различные предковые линии, ведшие не только к китайским протомонголоидным палеоантропам. А так как американоидный тип безусловно был сапиентным, ибо он дал начало всей группе современных американских индейцев, то вопрос о том, кому именно, какой предковой линии обязан человек из Линьчжи своими сапиентными признаками, далеко не прост, и уж, во всяком случае, нет оснований говорить о сапиентации китайских палеоантропов в порядке автогенеза, т. е. без участия иных компонентов, без метисации.

Таким образом, из всей известной антропологам серии китайских верхнепалеолитических неоантропов остается лишь группа северокитайских неоантропов — шаньдиндунцев, с которыми, кстати сказать, чаще и охотнее всего связывают проблему поиска промежуточного звена, которое могло бы свидетельствовать о процессе сапиентации китайских палеоантропов. Изучение шаньдиндунских черепов, обнаруженных в верхней пещере Чжоукоудяня свыше 30 лет назад, ранее всех остальных китайских верхнепалеолитических неоантропов, имеет весьма интересную историю. Описавший эти черепа Ф. Вейденрейх с удивлением констатировал, что три из них, лучше всего сохранившиеся [№№ 101—103] (остальные представлены в фрагментах), принадлежали к различным расовым типам. Мужской [№ 101] — к монголоидному с сильной примесью европеоидности, женские — к меланезоидному [№ 102] и эскимосскому [№ 103], причем ни один из этих расовых типов, по мнению Вейденрейха, который первым выдвинул теорию «прямой линии» от синантропа к современным монголоидам, нельзя считать предком современных китайцев [546, 171—173].

Выводы Вейденрейха, равно как и опубликованные им данные антропологического анализа черепов шаньдиндунцев, вызвали сенсацию и породили множество различных гипотез. Одним из первых откликнулся на них Э. Хутон, который увидел в черепе № 101 прежде всего черты европеоида с примесью австралоидности и предположил, что расовый тип этого человека должен напоминать современных айнов [398, 402]. Некоторые другие антропологи пошли еще дальше и, как Бердселл, стали считать, что все три черепа в той или иной степени принадлежали к кавказоидной расе [см. 358, 70]. Третьи увидели в негро-австралоидной примеси, фиксировавшейся у шаньдиндунцев, подтверждение факта существования значительного меланезоидно-негроидного элемента в древнекитайском населении [446, 8—9]. Четвертые, прежде всего китайские антропологи, выдвинули предположение, что черепа могли деформироваться в результате неблагоприятных условий залегания и что поэтому всех шаньдиндунцев следует относить к монголоидам [657, 24—25].

Со временем дискуссия несколько улеглась и варианты ста-

ли выкристаллизовываться более четко. Прежде всего, было оставлено как курьезное и ничем не подтверждаемое предположение Вейденрейха, что найденные в Шаньдиндуне черепа принадлежали каким-то гипотетическим чужакам, преследовавшимся настоящими, но неизвестными нам протокитайцами [546, 163]. Ныне фактически общепризнано, что шаньдиндунцы как раз и представляли собой тот расовый тип, который был характерен для того времени (кстати, время варьируется в разных работах весьма широко, в диапазоне от 25 до 8 тыс. лет назад). Не спорят и о том, что расовый тип шаньдиндунцев был смешанным, хотя и не все одинаково оценивают причины этого. Если вести речь об этих расхождениях, то можно выделить две параллельные гипотезы. Одна из них, выдвигая на первое или, во всяком случае, на видное место смешанный, синтетический характер расового типа шаньдиндунцев, исходит из того, что смешанный характер и нечеткость расовых признаков могли быть либо результатом недифференцированности, т. е. не закончившегося еще процесса сложения стабильного расового типа, либо следствием метисации. Другая исходит из того, что различия между черепами сильно преувеличены Вейденрейхом и что все они в конечном счете принадлежали монголоидам.

Остановимся на этих гипотезах более подробно. Первой рассмотрим «монголоидную». В 1961 г. китайский антрополог У Синь-чжи по муляжам (сами черепа не сохранились) провел повторные измерения черепов. Эти измерения подтвердили правильность данных Вейденрейха (были сделаны лишь небольшие уточнения и несколько новых измерений), но в результате дальнейшего анализа У Синь-чжи пришел к выводу, что у черепов больше общего между собой, чем это было отмечено Вейденрейхом. Считая череп № 101 в основном монголоидным, У Синь-чжи вместе с тем отметил его американоидность [716, 203; 555, 1004]. Женский череп № 102 он счел несколько деформированным, но тоже примитивно монголоидным, а о черепе № 103 сказал, что эскимосы — тоже монголоиды. Выводы У Синь-чжи были поддержаны Чжао И-цином и Янь Инем, которые сравнили показатели шаньдиндунских измерений с измерениями люцзянского неоантропа верхнего палеолита, черепов неолитических монголоидов, а также современных китайцев. В результате этих измерений был сделан вывод, что оба женских черепа (№№ 102—103) следует считать монголоидными и что расовый тип шаньдиндунцев близок, если судить по женским черепам, люцзянскому человеку [764, 55; 808, 513]. Независимо от этих измерений Кун, в свою очередь, пришел к аналогичным выводам. Не остановившись перед тем, чтобы полностью отвергнуть выводы своего уважаемого предшественника Вейденрейха, Кун заявил, что «пора забыть» все рассуждения на тему о меланезоидно-эскимосско-айнских расовых типах и констатировать, что все три шаньдиндунских черепа принадлежали монголоидам,

иногда с заметной примесью американоидности (№ 101) или эскимоидности (№ 103). Словом, в концепции Куна шаньдиндунцы заняли ключевое место «конечного звена» цепи от синантропа к современным монголоидам, подобно тому, как верхнепалеолитические обитатели Европы (кроманьонцы) были заключительным звеном в цепи, приведшей к европеоидному типу [334, 475].

Выводы Куна и китайских антропологов достаточно четки. Они преследуют прежде всего одну цель: дезавуировать прочно вошедшие в научный обиход [7] и освященные авторитетом Вейденрейха предположения о гетерогенном происхождении и различном расовом типе шаньдиндунцев. Но если даже согласиться с тем, что Вейденрейх преувеличил расовые различия и еще более усугубил это своими парадоксальными выводами, все равно факт остается фактом: во-первых, все шаньдиндунцы представляли собой разновидности монголоидов и, во-вторых, среди их расовых признаков были немонголоидные, в первую очередь негро-австралоидные. И просто оставить это обстоятельство на втором плане невозможно. В этом смысле позиции сторонников второй гипотезы, придающей большое значение смешению расовых черт в облике шаньдиндунцев, безусловно предпочтительней. Однако и с этих позиций далеко не все ясно.

Прежде всего, несмотря на свой смешанный расовый тип, шаньдиндунцы в отличие от своих южнокитайских верхнепалеолитических собратьев были сапиентными, без заметных архаичных признаков. Это обстоятельство, подкрепляемое и сравнительно поздним обликом каменного инвентаря, частично даже явно мезолитического типа [380, 73], дает основание согласиться с поздней датировкой эпохи существования шаньдиндунцев. Но в таком случае насколько правомерна точка зрения, исходящая из предположения, что наличие немонголоидных признаков было результатом нечеткой дифференциации, типичной для ранних стадий расогенеза? Ведь специальные исследования, посвященные проблеме формирования монголоидной расы, констатируют, что процесс ее формирования протекал достаточно долго [203]. В этом смысле более правильной представляется альтернативная постановка вопроса, суть которой была изложена Н. Н. Чебоксаровым и сводится к тому, что расовые вариации могут быть следствием и древних переходных форм, и межрасовой метисации [241, 3].

В самом деле, предположим сначала, что вся суть проблемы в том, что перед нами лишь нечеткий, недифференцированный расовый тип монголоида. Даже в этом случае, однако, нельзя понять, откуда у такого рода монголоидного неоантропа взялись немонголоидные признаки, если не предположить, что кро-

[7] Как известно, Э. Хутон даже назвал одну из глав своей книги «Старик из Китая, который был женат на эскимоске и меланезийке» [398, 401].

ме китайских палеоантропов в возникновении этого монголоидного неоантропа приняли участие и другие антропологические типы, которые могли принести с собой и сапиентные признаки. Но это еще не все. Если полагать, что здесь имело место смешение лишь двух линий — монголоидных палеоантропов и каких-то сапиентных пришельцев, то появившийся в результате смешанный расовый тип при всей его нечеткости был бы единым для всех. Этого как раз не получилось. У всех трех черепов шаньдиндунцев расовые признаки различные. Это значит, что каждый из них — продукт отдельной метисации, в которой принимали участие кроме общих для всех них различные компоненты. Такова примерная схема в ее самом общем виде. Практически все было, по-видимому, намного сложнее. Многократные миграции и метисации, повторные перемещения и новые метисации с привлечением новых расовых компонентов — все это создавало очень сложную и пеструю картину. Не исключено, что в эпоху верхнего палеолита было чрезвычайно много расовых типов, являвшихся следствием и древних переходных форм, и межрасовой метисации. По-видимому, формирование более или менее компактных расовых популяций получило распространение и стало типичным лишь с неолита, т. е. со вступления в силу нового закона роста народонаселения, о котором уже упоминалось. Поэтому для верхнего палеолита разнообразие расовых типов, их несходство было, видимо, в известной степени нормой, что и фиксирует ситуация в Шаньдиндуне.

Проблема шаньдиндунцев, как и вообще появления на территории Китая сапиентных неоантропов, еще неясна. Но нет сомнения, что единственно правильная позиция для поисков ее решения заключается в признании огромной роли метисации. Об этом неоднократно писали советские антропологи, в частности Я. Я. Рогинский. На это обращали внимание те, кто фиксировал в расовом типе китайских монголоидных неоантропов черты кроманьонцев наряду со специфическими расовыми признаками, восходящими к синатропу [192, 15; 95, 73]. Но признание этого факта влечет за собой несколько серьезных выводов. Во-первых, это означает, что гипотеза Вейденрейха—Куна в ее «чистом» виде неприемлема. Косвенно это признал, хотя и с неохотой, сам Кун, согласившийся с возможной ролью метисации в процессе сапиентации. Во-вторых, это означает, что и все остальные существующие в антропологии гипотезы сапиентации не могут исходить из того, что процесс сапиентации протекал в Китае самостоятельно и независимо от других регионов и внешних влияний. Не могут прежде всего потому, что нет доказательств и следов существования на территории Китая прогрессивных палеоантропов. В то же время факты свидетельствуют о том, что в процессе метисации принимали участие и немонголоидные расовые типы, т. е. такие, которые были явно

чужды китайским палеоантропам. Наконец, в-третьих, это значит, что появление сапиентных монголоидных неоантропов в Китае было, скорей всего, результатом метисации сапиентных пришельцев с местными, монголоидными палеоантропами. Кстати, признание этого не противоречит и тезису о нечеткой расовой дифференциации китайских неоантропов — выдвигавшие этот тезис сами предполагали, что сапиентный человек, возможно, пришел в Китай с запада [133, 330—332].

Таким предстает процесс появления неоантропа-монголоида на территории современного Китая. Имеющиеся в распоряжении науки данные позволяют проследить лишь заключительную стадию этого процесса. Более ранние этапы и вся реконструкция в целом рисуется в гипотетическом плане. По-видимому, где-то в Юго-Восточной Азии еще во времена синантропа сложились некоторые признаки, впоследствии ставшие характерными именно для монголоидов. Вероятно, что в зоне сухих степей и пустынь Центральной Азии на протяжении десятков тысячелетий под влиянием специфических факторов среды складывались — уже в более позднюю эпоху — некоторые другие расовые признаки монголоидов: узкая глазная щель, набухшее верхнее веко и эпикантус [203; 239, 307—310]. Похоже на то, что примерно около 40 тыс. лет назад сапиентный неоантроп с протоавстралоидными признаками [8] появился в зоне формирования монголоидов, где в то время обитали группы протомонголоидных палеоантропов. В результате метисации — первичной волны метисации — могли возникнуть смешанные в расовом и антропологическом (наличие сапиентных и архаичных черт) отношении неоантропы. Дальнейшая эволюция и повторные метисации одновременно с постепенным отмиранием архаичных черт вели к усложнению расового типа и появлению или преобладанию в нем того или иного расового компонента.

Давая краткий обзор антропологических находок в Китае, Чжан Гуан-чжи высказал мнение, что, во-первых, они свидетельствуют о том, что человек на протяжении всего плейстоцена непрерывно существовал и развивался на территории Китая и, во-вторых, как показывают факты, эта эволюция в своих основных чертах и этапах совпадала с той, которая была характерна и для остальных регионов Старого Света. Считая это парадоксом, Чжан Гуан-чжи предположил, что объяснение этого парадокса нельзя найти ни в признании полной автохтонности и автономии эволюции в Китае, ни в полной подмене одного процесса другим, более общим. Механизм всего процесса, пришел он к заключению, настолько сложен, что мы едва ли когда-либо сможем познать его до конца [302, 33—34]. По существу, этот вывод как раз и означает, что сложнейший про-

[8] В антропологии существует мнение, что первые сапиентные неоантропы характеризовались протоавстралоидными признаками [5, 20; 101].

цесс эволюции древнейшего человека и его культуры на территории Китая — даже при всей бросающейся в глаза непрерывности развития — никак не может быть объяснен eo ipso. Для объяснения его необходим учет большого количества факторов, которые находились под влиянием воздействия сложнейшего механизма, общего для всей ойкумены, но по-разному проявлявшегося в конкретной ситуации каждого основного ее региона. И если даже этот механизм еще недостаточно изучен, уже не остается сомнений в его существовании. А это как раз и означает, что развитие человека и его культуры на ее древнейших этапах протекало в Китае отнюдь не изолированно, но при постоянном влиянии извне. Это влияние и эти связи существовали и позже, в эпоху мезолита и неолита.

глава четвертая

ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО НЕОЛИТА В КИТАЕ

Процесс эволюции гоминид и возникновения сапиентного человека протекал в рамках нижнего палеолита, и только около 40 тысячелетий назад, с появлением и распространением по ойкумене сапиентного неоантропа, начался верхний палеолит, знаменовавший собой резкий рывок в сфере материальной (орудия труда) [204а; 438] и духовной (пещерная живопись) [439] жизни. Верхнепалеолитические люди, знакомые уже с понятием рода и, возможно, парной семьи, жили небольшими локальными группами в шалашах и пещерах, одевались в шкуры животных и питались случайной, преимущественно охотничьей, добычей, нередко перемещаясь при этом вслед за зверем в пределах больших территорий [363, 184]. Словом, это были, по классификации Моргана — Энгельса, дикари, которым предстоял еще долгий путь эволюции по направлению к цивилизации. Каким же был этот путь? Как и когда кочевые собиратели и охотники, умевшие лишь присваивать дары природы и почти (за исключением выделки орудий или шкур) не умевшие ничего производить, превратились в оседлых земледельцев и скотоводов, чьим основным занятием стало регулярное производство материальных благ?

Этот гигантский по своему значению и последствиям прыжок как раз и получил наименование неолитической революции. Именно эта революция коренным образом изменила облик человека и его культуры, дав начало эпохе нового каменного века (неолита), а затем и бронзовому веку — цивилизации. Неудивительно поэтому, что тщательное изучение всего неолитического комплекса, как и проблемы его генезиса, находится ныне в центре серьезного внимания многих специалистов, как археологов, так и историков культуры. Не могут миновать проблем неолитической революции и специалисты-синологи, ставящие своей главной целью изучить процесс генезиса нового каменного века и всей производящей экономики в древнем Китае.

ПРОБЛЕМЫ НЕОЛИТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В конце верхнего палеолита в ряде районов ойкумены, прежде всего в прибрежных районах Северной Африки и Передней Азии, появился новый тип культур, характеризовавшийся миниатюрными каменными орудиями правильной геометрической формы. Значительная часть их, изготовлявшихся обычно из кремня, служила вкладышами для ножей или серпов, наконечников копий или стрел — изобретение лука и стрел и активное использование этого нового вида оружия было одним из нововведений этого переходного по характеру типа культур, получивших наименование мезолитических и микролитических [330, 495—496; 458, 16]. Хотя население в ту пору активно перемещалось по ойкумене [225, 7], микролитический мезолит сменил собой верхний палеолит далеко не сразу и отнюдь не везде. В ряде районов мира его следов так и не обнаружено, причем отсутствие его («хиатус») [85, 190], по мнению некоторых специалистов, связано с климатическими условиями послеледникового периода [286, 5; 380, 96—97]. В других районах он появился позже и имел иной облик, но и в этом случае происхождение его, видимо, восходит к Ближнему Востоку [330, 496].

Одной из наиболее ранних и известных культур мезолита была натуфийская, первые стоянки которой раскопали в Палестине еще в 1928 г. Последующие открытия и детальное изучение микролитического инвентаря (на одной стоянке 8% его составляли вкладыши для серпов) показали, что жившие свыше 10 тыс. лет назад натуфийцы уже использовали в пищу дикорастущие злаки [144, 96—100]. Это обстоятельство дало основание Г. Фрэнкфорту поставить вопрос о том, что, возможно, именно натуфийцы сделали первый шаг по пути к неолиту с характерным для него земледельческим производством [366, 35—36]. Как же был сделан этот шаг и почему он был сделан именно в ближневосточной зоне?

Здесь мы подходим к центральной проблеме неолитической революции — к проблеме генезиса зернового земледелия. В первой главе уже упоминалось о том, что ключ к ее решению дали исследования Н. И. Вавилова, который, во-первых, выяснил и определил те потенциальные очаги, где существовали дикие предшественники культурных растений, и, во-вторых показал, что предшественники злаковых культур произрастали не в степных или пустынных районах, не в долинах плодородных рек, а в предгорьях и холмистых районах субтропической зоны [42; 43]. Признанные классическими [499, 21; 336, 53], исследования Вавилова позволили выделить возможные очаги древнейшего земледелия, причем первое место среди них принадлежит ближневосточному региону — родине важнейших злаков, пшеницы и ячменя. Кроме наличия дикорастущих злаков здесь же, в предгорьях Загроса, Анатолии и в соседних районах, водились ди-

кие предшественники важнейших одомашненных человеком пород скота — коз, овец, коров и свиней [32, 126—163; 33, 279—311, 492 и др.; 58, 10; 89, 1—17; 205; 458, 13—17; 484; 556; 557; 558]. К этому следует добавить наличие благоприятных климатических условий, которые создавали оптимальные условия для существования земледельца [458, 14]. Наконец, говоря о причинах, позволивших именно натуфийцам и их соседям, а не, скажем, североафриканским капсийцам первыми переступить порог неолита, следует обратить внимание и на то, что именно ближневосточная зона с незапамятных времен была центром пересечения миграционных потоков, что способствовало расово-антропологическим и этнокультурным смешениям и тем самым служило дополнительным стимулом, ускорявшим темпы развития.

Итак, природные и иные условия в ближневосточной зоне благоприятствовали ускоренным темпам эволюции уже знакомых со сбором дикорастущих злаков мезолитических племен. Но каким образом был сделан первый шаг к сознательному выращиванию этих злаков, т. е. к земледелию? Как справедливо заметил в свое время К. Сойер, земледелие возникло вовсе не от недостатка пищи, не потому, что голодающие мезолитические собиратели от нужды стали срезать дикорастущие колосья и тем самым открыли закономерность зернового цикла [499, 21]. Для того чтобы постичь такого рода закономерность, нужна была и определенная степень развития абстрактного мышления, появившаяся в результате качественного скачка в ходе сапиентации человека, и некоторый уровень развития хозяйственной деятельности [147, 135]. Сам по себе кризис собирательского хозяйства не мог породить земледелия, как это иногда представляется [162, 41]. Если даже предположить, что такой кризис действительно имел место (хотя это пока ни на чем не основанное предположение), то он мог сыграть лишь роль дополнительного стимула, толчка в сторону усиления поисков. Однако результат при этом мог быть достигнут лишь в том случае, если этому способствовали обстоятельства: только в сравнительно благоприятных условиях, обеспечивавших достаточно высокий уровень жизни (богатая охота, обилие дикорастущих плодов и кореньев и т. п.), собиратели, постоянно обитавшие примерно в одном и том же районе, могли случайно обратить внимание на то, что срезаемые ими колосья дают зерна, которые могут не только идти в пищу, но и, будучи брошены в почву, давать через какое-то время новые всходы.

Конечно, это произошло далеко не сразу. Нужны были долгие века, для того чтобы это наблюдение можно было проверить и начать использовать. На протяжении этого длительного срока существовала стадия регулярного сбора урожаев дикорастущих злаков (докультурный отбор) [162, 33]. Люди уже могли селиться и жить более или менее оседло близ мест произрастания этих злаков, но еще не сознавали возможности и

необходимости их искусственной посадки [231, 50]. Зато, коль скоро они все-таки осознали это и постепенно перешли к выращиванию злаков, они положили начало подлинной революции в истории человека. Из собирателей, живших за счет даров природы и обычно едва влачивших жалкое существование, они стали производителями материальных благ, прежде всего пищи.

Земледелие дало людям два важных условия существования — пищу и оседлый образ жизни. То и другое способствовало появлению третьего — домашних животных. Уже в поздненатуфийских стоянках (VIII тысячелетие до н. э.) находят кости мелких одомашненных животных. В иерихонской культуре (VII—VI тысячелетия до н. э.), бывшей наследницей натуфийской, а также в ряде других аналогичных ранненеолитических культур этой эпохи (анатолийский Чатал-Гуюк, североафриканский Карим-Шахир, чуть более поздний Джармо) уже были известны одомашненные козы, овцы [292, 26—30; 144, 115; 459, 5—6] [1]. Перемены в образе жизни, изменения в характере пищи оказали большое влияние на формы орудий. Ведь именно изменившимся обликом каменного инвентаря и орудий отличается неолит — хотя бы по своему наименованию — от палео- и мезолита. Исчезают или отходят на второй план микролиты, их место занимают шлифованные и полированные каменные топоры, тесла, песты, ступки, терки, ножи, серпы и т. п. Однако на этой ступени неолит оставался ранним, докерамическим, сосуды изготовлялись из дерева и камня. Впрочем, уже на стоянке Карим-Шахир и при раскопках Иерихона были обнаружены едва ли не первые из известных археологам фигурки, вылепленные из глины. Как писал по этому поводу В. М. Массон, «человек как бы ощупью начинал знакомиться с новым материалом, широкое использование которого определяет многие стороны материальной культуры последующего времени» [144, 106—107]. Видимо, этому в немалой степени способствовала практика изготовления глинобитных жилищ, землянок и полуземлянок, которые стали делать вышедшие из пещер собиратели и ранние земледельцы уже в поздненатуфийское время (Эйнан) и в эпоху докерамического неолита Иерихона.

Появление керамики в Западной Азии датируется примерно VIII—VI тысячелетиями до н. э. и изучено археологами на примере ряда ближневосточных поселений, в первую очередь Джармо, раскопанного в 1948 г. и с тех пор ставшего всемирно известным памятником раннего неолита. Джармо — это сравнительно стабильное поселение с мощностью культурного слоя до 7 м, с примерно 25 регулярно обновлявшимися глинобитными строениями. В нижних слоях этого поселения, просуществовавшего

[1] Современная наука доказала, что вначале были одомашнены собака и мелкий скот; крупный же рогатый скот (как и лошадь) был одомашнен позже (сравнительно недавно этот вопрос еще считался спорным) [184, 32—42].

несколько веков, встречаются сотни каменных сосудов, в верхних на смену им приходят сосуды из глины. Часть этих сосудов уже снабжена ручками, а поверхность покрывалась росписью красного цвета [144, 47—48]. Наряду с сосудами из глины по-прежнему изготовлялись статуэтки людей и животных, преимущественно в грубо-условной манере, а также различные геометрические фигурки.

Земледелие, скотоводство, оседлость со строительством глинобитных сооружений, многообразные шлифованные каменные орудия различного предназначения, наконец, керамика, прядение и ткачество — вот самые основные, поистине революционные по своему характеру и влиянию на дальнейшую эволюцию человечества нововведения неолита в сфере материальной культуры. Однако в жизни неолитического человека не меньшую роль играли и изменения в сфере духовной культуры. Радикальные сдвиги в этой сфере нашли свое выражение прежде всего в расцвете религиозно-культовых верований и представлений.

Первые религиозные представления возникли, по-видимому, только у сапиентного человека верхнего палеолита (у неандертальцев, уже знакомых с примитивными погребальными обрядами, в основе этих обрядов лежали, быть может, не религиозные представления, а страх перед трупом, боязнь вреда от него и т. п. [217, 33; 206, 387—406]). Для охотников и собирателей верхнего палеолита были характерны прежде всего такие формы религии, как тотемизм и магия, существовал уже и культ мертвых [405, 28—29]. Неолитические земледельцы значительно расширили круг религиозных представлений и культовой практики. Привычка к неторопливой оседлой жизни с ее регулярными календарными циклами, необходимость долгого и терпеливого ожидания урожая (подверженного к тому же различным опасностям, от неблагоприятной погоды и до набегов диких животных), важность точного исчисления времени по небесным явлениям — все это было причиной принципиально нового интереса земледельцев к небу, земле, солнцу, луне, дождю, граду и другим силам природы, которые ими обожествлялись и от поведения которых зависело теперь так много [380, 335]. Развитие такого рода анимистических представлений сопровождалось огромным усилением культа плодородия и размножения, культа Богини-Матери (возможно, Матери-Земли), изображения которой из камня и глины часто встречались в неолитических стоянках. По-новому стали земледельцы относиться и к загробной жизни. Культ плодородия, ежегодного умирания (зерна) и воскрешения (всходов) породил, видимо, представление о возможности реинкарнации (возрождения умерших) [380, 340]. Поэтому погребальный обряд подвергся заметным изменениям. Уже в натуфийских мезолитических стоянках умерших хоронили в особой яме, специально для этого подготовленной

и расположенной близ жилища. В ранненеолитических поселениях погребенного обычно сопровождали на тот свет его личные вещи, орудия, запасы пищи и т. п. — словом, все, что может понадобиться в загробной жизни.

С религиозно-культовыми представлениями было тесно связано и искусство, занявшее значительное место в духовной жизни неолитических земледельцев. В святилищах Чатал-Гююка, небольших домах, рассчитанных, видимо, на несколько родственных семей либо бывших чем-то вроде мужских домов [147, 151], помещались рельефные изображения или выделанные в форме мелкой пластики скульптурные фигурки женщин с явно выраженной стеатопигией, тотемы-животные (головы быков с мощными рогами, леопарды). На фресках — схематично-условные изображения птиц или обильная орнаментальная роспись [147, 155]. Особое место в искусстве неолита занимала роспись на керамике, выполнявшаяся женщинами [380, 331]. Расписная керамика, украшенная прежде всего разнообразными геометрическими фигурами, а позже и изображениями животных, людей, монстров, была первым широко распространившимся уже в ранних неолитических культурах ближневосточной зоны типом керамического производства. Нет сомнений, что роспись на сосудах, как и фрески на стенах или изображения в святилищах, имела ритуально-символический смысл и соответствовала определенным ритуально-культовым представлениям [380, 332—334]. Параллельно с религией, календарным исчислением, искусством и иными факторами духовной культуры в эпоху неолита большое развитие получил язык как важнейшее средство общения. По данным специалистов, неолитическая революция повлекла за собой поистине революционные изменения в языке — в его структуре, лексике, словарном запасе и т. п. [516, 100—106].

Все эти важнейшие сдвиги в материальной и духовной культуре человека эпохи мезолита и раннего неолита прослеживаются (в пределах Старого Света) лишь на материалах ближневосточной зоны, прежде всего Анатолии, Ирака, Палестины и прилегающих районов Средней Азии и Ирана. Даже в Египте, не говоря уже об Индии и более отдаленных регионах Старого Света, не обнаружено следов неолитической революции, подобной той, которая протекала в ближневосточной зоне в X—VII тысячелетиях до н. э. и благодаря которой зерновое земледелие и скотоводство широко распространились по ойкумене. Каким был механизм этого распространения?

Производство пищи не только позволило человеку избавиться от страха голодной смерти. Вместе с другими нововведениями неолита оно стимулировало сравнительно быстрый рост народонаселения в тех районах, где земледелие стало уже свершившимся фактом. Едва ли этот тезис нуждается в особых доказательствах: достаточно представить себе те несомненные

преимущества, которые несла с собой спокойная оседлая жизнь в хорошо обжитом и защищенном от невзгод и опасностей месте. Надежные и постоянные источники пищи способствовали увеличению срока жизни людей, увеличению фертильности женщин и процента остававшихся в живых детей. Другими словами, земледелие, скотоводство и связанные с ними изменения в образе жизни, возникновение нового способа производства (т. е. появление производства пищи) — все это способствовало резкому увеличению нормы прироста. Неизбежным следствием этого было регулярное и достаточно быстрое (три—четыре поколения) образование избытка населения в данной местности, которая могла прокормить лишь определенный максимум людей. Возникало давление избытка населения, и неумолимая логика этого процесса заставляла избыточное население сниматься с насиженных мест и искать новые территории [210, 202; 231, 52—54; 214, 21—22; 144, 395 сл.].

Вначале земель было достаточно. Однако, заселив соседние пустующие территории, отпочковавшийся коллектив вскоре оказывался перед теми же проблемами. Новые дочерние коллективы давали начало уже своим ответвлениям, которые уходили все дальше от первичной ячейки, постепенно теряли с ней связи — сначала хозяйственные, затем родственные, позже и языковые [231, 53]. Если учесть при этом, что такого рода отпочкование и образование новых поселений шло очень быстрыми темпами, нарастая в геометрической прогрессии через каждые несколько поколений, то станет ясным, что единая некогда культура на протяжении каких-либо двух-трех столетий (10—12 поколений) могла распасться на немалое количество локальных вариантов, каждый из которых мог отстоять от первоначального ядра довольно далеко и развиваться независимо от него, но зато в контакте со своими соседями.

Нарисованная выше схематическая картина динамики эволюции относится к одному ранненеолитическому поселению и охватывает только два-три века его истории. В условиях малонаселенных и обширных территорий такого рода передвижения, описанные, в частности, на примере американских индейцев Л. Г. Морганом еще около века назад [153, 62], могли приводить лишь к небольшим качественным изменениям, к диалектологическим различиям, к возникновению вместо одного племени группы родственных племен и т. п. Однако процесс неолитической революции протекал в условиях хотя и обширного, но достаточно населенного региона. Этот процесс с самого начала охватывал, естественно, не одну, а множество групп собирателей, становившихся земледельцами. Для всех этих групп (для одних несколько раньше, для других чуть позже) был в конечном счете характерен все тот же принцип эволюции и перемещений. В ходе этих перемещений, как о том свидетельствуют археологические материалы, группы земледельцев, при-

надлежавшие к различным первичным ячейкам, отпочковывавшиеся в разное время и с различным культурным багажом, постоянно сталкивались друг с другом, смешивались, взаимно обменивались и обогащались достижениями культуры. Столкновение культурных традиций неизбежно способствовало процессу синтеза и открывало простор для возникновения чего-то нового. Это новое, в свою очередь, становилось фундаментом для дальнейшего развития, для ускорения темпов эволюции, для новых открытий и усовершенствований.

Далеко не всегда этот процесс взаимного влияния и смешивания протекал мирным путем. Даже на первоначальной его ступени вновь поселившиеся на той или иной территории земледельцы-мигранты нередко вытесняли обитавших здесь собирателей, которые частично ассимилировались, частично изгонялись или уничтожались. Позже, когда все более или менее пригодные для земледелия территории были уже заселены другими группами, движения мигрантов сопровождались вооруженными столкновениями, войнами [144, 399—401]. Трудно судить об исходах этих столкновений. Можно допустить, что в них далеко не всегда одерживали верх те, кто принадлежал к более передовым по уровню своего развития культурам. Однако общая тенденция процесса оставалась прежней. Раньше или позже, но во все районы ближневосточного региона проникали либо носители новых культурных достижений, либо сведения о культурных новшествах, достигнутых в том или ином районе.

Процесс культурного синтеза, основанный на постоянном взаимном обогащении, вел к возникновению нового качества, т. е. давал толчок дальнейшему быстрому развитию — настолько быстрому, что наиболее отставшим культурам (даже в рамках ближневосточного региона) уже не было времени ликвидировать отставание за счет естественной эволюции. Отставшие либо оттеснялись, либо поглощались удачливыми соседями. Тем более эта закономерность была характерна для контактов ближневосточных культур с соседними донеолитическими.

Здесь разница потенциалов была гораздо более заметной, чем внутри самого ближневосточного региона. И эта разница усугублялась этнокультурными и даже расовыми различиями. Племена ближневосточных мигрантов, направлявшиеся в сторону Европы или Средней Азии, в Египет или Индию, нередко совершали длительные путешествия, прежде чем находили удобные для земледелия долины и оазисы. Естественно, что при этом многое менялось. Не всегда в новых географических и климатических условиях приживались захваченные с собой привычные злаки и породы домашнего скота (а иногда их и не удавалось донести и довезти в сохранности до нового места обитания, так что приходилось искать новые варианты и заново их одомашнивать). Не было постоянного контакта с родственными и близкими по уровню земледельческими культурами, что не

могло не отразиться на замедлении темпов эволюции, во всяком случае вначале. Наконец, были местные палео- и мезолитические племена, взаимоотношения с которыми складывались по-разному. Неудивительно, что в таких сложных условиях формировались, по существу, уже новые культуры, приспосабливавшиеся к новым обстоятельствам, вырабатывавшие новые традиции и этнокультурные признаки, хотя роль старых традиций, и в частности знакомство с основными принципами земледелия, скотоводства и иных достижений неолитической революции, оставались при этом важнейшим фактором, определявшим темпы и направленность эволюции новых культур.

В удобных для земледелия районах рядом с ближневосточной зоной складывались культуры, внешне и по сути близкие к своей alma mater. Этому способствовало то, что потоки мигрантов обычно бывали не чрезвычайным и разовым, но, напротив, частым явлением. Сегодня в соседние районы направлялись группы одного типа ближневосточных культур, через несколько десятков лет или веков — группы иной серии и т. п. Наслаиваясь друг на друга и принося с собой все новую и новую информацию, потоки мигрантов, вступавшие в сложные взаимоотношения и с потомками более ранних переселенцев, и с местным населением, объективно помогали сближению культур и нивелировке культурных различий между ближневосточной и соседними с ней зонами земледелия. К этому вел и возникавший между всеми этими центрами регулярный обмен, зачаточные формы торговли.

На неудобной для земледелия периферии ближневосточной зоны, как и в пустынно-степных районах внутри нее, неолитическая революция проявлялась в несколько иной форме, с явным уклоном в сторону преимущественного развития скотоводства. В отличие от В. М. Массона [147, 111] я бы не считал эту форму полноправным вариантом неолитической революции хотя бы потому, что основа этой революции — именно зерновое земледелие. Коль скоро условий для его развития не было, многое в характере неолита менялось. Оказавшись на территории, малопригодной для земледелия, мигранты, познакомившие местные мезо- или даже палеолитические племена собирателей и охотников с принципами производства пищи, вынуждены были сами приспосабливаться. И именно поэтому возник преимущественный уклон в сторону скотоводства, уклон вынужденный, создававший меньше возможностей для накопления богатств, ускоренного социального и культурного развития и в конечном счете для возникновения цивилизации.

Наконец, необходимо отметить и еще один важный аспект описываемого процесса. Интенсивное распространение нововведений неолитической революции происходило не только в виде прямых волнообразных спорадических миграций, но и в форме более постоянной и менее заметной диффузии. Соседние с нео-

литическими племена воспринимали нововведения неолита не только в ходе этнокультурных контактов и прямых смешений с мигрантами извне, но и в результате опосредованных контактов, прежде всего торгового обмена, который — особенно между земледельцами, с одной стороны, и скотоводами — с другой, — существовал издревле. Разумеется, в ходе такого рода контактов более отсталые племена воспринимали далеко не все, но лишь то, что было приемлемо в тех условиях, в которых они обитали, и что могло быть усвоено на том уровне развития, на котором они находились. Однако и этого было достаточно, чтобы такие племена не только ознакомились со многими достижениями неолита (прежде всего с обработкой камня, выделкой керамики, а то и с основными принципами доместикации растений и животных), но и передали накопленное тем, кто не имел прямого контакта с зонами расселения первых земледельцев. Именно таким образом закладывались основы существования многочисленных так называемых субнеолитических племен и культур, тех, что уже были знакомы с рядом важных нововведений неолита, но в то же время не были ни земледельцами, ни даже скотоводами, т. е. не занимались прежде всего и главным образом производством пищи.

Дальнейшая судьба таких субнеолитических племен и культур бывала различной. Одни, особенно те, кто находился в суровых природных условиях, оставались на этом уровне долгое время, дожив подчас до наших дней. Другие, жившие в более благоприятной обстановке, могли в ходе длительной эволюции изменить условия своего существования, например стать скотоводами. Наконец, третьи, развиваясь еще энергичней и оказавшись в контактной зоне, где постоянное общение со все новыми потоками мигрантов из ближневосточного региона способствовало активному заимствованию самых передовых принципов и методов неолитического земледельческого хозяйства, могли сами трансформироваться в земледельцев. Пережив — в ускоренном темпе — нечто вроде неолитической революции, доместицировав на базе диких предшественников в своей географо-климатической зоне наиболее подходящие сорта злаков (просо, рис) и породы домашнего скота (кабан, птица), они могли затем спуститься в плодородные долины и быстро их освоить. Насколько можно судить, именно такой путь привел к возникновению земледельческого неолита в бассейне Хуанхэ.

ПРОБЛЕМА НЕОЛИТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В КИТАЕ

Касаясь вопроса о возникновении земледельческого неолита в Китае, В. М. Массон писал, что он не разделяет мнения о «вторичном, зависимом происхождении раннеземледельческих культур Китая» и что китайский феномен в этом смысле —

«конкретное проявление полицентрического характера возникновения земледельческо-скотоводческой экономики» [147, 138; см. также 145, 18—19]. Другими словами, Китай должен был иметь свой, независимый от ближневосточного центр неолитической революции — центр, единственный в своем роде в пределах Старого Света, ибо ни о каком другом, даже о юго-восточноазиатском, Массон не упоминает. Впрочем, ничего не говорит он и об этом китайском центре. И это не случайно: ведь материалов на этот счет пока еще настолько мало, что проблема неолитической революции на территории Китая остается в большей мере в сфере теоретических спекуляций, нежели практического исследования. Показательно, что сами китайские археологи обычно вообще не ставят эту проблему, молчаливо полагая, что о генезисе китайского земледельческого неолита нечего и говорить: он возник именно в Китае, в центре бассейна Хуанхэ, а как именно и когда — это пока не вполне ясно, да и не очень уж важно [566, 559; 788, 566].

Среди специалистов, которые за последние годы обратили серьезное внимание на проблему неолитической революции в Китае и попытались доказать, что такого рода неолитическая революция действительно была или по крайней мере могла совершиться в Китае, можно в первую очередь назвать американского археолога и синолога Чжан Гуан-чжи. В монографии и ряде статей, посвященных различным проблемам китайского неолита, Чжан Гуан-чжи в отличие от своих коллег из КНР не только не обходит эту проблему, но, напротив, очень активно обсуждает ее, стремясь именно с ее помощью убедить своих оппонентов и читателей в том, что процесс генезиса китайского неолита протекал в Китае преимущественно на местной основе. Тезис этот не нов, однако Чжан Гуан-чжи стремится обосновать его, привлекая не только новые факты, но и новые теории и аргументы, в том числе и вопрос о неолитической революции. Как же выглядит эта проблема в его изложении? Суть ее сводится к следующим нескольким пунктам.

1. Тем неолитическим земледельческим культурам Китая, с которыми мы знакомы по материалам археологических раскопок, должен был предшествовать типологически более ранний этап — процесс перехода от присваивающего хозяйства к производящему, т. е. неолитическая революция. Теоретически дилемма такова: либо земледельческий неолит был принесен мигрантами в бассейн Хуанхэ, либо он возник здесь в результате процесса постепенной трансформации на местной основе (т. е. в ходе собственной неолитической революции). Как полагает Чжан Гуан-чжи, «практически все археологи, основываясь на имеющихся данных, без колебаний отвергают» первую часть дилеммы [302, 52]. Но если признать, что земледельческий неолит Хуанхэ возник на местной мезолитической основе, встает новая дилемма: как он возник, в ходе независимых конвергент-

ных изобретений или под влиянием «диффузии стимулов»? Ответа на этот вопрос Чжан Гуан-чжи не дает, осторожно оговариваясь, что для этого еще не наступило время, что для этого нужно уточнить хронологию китайского неолита, найти возможные пути диффузии, а также проделать сравнительный анализ культурных традиций китайского и ближневосточного неолита. Не отвергая идеи диффузии, возможных культурных контактов между Востоком и Западом и даже признавая, что такие злаки, как пшеница, и такие животные, как овца и бык,— ближневосточного происхождения, Чжан Гуан-чжи вместе с тем достаточно резонно замечает, что нет доказательств, что только с этими видами злаков и скота в Китай попала сама идея доместикации [302, 53]. Он идет даже еще дальше, отмечая, что вся проблема предполагаемого генетического родства между неолитом Востока и Запада сводится в конечном счете лишь к вопросу о первотолчке, об искре, осветившей идею производства пищи, и что этот вопрос имеет лишь «чисто академический» интерес [302, 54].

2. Исходя из такой постановки вопроса, Чжан Гуан-чжи полагает, что в Китае, точнее, в бассейне Хуанхэ должна была протекать своя неолитическая революция. Развивая эту мысль, Чжан Гуан-чжи тщательно анализирует экологию района среднего течения Хуанхэ и приходит к выводу, что именно здесь, где сконцентрирована основная часть стоянок Яншао, в эпоху мезолита и раннего неолита были оптимальные с точки зрения неолитической революции природные условия. Именно здесь горные районы и лесистые склоны соседствовали со степными равнинами и аллювиальными долинами рек. Здесь в эпоху послеледникового климатического оптимума была мягкая погода с достаточным количеством тепла и дождей, водилось много дичи и зверей. Другими словами, это как раз такой экологический район, который, «по Р. Брэйдвуду и К. Сойеру, был местом появления земледельцев и скотоводов» [301, 179—180; 302, 54].

3. Здесь, в среднем течении Хуанхэ, можно найти, пусть немногочисленные, следы обитания мезолитического (Шаюань) и ранненеолитического (Баоцзи) человека. Можно проследить общие культурные черты, связывающие между собой мезолит и ранний неолит, с одной стороны, и серию культур расписной керамики (Яншао) — с другой. К их числу следует отнести, например, жилища-полуземлянки, характерные для всей циркумполярной зоны, начиная с верхнего палеолита, треугольные стрелы, призматические остроконечники и т. п. [300, 105; 302, 45].

4. Но главное свидетельство неолитической революции в этом районе — это дояншаоская неолитическая культура веревочной (шнуровой) керамики, гипотетическая реконструкция которой является едва ли не центральным пунктом всей концепции китайского неолита Чжан Гуан-чжи. Постулируя существование этого древнейшего культурного горизонта в серии по-

следовательно сменявших друг друга неолитических культур бассейна Хуанхэ, он руководствуется при этом следующими соображениями. Грубая, ручной выделки керамика — красные, коричневые и серые сосуды незамысловатой формы, с примитивным орнаментом в виде оттисков и отпечатков веревочной сети, корзины и т. п. — была широко распространена в обширном регионе, включавшем в себя большую часть Азии от Сибири и Монголии до Японии и Индокитая. И везде керамика этого типа была очень ранней, фиксируемой археологами у коллективов первобытных собирателей, рыболовов, охотников. Субнеолитические культуры шнуровой керамики прослеживаются также в северных и южных районах Китая. И хотя меньше всего следов приходится как раз на бассейн Хуанхэ (здесь Чжан Гуан-чжи ссылается только на материалы Баоцзи, специальный разговор о которых впереди), Чжан Гуан-чжи не может удержаться от крайне соблазнительного вывода, что едва ли не все эти культуры принадлежат к единой традиции, генетические корни которой восходят как раз к бассейну Хуанхэ, бывшему центром культурной радиации [300, 122; 302, 56]. При этом для подкрепления своей гипотезы он напоминает, что именно такого типа керамика была наиболее древней, присущей многим китайским неолитическим культурам, всей истории китайской керамики (в отличие от других типов, сравнительно быстро исчезавших). Как он полагает, будущие материалы подкрепят эту гипотетическую реконструкцию и подтвердят, что в бассейне Хуанхэ где-то между V и IV тысячелетиями до н. э. протекала своя неолитическая революция [300, 137—138].

Итак, в центре изложенной концепции два основных и взаимосвязанных пункта: тезис о самостоятельной неолитической революции в Китае и постулат о культурном горизонте шнуровой керамики, т. е. о дояншаоском керамическом неолите. Рассмотрим аргументы в пользу первого. Действительно, Чжан Гуан-чжи имел основания заявить, что «практически все археологи», базирующиеся на опубликованных в КНР археологических материалах (речь идет исключительно о самих китайских археологах. — *Л. В.*), без колебаний отвергают идею о появлении в Китае земледельческого неолита в результате миграций извне. Однако, как он верно заметил далее, это еще не снимает проблемы, так как остается другой вопрос: диффузия или конвергенция? Этот вопрос Чжан Гуан-чжи решать не берется, допуская, что диффузия стимулов и идей могла сыграть свою роль. Но это значит, что неолитическая революция в бассейне Хуанхэ, даже по мысли самого Чжана, могла быть не целиком самостоятельной: не приходится доказывать, сколь великую роль мощного катализатора процесса играла диффузия, наличие или отсутствие элементов которой имеет, таким образом, отнюдь не «чисто академический» интерес.

Говоря о возможной диффузии стимулов, Чжан сводит ее к

роли первотолчка, озарения, в результате которого мезолитические насельники бассейна Хуанхэ могли ознакомиться с идеей производства пищи и со всеми остальными достижениями неолита. Но если принять этот вариант гипотезы Чжан Гуан-чжи, то вопрос о самостоятельной неолитической революции в бассейне Хуанхэ, по существу, просто снимается — речь может идти только о быстром развитии на местной основе и в специфических местных условиях уже давным-давно известных черт и признаков развитого земледельческого неолита.

И все же в гипотезе Чжан Гуан-чжи есть рациональное зерно, хотя сам автор ищет его явно не там, где следовало бы. Стремление во что бы то ни стало найти следы неолитической революции именно в бассейне Хуанхэ оказалось бесплодным, и чем дальше, тем больше становится очевидным, что если и можно найти что-либо похожее на такую революцию, то не в бассейне Хуанхэ, а в предгорьях и горных плато к западу от него. Во-первых, потому, что из истории ближневосточной зоны уже стало общеизвестным и общепринятым, что сам процесс доместикации злаков и скота происходил в предгорьях и что, уже овладев основными достижениями неолита, умножившиеся в числе земледельцы в поисках новых удобных земель начинали селиться в речных долинах. Во-вторых, потому, что сам облик яншаоского неолита с его злаковым земледелием (весьма отличным от клубнеплодного земледелия юго-восточноазиатского типа) очень многими своими культурными признаками связан с неолитом более западных районов, что, конечно, не означает, что китайский неолит не испытал определенного влияния и со стороны земледельческих культур Юго-Восточной Азии. Надо сказать, что в новом издании своей монографии Чжан Гуан-чжи, видимо, учел все противоречивые сложности ситуации и уделил проблеме неолитической революции в Китае очень немного места [305, 83—84]. Но от идеи в принципе он не отказался. И эта настойчивость в общем понятна и даже в какой-то мере оправдана.

Хотя в распоряжении современных исследователей еще нет прямых оснований для утверждения о том, что нечто похожее на мини-революцию неолита все-таки предшествовало появлению Яншао в бассейне Хуанхэ, логика реконструкции процесса генезиса китайского земледельческого неолита подсказывает, что она должна была быть. На это и делал упор Чжан Гуан-чжи в первом издании своей монографии и в ранних своих статьях [300, 301, 302], и в этом он в общем был прав. Другое дело — где искать следы этой гипотетической мини-революции, обязанной ближневосточной зоне своим знакомством с рядом важнейших принципов неолита. Похоже на то, что эти следы можно было бы найти в пределах обширных и до сих пор археологически еще почти неизученных горных районах Гималаев и Тибета.

Принято считать, что эти мощные горные плато настолько труднопроходимы, что их естественней избегать, особенно если есть другие пути, например степной коридор через Туркестан и Монголию. Неудивительно, что в поисках пути, который гипотетически мог бы связать земледельцев ближневосточной зоны с бассейном Хуанхэ, исследователи чаще обращались именно к этому степному пути [270; 277, 252]. И в принципе существование такого пути в глубокой древности не исключено — им явно пользовались. Однако предположение, что именно с помощью такого пути могли попасть в Китай протояншаосцы [50], не позволяет объяснить некоторые важные моменты процесса, в частности происхождение одомашненной чумизы, основного злака яншаосцев. В степных районах, по пути с запада, протояншаосцы едва ли могли обрести этот новый для неолитических земледельцев Евразии злак. На это нужно было время, нужны были и дикорастущие предшественники, которых логичнее всего искать в предгорьях, как это было показано в свое время Н. И. Вавиловым.

Это означает, что процесс появления яншаоского неолита был намного более сложным, чем это было, скажем, с возникновением земледельческого неолита в Египте или Европе. О сложности и длительности процесса свидетельствует и расовый облик яншаосцев, монголоидность которых вне сомнения (хотя, возможно, не без европеоидной примеси). Эти и некоторые другие соображения заставляют отказаться от первоначальных предположений о дальних миграциях по хорошим степным путям и в чем-то согласиться с Чжан Гуан-чжи, настаивающим на своей неолитической революции в Китае. Действительно, нечто вроде такой революции в ее мини-варианте могло иметь место, а ускоренные темпы ее должны были определяться как раз теми сведениями, той информацией, которой Чжан Гуан-чжи придает столь небольшое значение, но которая сыграла важнейшую роль в процессе генезиса китайского неолита.

Однако этот логичный вывод в концепции Чжан Гуан-чжи не находит места. Альтернативой ему служит настойчивая идея о том, что именно в бассейне Хуанхэ были издревле заложены основы китайского неолита, причем для доказательства этой идеи мобилизуются все данные, которые прямо либо косвенно могут свидетельствовать в пользу существования дояншаоского неолита, того самого, генезис которого был самостоятельным процессом, в лучшем случае обязанным западу «искрой», осветившей идею производства пищи.

ПРОБЛЕМА ДОЯНШАОСКОГО НЕОЛИТА

Что известно о гипотетических слоях дояншаоского неолита? Во-первых, что культура шнуровой керамики была наиболее ранним из неолитических горизонтов как к северу, так и к

югу от бассейна Хуанхэ, а также в ряде соседних с континентальным Китаем районах (Япония, Тайвань), где она обычно сочеталась с культурными традициями, характерными для охотников, собирателей, рыболовов. Во-вторых, керамика этого типа, составляя заметную часть керамического инвентаря уже в наиболее ранних яншаоских стоянках, продолжала сохраняться как своеобразный элемент китайской этнической культуры на протяжении долгих веков и тысячелетий, т. е. была очень устойчивой. В-третьих, есть некоторые основания полагать, что в самом бассейне Хуанхэ, причем в той самой центральной его зоне (провинция Шэньси), где, по мнению Чжан Гуан-чжи, и возник китайский земледельческий неолит, можно найти свидетельства существования этого горизонта (Баоцзи).

Тезис о том, что традиции веревочно-шнуровой керамики в Китае принадлежат к числу древних и долговечных, в целом справедлив. Внимательное знакомство с керамическими изделиями эпохи неолита и бронзы легко убеждает в том, что начиная с Яншао (стоянки Баньпо или Мяодигоу) и вплоть до эпохи Чжоу сосуды такого типа неизменно являются существенным компонентом керамического инвентаря. Разумеется, менялись формы сосудов, способы их изготовления, обжига, нанесения на них орнамента, менялись и варьировались типы этого орнамента (под термином «шнуровая», или «веревочная», здесь, так же как и в гипотезе Чжан Гуан-чжи, будет подразумеваться широкий диапазон орнаментальных типов родственного плана: орнамент в виде оттисков веревки или шнура, сетки, корзины, в виде сетчатых или линейных насечек, подчас даже с налепами или точками-ямками). Другое дело — считать ли все эти типы принадлежавшими к единой культурной традиции, как это склонен предложить Чжан Гуан-чжи. Но это уже вопрос особый, решение которого связано с проблемой генезиса всех тех культур, о которых идет речь.

Обратимся теперь к ключевому тезису концепции Чжана о культурном горизонте шнуровой керамики, к тем скудным фактическим свидетельствам, которые, по его мнению, все-таки дают основание считать, что концепция в целом построена отнюдь не только на спекулятивных, хотя и заслуживающих внимания, соображениях. Что же в конечном счете может с фактической стороны подкрепить предположение о существовании такого горизонта именно в бассейне среднего течения Хуанхэ?

Понятно и естественно, что такого рода фактическим обоснованием могли бы послужить только находки стоянок или могильников со следами дояншаоского неолита. Нельзя сказать, что попытки найти его следы в долине Хуанхэ начались только с Чжан Гуан-чжи. Начало поискам таких культур положил И. Андерсон, который вскоре после раскопок стоянок расписной керамики в Ганьсу на первое по времени место в серии найден-

ных им культур поставил культуру Цицзя прежде всего за то, что в ней в отличие от других не было следов расписной керамики. Предложенная Андерсоном лестница культур, начинавшаяся с Цицзя, вызвала сомнения специалистов, но он упорно стоял на своем, полагая, что в пользу древности Цицзя говорит то обстоятельство, что над слоем этой культуры он подобрал несколько черепков керамики яншаоского типа [273, 82]. В 1944—1945 гг. Ся Най сумел обнаружить и раскопать несколько могил культуры Цицзя, в которых наряду с грубой серой шнуровой керамикой, присущей этой культуре, были найдены черепки расписной керамики, что побудило Ся Ная поставить датировку и оценку Андерсоном культуры Цицзя под сомнение [691; 693, 1—10]. Андерсон, однако, продолжал настаивать на том, что Цицзя, хотя она и включала в себя небольшое количество расписной керамики, была наиболее ранней неолитической культурой в этом районе [275, 32]. Показательно, что только в обилии обнаруженные в 50-х годах в результате раскопок двуслойные стоянки, в бесспорном порядке стратиграфически подтвердившие первичность Яншао и вторичность Цицзя, позволили наконец закрыть «проблему Цицзя».

Подробный экскурс в историю этой проблемы заслуживает внимания в связи с находками в Доуцзитай близ Баоцзи, чуть западнее современной Сиани, на которые как на свой основной фактический аргумент в пользу существования в бассейне Хуанхэ дояншаоского неолита попытался было опереться Чжан Гуан-чжи. Что же это за находки?

Раскопки в Доуцзитай были проведены в начале 30-х годов, когда бассейн Хуанхэ был в археологическом отношении почти terra incognita. Если не считать интенсивных работ по раскопке иньской столицы близ Аньяна, в то время были раскопаны лишь несколько стоянок Яншао на западе и луншаньская стоянка Чэнцзыяй на востоке. Только-только были опубликованы данные о раскопках в Хоугане трехслойной стоянки, позволившей Лян Сы-юну поставить вопрос о хронологической последовательности Яншао, Луншань и Сяотунь, т. е. Инь [636, 91—106]. Словом, было сделано еще мало, а белых пятен оставалось очень много. На этом фоне каждая, даже очень небольшая и неясная, находка новых материалов имела большое значение и давала повод для рождения различных предположений.

Археолог Сюй Бин-чжан, производивший раскопки и опубликовавший найденные материалы, обратил внимание на то, что среди керамических обломков были черепки от сосудов красного, серого и черного цвета со сравнительно грубыми стенками, покрытыми шнуровым или корзинчатым орнаментом, нарезными линиями и ямками. Если сосуды со шнуровым орнаментом уже довольно часто встречались в культурах китайского неолита, то остальные типы орнамента были тогда еще неиз-

вестны в Китае. Отличной от встречавшихся в стоянках Яншао и Луншань была и форма некоторых реконструированных Сюй Бин-чжаном сосудов. Кроме того, в слое, о котором идет речь, не было найдено никаких следов расписной керамики яншаоского типа, а форма сосудов, грубый и примитивный орнамент на некоторых из них ничем не напоминали считавшиеся в то время типичными для Луншань керамические изделия (черная керамика с тонкими лощеными стенками). Словом, керамические фрагменты из Доуцзитай явно принадлежали к грубым и примитивным формам, а условия их обнаружения давали некоторые основания для осторожного вывода о том, что керамику такого рода можно считать дояншаоской [683].

Раскопки Сюй Бин-чжана весьма заинтересовали китайских археологов. В 1934—1937 гг. в районе Доуцзитай другим китайским археологом, Су Бин-ци, было вскрыто несколько десятков могил эпохи неолита и бронзового века [60]. Детально проанализировав инвентарь, Су Бин-ци разделил могилы на ряд этапов, однако даже для самого раннего из них наиболее типичным инвентарем оказались луншаньские сосуды типа ли (тринод на полых ножках в форме вымени), происхождение и эволюция формы которых рассмотрены в специальном приложении к монографии [675]. Показательно, что в монографии Су Бин-ци материалы из могильника не увязываются прямо с находками Сюй Бин-чжана, хотя все данные Су Бин-ци косвенно заставляют отнестись к этим находкам настороженно: если в наиболее ранних могилах Доуцзитай нет ничего дояншаоского, даже яншаоского, то как относиться к выводам Сюй Бин-чжана, сделанным на основе нескольких фрагментов неясной по типу керамики?

Публикация Су Бин-ци не получила достаточного резонанса в китайской археологии. Возможно, этому воспрепятствовали политические события, связанные с победой революции в Китае. Как бы то ни было, но находки в районе Доуцзитай (Баоцзи) и в 50-х годах продолжали рассматриваться в основном по данным небольшого сообщения Сюй Бин-чжана, позволявшего делать предположения о существовании дояншаоского неолита в бассейне Хуанхэ. Справедливости ради стоит сказать, что с размахом археологических работ в этом районе Китая (примерно с середины 50-х годов) о данных Сюй Бин-чжана стали постепенно забывать. В китайской археологической литературе этого времени, по существу, нет ни ссылок, ни упоминаний о дояншаоском неолите в Баоцзи. Десятки и сотни новых раскопок, тысячи зафиксированных разведывательными группами археологов стоянок неолита в бассейне Хуанхэ в 50-х годах убедительно показали, что, в то время как стоянки Яншао насчитываются здесь многими сотнями, даже тысячами, а стоянки Луншань — десятками и сотнями, дояншаоских стоянок и слоев в этом районе нет. Не исключено, конечно, что они еще мо-

гут быть обнаружены в ходе дальнейших исследований. Однако вероятность этого со временем становится все меньше: слишком уж густой сетью обследований и раскопок покрыт ныне бассейн Хуанхэ, чтобы полагать, что дояншаоский неолит (да еще такой, который складывался здесь, на месте, в бассейне Хуанхэ, на протяжении тысячелетий гипотетической неолитической революции Чжан Гуан-чжи) просто случайно оказался еще незамеченным.

Итак, новых следов дояншаоского неолита не было обнаружено. В глазах подавляющего большинства китайских археологов это означало, что предположения и выводы Сюй Бин-чжана несостоятельны, что они попросту нуждаются в новой интерпретации. Эти выводы всерьез, как упоминалось, нигде в китайской археологической литературе не котировались. Однако они никем всерьез и не опровергались, что объективно вело к тому, что всякий раз, когда перед специалистами вставал вопрос о раннем, дояншаоском неолите, вспоминали о Сюй Бин-чжане. Правда, если вести речь о китайских работах, то вспоминали обычно в одном ряду (и в одном плане) с «проблемой Цицзя» [566, 559; 695, 486]. Но, поскольку материалы Сюй Бин-чжана в отличие от андерсоновского Цицзя не были заново рассмотрены, они остались достаточно вескими для тех, кто в обобщающих работах по археологии Китая был вынужден столкнуться с вопросом о раннем, дояншаоском неолите в Хуанхэ. В частности, Чжэн Дэ-кунь в первом томе своего труда по археологии Китая, вышедшем в 1959 г., воспроизвел в весьма положительном плане основные аргументы Сюй Бин-чжана, хотя и заключил, что все это нуждается в более детальном рассмотрении для выяснения истины [311, 68][2].

Неудивительно, что к материалам Сюй Бин-чжана в положительном плане подошел и Чжан Гуан-чжи, для концепции которого сам факт неопровергнутого предположения о существовании дояншаоского неолита в бассейне Хуанхэ был крайне важным. При этом очень характерна та манера, с которой он упомянул о Баоцзи: в отличие от Чжэн Дэ-куня он даже не привел аргументов Сюй Бин-чжана, а просто в одном случае дал отсылку на его статью [302, 54, 56], а в другом добавил, что грубая шнуровая керамика в Доуцзитай будто бы оказалась под яншаоской [300, 111]. Рядом с Баоцзи Чжан Гуан-чжи иногда упоминает и некоторые другие стоянки, материал которых может быть интерпретирован в аналогичном плане, однако он

[2] Однако даже столь осторожный заключительный вывод Чжэн Дэ-куня в книге обобщающего характера, опубликованной на английском языке и потому ставшей доступной для археологов всего мира, явился источником дальнейших недоразумений. Так, в 1964 г. В. М. Массон в специальной статье, затрагивавшей вопросы китайского неолита в связи с оценкой исторического места среднеазиатской цивилизации, прямо стал утверждать, что стоянки дояншаоского неолита существовали и что С. В. Киселев неправ, отрицая их существование [145, 19].

при этом замечает, что хронология этих стоянок не определена. Таким образом, все сводится только к Доуцзитай.

Как же следует оценивать и интерпретировать материалы этой стоянки? Что касается утверждений, будто нижний слой шнуровой керамики перекрывается расписными черепками Яншао, то, даже если это действительно можно доказать стратиграфически (что сомнительно: не случайно Чжэн Дэ-кунь призывал к более тщательному изучению условий находки), этого все-таки еще недостаточно. Черепки могли здесь оказаться случайно. Могли, как это было в случае с андерсоновским Цицзя, принадлежать к тому же слою. Словом, этот аргумент мог бы сыграть свою решающую роль только в том случае, если бы и все остальные показатели соответствовали ему. К сожалению, с остальными показателями все обстоит как раз иначе.

Уже вскоре после начала послевоенного тура археологических раскопок в бассейне Хуанхэ и открытия здесь ряда новых луншаньских стоянок несколько иного типа (хэнаньский Луншань) археологи познакомились как раз с такой керамикой, какая была представлена в Доуцзитай, и стали предполагать, что доуцзитайские находки Сюй Бин-чжана следует считать луншаньскими [566, 559]. Через несколько лет картина прояснилась еще больше: раскопки в Кэшэнчжуан, близ Сиани, т. е. совсем рядом с Доуцзитай, позволили обнаружить в хорошем и богатом комплексе новый вариант культуры Луншань, отдельные элементы которого совершенно идентичны находкам Сюй Бин-чжана. Полная публикация материалов раскопок в Кэшэнчжуан появилась в 1962 г. [606], хотя отдельные сообщения печатались и раньше. Возможно, что она еще не была в руках Чжан Гуан-чжи до выхода в свет первого издания его монографии, где наиболее обстоятельно изложена концепция о дояншаоском неолите в бассейне Хуанхэ. Если это не так — тогда трудно понять причины, по которым Чжан продолжал настаивать на своем. Ведь на листе иллюстраций XXXIV этой публикации представлены как характерные для луншаньской культуры Кэшэнчжуан-II как раз такие типы керамики и орнамента (нарезные линии, точки-ямки), которые были наиболее типичны для керамики Доуцзитай и, по словам Чжэн Дэ-куня, будто бы «были совершенно непохожи на те, которые использовались в позднеонеолитической керамике» [311, 68].

Как бы то ни было, но публикация материалов из Кэшэнчжуан сыграла в проблеме Баоцзи примерно ту же роль, что и за несколько лет до того находки двуслойных стоянок Цицзя—Яншао для окончательного решения проблемы Цицзя. В итоговой статье о достижениях китайской археологии к 15-летию республики Ся Най писал: «В прошлом некоторые ошибочно считали Цицзя более ранней, чем Яншао. Последующие раскопки доказали, что дело обстоит как раз наоборот. Другие полагали, что неолитическая культура без следов рас-

писной керамики, обнаруженная перед войной в районе Гаодунцзюй, в Доуцзитай, близ Баоцзи, тоже более ранняя, чем Яншао. Теперь мы знаем, что это — культура Кэшэнчжуан-II. Что же касается вопроса о последовательности слоев, то здесь имело место вторичное нагромождение подобранных и смешавшихся обломков яншаоской расписной керамики над слоем, о котором идет речь. Такого рода вторичное нагромождение было обнаружено и в Лицзяцунь, так что оно является теперь новым и достаточно надежным ключом к разгадке проблемы дояншаоских культур» [695, 486].

Итак, вопрос о дояншаоском неолите в бассейне Хуанхэ практически был исчерпан. Вся шнуровая керамика, которая могла бы подтвердить гипотезу Чжан Гуан-чжи о дояншаоском культурном горизонте, оказалась фактически яншаоской или луншаньской. Чжан Гуан-чжи в новом издании монографии вынужден был учесть решение «проблемы Баоцзи» и перестал настаивать на горизонте дояншаоской шнуровой керамики. Но от своей идеи не отказался. Более того, он нашел некоторые новые доводы в ее пользу, только теперь речь уже стала вестись о ранней фазе Яншао, о раннеяншаоских слоях шнуровой керамики, в которых нет следов расписной керамики и которые поэтому косвенно могут служить аргументом в пользу существования дояншаоского горизонта. О каких новых доводах идет речь?

Ся Най, цитата из статьи которого только что приводилась, утверждает, что «вторичное нагромождение» обломков расписной керамики яншаоского типа не должно смущать исследователей не только в Доуцзитай, но и в стоянке Лицзяцунь, где китайские археологи сравнительно недавно обнаружили слой неолита с минимальным количеством расписной керамики, к тому же зафиксированной главным образом в верхней части культурного слоя. Этот вывод Ся Ная соответствует и позиции опубликовавшего материалы находки в Лицзяцунь Ляо Цай-ляна, который отнес стоянку к позднеяншаоскому переходно-луншаньскому времени и даже сопоставил ее с аналогичными слоями культуры Цюйцзялин [637, 354]. Казалось бы, вопрос ясен. Однако необычный облик культурного слоя в Лицзяцунь вселил надежду в тех археологов, которые верят в существование в бассейне Хуанхэ дояншаоского горизонта.

В статье Су Бин-ци материалы из Лицзяцунь рассматриваются под иным углом зрения. Ссылаясь на сходство этих материалов с данными некоторых других сравнительно недавно обнаруженных стоянок, материалы которых к тому времени еще не были опубликованы, Су Бин-ци настаивал на том, что шнуровая керамика из этих стоянок может считаться более ранней, нежели баньпоская [676, 55—56]. Вот этот-то тезис Су Бин-ци о добаньпоской керамике и о группе стоянок, материалы которых, хотя они еще и не опубликованы, подтверждают такой вы-

вод, и воспринял в переработанном издании своей монографии Чжан Гуан-чжи. Он предложил считать все эти слои и стоянки со шнуровой и без расписной керамики новой «фазой Лицзянцунь», которая, по его представлениям, предшествовала двум другим фазам собственно Яншао, т. е. Баньпо и Мяодигоу. Эта раннеяншаоская «фаза Лицзянцунь» и была названа им «первой субстанционализацией гипотетического горизонта шнуровой керамики» в бассейне Хуанхэ [305, 111—112].

Контекст работы и сам факт специальной терминологии («фаза Лицзянцунь») свидетельствуют о том, что на эти гипотетические слои и стоянки Чжан Гуан-чжи возлагал немало надежд [3]. Увы, им не суждено было сбыться! После возобновления выхода в свет археологических журналов (в начале 70-х годов, когда по завершении «культурной революции» в Китае старались доказать, что археологическая работа в дни этой «революции» не ослабевала) никаких новых публикаций о стоянках, на важные материалы которых намекал Су Бин-ци, не последовало. Скорей всего, эти стоянки не оправдали надежд Су Бин-ци и оказались рядовыми луншаньскими или луншаноидными, не заслуживающими специального внимания. Это видно хотя бы из того, что радиокарбонные датировки засвидетельствовали то же самое для стоянки Лицзянцунь, нижний слой которой был датирован 2240—2125 гг. до н. э., т. е. временем, когда закладывались основы луншаньско-луншаноидного горизонта [670, 335].

Итак, «фазу Лицзянцунь» постигла та же участь, что и «проблему Цицзя» или «проблему Баоцзи». И новые доводы Чжан Гуан-чжи в пользу сконструированного им гипотетического горизонта шнуровой керамики в дояншаоское время в бассейне Хуанхэ оказались столь же слабо обоснованными, что и прежние. Конечно, это еще не означает, что для тех, кто упорно ищет предъяншаоские слои в бассейне Хуанхэ, все потеряно. Сама регулярность, с которой одна за другой встают перед исследователями «проблемы» дояншаоских слоев и культур, весьма показательна. И все же с каждым очередным опровержением очередной «проблемы» такого рода шансы на результативность поиска в долине Хуанхэ уменьшаются. Одновременно увеличивается вероятность того, что истоки яншаоского неолита следует искать вне бассейна Хуанхэ, где-то в предгорьях к западу от него, где только и мог сложиться протояншаоский земледельческий неолитический комплекс.

Таким образом, отсутствие предъяншаоских слоев неолита в той зоне, где возникла и широко распространилась развитая неолитическая культура Яншао, равно как и сходство зернового земледелия и расписной керамики Яншао с аналогичными яв-

[3] Более того, вслед за Чжаном и явно под его влиянием о Лицзянцунь как начальной фазе яншаоского неолита стали писать и другие авторы, например Чжэн Дэ-кунь [315, 204].

лениями в более западных регионах Евразии, — все это, подкрепляемое рядом общетеоретических соображений историко-культурного характера, позволяет обратить особенное внимание на возможные западные истоки древнекитайского неолита. Это обязывает более внимательно ознакомиться с теми культурами развитого земледельческого неолита, а также субнеолита и даже мезолита, которые существовали неподалеку от Хуанхэ (или даже на значительном расстоянии от нее) и которые можно так или иначе считать генетически связанными с Яншао.

КУЛЬТУРЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО НЕОЛИТА К ЗАПАДУ ОТ ХУАНХЭ

Серия явно родственных между собой культур расписной керамики была распространена в эпоху неолита во многих районах Евразии, в том числе и в первую очередь и в центре ее, в ближневосточной зоне. Именно культуры этой серии были первыми неолитическими культурами, сложившимися в ходе неолитической революции. Древнейшие из этой серии зафиксированы в Западной Азии, причем есть все основания полагать, что именно оттуда они стали распространяться в соседние районы — в Европу, Египет, Индию, Афганистан и т. п. И хотя этот вопрос еще вызывает споры среди исследователей, бесспорным является то, что при всех локальных и стадиальных различиях, при всех индивидуальных особенностях и местных традициях между культурами расписной керамики разных регионов есть немало общего, что и дает основание для объединения их в единую серию.

Конечно, это общее далеко не сразу выявляет себя с полной очевидностью. И это едва ли может считаться странным — скорей наоборот. Ведь в эпоху неолита серия культур расписной керамики была представлена многочисленными локальными вариантами, заметно отличавшимися друг от друга, отстоявшими один от другого порой на тысячи километров и тысячи лет. Каждый такой вариант, являвший собой самостоятельную культуру, а то и группу родственных культур — будь то в балканском, среднеазиатском или индийском регионах, — развивался на определенном месте, под влиянием данной среды. Естественно, что он приобретал черты, отличавшие его от других. Поэтому культуры расписной керамики Триполья несхожи с культурами Индии, а материалы раскопок в Анау или Намазге имеют не так уж много общих черт с неолитом Яншао. И все-таки за этим внешним несходством, за своеобразием каждого ряда вариантов серии археолог и историк культуры не должен игнорировать то общее, что сближает эти культуры и объединяет их в единую серию.

Во-первых, это то, что все известные археологам культуры расписной керамики, начиная от древнейших и кончая наиболее

поздними, уже энеолитическими, всегда были земледельческими, связанными с выращиванием злаков — пшеницы, ячменя, проса, риса. Во всех них параллельно со злаковым земледелием развивалось домашнее скотоводство — были одомашнены коза, овца, свинья, корова. Разумеется, далеко не все эти злаки и породы скота можно обнаружить в каждой культуре, они могли встречаться в различных комплексах и сочетаниях. Но гораздо важнее то, что генеральный принцип злакового земледелия со всеми его основными агротехническими приемами и типами орудий был общим для всех.

Вторым признаком, тесно связанным с первым, было то, что культуры расписной керамики обычно являлись первыми развитыми земледельческими неолитическими культурами в любом районе Евразии, где они вообще известны. Другими словами, если уж археологами зафиксирована такого рода культура, то ей, как правило, не предшествовала никакая другая культура земледельческого неолита. Практически это означает, что варианты серии повсюду относятся к числу древнейших. Конечно, они могли кое-где дожить и до сравнительно позднего времени, подчас даже вступить во взаимодействие с иными земледельческими неолитическими культурами. Но, насколько известно, культуры расписной керамики обычно не приходили на смену какой-либо другой развитой земледельческой неолитической культуре.

Третьим общим для всех вариантов серии признаком, который и дал всем им наименование, является наличие крашеных сосудов, т. е. сосудов, расписанных одной (преимущественно черной) или даже двумя красками по гладкому (чаще всего красному, желто-красноватому) фону. Расписных сосудов в каждой такого рода культуре сравнительно немного, хотя и их процент значительно колеблется, но они прежде всего характеризуют эту культуру, дают основание отнести ее к серии. По своей форме эти сосуды весьма разнообразны: среди них в различных вариантах серии встречаются плоскодонные, круглодонные (реже), рюмкообразные (на поддонах) триподы. Роспись бывает как на наружной поверхности сосудов, так и на внутренней, может покрывать всю поверхность или только часть ее. Мотивы росписи — разнообразные элементы криволинейного геометрического орнамента (спирали, круги) и изображения людей и животных. Кроме того, для культур этой серии характерны зоо- и антропоморфные керамические статуэтки, обычно также расписные.

Наконец, четвертым общим для всех вариантов серии признаком является наличие некоторых сходных ритуалов и культовых представлений, в первую очередь о мире духов и загробной жизни. Имеются в виду бесспорные ритуально-культовые параллели, появление которых во всех культурах расписной керамики едва ли может быть объяснено случайным совпадением.

Так, в культурах этой серии распространена практика захоронения младенцев — обычно в керамических сосудах — под полом жилищ. Иногда этот обычай встречается и в других культурах, но для вариантов интересующей нас серии он характерен, даже обязателен. Нет сомнения, что существование такого обряда могло диктоваться лишь вполне определенными и общими для группы родственных культур представлениями о загробной жизни и какой-то особой роли душ младенцев в жизни людей. К этому можно добавить, что для погребального обряда было характерно трупоположение (не трупосожжение) в скорченном виде на боку либо в вытянутом на спине и наличие оружия, орудий и утвари, положенных в могилу для сопровождения умершего.

Однако наиболее явным свидетельством существования сходных и генетически родственных ритуально-культовых представлений насельников всех культур расписной керамики является семантика и символика орнамента и изображений в росписи. И дело здесь даже не только и не столько в поразительных совпадениях типов и мотивов орнамента, целых композиций (что, впрочем, говорит само за себя), сколько в совпадении мыслей, идей, символов. Как показали специальные исследования, проделанные параллельно и независимо друг от друга авторитетными специалистами, элементы орнамента и связанные с ними комплексы идей и символов в весьма отдаленных друг от друга вариантах серии, в частности в Триполье и в Ганьсу, очень близки, по существу одни и те же [199; 295]. Отсюда вовсе не следует, что из Триполья носители культуры расписной керамики пришли в Ганьсу, или наоборот. Но, хотя никаких свидетельств о такого рода миграциях нет, можно предположить, что сходство и аналогии здесь не случайны. Они, как об этом писала Э. Буллинг, — результат существования культурных контактов и распространения определенных ритуально-космогонических концепций из единого центра [295, 133].

С этим выводом солидаризируется и Э. Джеймс, обращающий особое внимание на единство погребального обряда — важный признак культурного родства [405, 57]. Словом, все то общее, что характерно для различных, даже очень далеких друг от друга вариантов серии, весьма убедительно свидетельствует в пользу их генетической общности. Как полагают в этой связи некоторые археологи, например С. К. Дикшит, «среди многочисленных пунктов, опровергающих теорию обособленного развития китайской культуры, один из наиболее существенных связан с крашеной керамикой» [85, 243]. Иными словами, принадлежность к серии культур расписной керамики уже сама по себе считается некоторыми археологами и историками культуры сильным генетическим признаком, говорящим сам за себя. Разумеется, что это не освобождает от необходимости подтвердить более обстоятельно существование многочисленных

связей и влияний, восходящих к единому, общему для всей серии центру.

Стоявший у истоков серии культур расписной керамики первоначальный неолитический комплекс как следствие неолитической революции сформировался на Ближнем Востоке, откуда он, судя по многим данным, распространялся в соседние регионы ойкумены. Насколько можно судить по имеющимся данным [144; 147; 292; 293; 332; 458; 459; 553 и др.], отдельные культуры ближневосточного региона, сменяя одна другую и активно взаимодействуя между собой, вносили каждая свой вклад в формирование этого неолитического комплекса, который в виде первоначальной серии культур расписной керамики сложился примерно в VIII—VII тысячелетиях до н. э. и сразу же стал энергично распространяться в разные стороны [293, 345; 359, 104].

Поселения этой серии культур в ближневосточном регионе той эпохи состояли из группы глинобитных домов, которые с V тысячелетия до н. э. чаще всего строились из сырцового кирпича. Дома преимущественно однокомнатные, хотя на более поздних этапах встречаются и многокомнатные. Кроме жилых домов в рамках поселка, нередко обнесенного обводной глинобитной или кирпичной стеной, располагались различного рода хозяйственные помещения, культовые постройки, ямы-зернохранилища, печи и т. п. В поселке Джармо (VI тысячелетие до н. э.) в дверных проемах домов использовались вращающиеся двери (судя по обнаруженным камням-подпяточникам). Глинобитные стены сооружались из глины с примесью соломы, а внутренняя поверхность стен в домах покрывалась (по крайней мере уже в V тысячелетии до н. э., в поселке Сиалк-II) специальной обмазкой. Известковая обмазка красноватого цвета наносилась и на пол (Иерихон, VII—VI тысячелетия до н. э.).

Из возделывавшихся злаков наиболее распространены были пшеница и ячмень, из домашних животных — коза, овца, корова, свинья. Было известно прядение и ткачество, изготовление одежды. На смену каменным сосудам, применявшимся кое-где на этапе докерамического неолита, пришла керамика. Она была представлена прежде всего крупными обожженными в специальных печах глиняными шаро- и горшкообразными сосудами и кувшинами. Часть этих сосудов грубой выделки, с большой примесью крупнорубленой соломы в тесте, предназначалась для хранения припасов. В таких же сосудах уже с этапа Хассуна-Ia (поселение Хассуна, рубеж VI—V тысячелетий до н. э.) хоронили умерших детей. На ранних этапах сосуды, особенно некоторые из них, более изящной выделки, покрывались не только росписью, но и нарезным орнаментом [4].

[4] В. М. Массон считает наличие такого рода орнамента в поселении Хассуна результатом влияния сиро-киликийского культурного комплекса, где нарезной орнамент предшествовал расписному [144, 58 и 68].

В период расцвета культур расписной керамики ближневосточного региона роспись на сосудах была чрезвычайно богатой и разнообразной: многочисленные элементы геометрического орнамента, стилизованные фигурки животных и птиц, изображения людей и т. п. По существу, в ближневосточной расписной керамике можно в том или ином виде проследить все те мотивы и элементы росписи, которые встречаются позже во всех остальных культурах расписной керамики Евразии.

В культурах неолитического комплекса Ближнего Востока в обилии представлены различного рода керамические статуэтки животных и людей, преимущественно женщин. Иногда находят и другие керамические поделки — глиняные конусы, налепы на сосудах, пряслица, ядра для пращи и т. п. Вообще из керамики изготовлялось много изделий, в том числе и грубых сосудов. Доля расписной керамики — хотя ее редко высчитывали с достаточной точностью — обычно всегда была меньшей по сравнению с нерасписной. Зато расписная была наиболее изысканной, а роспись — одно- и двухцветная. Важно заметить, что почти повсюду в ближневосточной зоне появление в обиходе гончарного круга приводило к быстрому исчезновению расписной керамики, на смену которой приходила преимущественно серая или красная, гладкая, лощеная. Этот процесс был связан с превращением керамического производства из домашнего подсобного промысла в отрасль ремесла и, по-видимому, с переходом изготовления сосудов из рук женщин в руки ремесленников-мужчин.

Несколько слов о погребальном обряде и ритуально-культовых представлениях насельников неолитических культур расписной керамики ближневосточного региона. Для ранних поселений характерным было захоронение умерших в пределах поселения, нередко под полом жилищ. Иногда, например в Иерихоне, под полом жилищ обнаруживаются археологами лишь черепа, в отдельных случаях покрытые глиняной маской-лицом, нередко с раковинами каури вместо глаз. Однако уже со времен Хассуны под полом жилищ встречаются преимущественно детские захоронения в сосудах, тогда как обычные погребения стали теперь размещаться в специальных могильниках, располагавшихся иногда на территории поселка, но чаще вне его (некрополь Самарры, керамика которого по типу и времени напоминает хассунскую). Обращает на себя внимание специфический обряд захоронения младенцев под полом жилищ. Как правило, это новорожденные. Видимо, практика захоронения младенцев является свидетельством жестокого, но довольно распространенного среди древневосточных племен и народов обряда принесения в жертву божеству самого дорогого — первенца (вспомним библейскую легенду о жертвоприношении Авраама). Вместе с тем обычай захоронения новорожденных близ жилища мог быть связан и с существованием оп-

ределенных верований в магическую силу душ покойников, в первую очередь «безгрешных» младенцев. О вере в загробную жизнь говорит также практика сопогребения с умершим различных изделий из камня и керамики, прежде всего расписной.

Изучение семантики и символики росписи на керамике показало, что в то время существовал довольно обширный круг верований анимистического характера, связанный с обожествлением природных и космических сил. Кроме того, использование в обиходе раковин каури и изготовление женских статуэток со стеатопигией отражали, по-видимому, характерный для земледельцев культ женского плодоносящего начала. Наличие многочисленных изображений животных в росписи на сосудах и в виде отдельных скульптурок дает основание для выводов о тотемистических верованиях, игравших в жизни земледельцев немалую роль.

Серия культур расписной керамики ближневосточного региона просуществовала ряд тысячелетий, хотя примерно с IV тысячелетия до н. э. в связи с развитием в центре этого региона, в Двуречье, первых очагов бронзового века и цивилизации собственно неолитические культуры начали понемногу оттесняться на периферию региона. Для позднего этапа существования этих культур было уже характерным использование изделий из кованой самородной меди — шильев, проколок, игл, наконечников копий, чуть позже даже зеркал. Это заставляет археологов отнести многие культуры серии, существовавшие в IV—III тысячелетии до н. э., к числу энеолитических. Однако важно подчеркнуть, что медные изделия в культурных комплексах эпохи неолита не играли сколько-нибудь значительной роли. Они лишь свидетельствовали о сравнительно позднем этапе существования данного варианта культуры и культурных контактах, способствовавших приобретению изделий из меди, месторождения которой встречаются не столь уж часто и далеко не везде.

Начав экстенсивное распространение достаточно рано, с VIII—VII тысячелетий до н. э., и ускорив этот процесс под воздействием обстоятельств (прежде всего под давлением избытка населения и вызывавшихся им спорадических миграционных потоков), неолитический комплекс расписной керамики быстро становился известным далеко за пределами западноазиатского региона. Двигаясь на восток, неолитические земледельцы достигли долины Инда, оазисов Туркестана, предгорий Афганистана и даже Гималаев [381, 199; 405, 51]. Как свидетельствуют авторы новейших исследований, в районах Афганистана и Белуджистана земледельческий неолит расписной керамики был известен уже в V—IV тысячелетии до н. э. [359, 87—105, 182 и сл.].

В результате этого распространения в различных районах Евразии сложились новые очаги культур расписной керамики.

Разумеется, рассмотреть особенности всех их в данной работе не представляется возможным. Однако стоит обратить внимание на некоторые, наиболее близкие(типологически, хронологически, географически) к китайскому неолиту.

1. Наиболее ранним следует считать среднеазиатский очаг, хронологически почти одновременный с ближневосточным, развивавшийся во взаимодействии с ним на его северных и северо-восточных окраинах. Этот очаг древнего земледельческого неолита в настоящее время очень хорошо изучен [116; 141; 143; 144; 145; 146; 147; 201; 202 и др.], причем публикации не оставляют сомнений в том, что генетически и исторически среднеазиатский очаг неолита и представляющие его культуры расписной керамики являются лишь ответвлением единого целого. Это хорошо видно при анализе комплекса культурных элементов и особенностей среднеазиатского земледельческого неолита [144; 201; 202, 44—47].

Как и для всего ближневосточного региона, для среднеазиатского очага серии расписной керамики характерно появление с V тысячелетия до н. э. (Джейтун) и особенно в IV тысячелетии до н. э. развитого неолитического комплекса. Археологами раскопаны многослойные стоянки, позволяющие проследить процесс изменения и развития земледельческого неолита, выявить все наиболее характерные для него элементы. Как и везде в рамках этого региона, на юге Средней Азии в удобных для земледелия местах, в оазисах и близ рек, возникали обычно обнесенные глинобитными (позже из сырцового кирпича) стенами поселения. Каждое поселение состояло из домов, хозяйственных построек, ям-хранилищ и т. п. Дома в основном строились из сырцового кирпича, стены и полы помещений обычно обмазывались изнутри. Иногда эта обмазка покрывалась затем настенной росписью (Намазга-I).

На полях возделывались те же злаки — пшеница и ячмень; среди домашних животных были корова, овца, коза, свинья, собака. Земледельцам уже известно прядение и ткачество. По крайней мере с IV тысячелетия до н. э. (Анау—Намазга) появляются в обиходе изделия из меди, в основном мелкие иглы, шилья, пронизки, позже также наконечники стрел, копий и т. п. Изделия из кованой меди немногочисленны, причем следов их местного производства, как правило, не обнаруживается.

Как и повсюду, погребения располагались в черте поселка, а захоронения младенцев нередко обнаруживались археологами под полом жилищ. Реже встречались специальные могильники-некрополи (Кара-Депе). Покойники располагались в основном на боку, в скорченном положении, с ориентацией чаще всего на юг и юго-запад. С умершими сопогребались украшения, утварь, орудия, но количество погребального инвентаря различно. Иногда (в части могил некрополя Кара-Депе) он отсутствовал вовсе. Со временем (Геоксюр) стали сооружать специальные по-

гребальные камеры из сырцового кирпича, аналогичные эламским и месопотамским [144, 153—156].

Как и в других местах, в среднеазиатских культурах была богато представлена керамика, в том числе и расписная. Расписной керамики было много — в среднем 20—25% общего количества. Выделывалась она без применения гончарного круга. Роспись — одно- и двухцветная, орнамент — преимущественно геометрический. Некоторые элементы орнамента (например, геоксюрские кресты) явно свидетельствуют о южных влияниях.

Наконец, здесь, как и во всем регионе, много керамической пластики: изображения животных и людей, преимущественно женщин. Встречаются, хотя и реже, статуэтки-бюсты мужчин (Геоксюр, Кара-Депе и др.), нередко со следами росписи. Часть их аналогична африканским и пакистанским находкам (Кветта) и напоминает шумеро-эламские прототипы.

Словом, в среднеазиатском очаге неолита культуры расписной керамики по всем своим основным характеристикам были наиболее близки неолитическому комплексу ближневосточной зоны. Это не значит, разумеется, что у среднеазиатских неолитических культур не было своих специфических черт. Однако при всем своеобразии каждой культуры этого очага остается вне сомнений тесная генетическая взаимосвязь этой группы культур со всеми остальными культурами расписной керамики ближневосточного региона. Весь длительный процесс возникновения и становления земледельческого неолита на юге Средней Азии протекал параллельно, может быть с небольшим запозданием, с более общим процессом, шедшим в этом регионе. Это значит, что с точки зрения генерального процесса генезиса и распространения земледельческого неолита на территории ойкумены среднеазиатский очаг был одним из тех, происхождение и генетические связи которых установить сравнительно несложно.

2. В районы к востоку от Иранского плато неолит расписной керамики проник очень рано. Здесь, на территориях современного Афганистана и Пакистана, в пригималайских районах Пакистана и Индии и в долинах великих рек, археологи нашли немало древних неолитических стоянок, в том числе и в первую очередь принадлежавших к серии расписной керамики. И хотя район этот, особенно восточная, горная его часть, исследован еще сравнительно слабо, многое говорит о том, что именно пригималайские территории и все гималайско-тибетское нагорье сравнительно рано познакомились с земледельческим неолитом, причем именно в той его модификации, которая была характерна для серии расписной керамики.

В том, что генетически все наиболее ранние культуры расписной керамики на территории Афганистана или Пакистана и Индии восходят к ближневосточной зоне, трудно сомневаться. Ныне это почти общепринято, в том числе и среди советских исследователей [144, 260]. Ранние неолитические комплексы Аф-

ганистана и Белуджистана характеризуются теми же культурными элементами (козы, овцы, крупный рогатый скот, грубая и расписная керамика, примерно те же основные типы сосудов, каменных орудий, орнамента и т. п.), что и ближневосточные. Аналогичен погребальный обряд. Однако в расовом составе насельников белуджистанских стоянок замечен внушительный австралоидный компонент [381, 202].

Косвенно это может свидетельствовать о том, что негро-австралоидные расовые типы, преобладавшие среди аборигенного населения доарийской (скорей всего и дохараппской) Индии [82, 364], в своих перемещениях к северу достигали районов Северо-Восточной Индии, где они и смешивались с шедшими с Запада волнами европеоидов-земледельцев. Неясно, несли ли с собой эти гипотетические аустрические народы южных широт [5] какие-либо достижения в области земледельческих навыков и керамического производства, которые, по современным данным, уже были известны в то время в юго-восточно-азиатском регионе. Но если признать, что это могло быть, то можно вести речь не только о расово-этническом смешении в пригималайских районах [82, 360], но и о смешении хозяйственно-культурном. Быть может, в пределах наиболее древних, белуджистанских стоянок, где зафиксирована австралоидная расовая примесь, это не было заметно — ведь в данном случае речь идет о самых крайних районах обширной контактной зоны. В других районах, в том числе в более близких к Юго-Восточной Азии гималайско-тибетских, следы такого рода смешений, возможно, будут обнаружены со временем: считают же возможным специалисты ставить вопрос о связях языков Центральной, Восточной и Южной Азии и о том, что население Средней Азии в неолите связывало дравидо-папуасскую общность с урало-алтайской [18, 9].

В еще большей степени влияние местных расовых и этнокультурных компонентов сказывалось в Центральной Индии (Декан), куда культура расписной керамики проникла весьма поздно, в своем пережиточном виде, примерно во II тысячелетии до н. э. В это время по соседству с Деканом, в Южной Индии, уже существовали субнеолитические культуры иного типа, с преобладанием серой грубой керамики (сосуды с носиками, чаши, урны), с характерными хижинами каркасно-столбовой конструкции, обмазанными глиной. Эти культуры явно испытали на себе влияние хараппской цивилизации (есть мнение, что этому влиянию они обязаны появлением чайникообразных сосудов) [255, 104].

Появление в Центральной Индии столь яркого и столь

[5] Обычно считают, что поток негро-австралоидов шел в северные районы Индии с юга, но иногда обращают внимание на его юго-западные (из Африки через Южную Аравию), наиболее вероятные истоки в эпоху мезолита [368, 49—50].

позднего очага неолита расписной керамики, каким следует считать уже, по существу, энеолитические культуры Декана, вызвало немало споров среди исследователей. Гончарный круг, изящные и совершенные по выделке сосуды различных типов (чайникообразные, триподы, чаши на поддонах типа китайских сосудов доу), богатая и разнообразная роспись с геометрическими и зооморфными мотивами, весьма напоминающими соответствующие элементы росписи на керамике ближневосточного региона, наличие немалого количества сходных с иранскими изделий из металла — все это побудило одного из первооткрывателей этого очага, Х. Д. Санкалия, сделать вывод о массовом проникновении иранских племен и связать позднее появление высокоразвитой культуры расписной керамики с нашествием ариев [498]. При этом Санкалия, однако, специально оговаривается, что население стоянок этой культуры, в частности Навдатоли, не просто мигранты из Ирана, что в становлении культуры этого типа большую роль сыграли местные традиции [498, 331]. Видимо, формирование этого очага во II тысячелетии до н. э. было связано со сложным процессом культурного взаимодействия более развитых пришлых элементов с достаточно многочисленными и находившимися на различных уровнях развития местными. Результат этого взаимодействия не замедлил сказаться. Так, не получили распространения столь характерные для ближневосточного региона и даже для харапской цивилизации постройки из сырцового кирпича. Вместо них — глинобитные хижины с деревянным каркасом. Каменный инвентарь и круглодонные сосуды близки к местным ранненеолитическим изделиям. Определенное сходство с местными традициями (хотя одновременно и с традициями других очагов расписной керамики) имеет и погребальный обряд (захоронения в керамических урнах и в ямах).

3. Теперь несколько слов об очагах, расположенных к северо-западу от ближневосточного региона, о группе культур расписной керамики Балкан и Украины (Триполье). Ближневосточные (через Малую Азию) истоки этой группы достаточно очевидны и фактически не подвергаются сомнениям [177; 175, 30; 21, 10; 25, 277—279; 26; 245]. Здесь представлены всё те же одомашненные пшеница, ячмень и просо, коза, овца, свинья, крупный рогатый скот. Великолепная керамика, как грубая — кухонная, так и тонкая, изящная, расписная. Множество керамических статуэток, особенно женских [176, 35—36]. Все эти элементы, включая и отдельные изделия из меди, С. Н. Бибиков решительно относит к «привнесенным культурным чертам», происходящим извне [25, 279—280]. Однако наряду с элементами культуры, связанными с привнесением важных достижений земледельческого неолита извне, трипольский неолит расписной керамики, датируемый примерно III тысячелетием до н. э., характеризовался, так же как и несколько более поздний и столь

же отдаленный от ближневосточного региона деканский неолит, немалым своеобразием. В первую очередь это специфические строения, изготовлявшиеся не из кирпича. Это по преимуществу землянки и полуземлянки, опорный веточно-столбовой каркас которых покрывался невысокой глиняной стенкой. Сходство этого типа жилищ с местными культурными традициями верхнепалеолитических племен собирателей и охотников не вызывает сомнений [25, 279]. На те же местные связи указывают и многие особенности каменного инвентаря трипольцев. В то же время погребальный обряд, и в частности практика захоронения младенцев под полом жилищ, указывает на южные связи [25, 281].

Но, пожалуй, более всего и яснее всего о «привнесенных культурных чертах» в неолите расписной керамики Триполья и Балкан свидетельствует роспись, орнамент расписной керамики — очень богатый, разнообразный и крайне насыщенный символикой, стандартными элементами, несущими сложную семантическую нагрузку. Известно, что именно поздненеолитическая расписная керамика Триполья с ее ленточными, спиралевидными, вихревыми мотивами едва ли не более всего напоминает поздненеолитическую керамику Ганьсу, что и побудило в свое время И. Андерсона и многих его последователей проводить связь между этими столь далекими друг от друга культурными очагами.

Этим в основном исчерпываются сколько-нибудь сопоставимые с Яншао очаги расписной керамики на территории Евразии. Кроме них можно найти лишь отдельные, обычно поздние по времени вкрапления (типа чустской культуры II тысячелетия до н. э. в Фергане) [90], причем эти вкрапления тоже тяготеют к той или иной из уже рассмотренных зон распространения культур расписной керамики. В целом все эти зоны и свойственные им культурные характеристики позволяют сделать некоторые выводы. Прежде всего, все они так или иначе связаны между собой — преимущественно через свою alma mater, т. е. ближневосточный регион, где протекала неолитическая революция и где складывались основные культурные элементы земледельческого неолита расписной керамики. Все они, таким образом, имеют сходные общие черты, позволяющие сближать их друг с другом, проводить аналогии и вообще объединять их в рамках единой серии. Вместе с тем, однако, для каждой этой культуры, особенно для более отдаленных зон и более поздних этапов (III—II тысячелетия до н. э.), характерны и свои специфические особенности, подчас весьма значительные. По большей части появление такого рода специфики было результатом сложного процесса взаимовлияний, в ходе которого пришлые элементы более развитой культуры земледельцев вступали во взаимодействие с местными культурами субнеолитических и даже мезо- или верхнепалеолитических племен охотников, рыбо-

ловов, собирателей. Так было, в частности, в Декане и в Триполье.

В свете всего изложенного можно было бы предположить, что нечто сходное произошло и в Китае, где земледельческий неолит расписной керамики появился в весьма развитом виде. Уязвимой частью такой гипотезы является доказательство того, каким образом и откуда могли попасть в бассейн Хуанхэ пришлые элементы более развитой земледельческой культуры. Удовлетворительного решения этого вопроса до сих пор нет. Может показаться в этой связи, что вторая часть гипотезы — фиксация местных культурных компонентов — должна быть намного проще. Однако, как это уже было показано на примере «проблемы Цицзя», «проблемы Баоцзи» и «фазы Лицзяцунь», это далеко не так. В том-то и заключается сложность проблемы генезиса китайского земледельческого неолита, именно потому и обращают исследователи столь повышенное внимание на поиски доказательств внешних культурных контактов, следов миграций и диффузии, что не только на территории бассейна Хуанхэ, но и вблизи него археология пока не обнаружила следов раннеолитических, субнеолитических культур, которые могли сыграть решающую роль в процессе генезиса земледельческого неолита.

Но существовали ли вообще в то отдаленное время такие культуры в восточноазиатском регионе? Какими они были? Насколько важную, существенную роль могли они сыграть в процессе генезиса развитого неолита бассейна Хуанхэ?

СУБНЕОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА

В ту эпоху, когда в ближневосточном регионе уже активно шел процесс неолитической революции и передовые мезолитические группы собирателей превращались в неолитических оседлых земледельцев, на большей части остальной территории ойкумены картина была иной. В отдаленных от ближневосточного регионах, прежде всего в сравнительно суровых и малонаселенных районах сибирско-монгольского региона, древние нижнепалеолитические (мустьерские) традиции продолжали еще сосуществовать с новыми, верхнепалеолитическими в рамках серии сходных по типу верхнепалеолитических культур [20, 213; 166, 80—81; 129, 152—153]. Мало того, верхнепалеолитические культуры этого региона характеризовались одновременно и еще одной особенностью — наличием в них явно мезолитической техники, микролитов. Иногда на этом основании даже вполне явственно тяготеющие к нижнепалеолитической, мустьерской технике верхнепалеолитические культуры, например ордосскую (Шараоссогол), считают переходными к эпохе мезолита [311, 34]. И для этого есть веские основания, хотя, казалось бы, как

можно сочетать несочетаемое: мустьерские традиции и переходную к неолиту технику микролитического мезолита?

Если принять, что нижний палеолит, верхний палеолит и мезолит — это последовательные этапы, как о том обычно свидетельствует европейский материал, то подобного рода сочетание было бы абсурдом. Однако для восточноазиатской зоны с ее во многом иной историко-культурной традицией [465; 474; 310; 380, 63—64] это было не только типичным, но и достаточно легко объяснимым: не только отмеченное в предыдущей главе смешение различных в расово-антропологическом отношении гоминид, но и переплетение различных по времени своего происхождения культур было здесь заурядным явлением. В этом смысле заслуживает внимания данное А. П. Окладниковым определение термина «эпипалеолит», практически синонимичное (в условиях региона, о котором идет речь) термину «мезолит»: «Эпипалеолит правильнее понимать как возможность существования палеолитической культуры в отдаленных районах в то время, когда в других областях уже сложились более передовые культуры» [170, 213]. Именно этого рода эпипалеолит продолжал существовать в сибирско-монгольском регионе в эпоху мезолита, начало которого, совпавшее по времени с концом последнего ледникового периода, датируют обычно X—VIII тысячелетиями до н. э. Другими словами, в этом регионе мезолит не пришел столь явственно на смену палеолиту, как это было на западе. Как писал Окладников, «в Сибири не произошло столь крутого перелома в технике изготовления каменных орудий труда и образе жизни древнего человека, каким отмечено мезолитическое время в Средиземноморье и на юге Азии» [170, 217].

Все это, однако, не означает, что мезолит вовсе оказался чужд этому региону. Напротив, он, пусть с запозданием [403, 267] и в несколько видоизмененной форме (нередко без строго геометрических очертаний микролитических орудий), постепенно проникал в Сибирь и Центральную Азию, где явился основой серии позднемезолитических и ранненеолитических культур (микролит Гоби и его ответвления). Следует заметить, что отсутствие геометрических форм не дает оснований для того, чтобы резко противопоставить микролит Гоби микролитическому мезолиту более западных регионов. Напротив, авторы специальных исследований считают необходимым подчеркнуть, что микролиты, как особый тип изделий из камня (кремня), имеют между собой немало общего и на востоке и на западе и что монгольский микролит являет собой лишь одно из ответвлений всего евразийского [453, 201—203]. Интересно, что с этим выводом о тесных связях микролита Гоби с микролитическими культурами всех остальных регионов, протянувшимися широкой полосой вдоль Северной Африки, Европы, Западной и Средней Азии и тем самым смыкающимися с микролитическими культурами центральноазиатской степной полосы, согласны и те

специалисты, кто в общем не склонен высоко оценивать роль культурных контактов в генезисе отдельных культур [311, 40].

По-видимому, процесс проникновения новой мезолитическо-микролитической техники в зону степей и полупустынь Центральной Азии был постепенным и сопровождался активным взаимодействием с местными палеолитическими (эпипалеолитическими) культурами. Этим, видимо, следует объяснять и трансформацию микролитических орудий (утеря строго геометрических форм), и отсутствие, по Окладникову, «крутого перелома в технике изготовления каменных орудий труда». Однако постепенное и, возможно, неоднократное, спорадически повторявшееся проникновение в центральноазиатские степи новых культурных традиций привело в конечном счете к заметным изменениям и вызвало к жизни своеобразный тип позднего мезолита в этом регионе. Этот факт существования в Центральной Азии и сопредельных районах микролитического мезолита, появившегося там, по-видимому, в конце эпохи мезолита и просуществовавшего несколько тысячелетий, не вызывает сомнений и хорошо фиксируется материалами археологических обследований. Вместе с тем отсутствие строго геометрических форм и даже иная техника ретуши сами по себе еще не являются достаточным основанием для того, чтобы делать вывод о двух различных путях и особых культурных традициях. Резкое выделение двух ареалов культур каменного века, предложенное Мовиусом для нижнего палеолита (когда оно действительно прослеживается достаточно определенно), не может быть воспринято безоговорочно, так как уже тогда происходили интенсивные процессы перемещения и смешения культур и культурных традиций. Тем более характерным был, по-видимому, этот процесс в эпоху верхнего палеолита, когда сапиентный человек появился в Восточной Азии. Учитывая это, равно как и фиксируемое специалистами сходство и родство микролитического мезолита западных и восточных районов, можно полагать, что очерченные Мовиусом зоны отнюдь не были отделены друг от друга непроходимой чертой и что именно процесс взаимодействия между этими зонами и различными культурными традициями привел к появлению в палеолитических культурах, в эпипалеолите сибирско-северокитайского региона микролитическо-мезолитических элементов.

Итак, микролитический мезолит на северных границах Китая появился и укрепился достаточно поздно. Вначале исследователи почти не могли отличить его от раннего неолита, господствовавшего среди племен охотников, рыболовов и собирателей центральноазиатских степей в IV—II тысячелетиях до н. э. Позже тщательные исследования, подкрепленные выявленными стратиграфическими различиями, позволили выделить более ранние слои микролита, относящиеся к мезолиту [453, 201; 311, 39], т. е. к донеолитическому времени. Последующие археоло-

гические обследования и раскопки не только подтвердили это, но и дали возможность географически значительно расширить район, в котором локализуются микролитические культуры мезолита. В частности, археологические раскопки показали, что отдельные стоянки микролитического мезолита — ответвления микролита Гоби — существовали и на территории собственно Китая. Так, в 1955—1956 гг. в уездах Чжао и Дали в районе Шаюань (провинция Шэньси), на территории песчаных дюн было обнаружено и раскопано 15 местонахождений микролитического мезолита. Каменные орудия составили большую коллекцию (свыше 500 изделий), в которой представлены как микролитические отщепы, лезвия, наконечники стрел, проколки и т. п., ретушированные с одной стороны, так и орудия мустьерского палеолитического типа, преимущественно отщепы [571].

Находка в Шаюани в 1960 г. была дополнена другой аналогичной находкой в Сяонаньхай, близ Аньяна (провинция Хэнань), где также были обнаружены в пещерных жилищах каменные орудия микролитического типа, выделанные в традициях микролита Гоби [569, 27]. А совсем недавно в китайской печати появилась публикация об обнаружении в провинции Шаньси мастерской каменных орудий. Хотя техника выделки этих орудий восходит, по словам авторов публикации, к традициям динцуньского палеолита, типы орудий (скребки, топоры, молоты и даже каменные остроконечники-лемехи) свидетельствуют о сравнительно позднем, мезолитическом либо даже ранненеолитическом (субнеолитическом) характере инвентаря в целом [744].

Авторы публикации в своих противоречивых предположениях о типе культуры, к которой относится обнаруженная ими мастерская, заходят настолько далеко, что высказывают мысль о том, что насельники этой культуры были уже знакомы с возделыванием земли [744, 26]. Едва ли этот тезис может быть чем-либо обоснован, кроме наличия каменных остроконечников, позволявших скрести землю. Но вывод тем не менее заслуживает внимания: он еще раз свидетельствует о том, сколь непрочна та основа, на которой специалисты базируются, когда они имеют дело с монгольско-северокитайскими находками каменного века. В качестве еще одного примера такого рода спорных суждений можно привести публикации Ван Юй-пина о находках из Внутренней Монголии [586; 587], в которых автор, оспаривая своих оппонентов, предлагает считать найденные им орудия не палеолитическими, а неолитическими [587, 601]. Действительно, грань между палеолитом и ранним неолитом в этом центральноазиатском районе настолько размыта, а сам облик находок настолько неопределен, что это позволяет делать диаметрально противоположные выводы о характере обнаруженных культур.

Поэтому, не пытаясь вдаваться в споры, можно осторожно

заметить, что находки подобного типа (как мезолитической, так и ранненеолитической эпохи), остающиеся еще крайне малочисленными, могут быть восприняты лишь как свидетельство спорадических попыток проникновения охотников и собирателей центральноазиатских степей на юг в поисках новых охотничьих угодий. По-видимому, климатические условия, флора и фауна Северного Китая в то время не были достаточно хороши по сравнению с привычными для охотников степными районами Центральной Азии, вследствие чего мезолитические группы с севера не приживались здесь надолго. Однако факт обитания на территории бассейна Хуанхэ в преднеолитическом Китае охотников и собирателей мезолита является необычайно важным [6], а обнаруженные Чжан Гуан-чжи некоторые черты культурного сходства между этими мезолитическими культурами и культурами развитого земледельческого неолита, в частности полулунная и прямоугольная форма каменных ножей [302, 45], должны быть приняты во внимание.

Микролитический мезолит на территории Китая обнаружен пока преимущественно в его наиболее ранней форме, тяготеющей в гораздо большей степени к верхнепалеолитическим (эпипалеолитическим) культурам сибирско-северокитайского региона, нежели к неолиту. Несмотря на все ведущиеся вокруг этого споры, достаточно четко выраженного раннего неолита на территории Северного Китая не обнаружено. Конечно, в зоне распространения центральноазиатских микролитических культур наряду с мезолитом археологи, как упоминалось, выделили и ранненеолитические культуры, уже знакомые с полированными каменными орудиями, со шнуровой, а то и расписной керамикой и т. п. [см., например, 777]. Однако все эти культуры существовали позднее, не ранее IV—III тысячелетий до н. э., т. е. того времени, когда в бассейне Хуанхэ уже существовал неолит Яншао. Словом, проблема раннего неолита в Северном Китае, как и во всем центральноазиатско-сибирском регионе, остается неясной и неопределенной. Поэтому стоит принять во внимание слова А. П. Окладникова о том, что эта проблема «в Сибири является самой трудной, самой запутанной» [165, 141] и что сибирско-монгольский неолит имел определенные связи со среднеазиатским, в частности кельтеминарским [106; 164; 165, 162; 170, 220—221].

Возможно, что мезолит и ранний неолит этого района через прибрежно-островную полосу был связан также и с культурами юго-восточно-азиатского региона, уже в глубокой древности, как это сейчас считают, вступившего на путь знакомства с земледелием и керамикой. Вопрос этот, однако, тоже продолжает

[6] Не случайно в свое время Н. Н. Чебоксаров настаивал на том, что отсутствие мезолитических находок в собственно Китае — не следствие «хиатуса», а лишь результат недостаточной археологической изученности [237, 53].

оставаться недостаточно ясным, что можно видеть на примере японского неолита.

Еще сравнительно недавно в науке прочно господствовало представление о том, что начало культуры дзёмон — субнеолитической, знакомой с примитивной шнуровой керамикой культуры охотников, рыболовов и собирателей, — следует датировать примерно III тысячелетием до н. э. Теперь древнейшие слои этой же культуры датируются методом радиокарбонного анализа X—VIII тысячелетиями до н. э., т. е. временем начала неолитической революции в ближневосточной зоне. Хотя датировки с помощью этого метода далеко не всеми признаны даже в самой Японии [308, 309], они косвенно подтверждаются весьма ранней датировкой нижних слоев ряда субнеолитических стоянок в Индокитае и на Тайване [236, 94—95; 375, 53—60; 511, 38—40].

Столь сильное удревнение юго-восточно-азиатских и японских субнеолитических культур, да еще в сочетании с теорией К. Сойера о юго-восточно-азиатском происхождении земледелия [499; 500], многие позиции которой, в прошлом резонно ставившиеся под сомнение [375, 57—58], ныне представляются обоснованными такими датировками, позволило специалистам, например Ч. Чарду, поставить вопрос о независимом центре происхождения шнуровой керамики в Восточной Азии [308, 309]. И хотя вопрос о пересмотре всех существующих датировок и о создании новой шкалы хронологии для японских, корейских, маньчжурских и приморских культур [236, 96—99] еще не решен, а призывы Чарда в этом направлении встречены другими специалистами более чем прохладно (слишком велико хронологическое несоответствие и слабо обоснованы мотивы для передатировки, ибо, кроме данных радиокарбона, мало что свидетельствует в пользу необходимости пересмотра десятилетиями вырабатывавшихся и неплохо обоснованных представлений), проблема эта вполне серьезна. Правда, даже положительное решение ее, т. е. признание удревненных датировок, мало что даст для уточнения обстоятельств генезиса Яншао. Дело в том, что сибирско-монгольский и тем более прибрежно-островной мезолит и субнеолит шнуровой керамики настолько отличны по своим характеристикам от Яншао, что не может быть и речи о выведении развитой земледельческой культуры расписной керамики из сравнительно примитивной культуры собирателей и охотников. Можно лишь предположить, что эта культура была одним из истоков Яншао.

Поиски другого возможного местного истока Яншао подводят к южным и юго-западным районам, к горным территориям Тибета, к пограничным с Юго-Восточной Азией провинциям Китая — Сычуани, Гуанси, Юньнани. Здесь археологами зафиксировано немало стоянок мезолита и раннего неолита [311, 47—50; 530]. Типологически они близки соответствующим культурам

Хоабинь и Бакшон во Вьетнаме [35; 36], а генетически явно восходят к юго-восточно-азиатской зоне (на севере культура Хоабинь доходит до Янцзы) [37, 169]. В. Сольхейм, чьи исследования в Юго-Восточной Азии за последние годы отмечены почти сенсационными открытиями, связанными с кардинальной передатировкой и значительным удревнением многих культур и слоев, считает, что Хоабинь следует относить скорей даже к верхнему палеолиту, нежели к мезолиту, и склонен датировать эту культуру очень древним периодом [512, 128]. Однако более осторожные археологи относят хоабиньский мезолит к X—VIII тысячелетиям до н. э. [36, 100]. При этом, естественно, ответвления хоабиньского мезолита в Южном и Центральном Китае значительно моложе. Для хоабиньского и близкого к нему мезолита в Южном Китае характерна крайняя скудость микролитического инвентаря, выделанного без соблюдения строго геометрических форм [36, 100—101; 512, 129].

Ранний неолит пещерного бакшонского типа Сольхеймом датируется также очень древним периодом — VII тысячелетием до н. э., причем уже к этому времени относятся следы полировки каменных орудий [512, 133]. Ответвления бакшонского раннего неолита в Южном Китае не отличались заметными архаическими признаками. Более того, ранненеолитические культуры Гуандуна и Гуанси с их обилием полированных каменных орудий явно по времени сравнительно поздние. [314, 15]. Это не значит, что в юго-западных районах Китая нет и более древних слоев и культур: новые находки на Тайване, явно генетически связанные с материком, позволяют предполагать, что горизонт шнуровой керамики в прибрежных районах Южного Китая был весьма древним [306], по меньшей мере датируемым IV—III тысячелетиями до н. э. [304, 142]. Но это опять-таки мало что дает для решения проблемы генезиса развитого зернового неолита Яншао. Ни сибирско-монгольский, ни прибрежно-островной (включая Японию и Тайвань), ни тяготевший к Бакшону неолит юго-восточно-азиатского типа не были теми культурами, эволюция которых могла бы непосредственно привести к возникновению Яншао. И хотя на Тайване земледелие предположительно возникло очень рано, чуть ли не одновременно с юго-восточно-азиатским, — это было все то же земледелие клубне- и корнеплодного типа, не выходившее за рамки вторичного, вспомогательного фактора в общем хозяйстве знакомых с ним племен охотников, рыболовов и собирателей. Все остальные достижения развитого земледельческого (злакового) неолита стали известны на этом острове, как и во всей юго-восточно-азиатской и прибрежно-островной зоне, едва ли ранее III тысячелетия до н. э. [375, 58]. Многие специалисты считают, что они были результатом культурного воздействия со стороны Китая.

Для более поздних, окраинных субнеолитических культур,

переходивших к неолиту и знакомившихся со злаковым земледелием, влияние Яншао и Луншань действительно было фактором, значение которого едва ли можно целиком отрицать (хотя за последнее время стали появляться серьезные работы, авторы которых склонны считать возникновение земледелия злакового типа, например в Приморье, результатом независимо протекавшего процесса) [171]. Но для тех районов, где зерновое земледелие и расписная керамика фиксируются параллельно с Яншао в бассейне Хуанхэ, возможна и иная постановка вопроса. В частности, это относится к слоям и культурам, которые были раскопаны Сольхеймом в Таиланде.

В свое время один из патриархов диффузионизма, Р. Гейне-Гельдерн, создал довольно стройную теорию распространения культур расписной керамики, несших с собой достижения неолита, и в первую очередь злаковое земледелие, а также культур бронзового века по восточной части Евразии вплоть до Океании [382; 383; 384; 385]. И хотя с тех пор прошло несколько десятилетий (а со времени его первых выступлений по этому вопросу чуть ли не полвека), реконструкция Гейне-Гельдерна в ряде важных ключевых пунктов остается все еще наиболее удовлетворительным гипотетическим решением проблемы, что недавно было подчеркнуто в статье В. Сольхейма [512]. Разумеется, эта реконструкция ныне уточняется и изменяется, но она содержит и сейчас немало ценного. Соглашаясь во многом с Гейне-Гельдерном, Сольхейм подчеркивает, что главное отличие его понимания от гейне-гельдерновского заключается в том, что он, Сольхейм, считает, что Юго-Восточная Азия была родиной многих нововведений, которые прежде целиком приписывались ближневосточному региону. И Сольхейм, видимо, в этом вполне прав. Весьма вероятно предположить, что кое-какие достижения неолита, в том числе навыки земледелия и керамического производства, диффузировали из юго-восточно-азиатского региона в различные стороны, в том числе, возможно, и на север, к индо-афганским горным районам. Как уже говорилось, перемещение такого типа могло привести как к расовым, так и к хозяйственно-культурным контактам в пределах мощной гималайско-тибетской контактной зоны, где мигранты из ближневосточного региона сталкивались с местными (или мигрировавшими с юга) племенами, возможно знакомыми с некоторыми достижениями юго-восточно-азиатской культурной зоны.

Этот гипотетический процесс контакта двух регионов мог происходить где-то на рубеже V—IV тысячелетий до н. э., ибо чуть позже, на рубеже IV—III тысячелетий до н. э., Сольхейм фиксирует уже следы обратного процесса: в соответствующих слоях обнаруживаются остатки культуры расписной керамики, родство которой с Яншао представляется Сольхейму весьма вероятным. Ссылаясь на Гейне-Гельдерна, Сольхейм говорит

здесь о той самой волне культур расписной керамики, которая кроме бассейна Хуанхэ направилась в лице одного из своих ответвлений также и в сторону Юго-Восточной Азии [512, 134].

Конечно, Гейне-Гельдерну в его время, на основе гораздо меньшего количества данных, все представлялось более простым, чем это было на самом деле. Многое остается неясным и сейчас, когда данных стало неизмеримо больше. Но есть основание вместе с Сольхеймом воздать должное тому, кто первым предложил реконструкцию, приемлемую в некоторых основных своих позициях и поныне. И если не в неизменном виде сложившиеся культуры перемещались в пространстве на многие тысячи километров, как то могло казаться в свое время, то о диффузии основных принципов можно вести речь и сегодня. Другими словами, применительно к проблеме происхождения Яншао это означает, что ранненеолитические и субнеолитические культуры Восточной и Юго-Восточной Азии действительно сыграли, даже должны были сыграть определенную роль в ходе этого процесса. Но эта роль была опосредована мощным влиянием извне, со стороны ближневосточного региона, единственно знакомого в ту далекую пору с принципом злакового земледелия.

В чем именно могла и должна была заключаться та роль, которую в качестве субстрата сыграли местные субнеолитические культуры в процессе генезиса Яншао? Прежде всего, эта роль сказалась в тех элементах и сферах культуры, где были заметны наибольшие отличия Яншао от других культур серии расписной керамики. Наиболее очевидно это на примере жилищ. Как это характерно и для других культур расписной керамики, в формировании которых заметное участие приняли местные культурные компоненты (Декан, Триполье), земледельцы Яншао использовали в качестве жилищ полуземлянки, наружная часть которых являла собой каркасно-столбовую конструкцию, покрытую ветками и обмазанную глиной [667, 15—21]. Жилища такого типа, прямоугольные или круглые в плане, весьма напоминают постройки сибирских народов, и эта культурная близость уже была отмечена специалистами [404, 87]. Немало общего с субнеолитическими культурами северных районов можно обнаружить и в каменном инвентаре яншаосцев. Прямоугольные и полулунные каменные ножи яншаосцев еще Андерсон уподобил чукотским, эскимосским и т. п., распространенным среди монголоидных племен Азии и Северной Америки [273, 226—229]. Много общего между орудиями и украшениями (топоры, кольца, диски, сложный лук и др.) неолитических культур Прибайкалья и Северного Китая зафиксировал А. П. Окладников [165, 130—134 и 228 сл.; 166, 202]. Наконец, исследователи отмечали сходные элементы в системе верований народов Сибири и яншаосцев (обряжение шаманов, культ птиц-духов и т. п.) [493, 8—9; 543, 88—89].

Эти параллели и культурные аналогии могли быть результатом взаимных контактов, происходивших на протяжении всей эпохи неолита [165, 128—130]. В этом смысле весьма показательно, что Чжан Гуан-чжи — в ту пору, когда он активно отстаивал гипотезу о неолитической революции в бассейне Хуанхэ, — называл в числе культурных элементов, которые могли попасть из бассейна Хуанхэ (как из центра неолитической революции) на север, в Южную Сибирь, и прямоугольные и полулунные ножи, и сложный лук, и шнуровую керамику [300, 122]. По-видимому, есть основания считать, что все эти элементы шли, скорее, в обратном направлении. Как полагают некоторые специалисты, древняя северокитайская культура в значительной степени базировалась на североазиатском, «прототунгусском», «арктическом» фундаменте [404, 88—89].

Что касается южных субнеолитических культур, то их возможное влияние фиксируется в общем облике Яншао значительно слабее. Точнее, оно практически почти незаметно. Каменные орудия яншаосцев в бассейне Хуанхэ не несли на себе отпечатка южных традиций и форм. Что же касается их грубой, шнуровой (нерасписной) керамики, то она в такой же мере могла нести на себе отпечаток влияния как южных, так и северных субнеолитических культур, не говоря уже о том, что аналогичные сосуды использовали в своем хозяйстве и насельники иных культур расписной керамики Евразии. И все же о таком влиянии говорить тоже можно.

Во-первых, потому, что выше уже было высказано предположение, согласно которому знакомство с достижениями юго-восточно-азиатской культурной зоны могло способствовать более энергичному процессу смешения и более быстрому и результативному усвоению достижений ближневосточного неолита в контактной зоне гималайско-тибетских нагорий. Во-вторых, потому, что расовый облик яншаосцев имеет заметные признаки южномонголоидного антропологического типа. Зафиксированная в специальных публикациях и отмеченная исследователями-антропологами, эта примесь (в основном наличие некоторых негро-австралоидных черт, таких, как широконосость, альвеолярный прогнатизм, толстогубость) имеет ныне в литературе два объяснения. Первое сводится к тому, что часть яншаосцев могла мигрировать в бассейн Хуанхэ с юга и именно оттуда принести с собой тот физический облик, который характерен сегодня для Южного Китая [667, 229]. Второе исходит из того, что именно насельники Хуанхэ, мигрировав на юг, положили начало распространению там южномонголоидного расового типа [667, 229; 305, 148; 119, 97]. Второй вариант молчаливо исходит из того, что южномонголоидный облик был присущ яншаосцам в самом бассейне Хуанхэ, вне зависимости от каких-либо прямых миграций с юга.

Для такого предположения — в случае, если принять гипо-

тезу о сложном гетерогенном происхождении Яншао, — есть определенные основания. Негро-австралоидные расовые признаки, широко распространенные в физическом облике субнеолитического населения дохараппской Индии и, видимо, всей Юго-Восточной Азии, фиксируются даже в Белуджистане. Естественно предположить, что немалое число носителей этих признаков обитало и в гипотетической контактной гималайско-тибетской зоне, где они появились, скорей всего, с юга. Последующие контакты с монголоидными племенами сибирско-монгольской зоны вполне могли породить тот южномонголоидный физический тип, который был характерен для яншаосцев. А впоследствии, как предполагают специалисты, именно такой южномонголоидный тип стал распространяться к югу, где он и сделался со временем доминирующим (чему, видимо, способствовали и последующие смешения с негро-австралоидными племенами Южной Азии). В Северном же Китае более характерным остался иной монголоидный тип, континентальный, который хотя и близок антропологическому типу яншаосца [240, 2; 241, 7], но вместе с тем свободен от негро-австралоидной примеси, что частично может объясняться многочисленными последующими смешениями с монголоидными племенами сибирско-монгольской зоны [209, 52—53]. Что же касается последних, то в их расовом облике монголоидность нередко соседствовала, особенно с неолита, с заметной европеоидной примесью [1; 2; 131; 132 и др.].

Теперь, после знакомства с родственными Яншао земледельческими культурами более западных районов, а также с мезолитом и субнеолитом Восточной и Юго-Восточной Азии, можно попытаться представить себе весь процесс генезиса китайского неолита.

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОЦЕССА ГЕНЕЗИСА ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО НЕОЛИТА В КИТАЕ

Прежде всего, необходимо иметь в виду, что накануне появления и широкого распространения зернового земледельческого неолита расписной керамики территория бассейна Хуанхэ была почти необитаемой, как это было, впрочем, и с территорией бассейнов Инда или Нила, с междуречьем Тигра и Евфрата до прихода туда неолитических земледельцев. Видимо, в этом есть определенная экологическая закономерность: плодородные и орошаемые реками долины удобны и даже благоприятны для поселения оседлых земледельцев, но не слишком подходящи для обитания охотников и собирателей.

Если в бассейны Тигра или Нила первые земледельцы, как это теперь уже доказано наукой, спустились с предгорий, где и были доместицированы важнейшие злаки и породы домашнего скота, заложившие основу ближневосточной неолитической ре-

волюции, то логически следует предположить, что и в бассейн Хуанхэ земледельцы, скорей всего, пришли из соседних предгорий. Но каких именно? Где были или хотя бы могли быть доместицированы знакомые яншаосцам виды проса (чумиза) и домашнего скота (кабан) и как мог протекать этот процесс? Наконец, почему в культурном облике китайского неолита оказалось так много черт, сближавших его с неолитом запада?

Ища решение проблемы генезиса развитого неолита в Китае, Чжэн Дэ-кунь предположил, что именно контакты между северными степными и южными лесными культурами мезолита и раннего неолита могли привести к возникновению нового качества — земледельческого неолита типа Яншао [314, 40]. В свете новых открытий в юго-восточно-азиатском регионе это предположение может показаться вполне правдоподобным: северный субстрат, отчетливо прослеживаемый в Яншао, получил мощный толчок для эволюции в результате взаимодействия с более развитым южным, уже знакомым с земледелием. Однако, если принять, что речь идет не просто о контактах одной отсталой субнеолитической культуры охотников и собирателей с другой, аналогичной ей (ведь при этом для их дальнейшего развития требовалось бы нечто вроде неолитической революции, о которой говорилось уже достаточно подробно), следует предположить, что более развитая и уже не просто субнеолитическая, а земледельческая культура (в данном случае юго-восточно-азиатская) наложит на новый синтетический субстрат заметный отпечаток и направит его дальнейшее развитие по привычному именно для нее пути. Другими словами, следовало бы ожидать, что в культуре Яншао будут фиксироваться клубне- и корнеплоды, зернобобовые и т. п., — я уже не говорю о бананах и прочих дарах тропиков и субтропиков. Между тем в Яншао не зафиксировано даже следов земледелия такого типа, в то время как возделывавшееся яншаосцами просо по характеру агротехники было родственным ближневосточным злакам. К ближневосточной зоне неолитической революции тяготели и многие другие культурные элементы Яншао, начиная с расписной керамики.

Большего внимания заслуживает поэтому гипотеза В. Эберхарда, согласно которой Яншао возникло в результате взаимодействия нескольких культурных компонентов, по крайней мере один из которых («прототюркский», по терминологии Эберхарда) восходит к западной неолитической злаково-земледельческой традиции [348]. Ведь нет никаких сомнений в том, что помимо западной традиции в происхождении Яншао приняли участие местные, протокитайские компоненты, которые придали земледельцам-яншаосцам и их расовый облик, и язык, и многие специфические культурные признаки. И эти признаки порой настолько существенны, что, основываясь в первую очередь именно на них, некоторые специалисты приходят к убеждению,

что яншаосцы практически не имели ничего общего с земледельцами неолитических культур расписной керамики других регионов [119, 92—93; 145, 18—19]. В доказательство нередко ссылаются еще и на многотысячекилометровые расстояния, отделяющие стоянки Яншао от ближайших к ним стоянок родственных по типу культур, на непроходимость трудных дорог и отсутствие следов миграций. Радиокарбонные же датировки последних лет, резко удревнившие предполагавшийся до того возраст Яншао, казалось бы, еще надежнее подкрепили позиции тех, кто склонен отстаивать автохтонность китайского земледельческого неолита.

Словом, решение проблемы генезиса Яншао найти нелегко; доказать гипотетический вариант его еще труднее. И можно понять тех специалистов, кто, подобно Чжан Гуан-чжи, предлагает ограничиться общей постановкой вопроса о возможности внешних импульсов (имеющих «чисто академическое значение») и заняться анализом имеющихся материалов, в основном свидетельствующих о самобытности китайской цивилизации, либо, как предлагает М. В. Крюков, оставить решение проблемы «завтрашнему дню археологических исследований в Восточной Азии» [119, 98]. Но если все-таки ставить проблему генезиса Яншао в центр исследования, как это сделано в данной работе, невозможно уйти от предположений, степень обоснованности которых станет очевидной лишь со временем.

Чем же мы вправе оперировать при создании гипотетической реконструкции? На территорию бассейна Хуанхэ в начале IV тысячелетия до н. э. (если доверять основанной на данных радиокарбонного анализа датировке) пришли земледельцы, которые быстро стали распространяться в западной части бассейна, вначале преимущественно в долине притока Хуанхэ, Вэй. Культурный облик этих земледельцев многими чертами напоминал типичный для серии культур расписной керамики неолитический комплекс. Расовый тип был заметно отличным, монголоидным, с явными признаками австралоидности. С монголоидами сибирско-северокитайской степной и лесостепной зон яншаосцев связывали и некоторые культурные признаки. От насельников других культур серии их отличали иные виды одомашненных злаков и скота. Словом, яншаосцы были явно синтезированным культурным феноменом, складывавшимся, скорей всего, где-то по соседству с западной частью Хуанхэ и под воздействием различных компонентов. К этому стоит добавить, что, по сохранившимся преданиям, первопредок китайцев легендарный император Хуанди обитал в горах Куэнь-Лунь.

Важным моментом для решения проблемы является вопрос о доместикации злака (чумизы), знакомство с которым и оказалось причиной превращения протояншаосцев в земледельцев-яншаосцев и расселения их и их потомков в долине Хуанхэ. Вид злака, столь очевидно отличающий яншаосцев от насельни-

ков неолитических культур к западу от них, является немаловажным аргументом в пользу независимого от воздействий извне их происхождения. Но так ли это на самом деле?

Как говорилось, юго-восточно-азиатский вариант земледелия тем и отличался от западноазиатского, приведшего к неолитической революции, что не был знаком с выращиванием злаков. К востоку от Гималаев знакомство со злаками едва ли можно датировать временем ранее чем IV тысячелетие до н. э. В южной части загималайского региона со временем стал преобладать рис — злак, нелегкий для выращивания, требовавший хорошего знакомства с зерновой агротехникой и потому распространившийся сравнительно поздно, едва ли ранее III тысячелетия до н. э. По данным некоторых исследователей, в Юго-Восточной Азии рису предшествовали просяные культуры, в том числе чумиза [247, 11—13]. Таким образом, все практически сводится, видимо, к возникновению пососеяния. Как предполагают современные авторы, очагом доместикации просяных культур, как и риса, мог быть район Гималаев со всеми его горными плато и долинами [247, 9—10].

Западная часть этого горного района уже с V тысячелетия до н. э. была знакома с достижениями ближневосточного неолита, с агротехникой зерносеяния — достаточно напомнить о земледельцах Белуджистана. Возможно, что ускоренному развитию пососеяния способствовали также и хорошо известные мигрантам с юга юго-восточно-азиатские традиции обработки земли и выращивания некоторых культур. Что же касается контакта с монголоидными собирателями и охотниками мезолита и субнеолита, то косвенно о такого рода контактах могут свидетельствовать раскопки культуры Бурзахом, близ Сринагара в североиндийском штате Джамму и Кашмир, где был обнаружен слой субнеолитической культуры, инвентарь которой был до мелочей схож с обычным для сибирско-монгольского и северокитайского субнеолита. Особенно это касалось изделий из камня (перфорированные ножи, прямоугольные топоры, кольца-диски и т. п.) [265, 158—160]. Индийские археологи полагают, что этот слой, датируемый серединой III тысячелетия до н. э., следует считать ответвлением сибирско-монгольской зоны «охотничьих неолитических культур». Разумеется, отсюда еще весьма далеко до вывода о том, что насельники Бурзахом могли сыграть какую-то роль в процессе генезиса Яншао — ведь они жили значительно позже. Однако здесь важнее другое: охотники монгольско-сибирской зоны, монголоиды, в принципе могли мигрировать настолько далеко, что уже в III тысячелетии до н. э. пересекли весь гималайско-гиндукушский горный район, бывший, таким образом, достаточно проходимым для них.

Можно полагать, что монголоидные охотники и собиратели северных районов могли и ранее из пустынно-степных районов

Гоби и Восточного Туркестана достичь гималайско-тибетских предгорий. Более того, контакт этих северных монголоидов с шедшими с юга австралоидами, а также с их западными соседями не мог не играть, как это нередко случалось в истории, своей важной преобразующей роли. Смысл этой роли состоял в том, что именно здесь, в северной части тибетско-гималайской зоны, и шел, скорей всего, процесс сплава того расово-этнического ядра, которое затем оказалось предком ряда народов. Речь идет о формировании центра, из которого одна за другой, волнами, в различных направлениях расселялись потоки родственных земледельцев-мигрантов, — центра формирования тибетско-бирманских народов. Разумеется, вопрос о формировании такого центра — это самостоятельная сложная проблема, о решении которой в данном случае речь не идет. Однако заслуживают внимания некоторые данные, подкрепляющие высказанное предположение. Так, по данным глоттохронологии (подсчеты С. Е. Яхонтова), отделение протокитайского языка от тибетск-бирманских восходит примерно к IV—III тысячелетиям до н. э. [258, 6]. Практически это может значить, что мощный поток мигрантов-протокитайцев выделился из общего центра и направился к бассейну Хуанхэ примерно в IV тысячелетии до н. э., т. е. тогда же, когда другой аналогичный поток направился на юг и достиг, по данным Сольхейма, Таиланда.

Трудно сказать, как долго формировался этот гипотетический центр. Одно несомненно — сильный толчок для его эволюции был получен с запада, причем именно за счет зернового земледелия население этого центра могло начать расти быстрыми темпами и тем самым оказаться подготовленным для спорадических массовых миграций[7]. Вполне естествен вопрос: а как конкретно все это можно себе представить?

О миграциях ближневосточных неолитических земледельцев в VII—V тысячелетиях до н. э. уже говорилось, они зафиксированы повсюду, вплоть до Гималаев. Следует реально представлять себе, что путь этих мигрантов, давно оторвавшихся от благоприятных для земледелия районов ближневосточной зоны, был нелегким. Пускаясь в дорогу, очередная группа мигрантов отнюдь не всегда представляла себе, каким будет путь.

Хорошо, если пригодные для освоения новые земли оказывались неподалеку: сил уходило меньше, а пустившиеся в дорогу группы сохраняли свой состав, взятые с собой семена, животных и т. п. Хуже, если хорошие земли не попадались, что было, видимо, обычным для горных районов Северной Индии и Афганистана с их небольшими долинами, с суровым климатом.

---

[7] К слову, именно с демографическим взрывом эпохи земледельческого неолита связывается специалистами, как уже отмечалось, революционный взрыв в сфере языка [516, 106] — об этом в данном случае уместно напомнить, коль скоро предлагаемая гипотеза увязывается с данными палеолингвистики.

Для отдельных групп мигрантов это могло кончаться катастрофой: съедались запасы зерна и взятые с собой животные, ослабевали и гибли многие пустившиеся в путь. Да и остальным приходилось несладко, особенно если они встречали на своем пути аборигенные племена охотников, жителей лесов и гор, рассматривавших пришельцев как нежелательных чужаков, которые могут претендовать на их и без того не столь обильные запасы. Конечно, исход такого рода встреч мог быть различным. Но едва ли будет большим преувеличением предположить, что часто эти контакты заканчивались уничтожением ослабевших мужчин пришлой группы и пленением их женщин. Женщины приносили с собой навыки неолитической земледельческой культуры, которые и могли служить толчком для развития последующих поколений. Одомашнивались местные дикорастущие злаки, породы скота. Внедрялись новые способы изготовления и особенно орнаментации керамики, что в эпоху неолита было всегда делом именно женщин. Заимствовались и приживались новые представления, обычаи в различных сферах жизни, от бытовой до погребально-ритуальной.

Если принять, что такого рода контакты в V—IV тысячелетиях до н. э. были не исключительным, а скорей типическим спорадическим явлением, то механизм распространения информации окажется предельно ясным. Естественно, что это резко ускоряло темпы развития местных племен, вело к постепенному превращению их в земледельцев и как следствие этого — к увеличению их числа, к давлению избытка населения, к выходу земледельцев в плодородные долины соседних рек.

Таким образом, мощный горный район Гималаев как бы служил центром своего рода вторичной неолитической революции, протекавшей ускоренными темпами и под заметным воздействием импульсов извне — тех самых импульсов, которые многократно ускоряли процесс вызревания земледельческого неолита. Земледельцы из этого центра не могли не растекаться в различные стороны, и прежде всего, как это было отмечено еще в реконструкции Гейне-Гельдерна, на восток, в сторону Хуанхэ, и на юг, в Юго-Восточную Азию. Таким путем, причем, вполне вероятно, именно через хребет Куэнь-Лунь, воспринимаемый в преданиях в качестве прародины китайцев, и мог идти поток земледельцев-протояншаосцев в начале IV тысячелетия до н. э. к Хуанхэ. Для того чтобы представить себе в деталях, как именно это могло происходить и насколько имеющиеся археологические данные подтверждают предлагаемую гипотетическую реконструкцию процесса генезиса Яншао, обратимся непосредственно к материалам о древнекитайском неолите расписной керамики в бассейне Хуанхэ.

глава пятая

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ НЕОЛИТ РАСПИСНОЙ КЕРАМИКИ (Яншао)

Яншао — первая обнаруженная археологами культура китайского неолита. За несколько последних десятилетий на территории бассейна Хуанхэ и по соседству с ним раскопано или обследовано множество стоянок Яншао, опубликованы сотни работ, прошли жаркие дискуссии, касающиеся различных проблем этой культуры. Однако многое здесь еще далеко от полной ясности, в том числе вопрос об этапах и вариантах Яншао, о процессе и даже периоде ее эволюции. Объясняется это рядом серьезных причин.

Во-первых, это проблема качества археологических работ. Даже среди хорошо раскопанных и тщательно изученных стоянок и могильников, количество которых исчисляется немногими десятками, значительная часть не может претендовать на полное доверие. Одни из них, например Мяодигоу и Саньлицяо, представлены только контрольными выборочными раскопками (в Мяодигоу раскопано примерно 2% общей площади стоянки, в Саньлицяо — менее 1%) и потому недостаточно репрезентативны. Другие (Яншаоцунь) в разных частях неоднократно раскапывавшейся стоянки однослойного типа демонстрируют различный культурный облик и потому вызывают споры и упреки в адрес археологов. Третьи (Хоуган) считаются недостаточно хорошо раскопанными (358, 99). Четвертые (Баоцзи, Лицзяцунь), с отсутствием расписной керамики, оказываются вообще не принадлежавшими Яншао, что, однако, выясняется далеко не сразу. По существу, едва ли не единственной стоянкой, которая может считаться хорошо раскопанной, тщательно изученной, достаточно репрезентативной (раскопано около четверти общей площади стоянки) и материалы которой к тому же хорошо опубликованы, является Баньпо.

Во-вторых, яншаоские стоянки, как правило, однослойны, что очень затрудняет изучение хронологической последовательности слоев и этапов, взаимосвязей различных вариантов. Наличие же наряду с расписной керамикой немалого количества грубой, шнуровой, близкой по типу к луншаньской, как это имеет место

в Яншаоцунь, рождает еще более сложные проблемы: достаточно напомнить о спорах, связанных с характером взаимоотношений между Яншао и Луншань.

Наконец, в-третьих — и это, пожалуй, самое важное, — однослойность и кратковременность всех известных археологам стоянок Яншао плохо вяжутся с вытекающим из данных радиокарбонного анализа выводом о существовании этой культуры в бассейне Хуанхэ на протяжении едва ли не двух тысячелетий в почти неизменном виде.

Словом, возникший в бассейне Хуанхэ неолит расписной керамики сталкивает исследователя едва ли не с таким же количеством сложных и неясных проблем, что и процесс генезиса этого неолита. Разница здесь, однако, в том, что при решении проблем генезиса исследователи вынуждены в основном опираться на аргументы ex silentio и сравнительно-умозрительные построения, тогда как для выяснения проблем хронологии, типологии или периодизации стоянок и вариантов Яншао в их распоряжении имеется все же немало конкретных материалов раскопок.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ НЕОЛИТ ЯНШАО

Центром древнекитайского очага культур расписной керамики считается западная часть Центральной равнины (Чжунюань), примерно от стыка провинций Хэнань и Шаньси на востоке до ганьсуйского коридора на западе, т. е. бассейн верхнего и среднего течения Хуанхэ, а также ряда ее притоков — Вэйхэ, Таохэ, Фэньхэ и других, более мелких. С севера этот район ограничивался зоной степей и пустынь, с юга — невысоким горным хребтом Циньлин, с запада — возвышенным лёссовым плато, переходящим в систему горных хребтов (Куэнь-Лунь и др.). Если взглянуть на карту Китая, то окажется, что район, о котором идет речь, является, по существу, центральной частью современной территории страны, — обстоятельство, которое не могло не сыграть своей роли в аргументации сторонников теории автохтонности и независимого процесса генезиса и эволюции земледельческого неолита в бассейне Хуанхэ.

Развитой неолит Яншао в виде множества сравнительно недолговременных оседло-земледельческих поселений появился на этой территории внезапно и распространился довольно быстро, в основном вдоль речных долин. В западной части бассейна, в Ганьсу и Шэньси, первые поселения обычно располагались на лёссовых террасах, уступами спускавшихся к берегам рек. Плодородные лёссовые почвы, надежно орошавшиеся дождями, были гарантией стабильного урожая — по крайней мере на протяжении ряда лет, даже десятилетий, после чего истощившийся участок почвы можно было сменить на новый. В центре бассейна с переходом лёссового плато в низменность речные террасы

постепенно уступали место аллювиальным долинам, обильно покрытым илом столь часто разливавшейся Хуанхэ. Здесь земледельческие стоянки размещались на возвышенных берегах, иногда на значительном удалении от реки, где-либо в районе холмов. Кроме того, многие поселки обносились достаточно широким обводным рвом, который мог служить защитой не только от врагов и диких зверей, но также и от паводков и наводнений.

Неолитических стоянок расписной керамики (типа Яншао) обнаружено на этой сравнительно не столь уж большой территории, охватывающей — да и то далеко не полностью — лишь три-четыре провинции современного Китая, многие сотни. Если отбросить сравнительно незначительное количество в основном ганьсуйских стоянок более позднего времени, эпохи бронзы (Синьдянь, Шацзин, частично Мачан и др.), то подавляющее большинство остальных приходится на ранний период существования земледельческого неолита — от его появления до вытеснения культурами Луншань (в центре и на востоке) и Цицзя (на западе). Первая и одна из важнейших проблем Яншао сводится к поискам ответа на вопрос: как долго просуществовала в бассейне Хуанхэ (кроме Ганьсу) эта поздненеолитическая культура?

В свое время первооткрыватель Яншао Андерсон датировал Яншао 3200—2900 гг. до н. э., а затем, когда вся шкала неолитических культур была сдвинута им почти на тысячелетие, — 2200—1700 гг. до н. э. Вторая датировка явно ошибочна, и за нее китайские археологи очень резко критиковали Андерсона [640, 22 сл.]. Однако сами они вплоть до последнего времени датировали Яншао примерно так же, как это вначале предлагал Андерсон, т. е. 3000—2500 гг. до н. э. [667, 231]. С этой датировкой практически солидаризировался и Чжэн Дэ-кунь [311, 162—163], и только Чжан Гуан-чжи, отстаивавший идею неолитической революции в бассейне Хуанхэ, считал возможным удлинить и удревнить Яншао, помещая его между 6000 и 3000 гг. до н. э. [305, 443].

Опубликованные в 1972—1974 гг. данные радиокарбонного анализа [668; 669; 670] определили абсолютный возраст различных стоянок Яншао в широком диапазоне — от 6080±110 для Баньпо (при пересчете в соответствии с общепринятым стандартом радиокарбонных дат эта цифра несколько уменьшается и соответствует 3944 г. до н. э.) [475, 142] до 4275±95 для Мяодигоу-II, т. е. для конца Яншао, периода перерастания его в Луншань (эта цифра при пересчете соответствует 2190 г. до н. э. [475, 143]). Таким образом, на долю Яншао приходятся почти целиком IV и III тысячелетия до н. э. — период очень большой.

Несмотря на все то, что уже говорилось о радиокарбонном методе, притягательность его данных для археологов и истори-

ков несомненна: точная датировка, основанная на объективных технических расчетах, кажется гораздо более убедительной, чем до известной степени произвольные выкладки специалистов, основывающихся лишь на соотносительной оценке этапов, слоев, типов изделий и т. п. И все-таки тем важнее напомнить, что во всем мире данные радиокарбонного анализа принимаются в расчет или отвергаются в тесной зависимости от того, насколько они соответствуют всем прочим сведениям об изучаемых культурах, памятниках, слоях. Насколько соответствуют радиокарбонные даты (IV и III тысячелетия до н. э., приходящиеся на долю двух основных, как принято ныне считать в Китае, этапов Яншао — Баньпо и Мяодигоу) тому, что нам известно о культурных слоях различных стоянок этой культуры?

Прежде всего — о формальных археологических признаках, связанных с изучением культурного слоя. В стоянках расписной керамики ближневосточного региона, где протекала неолитическая революция, толщина культурного слоя достигает порой многих десятков метров. Даже в маржинальных районах Средней Азии и Ирана, где стоянки расписной керамики появились несколько позже, примерно в V—IV тысячелетиях до н. э., культурный слой исчисляется многими метрами. Так, стоянка Сиалк-I имеет культурный слой в 12 м, а слои типа Сиалк-II — до 7 м, причем оба этих следующих один за другим культурных комплекса существовали в пределах 1000—1200 лет (5000—3800 гг. до н. э.) [144, 191, 195]. Стоянка Анау, наиболее мощная из среднеазиатских, имеет толщину культурного слоя в 12 м, более отдаленные (расположенные далее к востоку) и потому, видимо, более поздние Намазга и Геоксюр — соответственно 6,5 и 2,5 м, причем время существования этих комплексов (речь идет в данном случае только о раннеземледельческих комплексах и слоях в этом районе) также не выходит за пределы одного тысячелетия — IV тысячелетия до н. э. [144, 133, 147].

Стоянки расписной керамики в других отдаленных от ближневосточного региона очагах, как правило, с меньшим культурным слоем и более ограниченным периодом существования. Так, неолитические стоянки расписной керамики в Декане в среднем имеют культурный слой в 1,5—3 м, лишь в одном случае (Нагд) достигая 6 м [255, 28—29]. Трипольские стоянки еще более тонкие, обычно в них культурный слой исчисляется в сантиметрах и дециметрах. Время существования деканского неолита расписной керамики — 600—800 лет в пределах II тысячелетия до н. э. [255, 91], время существования трипольского — более раннее, но едва ли намного более продолжительное (конец IV—III тысячелетие до н. э.).

Скудость культурного слоя стоянок расписной керамики деканского и трипольского очагов, так же как и восточных окраин среднеазиатского очага, является убедительным и весьма объективным свидетельством вторичного их характера. Как полагают

специалисты, каждый сантиметр культурного слоя появляется после года существования стоянки. Так, трехметровый культурный слой в Навдатоли соответствует 250 годам [255, 82—83, 89]. Иногда, когда речь идет о тонком, однослойном памятнике в умеренной климатической зоне, эта цифра может быть несколько изменена: культурный слой поселения Лука-Врублевецкая на Днестре, измеряемый всего в 10—12 см, соответствует, возможно, 30—40 годам, т. е. сроку существования строений без перестроек [25, 19].

Стоянки Яншао — однослойные, с толщиной культурного слоя в среднем 1—2 м, реже 2—3 и лишь в исключительных случаях (в Ганьсу) 5—7 м. Если учесть при этом, что имеются в виду стоянки в основном на лёссовом плато и в долинах рек, насыщенных аллювием, то станет очевидным, что в этих условиях скорость наращивания культурного слоя могла быть выше средней и что период обитания жителей на однослойной яншаоской стоянке с толщиной слоя в 2—3 м едва ли превышал 200 лет. Что же касается большинства стоянок, бывших менее мощными, то там этот срок едва ли превышал 100 лет, а то и был еще меньшим, практически равным существованию одного комплекса строений.

Вообще в культурах расписной керамики именно комплекс строений служит ориентиром. В Навдатоли за 250 лет было 10 строительных горизонтов в слое 3—3,3 м [255, 82—83], в Лука-Врублевецкой — лишь один. В стоянках Яншао строений нередко не обнаруживают вовсе. В тех случаях, когда их находят, это обычно один горизонт, как в Мяодигоу. И лишь очень редко, как в Баньпо, — два (22 строения принадлежат к первому слою, 24 — ко второму [667, 308]).

Кроме строительных горизонтов о сроке существования яншаоских стоянок свидетельствует характер земледелия, связанный со спецификой поселений. Обратив внимание на кратковременность и ограниченные размеры большинства яншаоских стоянок, Чжан Гуан-чжи выступил с предположением, что подсечно-огневая техника земледелия диктовала необходимость время от времени покидать насиженное место с уже истощенными почвами и перемещаться на новое [300, 167—168]. Господство у яншаосцев подсечно-огневой техники земледелия поддержали и авторы монографии «Сиань, Баньпо», которые сослались при этом на аналогичную практику, существующую и поныне у национальных меньшинств Юго-Западного Китая [667, 224]. Кроме того, данные анализа пыльцы полевых трав и злаков, с одной стороны, и деревьев и кустарников — с другой, в слое глубиной в 2,2 м дали возможность выделить два-три периода преобладания то пыльцы трав, то деревьев [667, 270—272]. Это позволило Чжан Гуан-чжи установить связь между периодами полеводства и строительными горизонтами Баньпо [305, 95—97].

Действительно, слои с преобладанием пыльцы трав и злаков соответствуют 80—90 см каждый, т. е. примерно 50—70 годам, тому сроку, который могли простоять сооружения одного строительного комплекса. В перерыве, когда поля зарастали деревьями, жители поселка могли покинуть его на время, что обычно и диктуется техникой подсечно-огневого земледелия. Однако через несколько десятилетий, когда поля зарастали лесами, земледельцы (точнее, их потомки) могли возвратиться на старое место — и именно в этом случае археологи могут фиксировать существование второго строительного горизонта той же культуры (этот второй горизонт не обязательно является новым слоем — в Баньпо оба горизонта рассматриваются как единый слой).

Словом, период существования средней яншаоской однослойной стоянки чаще всего не превышал 200, а то и 100 лет. Но отсюда явствует, что в отличие от сравнительно стабильно оседлых земледельцев более западных регионов, которые пребывали в рамках поселения их предков на протяжении многих веков и частично мигрировали, осваивая новые земли лишь под давлением избытка населения раз в несколько поколений, яншаосцы были гораздо более динамичными. Темпы увеличения количества новых стоянок и распространения все новых и новых поколений земледельцев-яншаосцев должны были быть гораздо более энергичными. Неудивительно поэтому, что число стоянок яншаоского неолита в бассейне верхнего и среднего течения Хуанхэ едва ли не переваливает за тысячу. Удивительней другое, что при таких условиях ареал распространения яншаосцев оказался довольно ограниченным, а культурные различия между локальными вариантами — сравнительно умеренными, даже имея в виду более отдаленные ветви этой культуры в бассейнах Янцзы (хубэйское Яншао) и Хуайхэ (ранний Цинлянъган).

Все специфические особенности Яншао никак не свидетельствуют в пользу длительного существования этой культуры в бассейне среднего течения Хуанхэ на протяжении двух тысячелетий, как это вытекает из материалов радиокарбонного анализа. Незначительность культурного слоя, не очень широкий ареал распространения, слабо фиксируемая (для двух тысячелетий!) эволюция культурного облика — все это не только объясняет, почему специалисты обычно отводили на долю Яншао не свыше 300—500 лет, но и дает основания для сомнений. Слишком уж очевидна близость между стоянкой Баньпо (древность которой восходит к рубежу V—IV тысячелетий до н. э.) и ганьсуйской стоянкой Мацзяяо (датируемой рубежом III—II тысячелетий до н. э.), чтобы между ними могла пролегать пропасть в две тысячи лет. Разумеется, это не означает, что мы имеем право вовсе отмести данные радиокарбонного анализа. Мы обязаны считаться с ними, иметь их в виду, но не обяза-

тельно абсолютно доверять им, тем более что удлинение периода Яншао не помогает решению проблемы его генезиса. Отсутствие местных корней этой культуры по-прежнему позволяет, даже вынуждает, ставить вопрос о генезисе древнекитайского земледельческого неолита в процессе культурного взаимодействия. Конечно, для сколько-нибудь определенных выводов этого еще далеко не достаточно. Для этого необходимо тщательно рассмотреть и проанализировать все основные культурные характеристики древнекитайского неолита Яншао. Но сначала — некоторые общие сведения.

Поселки и строения. Следует заметить, что об общей площади неолитических поселков Яншао судить очень трудно. В подавляющем большинстве это были, видимо, сравнительно небольшие поселения, на фоне которых поселок в Баньпо (около 5 га) может считаться достаточно крупным. Правда, в ряде случаев размеры поселений достигали, по предварительным оценкам, 18 (Саньлицяо) и даже 24 га (Яншаоцунь, Мяодигоу). Однако эти оценки максимальные и весьма приблизительные, ибо сплошного горизонтального вскрытия в этих поселениях не производилось и стратиграфическая картина в целом неясна. Более того, некоторые косвенные соображения позволяют предположить, что в рамках максимального размера стоянок Яншаоцунь, Мяодигоу и Саньлицяо могли умещаться различные по времени и по культурной принадлежности поселения, в частности поселения и яншаоской, и луншаньской культур. Для сравнения стоит заметить, что в среднеазиатском очаге культур расписной керамики размеры наиболее древних поселений колебались от 0,6 до 5,6 га, а более поздние достигали 12—15 га, в деканском очаге картина была примерно той же [255, 31]. Раннетрипольские поселения также обычно располагались в пределах 5 га [176, 93].

Раскопанных целиком яншаоских поселений еще нет. Наилучшее в этом смысле представление о таких поселениях дает стоянка Баньпо, около четверти которой ныне раскопано и законсервировано (в виде специального музея). Насколько можно судить по хорошо изученным и тщательно изданным данным раскопок в Баньпо, типичное яншаоское поселение состояло из нескольких десятков жилых и большого количества подсобных строений, окружавшихся снаружи глубоким и широким рвом (глубина 5—6 м, ширина до 6—8 м.) [667, 49]. Видимо, в ряде случаев вместо рва или наряду с ним существовали и обводные стены. За пределы поселка выносились мастерские, в первую очередь керамические, и кладбище.

Типичные для китайского неолита расписной керамики жилые помещения — это прямоугольные или округлые в плане полуземлянки площадью (в Баньпо) от 10 до 60 кв. м, в среднем обычно 20 кв. м, с обращенным к югу входом. В ряде случаев фундамент таких домов лишь ненамного углублялся в землю,

а то и вовсе возводился на ее поверхности — в Баньпо это было характерным для сравнительно поздних строений. Посреди дома — круглый или прямоугольный очаг. Каркас в целом держался на врытых в землю столбах; коническая крыша возводилась, видимо, из жердей и покрывалась соломой. Толщина стен составляла несколько дециметров, порой доходила до метра. Эти глиняные стены, так же как и пол, покрывались изнутри специальной обмазкой, чаще всего из смеси глины с соломой, толщина которой на полу (т. е. собственно пол помещения) достигала 5—8 см [667; 252].

Хотя в других яншаоских поселениях, раскопанных китайскими археологами, остатки строений сохранились значительно хуже, чем в Баньпо, они подтверждают основные характеристики баньпоских жилищ: те же прямоугольные или округлые полуземлянки площадью в 20—40 кв. м со следами каркасных столбов, очагов и т. п. обнаружены на яншаоских стоянках в Мяодигоу [646, 7—17], Лицзяцунь [590, 290], Сямэнцунь [620, 292], при повторных (послевоенных) раскопках в районе Баоцзи (Бэйшоулин), где в 1959 г. было найдено 15 строений [654, 229—230; 765, 4], и в других местах [785].

Следует особо заметить, что в центре поселения Баньпо зафиксированы следы наиболее крупного строения [около 160 м], размеры и расположение которого явно свидетельствуют о его особом социально-культовом предназначении. Аналогичный большой дом найден китайскими археологами и при раскопках яншаоской стоянки Люцзычжэнь в Хуасяни. Также прямоугольный по форме, в Люцзычжэнь этот дом был несколько меньшим, чем в Баньпо (60 кв. м), но, по мнению специалистов, он тоже имел общественный характер и использовался для нужд всего родового коллектива [655, 71; 305, 100]. Есть некоторые основания предположить, что в каждом поселении было строение такого типа, хотя оно далеко не всегда могло заметно отличаться от остальных своими размерами. Так, при раскопках яншаоской стоянки Ваньвань близ Лояна из семи строений наиболее крупное было площадью чуть больше 50 кв. м. Однако в северо-западном углу этого строения оказалось нечто вроде специального алтаря, под которым были найдены костяки трех младенцев [625, 175—176]. О практике захоронения, т. е. принесения в жертву и погребения под полом жилища младенцев, нередко первенцев, уже упоминалось. Наличие трех таких костяков под алтарем свидетельствует о значении, которое придавалось этому священному месту и строению в целом жителями поселения.

Кроме жилых строений в пределах поселения обычно располагалось немало подсобных помещений, прежде всего ям-амбаров для хранения запасов пищи. В Баньпо таких ям найдено около 200. Кроме них в этом же поселении были обнаружены два несколько необычных помещения продолговатой формы, ко-

торые, по предположению археологов, могли быть чем-то вроде хлевов, свинарников, загонов для скота [667, 48—49]. За пределами поселения размещались различные производственные помещения, прежде всего гончарные мастерские с печами для обжига керамики — в Баньпо обнаружили остатки шести таких печей.

Орудия производства и оружие. Одно из величайших нововведений неолита — использование орудий из шлифованного и полированного камня, которое, собственно, и дало основание назвать этот позднекаменный век неолитом. Искусство обработки поверхности каменного орудия достигло у земледельцев Яншао весьма высокого уровня [562; 667]. Уже самые первые земледельцы на территории бассейна Хуанхэ выделывали из камня топоры и ножи, тесла и долота, лопаты и мотыги, зернотерки, песты и т. п. Обилие, богатая номенклатура, разнообразие форм орудий (прямоугольные, трапециевидные, подтреугольные топоры, иногда перфорированные), тщательная обработка их рабочей части (хорошо заточенные лезвия и острия) — все это свидетельствует о богатом опыте и длительной традиции. Одним из первых все эти орудия опубликовал Андерсон [273, л. илл. 7—27]. Ныне они хорошо известны специалистам, что избавляет от необходимости давать всем этим каменным орудиям во всех их модификациях детальную характеристику. Можно лишь добавить, что новые находки, как правило, подтверждают высокий уровень каменной индустрии яншаосцев. Заслуживает, в частности, внимания то, что в этой индустрии шлифованные и полированные изделия решительно преобладают, почти не оставляя места грубо обработанным, оббитым орудиям из кремня или гальки.

По типу, форме и технике обработки каменные орудия яншаосцев практически ничем не отличаются от аналогичных им орудий в других культурах развитого неолита, прежде всего расписной керамики. Так, шлифованные топоры во всех этих культурах близки по форме, так что аналогичные яншаоским каменные топоры легко обнаружить и в трипольском, и в деканском очагах культур расписной керамики [25, 307—312; 255, 54], где они, правда, отнюдь еще не преобладали на фоне довольно внушительного количества кремневых орудий, особенно в трипольском очаге. Вытеснение грубо оббитых орудий шлифованными — процесс, свидетельствующий о развитии неолитической культуры, о достигнутом ею достаточно высоком уровне.

Значительная часть орудий труда — шилья, иглы, крючки, наконечники и вкладыши и т. п. — делались из кости, причем и здесь качество изделий было высоким [667, л. илл. XC—CII]. Костяные ножи, пилы, лопатки широко использовались в хозяйственной деятельности яншаосцев. Из кости изготовлялись наконечники для стрел, как, впрочем, и из камня. Лук и стрелы были главным видом вооружения яншаосцев. Копья, по-види-

мому, использовались намного реже: в Баньпо наконечников копий было обнаружено лишь шесть [667, 310].

Керамика. Некоторые орудия труда, в том числе ножи и серпы, а также напильники, выделывались из керамики. Вообще изделия гончарного производства, прежде всего великолепные яншаоские сосуды, — ключевой пункт материальной культуры эпохи неолита. Многочисленные раскопки яншаоских стоянок и могильников начиная с первых находок Андерсона и до середины 60-х годов предоставили в распоряжение специалистов огромное количество материала, который позволяет составить довольно точное и полное представление о гончарном производстве яншаосцев. Керамические сосуды изготовлялись от руки, без применения гончарного круга. В качестве теста использовались различные смеси глины и песка. Подавляющее большинство керамики — грубые сосуды для хозяйственного и кухонного применения, в тесте которых примесь песка всегда была весьма ощутима. Для более тонких сосудов использовалась по преимуществу глина. Цвет посуды после обжига — красноватый или сероватый, с широким спектром оттенков. Расписная керамика, столь существенная для характеристики культуры в целом, в Яншао, как и в остальных очагах серии культур расписной керамики, количественно отнюдь не преобладала: в стоянке Мяодигоу ее доля составляла 14% [646, 121], в Баньпо она была еще меньшей.

Обращает внимание необычайное разнообразие типов сосудов, изящество и совершенство их форм. Наряду с плоскодонными немало круглодонных и даже остродонных, множество столовой посуды (чаши, миски, кружки, черпаки), кухонной (котлы, вместительные чаны), хозяйственной (большие сосуды для хранения продуктов, узкогорлые кувшины для хранения и переноски жидкостей), немало изделий специфичной формы и узкого предназначения (чаши на поддонах типа доу, триподы типа дин). Часть сосудов изготовлялась с крышками.

Подавляющее большинство яншаоской керамики снаружи было покрыто различными видами шнурового и близкого к нему по типу орнамента (веревочный, сеточный, корзинчатый, линейный, ямочный, клеточно-ромбовидный и т. п.). В отдельных случаях такой орнамент заменялся нанесенными резцом углубленными линиями или небольшими налепами в виде пуговиц-шишечек, изображений животных (например, ящерицы). Важно заметить, что зафиксированное раскопками разнообразие цветовой гаммы, типов и орнаментации яншаоских нерасписных сосудов оказалось не только весьма значительным, но и во многих отношениях близким к соответствующим характеристикам грубой луншаньской (неклассической) керамики. Именно это обстоятельство сыграло свою роль в том, что в ряде случаев практически весьма трудно провести различие между грубой керамикой Яншао и Луншань — отсюда многочисленные споры и

сомнения, как было, например, в случае со стоянкой Лицзячунь, шнуровая керамика которой — при отсутствии расписной — едва ли не в равной мере могла быть признана как яншаоской, так и луншаньской.

Именно расписная керамика, при всей ее немногочисленности, должна была занимать и действительно занимала центральное место в керамическом производстве яншаосцев. Видимо, это следует понимать прежде всего в том смысле, что для всех стоянок яншаоской культуры наличие или отсутствие расписной керамики служит индикатором, указывающим на действительную принадлежность этой стоянки к культуре Яншао. Как уже говорилось, все попытки обнаружить на территории Северного Китая следы раннего Яншао без расписной керамики не привели к успеху. Расписная керамика, повсюду относившаяся к лучшей и наиболее старательно изготовлявшейся части керамического производства в этой серии культур, имела не только и не столько прикладное, сколько ритуальное предназначение и уже по одному этому должна была быть неотъемлемой частью этнокультурного комплекса в целом.

Яншаосцы изготовляли эту керамику из наиболее высококачественного гончарного теста, тщательно обрабатывали поверхность изделия, заботились о совершенстве и изяществе его формы. Показательно, что многие расписные сосуды, особенно погребальные урны или сосуды, сопровождавшие покойника в могиле, настолько хорошей формы, что трудно представить себе, что их делали без гончарного круга. Обильная и затейливая роспись черного цвета наносилась опытной рукой мастера еще до обжига изделия. Орнаментом или рисунком покрывалась наружная, а иногда и внутренняя сторона сосуда.

В орнаменте росписи на яншаоских сосудах, так же как и в других культурах расписной керамики, преобладали геометрические мотивы — круги, спирали, зигзаги, волнообразные линии, меандры с явно выраженной ритуальной символикой. Символичными были и рисунки, встречавшиеся, однако, много реже геометрического орнамента. Среди этих рисунков — изображения рыб и животных, а также антропо- и териоантропоморфные личины, тотемистический характер которых не подлежит сомнению. Кроме росписи на керамике о ритуально-культовой стороне жизни яншаосцев свидетельствуют также такие элементы материальной культуры, как украшения и захоронения.

Украшения. Помимо различного рода бус, подвесок и браслетов из камней (в том числе полудрагоценных), кости и раковин (особенно каури) к числу украшений следует отнести яшмовые диски и кольца, а также мелкую пластику — керамические фигурки с грубо моделированными чертами головы человека или животного [667, л. илл. CLXII—CLXVII; 646, л. илл. LI—LV]. В отдельных случаях изготовление таких фигурок поднималось до уровня высокого искусства, исполненного

глубокой символики, — достаточно напомнить о баньшаньских фигурках в форме зубчатой конусообразной крышки, шишечка-рукоятка которой оформлена в виде головы человека. Фигурка такого типа, как бы символизируя древнейшее искусство протокитайцев, украшает собой обложку хорошо известного специалистам стокгольмского Бюллетеня Музея дальневосточных древностей.

Захоронения. Как правило, могильники располагались неподалеку от яншаоских поселений, хотя это было далеко не обязательно, и в отдельных случаях они (например, знаменитые баньшаньские погребения в Ганьсу, впервые открытые еще Андерсоном) размещались на холмах, в стороне от жилья. В настоящее время китайскими археологами довольно хорошо изучено несколько яншаоских могильников, в том числе три наиболее крупных — в Баньпо, Баоцзи и Хуасянь [807; 811; 812].

Эти могильники близки друг к другу по размерам и по особенностям погребального обряда. К числу наиболее характерных черт этого обряда относится, во-первых, практика захоронения малых детей в керамических сосудах под полом жилищ, на территории поселений. В Баньпо таким образом было погребено 67 детей из 76 детских захоронений (всего в поселении обнаружено 250 погребенных). Из 174 взрослых погребений достаточно хорошо сохранились 118, причем только 71 (около 60%) имело погребальный инвентарь. Аналогичная картина в Баоцзи, где на 155 могил с погребальным инвентарем приходится 129 без него [654, 241]. Захоронения, как правило, одиночные; изредка встречаются парные, в том числе впускные. Обычная ориентация умерших в Баньпо — головой на запад. Все покойники, имевшие погребальный инвентарь, были погребены в Баньпо в вытянутом положении, лежа на спине. Остальные — в различных положениях: в вытянутом, лицом к земле (15 человек), в скорченном (4), в вытянутом на спине [667, 202]. В Баоцзи — несколько иная картина. Там погребальный инвентарь встречается и у покойников, захороненных лицом к земле [654, 241].

Инвентарь в этих погребениях, типичных для Яншао, обычно небогатый — пять-шесть керамических сосудов, в лучшем случае один из них с росписью, иногда небольшое количество каменных орудий и украшений. Таким же был инвентарь и в едва ли не самой богатой баньпоской могиле № 152, где была захоронена девочка трех-четырех лет (один из редких случаев захоронения ребенка в отдельной могиле, как взрослого) и где были зафиксированы следы деревянной обшивки типа гроба, единственного в своем роде для неолитической эпохи в Китае. Намного более богатыми по сравнению с этими могилами выглядят баньшаньские захоронения в Ганьсу, где Андерсоном были найдены великолепные и, пожалуй, лучшие из известных

сосуды с орнаментальной росписью (недавно обнаруженные баньшаньские могильники выглядят гораздо скромнее [794]).

ВАРИАНТЫ ЯНШАО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ

Серию культур расписной керамики в Китае, иногда по традиции именуемую (в том числе и в данной работе) сводным термином Яншао, китайские археологи обычно подразделяют на территориальные зоны, причем с течением времени все более ощущается стремление видеть в местных стоянках этих зон самостоятельные культуры (в центре — Яншао, в Ганьсу — Мацзяо, на восточном побережье — Цинляньган). Конечно, каждая территориальная зона накладывала заметный отпечаток на своеобразие своих стоянок, однако нельзя забывать о генетической их общности. И именно поэтому всех их стоит по-прежнему именовать яншаоскими, что нередко и делают специалисты. Впрочем, для удобства анализа можно условно принять существующее у китайских археологов деление и говорить о Яншао (о собственно Яншао) как о группе стоянок, тяготеющих к центральной зоне бассейна Хуанхэ.

В пределах этой зоны археологи также фиксируют немалые различия, т. е. и здесь сходство в главном, принципиальном никак не мешает разнообразию в деталях. Вопрос лишь в том, каковы причины этого разнообразия: играют здесь основную роль локальные различия или временные, поэтапные (либо имело значение и то и другое).

Именно так обстояло дело до недавнего времени (до опубликования радиокарбонных датировок, поставивших точку на прежних спорах, но далеко не приведших к согласованному решению) с вариантами Яншао центральной зоны. До войны этот вопрос вообще не возникал, ибо стоянки Яншао насчитывались немногими единицами. Даже в 1959 г. попытка Чжэн Дэ-куня периодизировать Яншао на раннее (Хоуган), среднее (Яншаоцунь, Сииньцунь, Мацзяо, Баньпо) и позднее (Мачан) оказалась основанной на столь шатком фундаменте[1] [311, 74], что буквально через несколько лет от нее был вынужден отказаться сам автор [314, 17]. Дело в том, что как раз в конце 50-х годов успехи археологического изучения Китая поставили на повестку дня вопрос об этапах и вариантах Яншао центральной зоны.

Споры начались с того, что авторы капитальной монографии «Мяодигоу юй Саньлицяо», сравнивая результаты своих находок с материалами близкой к Саньлицяо стоянки Баньпо, пришли к выводу, что Мяодигоу следует считать более ранним этапом [646, 116]. Это и положило начало дискуссии. Суть

[1] Показательно, что китайский археолог Лян Сы-юн, впервые выдвинувший предположение о том, что стоянка Хоуган более ранняя по сравнению с Яншаоцунь, вскоре отказался от этой точки зрения [636, 106 и 97].

споров в том, что в Саньлицяо и Баньпо расписной керамики сравнительно мало, причем роспись элементарна и скудна по сравнению с Мяодигоу. Кроме того, в Мяодигоу почти нет характерных для Баньпо круглодонных сосудов (чаши бо и др.), зато обычны непривычные для Баньпо котелки вань с небольшой горловиной, плоским округлым дном и широким пузатым туловом [566, 561; 567, 9; 802, 50]. Есть и иные различия, причем все они бесспорны; споры идут лишь о том, как их следует расценивать.

Обосновывая вывод о приоритете Мяодигоу, авторы монографии, в том числе Ань Чжи-минь, были, видимо, не окончательно убеждены в своей правоте. Они добросовестно проанализировали типы и мотивы росписи на керамике, зафиксировали количество расписных сосудов (14,2% в Мяодигоу против 2,47% в Саньлицяо), обратили внимание на специфику отдельных типов характерных для Мяодигоу сосудов, но, по существу, ничем не аргументировали свой крайне важный вывод о том, что эволюция культуры расписной керамики в Китае шла по линии деградации, т. е. от сложности и обилия к скудости и простоте орнамента. По сути дела, важнейшими аргументами в пользу их тезиса о приоритете Мяодигоу оказались факт существования в каменной индустрии довольно значительного количества грубо оббитых каменных орудий при меньшем количестве хорошо отшлифованных, а также слабое развитие скотоводства [646, 106—107].

Слабость аргументации вызвала множество возражений. В статье У Жу-цзо и Ян Цзи-чана аргументы авторов монографии были раскритикованы на том основании, что грубо обработанные каменные орудия мяодигоусцев предназначались для обработки земли и потому сознательно выделывались таким образом. Факт же существования рядом с ними хорошо обработанных полированных и перфорированных каменных орудий говорит о достаточно высоком развитии каменной индустрии Мяодигоу. Усомнившись в остальных аргументах, в частности о закономерности эволюции росписи от обилия к скудости, рецензенты пришли к выводу, что вариант Мяодигоу следует считать не начальным, а весьма развитым [713, 26—28].

С еще более решительной критикой выступили Чжан Шицюань и У Ли, в статьях которых были по пунктам рассмотрены все аргументы авторов монографии и показаны уязвимые места этих аргументов. У Ли выдвинул шесть пунктов (стоянка и население Мяодигоу больше, чем в Саньлицяо; в основе опорных столбов строений Мяодигоу были камни, что свидетельствует о прогрессе в строительном деле; при выделке сосудов Мяодигоу использовался, видимо, медленный круг, который явно не был известен в Саньлицяо; скудость росписи в Саньлицяо; большая близость Мяодигоу к Луншань; использование каменных лопат в Мяодигоу при отсутствии их в Саньлицяо), которые, на его взгляд, свидетельствуют о развитости варианта

Мяодигоу по сравнению с Саньлицяо [714]. Чжан Ши-цюань нашел восемь таких пунктов, частично совпадающих с тезисами У Ли. Он отказался считать простоту орнамента Саньлицяо результатом регресса, обратил внимание на обилие и разнообразие изделий из камня и кости в Мяодигоу, указал на ряд признаков в типах сосудов и орнамента, сближающих Мяодигоу с Луншань, и даже пытался показать, что слой Мяодигоу хронологически более поздний по сравнению с Саньлицяо [762].

Хотя далеко не все аргументы Чжан Ши-цюаня и У Ли достаточно весомы, а некоторые откровенно слабы и примитивны (например, пункт пятый у Чжан Ши-цюаня, где идет речь о том, что большее количество свиней в Мяодигоу свидетельствует о близости этого варианта к Луншань — ?!), в целом они хорошо показывают уязвимость основного вывода авторов монографии о приоритете Мяодигоу. Вслед за Ши Син-баном, первым усомнившимся в этом выводе [788, 567], У Ли, Чжан Ши-цюань и некоторые другие китайские археологи предложили считать вариант Саньлицяо более ранним, чем Мяодигоу.

Итак, в ряде специальных статей и рецензий была убедительно продемонстрирована слабость аргументации в пользу признания приоритета Мяодигоу. Учитывая эту слабость и ощущая необходимость чем-то подкрепить доводы в пользу признания Мяодигоу более ранним вариантом Яншао, сторонники этой точки зрения выступили со специальными статьями. Среди них наибольшее внимание привлекают статьи Ян Цзянь-фана. В первой, носящей характер рецензии на монографию, Ян высоко оценил то новое, что внесла эта книга в изучение китайского неолита, и в то же время сделал ряд конкретных замечаний, одно из которых сводилось к тому, что яншаоский слой в Мяодигоу был не однообразным, что в нем можно выделить ранний и поздний [800, 222]. В следующей статье Ян предложил свою реконструкцию этих слоев. Проанализировав роспись свыше 60 сосудов, он выделил 11 типов орнамента и установил, что одни из этих типов встречаются на сосудах вань и бо (миски и чаши), а другие — на кувшинах гуань и тазах пэнь. Обратив внимание на раскопы (в основном очажные ямы), из которых были взяты изучаемые им сосуды, Ян установил определенные закономерности и взаимосвязи (комплексы типов, встречающихся рядом или взаимно исключающих друг друга). Это позволило ему выделить две основные группы типов, А и Б, представляющие соответственно ранний и поздний слои яншаоского Мяодигоу [801]. Сделав основной упор на вычленение слоев в варианте Мяодигоу, Ян в этой своей работе еще не очень уверенно высказывался в пользу того, что Мяодигоу — раньше Саньлицяо. Однако в третьей и наиболее обширной статье, касающейся теперь специально проблемы вариантов и последовательных этапов Яншао, он уже твердо настаивал на том, что типы орнамента из группы Б, т. е. позднемяодигоуские, по его данным, не

встречаются в росписи на тех яншаоских сосудах, которые он считает ранними (Сииньцунь и другие стоянки), но зато близки к тем, которые можно зафиксировать на сосудах Саньлицяо [802, 60]. Отсюда следовало, что ранний слой Мяодигоу, представленный типом А, древнее Саньлицяо, тогда как поздний слой (тип Б) уже близок к нему.

Следует заметить, что исследования Ян Цзянь-фана производят внушительное впечатление. Выполнены они квалифицированно, методика едва ли может вызвать возражения. Однако наиболее слабым местом их оказалась та, по существу, мизерная фактическая база, на которой были основаны все его построения. В самом деле, черепков от 60 сосудов весьма недостаточно для выведения хоть сколько-нибудь весомой закономерности. И это не замедлил продемонстрировать Яну даже явно расположенный к нему Ань Чжи-минь, один из главных авторов монографии, вывод которой о приоритете Мяодигоу исследования Яна призваны были поддержать. В статье, посвященной анализу работы Ян Цзянь-фана, Ань прямо заявил, что в его распоряжении есть материалы, опровергающие построения Яна, т. е. что в ряде раскопов и очажных ям были обнаружены вместе черепки с орнаментом обеих групп. Обратив внимание на то, что и в других яншаоских стоянках аналогичные элементы и мотивы орнамента встречаются рядом, Ань Чжи-минь заключил, что деление на группы А и Б, как и вообще подразделение яншаоского Мяодигоу на два слоя, не имеет оснований [568]. Позже к этому выводу присоединились и другие специалисты [715; 718].

Сложность и запутанность хронологической периодизации вариантов Мяодигоу и Баньпо заставили некоторых китайских археологов поставить вопрос иначе. Ши Син-бан высказал мысль, что оба варианта, возможно, существовали одновременно, а некоторые культурные различия были связаны с тем, что в Баньпо и родственных ему поселках проживали представители одного племени (с тотемом «рыба»), а в Мяодигоу — другого (с тотемом «птица»). Эта идея об одновременности локальных вариантов [788, 567; 789, 326] получила поддержку некоторых археологов [765, 7].

В большой статье, посвященной проблемам Яншао, Су Бинци внимательно рассмотрел и проанализировал культурные характеристики обоих вариантов, их сходство и различие, основные элементы орнаментов, обратив при этом внимание на использование в росписи тотемных изображений птиц и рыб. В итоге он пришел к выводу, что Мяодигоу и Баньпо — это параллельно развивавшиеся ветви одной и той же культуры [676, 66]. Эта точка зрения Ши Син-бана и Су Бин-ци получила известное распространение и пользуется определенным вниманием специалистов. Однако, не оспаривая ее по существу, многие китайские археологи не удовлетворились ею. Ань Чжи-минь, на-

пример, несколько отступив под натиском оппонентов, предположил, что при оценке Баньпо и Мяодигоу следует учитывать и временные и локальные различия [567, 9]. Похоже на то, что именно эта точка зрения оказалась наиболее приемлемой.

До 1962 г. споры о приоритете Мяодигоу или Баньпо велись при полном отсутствии хоть каких-либо стратиграфических свидетельств в пользу той или иной точки зрения. Однако в 1961 г. при раскопках стоянки Сямэнцунь археолог Ли Ши-гуй обнаружил яншаоский слой, который оказалось возможным подразделить, по его утверждению, на четыре последовательных периода, первые (нижние) два из которых содержали типично баньпоскую керамику, а последующие — мяодигоускую [620, 294]. Раскоп с этими четырьмя слоями невелик — всего 36 кв. м (3×12). Он не произвел сенсации, но на фоне полного отсутствия иных стратиграфических свидетельств был замечен и оценен. В сводных трудах Чжэн Дэ-куня [314, 24] и Чжан Гуан-чжи [305, 114] ссылки на раскопки Ли Ши-гуя сыграли свою роль. Правда, Чжан Гуан-чжи вслед за Ли Ши-гуем оговаривается, что ввиду близости Сямэнцунь к Баньпо здесь возможно случайное напластование одного варианта на другой и что это не исключает возможного параллельного существования обоих вариантов. Однако при этом он же, ссылаясь на подсчеты Су Бин-ци [676, 66] и его вывод о том, что в хозяйстве баньпосцев охота и рыболовство играли бóльшую роль по сравнению с Мяодигоу, все же склонился к тому, чтобы отдать приоритет варианту Баньпо.

Но если Баньпо с его скудной росписью предшествовало Мяодигоу, значит ли это, что вариант Мяодигоу сложился непосредственно на основе Баньпо, в ходе естественной поэтапной трансформации последнего.

Эта версия в 1964—1965 гг. получила некоторое развитие в виде ряда новых попыток реконструкции и отождествления различных вариантов Яншао. Сначала в статье Чжан Чжун-пэя и Янь Вэнь-мина было поставлено под сомнение ставшее уже привычным и общепризнанным фактическое отождествление Саньлицяо и Баньпо. Рассмотрев по пунктам, по типам изделий и т. п. сходство и различия между Баньпо, Саньлицяо и Мяодигоу, авторы пришли к выводу, что сходство Саньлицяо с Мяодигоу все же больше, чем с Баньпо, и что Саньлицяо как этап стоит как бы посредине между (ранним) Баньпо и (поздним) Мяодигоу, что это — важное звено в цепи, связывающее этап Баньпо с этапом Мяодигоу [761]. Затем Янь Вэнь-мин, довольно произвольно датировав некоторые мяодигоуские раскопы, составил свои типологические ряды эволюции некоторых видов сосудов и орнамента и предложил новое деление Мяодигоу на три последовательных периода. При этом два первых периода (по существу субпериода) он объединил в ранний (I), а третий назвал поздним (II). Начальный субпериод первого периода

(Ia) Янь счел возможным приравнять к позднему периоду Саньлицяо [806].

Следует сразу же сказать, что реконструкция Янь Вэнь-мина ничем не лучше реконструкции Ян Цзянь-фана, а сам факт параллельного существования различных построений такого рода может свидетельствовать лишь о произвольности выбора критериев и о невозможности дать бесспорную периодизацию Мяодигоу. Однако гипотеза Янь Вэнь-мина ценна тем, что она позволяет протянуть нить, которая может связать воедино всю систему: от Баньпо — к Саньлицяо, от Саньлицяо — к Мяодигоу.

Гипотезе Янь Вэнь-мина, однако, не удалось просуществовать и полугода, как она встретила возражения, по существу выхолащивающие всю ее суть. В статье Ли Ши-гуя и Цзэн Ци была дана в целом положительная оценка этой гипотезы. Авторы даже отмечали достоинства ее по сравнению с традиционным отождествлением Саньлицяо и Баньпо или с построениями Ян Цзянь-фана. Однако вслед за присоединением к главной мысли Яня о промежуточном характере Саньлицяо, Ли и Цзэн нанесли свой основной удар по гипотезе в целом: вся их статья была посвящена доказательству того, что промежуточный характер Саньлицяо следует рассматривать не во времени, а в пространстве, т. е. что этот вариант — результат скрещивания двух параллельных культурных традиций. Этот факт может показаться парадоксальным: ведь именно раскопки Ли Ши-гуя впервые дали основание считать варианты Баньпо и Мяодигоу хронологически последовательными. Более того, Ли и Цзэн снова подтвердили, что последовательность слоев в Сямэнцунь бесспорна. Однако они добавили, что наследственно-преемственной связи между этими слоями нет. В районе, о котором идет речь (напомним, что Сямэнцунь расположена неподалеку от Баньпо), сосуществовали и смешивались друг с другом различные родо-племенные коллективы яншаосцев. Стоянка, занимаемая прежде одним коллективом, могла затем быть населена другим. И если, с точки зрения археолога, это свидетельствует о последовательности культур, то, с точки зрения историка, это лишь указание на несходство раньше и позже проживавших здесь людей. Другими словами, последовательность слоев в Сямэнцунь, по мнению Ли и Цзэна, не может противоречить факту параллельного существования вариантов Баньпо и Мяодигоу и как результат этого скрещивания их, свидетельством чего и является, по их мнению, вариант Саньлицяо [621].

Вывод огромной важности. Не решая проблемы соотношения Баньпо и Мяодигоу, он предостерегает от попыток легкого ее решения. Как известно, радиокарбонные датировки 70-х годов зафиксировали приоритет Баньпо (абсолютный возраст 6080—5600 лет; пересчет с учетом общепринятых стандартов дает 3944—3477 гг. до н. э. [475, 142]) перед Мяодигоу (абсо-

лютный возраст 5245 лет; при пересчете 3307 г. до н. э. [475, 152; 669, 56—57]) и тем, казалось бы, закрыли проблему: в публикациях 70-х годов к ней, по существу, не возвращаются. Однако проблема, на мой взгляд, осталась нерешенной.

Во-первых, кроме Баньпо и Мяодигоу китайские археологи не выделяют иных вариантов-этапов, так что, если рассуждать логически, на долю этих двух приходится почти два тысячелетия существования Яншао в центральной зоне. А если учесть, что почти каждую новую находку сейчас привычно уподобляют Баньпо [607; 624] либо Мяодигоу [685, 309; 763, 459—460], то следует заключить, что эти варианты как комплексы культурных признаков существовали по многу веков, если не по тысячелетию. А раз так, то зафиксированная радиокарбоном разница в несколько веков (5600 лет, если брать наипоздиейшую датировку, для Баньпо и 5245 лет для Мяодигоу) реально мало что значит, так что практически оба варианта могли на протяжении многих веков существовать параллельно. И вопрос о том, какой из них все-таки раньше, не может быть решен случайной датировкой: для этого нужно датировать все или почти все важнейшие стоянки обоих вариантов. Во-вторых, если даже довериться радиокарбону и принять, что Мяодигоу позже Баньпо, значит ли это, что оно — наследник Баньпо? Ведь обильная и разнообразная роспись Мяодигоу, иные типы преобладающей керамики, специфические тотемные изображения — все это в гораздо большей степени связывает Мяодигоу с ганьсуйским Мацзяо [789, 326], нежели с Баньпо.

ВАРИАНТЫ ЯНШАО В ГАНЬСУЙСКОЙ ЗОНЕ

Ганьсуйская зона — подлинный заповедник китайской расписной керамики. Именно здесь эта культура просуществовала долее всего — несколько тысячелетий (из шести этапов Андерсона пять приходится на Ганьсу) — и дала наиболее замечательные образцы великолепной керамики и художественной орнаментальной росписи. Уже первые публикации находок из Ганьсу [268] вызвали заинтересованный отклик специалистов, увидевших в формах и орнаменте ганьсуйской керамики немалое сходство с аналогичными элементами культур расписной керамики в Триполье, Анау, Иране и т. п. И хотя с течением времени проблема становилась все более сложной, а поверхностное сходство — все более неопределенным, принципиальная близость культур ганьсуйской зоны к западным продолжала привлекать внимание. «Ганьсу — одна из самых загадочных археологических проблем, — писал У. Фэйрсервис. — Здесь должно быть связующее звено между Западом и Востоком в доисторические времена, хотя современные данные едва ли могут это подтвердить. Что мы знаем определенно — так это то, что эта провинция являла собой один из центров наивысших культур-

ных достижений доисторической эпохи, вероятно, во II тысячелетии до н. э.» [358, 113—114].

В послевоенные годы китайские археологи основательно и целеустремленно обследовали ключевые районы Ганьсу, в том числе бассейны рек Вэйхэ, Таохэ, Цзиншуй. О своих находках и их интерпретации они сообщили в многочисленных публикациях [563; 564; 594; 595; 596; 597; 598; 609; 641; 642; 647; 648; 649; 650; 663; 664; 665; 666; 671; 691; 692; 693; 711; 731; 756; 757; 758; 761; 778; 779; 784; 789; 790; 802]. К 1960 г. в Ганьсу было обнаружено 804 местонахождения неолита и энеолита [758, 12], среди них несколько двухслойных, даже многослойных, которые окончательно позволили решить «проблему Цицзя». Однако на передний план в публикациях вышла новая проблема — Мацзяо. Речь идет о взаимоотношениях между культурой типа Мацзяо, близкой к Яншао (особенно в его мяодигоуском варианте), но кое в чем все же отличной от него и получившей в археологических публикациях наименование ганьсуйское Яншао, и культурой собственно Яншао (центральной зоны), ответвления которой в Ганьсу весьма заметны.

Из 804 местонахождений на долю яншаоских стоянок приходится (к 1960 г.) 318, причем эта цифра почти поровну делится между собственно Яншао, Яншао в Ганьсу,— 161 — и ганьсуйским Яншао, Мацзяо, — 157. При этом в процессе археологического обследования Ганьсу выявилась довольно любопытная закономерность. Стоянки собственно Яншао располагались преимущественно в восточных уездах провинции и приходились в основном на бассейн Вэйхэ, начиная с верховьев этой реки и вплоть до границы с Шэньси, где Вэйхэ неподалеку от Баньпо впадает в Хуанхэ. Стоянки ганьсуйского Яншао, напротив, группировались в основном в западных и юго-западных уездах Ганьсу, в бассейне Таохэ, ее притоков и некоторых близких к ней рек, впадающих в Хуанхэ в районе столицы провинции — Ланьчжоу [594, 7—8; 758, 12—13].

Следует сразу же сказать, что разница между обоими вариантами — собственно Яншао в Ганьсу и ганьсуйским Яншао — весьма невелика. Более того, можно предполагать, что, если бы не проведенное Андерсоном и прочно вошедшее в литературу деление неолита расписной керамики в Ганьсу на этапы, эту разницу вначале легко могли бы и не заметить. Стоянки ганьсуйского Яншао, раскопанные в 50-е годы, не были идентичны классическому Мацзяо, а стоянки собственно Яншао заметно отличались от классического Яншао, причем суть этих различий сводилась к тому, что между обоими вариантами оказалось немало общего. Строго говоря, едва ли не подавляющее большинство из 300 с лишним обследованных стоянок находилось как бы посредине, между «крайностями», олицетворенными классическими Мацзяо и Яншао. «Чистых» в этом смысле стоянок оказалось явное меньшинство.

Важно отметить и еще одно заслуживающее внимания обстоятельство. «Чистые», классические стоянки тяготеют к полюсам ареала, о котором идет речь. Археологи установили, что, чем ближе стоянка к восточному краю зоны, тем меньше в ней примесей Мацзяяо, чем дальше от него — тем таких примесей больше. В какой-то точке количество переходит в качество и возникает обратная картина: чем ближе стоянка к западу зоны, тем меньше в ней примесей собственно Яншао, чем дальше от него — тем больше. Другими словами, к востоку от какой-то линии, между бассейнами Вэйхэ и Таохэ, стоянка может быть, скорей всего, сочтена и названа яншаоской с большим или меньшим количеством примесей Мацзяяо, а к западу от этой линии весьма сходная со своей соседкой стоянка будет считаться мацзяяоской с соответствующей примесью Яншао. При этом существенно подчеркнуть, что современные китайские археологи, работающие с материалами неолита в Ганьсу, говорят именно о примесях, т. е. исходят из идеи о смешении двух вариантов в различной пропорции, хотя этот тезис ведет их к заколдованному кругу противоречий.

Дело в том, что в 1957 г. в Вацзяпин была обнаружена двухслойная стоянка, верхний полутораметровый слой в которой принадлежал Мацзяяо, а нижний двухметровый — Яншао в Ганьсу [757, 38], причем эта находка была единодушно расценена китайскими археологами как убедительное, стратиграфически подкрепленное доказательство вторичности Мацзяяо по сравнению с Яншао. Но этот вывод с неизбежностью повлек за собой следующий: более раннее Яншао появилось в Ганьсу с востока, из центральной зоны, где оно фиксируется в своем «чистом» виде. Таким образом, «проблема Мацзяяо», а вместе с ней и вся «проблема Ганьсу» была решена для китайских археологов: вся ганьсуйская зона оказалась лишь периферийной ветвью центральной. Ныне этот тезис подкреплен радиокарбонными датировками: наиболее раннее Мацзяяо относят к середине III тысячелетия до н. э. (4540±100 [669, 53]), т. е. ко времени, отстоящему от раннего Яншао центральной зоны на 1—1,5 тыс. лет.

Но как же в этом случае быть с идеей о смешении Яншао и Мацзяяо? Предположим даже, что с Мацзяяо смешивалось позднее Яншао (благо оно, если доверять радиокарбону, сохранялось в центральной зоне почти без изменений тысячелетиями). Но откуда взялось Мацзяяо, с которым взаимодействовало это позднее Яншао? Где его корни? Китайские археологи пытались решить эту загадку по-разному.

В работах Го Дэ-юна тезис о том, что Яншао пришло в Ганьсу из центральной зоны и что оно — более ранний вариант по сравнению с Мацзяяо, не выдвигается на передний план. Отталкиваясь от него, Го Дэ-юн вместе с тем обращает внимание на то, что само Яншао в Ганьсу развивалось под культурным влиянием Мацзяяо [594, 7—8, 14; 595; 596]. Более того, в

одной своей статье он пишет, что ганьсуйское Яншао возникло в самом Ганьсу [595, 142], т. е. независимо от собственно Яншао. Из этой позиции вытекает, что, хотя собственно Яншао, как это принято теперь считать и как это считает сам Го, предшествовало Мацзяо, практически оба этих варианта (по Го, обе культуры) существовали в Ганьсу одновременно. В противном случае ни о смешении, ни тем более о влиянии Мацзяо на проникавшее в Ганьсу собственно Яншао не могло бы быть и речи. Противоречивость этой позиции бросается в глаза: если Яншао в Ганьсу предшествовало Мацзяо, то каким образом уже первые (восточные, пограничные с Шэньси) его стоянки могли получить примеси Мацзяо и развиваться под влиянием этой культуры? И если признать факт такого влияния, то на каком основании можно говорить о приоритете Яншао? Конечно, сам Го Дэ-юн может просто отослать всех своих оппонентов к материалам стоянки Вацзяпин и тем как бы «закрыть» вопрос. Однако материалы стоянки, будто бы неопровержимо свидетельствующие в пользу приоритета Яншао в Ганьсу, никак не избавляют Го Дэ-юна от обязанности быть логичным в своих построениях.

Противоречие, о котором только что шла речь, — не единственная слабость концепции Го Дэ-юна. С точки зрения интересующих нас проблем гораздо большее значение имеет то, что эта концепция не в состоянии объяснить, откуда же взялась культура Мацзяо. Возникнув в Ганьсу и, как это следует из материалов и предположений Го Дэ-юна, явно не из собственно Яншао, эта культура должна была иметь свою историю, свое прошлое. Кроме того, она не должна была быть родственной прибывшей извне культуре Яншао. На деле, однако, оказывается, что никаких корней культуры Мацзяо в Ганьсу обнаружить нельзя, а возникавшие будто бы независимо друг от друга, в разных районах (в Ганьсу и в Шэньси—Хэнани) Мацзяо и собственно Яншао оказались в конечном счете очень близкими друг к другу, практически вариантами одной и той же культуры.

Иначе подходит к трактовке этой проблемы Чжан Сюэ-чжэн, раскопавший и описавший двухслойную стоянку Вацзяпин. Отталкиваясь от материалов Вацзяпин, он уверенно пишет, что ганьсуйское Яншао позже собственно Яншао и что последнее пришло в Ганьсу из центральной зоны. Однако он при этом подчеркивает сходство обеих культур, указывает на то, что Мацзяо и Яншао сближает значительно большее, чем разделяет, и напоминает, что ганьсуйское Яншао (хотя оно и возникло позже) все-таки влияло на собственно яншаоские стоянки в Ганьсу [758, 18, 26]. Таким образом, Чжан Сюэ-чжэн фиксирует генетическое родство Яншао и Мацзяо, но вопрос о происхождении воздействовавшего на Яншао Мацзяо он фактически оставляет в стороне.

Несколько менее противоречива позиция Ян Цзянь-фана, который в этом вопросе пошел дальше своих коллег. Из его статьи вытекает, что Мацзяо развивалось под воздействием Яншао, которое продвигалось в Ганьсу с востока на запад [802, 70]. А так как Ян не делает акцента на смешении культур, его позицию можно понять таким образом, что ганьсуйское Яншао развивалось и приобретало свои специфические черты в результате проникновения Яншао в Ганьсу. Однако — и это важно иметь в виду — сам Ян столь определенно не высказывается и уж, во всяком случае, не критикует концепцию смешения. Другими словами, и в позиции Яна противоречия остаются, и незаметны они только на первый взгляд.

Таким образом, тезис о смешении Яншао и Мацзяо фактически присутствует в построениях всех археологов, касающихся этой темы, несмотря на то что это рождает неразрешимые противоречия. Но, прежде чем пытаться выяснить причины столь настойчивого стремления интерпретировать ситуацию в Ганьсу именно с позиций тезиса о смешении Яншао и Мацзяо, обратим внимание на общий культурный облик и важнейшие характерные особенности тех нескольких сотен стоянок Яншао и ганьсуйского Яншао, которые являются фактической основой для постановки и решения проблемы генезиса неолита в Ганьсу.

Сначала — о стоянках Яншао. Как упоминалось, яншаоские стоянки в этой провинции в основном сконцентрированы в бассейне реки Вэйхэ и ее притоков и практически смыкаются в единое целое со стоянками Яншао в центральной шэньси-хэнаньской зоне. Географическая близость и явное генетическое родство обусловили большое культурное сходство между стоянками собственно Яншао в обеих зонах. В Ганьсу на этих стоянках обнаружен типично яншаоский каменный инвентарь — топоры, ножи, в том числе перфорированные, тесла, долота, лопаты и т. п. В основном каменные изделия шлифованные, но попадаются и грубые, оббитые — чаще всего среди наиболее крупных орудий. Наряду с каменными встречаются керамические ножи и кольца-диски, в том числе напрясла. Немало изделий изготовлялось из кости, в частности ножи, наконечники стрел, шилья и т. п.

Особого внимания заслуживает керамика. Как и в центральной зоне, преобладает грубая и нерасписная. Это по преимуществу кухонные, столовые и хозяйственные сосуды из глиняного или песчаного теста, красноватые или серые, с грубым шнуровым или линейным орнаментом, с налепами в виде зубчатых полос, а то и вовсе без орнамента, с грубоватой шершавой поверхностью. По форме это корчаги-котлы ган, котлы-чаши пэнь, чаши-миски бо, плоскодонные и остродонные кувшины пин с узким горлом, обычно с ручками на тулове, узко- и широкогорлые кувшины гуань с небольшим венчиком или вовсе без него

и с утолщенным (пузатым) туловом. Расписной керамики на этих стоянках довольно много. Роспись в основном одноцветная, черным по красному фону. Преобладает геометрический орнамент из кривых и зубчатых линий, сферических дуг, окружностей, больших точек-пятен, ромбовидной штриховки, листьевидных овалов и т. п. Орнаментом покрывались кувшины гуань и пин, миски бо, причем расписывалась наружная поверхность сосуда, как тулово, так и венчик. Изредка геометрический орнамент заменялся рисунком, например изображением ящерицы [594, 8—9; 757, 40; 758, 14].

Все формы сосудов, все виды керамики (глиняная и песчаная, серая и красноватая, расписная и нерасписная), все элементы орнамента типичны для Яншао [758, 13]. Однако эта идентичность все-таки не абсолютна. Даже более того. Правильней было бы сказать, что в яншаоских стоянках центральной зоны, во всех ее вариантах, практически нет ни одного типа сосудов, вида керамики, элемента орнамента или приема росписи, которые принципиально чем-либо отличались бы от того, что фиксируется в яншаоских стоянках Ганьсу. В то же время в Ганьсу встречается порой нечто такое, чего нет в центральной зоне, например практика росписи сплошной наружной поверхности сосуда или высокого венчика сосуда. Правда, это более характерно для Мацзяяо, но нередко встречается и в яншаоских стоянках, где это относится как раз за счет «примесей». Другими словами, роспись керамики более западных стоянок Яншао (т. е. Яншао в Ганьсу) обильнее и разнообразнее, чем стоянок того же Яншао в центральной шэньси-хэнаньской зоне.

Заслуживает внимания многообразие сосудов. Их набор явно свидетельствует о недифференцированности яншаоских стоянок в Ганьсу. Даже при первом знакомстве бросается в глаза, что в этих стоянках — в общем очень близких друг к другу и явно принадлежавших к одному культурному типу, к одному варианту (хотя, как упоминалось, для объяснения их несколько непривычного облика говорят о «вкраплениях» и «примесях» Мацзяяо) — содержатся черты, которые в центральной зоне наиболее типичны либо для одного, либо для другого варианта. Так, в яншаоских стоянках Ганьсу обычны остродонные сосуды, которые характерны именно для Баньпо и редки в Мяодигоу. В то же время в росписи сосудов довольно обычна ромбовидная штриховка и встречаются изображения ящерицы (скорей даже человеко-ящерицы), что типично именно для Мяодигоу, но не для Баньпо [646, л. илл. V—VIII, XIV, XVI—XVII, XXVII, XXXVIII]. Можно упомянуть и о том, что именно в Баньпо встречается роспись внутри сосудов, обычно мисок и чаш, которая характерна для Мацзяяо и для стоянок Яншао в Ганьсу. В этих же стоянках, как и в Мацзяяо, можно найти практику двухцветной черно-красной росписи, которая встречается в Мяодигоу, но нетипична для Баньпо. В Мяодигоу и в яншаоских

стоянках в Ганьсу фиксируется также сходная нерасписная керамика с линейно-зубчатыми налепами [646, л. илл. XLII—XLIII], нехарактерная для Баньпо.

Этот своеобразный перечень можно было бы и продолжить. Он свидетельствует о том, что ответвление собственно Яншао в Ганьсу отличается недифференцированностью, наличием признаков обоих главных вариантов-этапов Яншао центральной зоны, Баньпо и Мяодигоу. Конечно, китайские археологи могут объяснить это тем, что в период трансформации варианта Баньпо в Мяодигоу, когда признаки обоих вариантов были налицо, как раз и началось то гипотетическое движение яншаосцев центральной зоны в Ганьсу, о котором все они пишут. Ведь поставлена же проблема промежуточного варианта Саньлицяо, хотя вопрос о том, во времени или в пространстве следует рассматривать промежуточный характер этого варианта, ими еще не решен. Но то, что в центральной зоне предстает в качестве уникального явления (промежуточный вариант типа Саньлицяо), для Яншао в Ганьсу — правило, норма. Может быть, это следует объяснять иначе, учитывая при этом и загадочную проблему генезиса ганьсуйского Яншао — Мацзяяо? Но для этого сначала следует ознакомиться с обликом этой культуры, распространенной в западной части Ганьсу.

Что касается каменной и костяной индустрии, так же как и практики строительства жилищ или гончарных печей (несколько таких печей было раскопано близ Ланьчжоу [731, 4—5], то они здесь от типично яншаоских принципиально ничем не отличаются. Различия начинаются с керамики и становятся особенно наглядными на примере расписной керамики.

Для всех этапов и субвариантов ганьсуйского Яншао (Мацзяяо, а также несколько более поздних Баньшань и Мачан) керамические изделия в самых своих основных общих чертах одинаковы и, по существу, близки к яншаоским. Как и в Яншао центральной зоны, здесь преобладает песчаная и глиняная керамика красноватого и серого цвета, хотя серая встречается реже. Обычны грубый шнуровой орнамент, линейно-зубчатые налепы [802, 74, рис.], сосуды без орнамента с грубой шершавой поверхностью. Однако наряду с ними можно встретить сосуды с гладкой поверхностью [648, 7].

Преобладающая форма хозяйственных, кухонных и столовых сосудов — кувшины и чаши. Здесь можно встретить, как и в Яншао, широкогорлые кувшины гуань, корчаги ган, кувшины пин с узким горлом, высокой шейкой и округлым туловом, узкогорлые кувшины вэн с удлиненным туловом. Однако наиболее типичным и часто встречающимся следует считать пузатый кувшин с высокой шейкой и расширяющимся, изогнутым наружу венчиком. Этот тип кувшина, почти неизвестный в собственно Яншао, обычно считается наиболее характерным для ганьсуйского Яншао. Среди чаш и мисок преобладают типы пэнь и бо

с изогнутыми венчиками, вань, юй — без венчика. Среди более редких сосудов — чаша на поддоне типа доу и кувшин цзунь с очень широким горлом, незаметно, с небольшим изгибом переходящим в сравнительно узкое тулово. Сосуды исключительно плоскодонные. Остродонные настолько редки и необычны, что Чжан Сюэ-чжэн в своем описании верхнего (мацзяоского) слоя стоянки Вацзяпин счел нужным предположить, что остродонные сосуды в этот слой попали из нижнего, собственно яншаоского слоя [757, 39—41]. Все сосуды, так же как и яншаоские, ручной обработки, хотя многие из них по форме столь совершенны, что нередко производят впечатление выделанных на круге. Особенно это относится к расписным кувшинам (урнам) типа ху. Стоит заметить также, что на кувшинах гуань, ху, пин довольно часты ручки на тулове. Ручки можно встретить и на других сосудах, в том числе на чашах пэнь, поддонах доу и т. п. [подробнее см. 273; 472; 515; 594, 8; 597, 583; 609; 640, 72 сл.; 648; 664; 711; 756, 1—2; 758, 13—17 и л. илл. I—III; 789, 318 сл.].

Расписной керамики в ганьсуйском Яншао много, значительно больше, чем в Яншао центральной зоны и даже в Яншао из Ганьсу. Кроме того, сама роспись несравненно богаче, ярче, разнообразней, покрывает значительно бо́льшую часть сосуда, чем в собственно Яншао, нередко почти целиком всю его поверхность. Многие сосуды с открытыми внутренними поверхностями типа чаш, в том числе и чаши на поддонах, иногда расписаны изнутри. Очень часто роспись покрывает шейку кувшинообразных сосудов, особенно урн ху, а также венчик сосудов и чаш. Изготовлявшиеся из специальной пасты сосуды затем хорошо обрабатывались, приобретая гладкую, лощеную поверхность красноватого или желтоватого фона. На эту поверхность еще до обжига наносилась роспись, дававшая после обжига черный, иногда черный и красный, а то и белый цвет [648, 7—8; 711, 13—14].

Орнамент на расписных сосудах очень разнообразен. Помимо всех мотивов и элементов росписи на сосудах собственно Яншао — кривые, изогнутые и зубчатые линии, дуги, в том числе сферические, треугольники, окружности, точки, ромбовидная и квадратная сетка-штриховка, крючки и т. п. — здесь можно встретить и характерные только для ганьсуйского Яншао спирали, ровные плавные линии и концентрические круги, меандры, шашечные поля, свастикообразные конструкции и т. п. Б. Соммарштрём насчитал 57 мотивов и элементов орнамента [515], не говоря уже об изображениях людей, животных, монстров.

Такова в самых общих чертах культурная характеристика расписной керамики ганьсуйского Яншао. Роспись здесь обильней, разнообразней, развитей прежде всего потому, что модификации этой культуры существовали в Ганьсу намного дольше, чем собственно Яншао в центральной зоне. Схема этапов

и субвариантов Мацзяо (включая Баньшань и Мачан; остальные, как Синьдянь, Сыва, Шацзин, относятся уже к эпохе бронзы) пока спорна. Одни авторы высказывали мысль, что все субварианты параллельны [640, 26—27], другие полагают параллельными Мацзяо и Баньшань, третьи считают Мацзяо более ранней по сравнению с Баньшань и Мачан [789, 318]. В любом случае Мацзяо является наиболее ранним субвариантом, а все три субварианта, близкие друг к другу, обычно объединяются в рамках ганьсуйского Яншао и противопоставляются Яншао центральной зоны, с которым они и смешивались в Ганьсу. Но почему обязательно говорят о смешении, а не о трансформации собственно Яншао в ганьсуйское Яншао?

СВЯЗИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВАРИАНТОВ ЯНШАО

Столь настойчиво пропагандируемый в Китае тезис о смешении собственно Яншао и Мацзяо в Ганьсу создает заколдованный круг неразрешимых противоречий. Во-первых, остается необъясненным генезис Мацзяо. Во-вторых, непонятен феномен взаимодействия более раннего Яншао с более поздним Мацзяо, особенно если учесть разрыв в 1,5 тыс. лет, фиксированный радиокарбоном.

Так почему же китайские археологи, для которых все эти несоответствия вполне очевидны, продолжают настаивать на своем? Почему они не прибегнут к какой-либо альтернативной концепции, например к, казалось бы, напрашивающейся точке зрения о возникновении Мацзяо в результате процесса трансформации собственно Яншао в Ганьсу? Ведь такая гипотеза на первый взгляд вполне убедительно разрешила бы многие проблемы: и первичность Яншао, и вторичность Мацзяо, и постепенное нарастание признаков «нового качества» по мере продвижения с востока на запад. Между тем ни Чжан Сюэ-чжэн, ни даже зашедший в этом направлении дальше своих коллег Ян Цзянь-фан не торопятся ставить точки над «и». Ограничиваясь упоминанием о вторичности Мацзяо и о влиянии на нее со стороны собственно Яншао, они на этом останавливаются и от тезиса о смешении не отказываются. Почему же?

Гипотеза трансформации должна соответствовать процессу постепенной эволюции тех или иных культурных элементов, но никак не факту появления их в зрелом виде сначала в небольшом, а затем в более заметном объеме. Другими словами, естественной поэтапной трансформации не получается, так что далеко не случайно в работах китайских археологов говорится о примесях, о смешении. Но единственно ли возможной интерпретацией ситуации в Ганьсу является постулат о смешении более раннего Яншао с много более поздней (но все-таки ухитрившейся взаимодействовать с ним) Мацзяо? Если верить

радиокарбонным датировкам, такого рода смешение кажется вообще невероятным, ибо разрыв в 1—1,5 тыс. лет недопустим для взаимодействующих культур. Но ведь столь же маловероятно отведение на долю вариантов Баньпо и Мяодигоу в центральной зоне почти двух тысячелетий. Однако радиокарбон настаивает именно на этом — и в результате невероятное становится в принципе возможным. Другое дело, что это не исключает и иного объяснения ситуации. Но, прежде чем попытаться предложить его, суммируем уже известные основные факты.

В центральной шэньси-хэнаньской зоне археология фиксирует два основных варианта, практически почти одновременных, Баньпо и Мяодигоу (не считая производных от них субвариантов). Более ранний этап, предшествующий этим вариантам, в бассейне Хуанхэ отсутствует, причем это касается не только Баньпо, но и Мяодигоу, даже если признать его вторичным по сравнению с Баньпо: непосредственно от Баньпо этот вариант едва ли мог произойти.

Стоянки собственно Яншао в ганьсуйской зоне, по соседству с шэньси-хэнаньской, которые пока что не подразделяются археологами на два варианта типа Мяодигоу и Баньпо (хотя такое подразделение, возможно, не исключено в будущем, после более тщательного изучения еще весьма поверхностно обследованных ганьсуйских неолитических местонахождений), являют собой слабо дифференцированный в культурном отношении вариант. Здесь можно встретить характерные признаки и Мяодигоу, и Баньпо, и Мацзяо (ганьсуйского Яншао).

В Ганьсу прослеживается довольно отчетливо выраженная поляризация культурных элементов, от полного преобладания собственно яншаоских на востоке до полного господства мацзяоских на западе. Своего рода «экваториальной линией» между обоими полюсами следует считать водораздел между бассейнами рек Таохэ и Вэйхэ.

В Ганьсу в районе Ланьчжоу, т. е. в бассейне Таохэ, где явно преобладает ганьсуйское Яншао, найдена двухслойная стоянка Вацзяпин, которая дала археологам основание сделать вывод о первичности собственно Яншао и вторичности Мацзяо. Этот вывод решительно подкреплен радиокарбонными датировками.

Проблема генезиса ганьсуйского Яншао в работах современных китайских археологов остается необъясненной. Более того, если принять тезис о смешении собственно Яншао и Мацзяо в Ганьсу, ее вовсе невозможно решить, не говоря уже о том, что сам этот тезис не очень-то вяжется с настойчивым подчеркиванием первичности и большей древности собственно Яншао в Ганьсу по сравнению с Мацзяо. Ведь при такой постановке вопроса очень трудно понять и объяснить, откуда уже в самых первых, восточноганьсуйских стоянках собственно Яншао появ-

ляется отчетливо фиксируемая примесь вполне развитого Мацзяяо.

Можно ли интерпретировать все эти факты иначе чем с позиции смешения «раннего» Яншао с «поздним» Мацзяяо? Можно, но только при условии отказа от некоторых принятых представлений, в том числе и тех, что опираются на известные, пока немногочисленные данные радиокарбона.

Допустим, что собственно Яншао и Мацзяяо — не различные культуры, каковыми они предстают в работах современных исследователей, особенно археологов КНР, а два родственных варианта, уходящих корнями в единую протояншао-мацзяяоскую культуру, которая со временем, развиваясь, разделилась на два потока — Яншао и Мацзяяо. Правомерно ли такое допущение? На мой взгляд, вполне. Во-первых, родство между собственно Яншао (как в центральной зоне, так и в Ганьсу) и ганьсуйским Яншао очевидно, оно бросается в глаза (не случаен даже термин «ганьсуйское Яншао», предложенный китайскими археологами). Во-вторых, различия между ними легко объяснимы, если учесть, что каждый вариант развивался вдали от другого, в своих условиях.

Но как конкретно можно себе представить в этом случае процесс генезиса обоих этих вариантов?

В провинции Ганьсу, где-то в междуречье Таохэ и Вэйхэ, появляется гипотетическая протояншао-мацзяяоская культура, об облике которой дают полное представление 300 с лишним стоянок собственно Яншао и ганьсуйского Яншао, которые обследованы и изучены в Ганьсу. В самом деле, выше уже обращалось внимание на то, что, если бы не привычное деление стоянок на «яншаоские» и «мацзяяоские», вся картина неолита расписной керамики в Ганьсу вполне могла бы рассматриваться в ином свете. Почему мы должны говорить о смешении? Только потому, что нам известны «классическое» Яншао или Мацзяяо? А если взглянуть на все эти «смешанные» стоянки как на самостоятельные, недифференцированные культурные комплексы протояншао-мацзяяоского типа? Можно предположить, что первоначальный облик такой протокультуры включал в равной мере культурные элементы, характерные для всех последующих вариантов. Не исключено, что именно стоянки из района междуречья Таохэ и Вэйхэ, в которых культурные признаки собственно Яншао и ганьсуйского Яншао распределены почти поровну, и относятся к числу наиболее ранних представителей этой протокультуры.

С течением времени и по мере расселения одной группы носителей протокультуры на западе Ганьсу, в основном в бассейне Таохэ, а другой — на востоке, в бассейне Вэйхэ, культурные различия между сложившимися таким образом географическими ареалами стали все более отчетливо поляризоваться. В результате создалась та картина, с которой ныне сталкиваются археологи: по мере удаления от междуречья Таохэ и Вэйхэ к западу

или востоку ранняя, недифференцированная яншао-мацзяяоская по типу протокультура приобретала все более отчетливо выражавшиеся и количественно преобладавшие признаки одного либо другого из тех вариантов (Яншао и Мацзяяо), на которые она распалась.

Именно таким образом могли и должны были возникнуть эти родственные варианты единой культуры. Конечно, сопутствовавшее процессу поляризации вариантов географическое удаление их друг от друга впоследствии привело к значительным различиям и в формах сосудов, и в элементах орнамента, и в мотивах росписи, и даже в цвете теста (фона) расписных сосудов (перечень этих различий — правда, с неправомерно далеко идущим выводом, отрицающим единство культур собственно Яншао,— дан в работе С. В. Киселева [109, 251]). Однако это были различия в рамках единой культуры, основные характеристики которой типичны для обоих вариантов. Другими словами, мы вправе считать, как это верно подметил Чжан Сюэ-чжэн, что Яншао и ганьсуйское Яншао сближает между собой значительно большее, чем разделяет.

Судьбы обоих вариантов в дальнейшем сложились по-разному. Ганьсуйское Яншао в западных уездах Ганьсу и в некоторых соседних территориях просуществовало довольно долго, пережило ряд последовательных этапов эволюции (в том числе энеолитических, представленных Сыва, Синьдянь и другими,— уже после взаимодействия неолита расписной керамики в этом районе с неолитом черно-серой керамики Цицзя—Луншань) и имело несколько субвариантов. На протяжении тысячелетий своего существования этапы и субварианты ганьсуйского Яншао неоднократно вступали во взаимодействие с другими культурами соседних с Китаем регионов, причем эти спорадические контакты также, видимо, сыграли свою роль в формировании культурного облика ганьсуйского Яншао, в приобретении некоторыми его этапами-субвариантами (например, Мачан) столь отчетливо фиксируемого сходства с другими культурами расписной керамики Евразии [273, 287 сл.; 109, 251—253].

Вариант собственно Яншао имел иную судьбу. Не будучи замкнутым в узких рамках бассейна Таохэ, географические условия за пределами которого были мало пригодны для расцвета земледельческой культуры, этот вариант в своем продвижении на восток столкнулся с еще более благоприятными условиями для дальнейшего развития, чем в восточной части Ганьсу. Благоприятные для земледелия территории среднего течения Хуанхэ способствовали развитию этого варианта. Как фиксирует археология, в шэньси-хэнаньской зоне собственно Яншао развивалось быстро и интенсивно, причем здесь оно, в свою очередь, разделилось на два варианта, Баньпо и Мяодигоу, которые, правда, не были разделены географически, но сосуществовали друг с другом в одних и тех же районах. В отличие от ганьсуйского Ян-

шао собственно Яншао, базировавшееся в основном в шэньси-хэнаньской зоне, в восточной части Ганьсу, было, судя по всему, лишь кратковременным эпизодом, исходной точкой для продвижения на восток, где оно просуществовало до появления луншаньско-луншаноидного культурного комплекса Луншань, сменившего в центральной зоне бассейна Хуанхэ неолит расписной керамики.

Предлагаемая гипотетическая реконструкция процесса появления в бассейне Хуанхэ древнейших вариантов яншаоского горизонта имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, она снимает «проблему Мацзяяо»: генезис этой культуры восходит к тем же истокам, что и происхождение всех остальных вариантов Яншао в Китае. Во-вторых, снимается столь затруднительно интерпретируемая проблема смешения ганьсуйского Яншао с появившимся из центральной зоны Яншао в Ганьсу. Такого смешения просто не было, а, напротив, было постепенное размежевание вариантов. В-третьих, получает новое решение проблема происхождения варианта Мяодигоу, столь отличного от Баньпо: этот вариант уже нет надобности генетически возводить к Баньпо, ибо в процессе происхождения его принимали, видимо, участие те самые недифференцированные варианты Яншао, которые археологи зафиксировали в Ганьсу.

Предлагаемой гипотезе противоречат некоторые серьезные факты, нуждающиеся в интерпретации,— прежде всего, данные радиокарбонных датировок. Если принять, что Яншао в центральной зоне на 1,5 тысячелетия старше Мацзяяо, гипотеза будет неприемлема (как, впрочем, и все рассуждения о смешении Яншао и Мацзяяо в Ганьсу). Но обратим внимание на то, что варианты Баньпо и Мяодигоу нерушимо стояли в центральной зоне (судя по данным радиокарбона) не менее 1,5—2 тысячелетий. Есть основания предположить, что и вариант Мацзяяо мог существовать столько же: просто те стоянки, которые были проверены радиокарбоном, оказались поздними. Примем во внимание и еще одно обстоятельство. Нам известна радиокарбонная датировка зрелого Мацзяяо, которому — судя по данным двухслойной стоянки в Вацзяпин — предшествовал слой более ранней культуры. И эта культура — не Яншао, как то иногда представляется в пылу полемики (Яншао под слоем Мацзяяо, значит, Мацзяяо позже Яншао), но нечто иное: «Содержимое нижнего слоя в целом близко к тем изделиям, которые постоянно обнаруживаются в яншаоских стоянках в верховьях Вэй» [757, 39]. Другими словами, нижний слой — это как раз та протояншао-мацзяяоская пракультура, о которой и идет речь в предлагаемой гипотезе. Эта культура радиокарбоном еще не датировалась, и, как знать, что дала бы такая датировка? Думается, что по всем остальным показателям она вполне может быть сочтена одной из самых ранних неолитических культур на территории Китая.

Существуют и некоторые дополнительные конкретные факти-

ческие данные, которые подтверждают правомочность высказанной гипотезы.

Во-первых, это вопрос о захоронениях. Могильники в Ганьсу изучены еще далеко не достаточно. Однако те сведения, которые имеются, дают некоторые материалы для подкрепления вывода о разделении протокультуры яншао-мацзяяоского типа на две ветви, направившиеся соответственно на восток и на запад. В свое время китайские археологи, анализировавшие материалы из Баньпо, пытались объяснить причину того, почему покойники были ориентированы в основном на запад. При этом они, ссылаясь на Э. Джеймса, предположили, что на западе обычно находилась, в представлении древних, «страна мертвых» [667, 219]. Такое объяснение допустимо, однако оно недостаточно: чем объяснять в этом случае любую иную ориентацию? Характерно, что тот же Джеймс указывал в своей обобщающей работе, что гораздо чаще ориентация покойников бывала связанной с представлением о том месте, где находилась прародина племени и куда души людей возвращались после смерти [405, 133—135].

Если взглянуть на практику преимущественной ориентации покойников в основных вариантах Яншао, то окажется, что в Баньпо, Баоцзи, Хуасянь, т. е. в трех важнейших могильниках собственно Яншао в Шэньси, в среднем и нижнем течении Вэйхэ, неподалеку от Ганьсу, покойников хоронили в основном головой на запад [574, 587, 591; 654, 230, 241; 655, 73—74; 667, 218 сл.]. Если же ознакомиться с очень скудными материалами о захоронении мацзяяосцев (имеется в виду могильник в Люцзяпин, близ Ланьчжоу), то окажется, что их покойники в бассейне Таохэ погребались головой на восток [731, 6; 711, 14]. Разумеется, этого еще мало для сколько-нибудь серьезных выводов. Однако этого достаточно для того, чтобы подкрепить предлагаемую гипотезу. Не исключено, что ориентация покойников на восток в западной ветви и на запад в восточной ветви протокультуры яншао-мацзяяоского типа отражает какую-то объективную реальность, в частности представления племен об их прародине (речь идет, разумеется, о прародине в рамках бассейна Хуанхэ, т. е. о том районе в междуречье Таохэ и Вэйхэ, где вначале осела, а потом разделилась на две ветви гипотетическая протокультура).

Во-вторых, это вопрос о Мяодигоу. Создается впечатление, что вариант Мяодигоу выделился в результате сложного процесса культурных взаимодействий не только в рамках собственно яншаоской ветви, но и при участии мацзяяоской ветви. Во всяком случае, современные археологи фиксируют немало параллелей между Мяодигоу и Мацзяяо. Обращается внимание на отсутствие или крайнюю незначительность остродонной нерасписной керамики, на сравнительно обильную роспись, хотя преобладающая форма сосудов различна, а в области некоторых методических принципов росписи (орнамент на внутренней поверх-

ности сосуда) Мацзяо ближе не к Мяодигоу, а к Баньпо. Что касается мотивов росписи, рисунка и элементов орнамента, то здесь близость Мацзяо и Мяодигоу несомненна. Это и ромбовидная штриховка, и параллельные линии, наряду с изогнутыми, и обильная роспись венчика сосуда. Главное же, что привлекает внимание специалистов,— это совпадение практики изображения определенных видов животных (ящерица, лягушка) и птиц в росписи и пластике Мяодигоу и ганьсуйского Яншао, особенно Мачан [789, 325—326]. Конечно, изображения различны, но тот факт, что излюбленные виды изображаемых животных одинаковы и, главное, отличны от тех, что характерны для Баньпо (рыбы и рогатые млекопитающие), дает основание для параллелей и даже предположений о генетической связи, о едином тотеме и т. п. [789, 326].

Наконец, в-третьих, это некоторые дополнительные соображения о генезисе варианта Баньпо. Стоит сказать, что, несмотря на упорные попытки найти его предшественников на территории центральной зоны, кажется вполне вероятным, что и здесь корни уходят именно в Ганьсу, в верховья той самой Вэйхэ, которая явилась колыбелью этого варианта и в центральной зоне. В пользу этого говорят и несомненные аналогии с Баньпо в стоянках еще нерасчлененного на варианты собственно Яншао на востоке Ганьсу (вспомним упоминавшиеся уже обычаи росписи снаружи и изнутри сосуда, наличие остродонных сосудов, практику антропотериоморфных изображений и т. п.). К этому побуждает склониться также практика ориентации покойников. Есть и еще одна существенная деталь. Среди многочисленных рисунков на керамике Баньпо преобладают два основных вида изображений — рыб и рогатых млекопитающих типа козлов и баранов. Специалисты считают эти изображения, особенно столь частые и типичные для Баньпо изображения рыб, нередко в виде человеко-рыб, тотемными. Но почему у баньпосцев среди немногочисленных изображений животных оказались именно козлы и бараны? Ни среди домашних животных, ни в окружавшей их фауне, становившейся охотничьей добычей, по существу, не было ни тех, ни других (редкие костные останки барана настолько фрагментарны и случайны, что специалисты не берутся определить вид животного [667, 224 и 319]). Видимо, именно поэтому авторы публикации материалов из Баньпо сочли, что баньпосцы своими рисунками изображали не баранов и коз, а оленей [667, 165 и рис. 122, №№ 15—17].

Видимо, можно, хотя и с большой натяжкой, счесть изображенных на баньпоской керамике животных оленями. На мой взгляд, сходство их с козами не вызывает сомнений. К этому стоит добавить, что в ближневосточной зоне распространения древнейших культур расписной керамики коз и козлов изображали сплошь и рядом, едва ли не прежде всего и главным образом [144, 351—394]. Встречаются такие изображения и в энеолитиче-

ских культурах Декана [255, рис. 5, 7 и др.]. То же самое в отношении изображений баранов, точнее, даже могучих бараньих рогов (одно из этих изображений авторы монографии о Баньпо соглашаются считать бараньей головой, другое, более стилизованное, они сближают с мифическим иньско-чжоуским тао-те [667, 165, рис. 122, №№ 19, 20]).

В ближневосточной (так же как и, видимо, в североиндийской) керамике все эти изображения имели, судя по исследованию В. М. Массона [144], тотемный характер. Похоже на то, что так же обстояло дело и у яншаосцев. Но отсюда явствует, что баньпосцы (как, впрочем, и мяодигоусцы) имели по меньшей мере два типа тотемных изображений. Одно из них, рыба, было, видимо, «живым» тотемом, наиболее частым и охотно изображаемым. Другое — рогатые млекопитающие, а то и просто могучие рога, как символ,— уходило, по-видимому, в историю, в прошлое этнического коллектива баньпосцев. И если это так, то весьма показательно, что в памяти баньпосцев сохранялись старые тотемные изображения рогатых голов животных, столь редких (если вообще известных) в зоне их обитания в бассейне Хуанхэ и столь привычных в более западных регионах Евразии.

Итак, предлагаемая гипотетическая реконструкция процесса генезиса Яншао исходит из того, что заимствовавшая основные принципы и идеи неолитической революции ближневосточной зоны и реализовавшая эти идеи в специфических условиях гималайско-тибетских и западнокитайских предгорий некая монголоидная по расовому типу этнокультурная общность примерно в начале IV тысячелетия до н. э. спустилась с гор и начала оседать в районе речных долин, прежде всего в верховьях Хуанхэ и ее притоков — Вэйхэ и Таохэ. Уже в первой половине IV тысячелетия до н. э., судя по данным радиокарбонного анализа, существовало раннеяншаоское поселение Баньпо (географически расположенное на той же Вэйхэ в 200—300 км к востоку от места гипотетического перворасселения протояншао-мацзяяоской пракультуры). Есть основания полагать, что основной поток первопоселенцев-яншаосцев направился на восток вдоль Вэйхэ и Хуанхэ. Часть его, оставшись в Ганьсу, со временем сформировала культуру Мацзяяо и остальные культуры ганьсуйского Яншао и более позднего энеолита ганьсуйской зоны. Наконец, часть первопришельцев направилась, видимо, чуть южнее и оказалась в долине Янцзы, в провинции Хубэй (хубэйское Яншао, ставшее фундаментом культуры Цюйцзялин). Скорей всего, именно эта южная ветвь первопришельцев, самостоятельно эволюционировавшая и потому со временем все больше отличавшаяся от родственных ей насельников бассейна Хуанхэ, вскоре достигла и восточного побережья Китая, провинции Цзянсу (ранний Цинлянъган).

Изложенная гипотеза исходит из того, что, хотя перворасселение протояншаосцев было главным событием, положившим на-

чало земледельческому зерновому неолиту в Китае, оно не исключало последующих оживленных связей и миграций отдельных групп земледельцев, как по тому же, уже раз проложенному пути, так и по иным, например через степной коридор с северо-запада в Ганьсу (путь, на который издавна указывали синологи, пытаясь найти дороги, связывавшие протокультуру китайцев с более западными районами) или через юго-западные провинции Китая со стороны Индии и Юго-Восточной Азии, где в III тысячелетии до н. э. возникло и быстро развилось рисосеяние.

ЯНШАО И ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ НЕОЛИТА РАСПИСНОЙ КЕРАМИКИ

Параллелей и аналогий, подчас весьма убедительно свидетельствующих о культурно-генетической связи яншаосцев с неолитом расписной керамики более западных районов, много. И они отнюдь не ограничиваются, как это иногда представляется, сферой росписи на керамике, хотя именно там параллели и связи наиболее очевидны. Немало бесспорных аналогий в погребальном ритуале насельников культур расписной керамики, в частности в обряде захоронения младенцев в керамических сосудах под полом жилищ. Этот обряд, о котором уже упоминалось, принадлежит к числу очень сильных и бесспорных этногенетических признаков, свидетельствующих об общности и родстве культур серии расписной керамики.

Много общего в формах основных орудий труда, каменного, костяного и другого инвентаря, а также оружия. Конечно, кое-что здесь восходит к субнеолитическому инвентарю северных племен. Однако многое вполне определенно напоминает те известные формы, которые очень характерны для всех культур расписной керамики, в частности полированные каменные топоры [ср., например, 667, илл. LXIII; 144, рис. 16; 255, 59, рис. сверху].

Еще больше сходства в керамике, особенно если коснуться не обычных в быту форм (чашки, миски, кувшины и т. п.), а специфических по типу сосудов. Среди последних можно выделить два — триподы типа дин и сосуды на более или менее высоком поддоне типа доу. Оба типа сосудов встречаются если не во всех, то во многих культурах расписной керамики, причем простой ссылкой на функциональное сходство здесь едва ли можно обойтись. Трипод типа дин — небольшой сосуд в виде котелка на трех выступах-ножках. Андерсон в свое время писал, что это, видимо, одно из древних усовершенствований, прошедшее через два этапа эволюции: вначале это был глиняный котелок, поставленный на три камешка, а затем камни были заменены глиняными ножками [272, 222]. Быть может, это было именно так. Однако стоит обратить внимание на то, что сосуд такого типа все-таки был распространен далеко не повсюду, зато в культурах

расписной керамики он встречается достаточно часто. В свое время Арне написал специальную работу, в которой были проведены параллели между триподами Яншао и триподами, найденными при раскопках Трои [276]. Разумеется, из этого еще не могут следовать выводы о каких-либо прямых заимствованиях. Однако с триподами типа дин, опубликованными Шэфером, дело обстоит уже иначе. На рисунках 321, 323 и 324 его монографии изображена группа триподов, в том числе и яншаоских, которые не только весьма близки по типу, но и по существу могут быть сочтены двойниками. Одни из триподов — китайские, другие — из раскопок различных иранских стоянок (Тепе-Гийян и др.). Сходство настолько разительное, что Шэфер пришел к выводу о том, что гипотеза о конвергентном развитии должна быть исключена. Вопрос может стоять лишь так: из Китая в Иран или из Ирана в Китай проникли образцы сосудов такого типа [502, 603]? Сам Шэфер в осторожной форме предположил, что влияние, видимо, все-таки шло из Ирана в Китай [502, 460—465, 603].

С сосудами на поддоне типа доу дело обстоит еще сложнее. В отличие от трипода дин этот сосуд, по существу, не имеет функционального оправдания. В самом деле, какая нужда могла бы заставить, скажем, яншаосцев — если принять, что они развивались параллельно и независимо от других культур расписной керамики, где сосуд такого типа был известен ранее,— поставить чашеобразный сосуд на довольно высокую и не очень устойчивую ножку? Между тем сосуды именно такого типа встречались, хотя и не очень часто, в стоянках Яншао [667, л. илл. CXXXVIII]. Иногда они принимали форму миски, поставленной на такой же поддон, но с чуть более широким и устойчивым основанием и с крупными круглыми отверстиями на поверхности ножки [273, 261].

Сосуды именно такой формы (без отверстий) очень часто встречаются в культуре расписной керамики позднего деканского энеолита, причем здесь они явно были заимствованы из хараппской, а может быть, и прехараппской культуры [255, 109, рис. 32]. Немало их найдено при раскопках неолитических стоянок в Белуджистане [144, 293, рис. 53], а в несколько иной, рюмкообразной форме — в Иране [144, 205, рис. 34]. Однако из всех других ранних культур этой серии сосуд такого типа чаще всего встречается, видимо, в балканско-трипольском районе. Более того, в модификации формы сосуда такого типа в этом районе кроется, как можно полагать, разгадка необычного его вида. Пять сосудов такого типа опубликовал в своей статье Б. А. Рыбаков. Все они представляют собой котло- или чашеобразные емкости, поставленные на довольно широкие поддоны. Но суть в том, что эти поддоны не просто подставки на ножке, а скульптурно-стилизованные группы фигур (нечто вроде кариатид), как бы поддерживающих чашу. Раскрывая семантику этого вида

сосудов, Рыбаков писал, что здесь изображены обнаженные женские фигуры, вздымающие к небу чашу, и что вся эта скульптурная группа символизировала мольбу о дожде. «Позднее мы видим сильную стилизацию этого сюжета — широкая чаша сосуда-жертвенника стоит на высоком полом цилиндрическом поддоне, сохранившем лишь отдаленное сходство с женской фигурой»,— заканчивает он свой анализ [199, ч. I, 26].

Еще задолго до Рыбакова на сосуды такого типа в балканско-трипольском неолите обратил внимание С. Н. Бибиков, который тоже трактовал поддоны как антропоморфные фигурки и пришел к выводу о возможном сакральном предназначении сосудов такого типа [25, 135—140]. Он обратил внимание на существование сосудов такого типа в Месопотамии (Тепе-Гавр) и в Трое-I, причем чаша на поддоне из Трои имела — как и некоторые из трипольских сосудов — большие круглые отверстия на ножке: «Назначение отверстия в верхней части подставки остается пока еще непонятным. Во всяком случае, оно не связано с каким-либо технологическим приемом при обработке и обжиге сосудов, а имело, видимо, какой-то ритуальный смысл» [25, 138].

Таким образом, есть основания полагать, что на начальном этапе эволюции серии расписных культур сосуды на поддонах имели определенный ритуальный смысл, который как-то оправдывал их необычную форму. Позже процесс стилизации, шедший параллельно с процессом некоторого изменения формы сосуда (он со временем становился изящнее, его утончавшаяся ножка приобретала устойчивость за счет расширения круглого дна), совершенно преобразил форму сосуда, а от его былого предназначения остались, видимо, лишь прорези или круглые отверстия на поддоне.

В новом своем виде сосуд получил широкое распространение в энеолитических культурах Индии, Средней Азии [142, 170—178] и в неолите Китая. Как можно полагать, и полая ножка-поддон, и даже отверстия на поддоне в сосудах доу из яншаоских стоянок являются напоминанием о существовавших прежде прототипах сосуда и его древнем ритуальном предназначении.

Теперь несколько слов о каури. Специфическая форма этой раковины, напоминающей вульву, способствовала огромной популярности каури среди земледельцев. Происхождение каури четко локализовано (их собирают на побережье Индийского океана, в странах южных морей), а их широкое распространение и использование с неолита в качестве мерила ценности и наиболее раннего эквивалента денег является результатом контактов между племенами. Андерсон, обнаруживший раковины каури в погребениях при раскопках стоянки Яншаоцунь и нашедший затем значительное количество имитаций каури на погребальных урнах Мачан и Баньшань и в виде поделок из кости (могильник Чжуцзячжай, провинция Ганьсу [274]), подробно остановился на этой проблеме в своей книге «Дети Желтой реки» [272, 19—

20 главы]. Правда, он в основном касался семантики и символики, связанных с каури и ее изображениями. Однако весь смысл его рассуждений, как и посвященной этой же проблеме монографии Б. Л. Богаевского [29], сводился к тому, что культ каури и связанная с ней символика единообразны во всех тех отдаленных областях ойкумены, куда проникала эта раковина.

Количество каури в Яншао невелико. При раскопках важнейших стоянок Баньпо и Мяодигоу их не обнаружили [355, 3]. В ганьсуйской зоне они встречаются намного чаще, а изображения каури на погребальных урнах Баньшань и Мачан хорошо известны. Отсюда явствует, что насельники ганьсуйской зоны Яншао были лучше знакомы с этой раковиной.

Наличие каури в Яншао, культ каури, связанный с общепринятой ее символикой (имитации, изображения), и даже сравнительная редкость этой раковины по мере удаления на восток — все это в определенной степени подкрепляет соображения о роли внешних влияний в процессе генезиса Яншао и о формировании собственно Яншао центральной зоны в процессе поляризации протокультуры яншао-мацзяяоского типа в Ганьсу. Тот факт, что именно Ганьсу сохранила наибольшее число аналогий с иными культурами расписной керамики, может быть воспринят и в том смысле, что ганьсуйская зона Яншао за счет внешних контактов накапливала все большее количество культурных элементов, сближавших ее с иными развитыми земледельческими культурами расписной керамики, располагавшимися к западу от Ганьсу. Но только сравнительно небольшое количество их оказывалось настолько весомым, что преодолевало «ганьсуйский барьер» и попадало к насельникам восточной ветви Яншао, со временем все более удалявшейся от Ганьсу и терявшей непосредственный контакт с западной ветвью. Отсюда то различие, которое фиксируется между Яншао ганьсуйской и центральной зон, отсюда же и тот несомненный факт, что Яншао ганьсуйской зоны более близко к иным культурам развитого земледельческого неолита Евразии, чем Яншао центральной зоны. Словом, очень похоже на то, что интуиция опытного археолога и историка культуры не подвела У. Фэйрсервиса, когда он писал о связующей роли Ганьсу, о том, что именно здесь следует искать ключ к решению загадки генезиса китайского неолита. Рассмотрим в этом аспекте еще некоторые параллели и аналогии между Яншао и культурами расписной керамики к западу от Китая.

В искусстве скульптуры, точнее, керамической пластики яншаосцев были, как и в других культурах расписной керамики, тесно сплетены наивно-эстетическое и ритуально-символическое начала. Ритуальная символика при этом явно определяла характер, а то и форму изображения, что легко видеть на примере многочисленных каменных и керамических поделок подтреугольной фаллусообразной формы [25, 363; 144, рис. 16; 255, рис. 24; 273, л. илл. 21, № 6; 275, л. илл. 73; 417, 65—66]. И хотя нали-

чие подобных поделок чаще всего служит аргументом для споров о матриархате или патриархате в Яншао [626, 51; 690, 261], значение их как характерных культурных элементов и ритуальных символов выходит, естественно, за пределы таких споров. Как и в случае с каури, здесь явно можно проследить определенное сходство как в представлениях, так и в соответствующих им символах. Еще более очевидно это в тех случаях, когда речь идет о символике более усложненной, когда говорить о случайных совпадениях трудно.

Я имею в виду прежде всего и главным образом загадочные антропоморфные фигурки из Баньшань — те самые, одна из которых вынесена на обложку стокгольмского Бюллетеня Музея дальневосточных древностей и потому хорошо известна синологам. Это совершенно особая, по существу, уникальная вещь, почти не имеющая аналогий ни в Китае, ни в других местах: чуть выпуклый сферический зубчатый диск, в центре которого толстая рукоять в форме человеческой головы на высокой цилиндрической шее. Андерсон, опубликовавший три такие фигурки (все они были найдены на холмах Баньшань и затем проданы ему или в стокгольмский Музей), не был уверен даже в их предназначении, предположив, однако, что это могли быть крышки от погребальных урн [272, 329; 273, 240—241 и л. илл. 186—187]. Форма изделий действительно несколько напоминает крышку от сосуда, однако зубчатый край диска заставляет сомневаться в том, действительно ли это были крышки. Не говоря уж о том, что ни в Яншао, ни в других культурах расписной керамики нет следов существования сосудов с зубчатыми краями, сами по себе фигурки настолько необычны и совершенны, что могли иметь самостоятельную ценность. Одно несомненно — ритуальная символика фигурок. Об этом свидетельствует сам их облик: усложненный декор росписи на лице, шее и бюсте, рога или заменяющие их бугры на голове и извивающаяся змея, тулово которой спускается с макушки по затылку одной из фигур, наиболее известной. Кроме того, лица всех фигурок снабжены отверстиями на месте глаз, носа и рта.

В чем смысл и назначение этих фигурок? С чем их можно сравнить или сопоставить? Едва ли не более других этим вопросом интересовался известный синолог Карл Хэнце, автор ряда монографий о ритуальной символике древнего Китая [387; 388; 389; 390; 393]. Долгое время хоть сколько-нибудь приемлемых аналогий в Евразии он, при всей тщательности поисков, не находил — отдаленные аналогии были встречены им лишь в Америке, что само по себе интересно, но никак не отвечает на вопрос о возможных древнейших прототипах таких фигурок. Было очевидно, что поиск этих прототипов должен вестись где-то в ближневосточной зоне. И действительно, в этой зоне за последнее десятилетие кое-что было обнаружено.

Сначала это оказались некоторые сосуды из Хассуны, дати-

руемые VI тысячелетием до н. э. Правда, сходство здесь было весьма отдаленным, да и хронологическое несоответствие несколько настораживало [303, 512]. Но буквально параллельно со статьей об этих аналогиях с Хассуной появилась еще одна, в которой К. Хэнце опубликовал сосуд из Месопотамии, датируемый IV тысячелетием до н. э. Сосуд, о котором идет речь, являл собой нечто вроде пузатого кувшина, высокая и достаточно широкая шейка-горловина которого была покрыта изображением личины, а покатые плечи заканчивались где-то в средней части кувшина зубчатой зигзагообразной поперечной линией, которая, судя по всему, опоясывала весь кувшин. По мнению Хэнце, сравнивавшего этот сосуд с баньшаньскими фигурками, сходство между обоими изделиями несомненно и баньшаньские фигурки следует считать «китайской версией» месопотамского образца [392, 181—182].

Действительно, сходство между изображением на месопотамском кувшине (такая же личина, с четко обозначенными глазными впадинами, носом и ртом, с линиями, покрывавшими лицо и создающими иллюзию слез, вытекающих из глаз, и, наконец, с обрамленным зигзагообразной линией бюстом, поверхность которого также покрыта декором) и баньшаньской фигуркой довольно очевидно, хотя одно изделие являет собой рисунок на сосуде, а другое может быть отнесено к произведениям скульптуры. Специальный анализ орнамента и семантики элементов росписи (зигзаги, ромбы, линии на лице и т. п.) привел Хэнце к выводу, что и ритуальная символика обоих изделий одинакова, что в обоих случаях изображено «плачущее божество», орошающее своими слезами (полосы на лице) землю. Эту же идею в баньшаньском варианте подкрепляет изображение змеи, которая, как и роспись на бюсте, отражает идею времени, смены времен года и календарного исчисления [392].

Реконструкция Хэнце при всей ее возможной спорности в деталях в целом представляется вполне приемлемой. Но в данном случае важно даже не то, насколько верно он трактует эти изделия как изображения лунного божества, «плачущего бога». Важнее то, что все-таки найдена аналогия загадочной и уникальной по своему облику баньшаньской фигурке. Существенно и то, что такая аналогия сближает между собой ближневосточную зону неолитических культур с именно ганьсуньской зоной Яншао: в центральной зоне ничего похожего на такие фигурки нет, во всяком случае в яншаоских стоянках [2]. Едва ли можно

[2] Быть может, отдаленной аналогией, уже явно лишенной ритуального смысла и сохранившей лишь сходные очертания с баньшаньскими фигурками, следует считать крышку к сосуду, обнаруженную на луншаньской стоянке Кэшэнчжуан-II. Сферический (хотя и без зубцов) бюст, высокая шейка-горловина и даже куполообразный венец этой крышки позволяют увидеть в ней, весьма необычной в своем роде, нечто близкое к баньшаньским фигуркам (см. журн. «Каогу», 1959, № 10, стр. 520 и л. илл. II, № 10).

сомневаться в том, что прежде чем баньшаньцы сумели и стали изготовлять скульптурные фигурки описанного выше типа, они должны были пройти длительный путь овладения основами скульптурно-керамического мастерства и ритуально-символических изображений. И не будет ничего удивительного в том, если окажется, что прототипами баньшаньских фигурок были древние сосуды с росписью, напоминающей подобного типа бюст божества.

СЕМАНТИКА И СИМВОЛИКА ОРНАМЕНТА

Более всего аналогий и параллелей в сфере росписи, мотивов и элементов орнамента на наиболее тщательно выделанных расписных сосудах, несших ритуально-культовую нагрузку. Сосуды эти изготовлялись из лучших сортов специального глиняного теста, которое после обжига приобретало желтовато-красновато-коричневатый оттенок. Роспись могла наноситься и до обжига, и после него, цвет ее на готовом сосуде чаще всего был черным, изредка красным, порой даже белым. Покрывалась орнаментом значительная часть поверхности сосуда, в отдельных случаях и внутренняя. Преобладали элементы геометрического орнамента, но встречался и растительный орнамент. Нередко в росписи использовались также териоантропоморфные изображения, изображения животных или частей их тела [582].

Главное, что в этой связи прежде всего заслуживает внимания, заключается в том, что роспись никогда и нигде не была произвольной композицией, свободной игрой кисти мастера. Если бы это было так, изображения и элементы орнамента менялись бы не только от поколения к поколению, но даже чаще. Факты, однако, свидетельствуют о том, что нет, пожалуй, ничего более устойчивого и традиционного, чем мотивы росписи, элементы орнамента и даже наиболее характерные композиции изображений на расписной керамике. Почему же? Главным образом потому, что роспись сосудов не являлась результатом индивидуального творчества свободного художника, напротив, это была строго фиксированная символика, отвечавшая определенным ритуально-культовым представлениям.

Надо сказать, что далеко не все исследователи склонны придавать большое значение ритуально-символическому характеру росписи на сосудах. Нередко они считают, что типы орнамента и изображений восходят либо к узорам плетеных изделий, либо даже к переплетению древних тканей. Иногда — особенно когда речь идет о более близком к нам времени, например о керамике индейцев пуэбло,— эти предположения могут быть более или менее убедительно подтверждены фактами [144, 355—356]. Однако это еще никак не снимает вопроса о роли ритуальной символики. Во-первых, помимо узоров и элементов орнамента, которые генетически могут восходить к переплетению или рисунку ткани

и корзины, в росписи и орнаменте на керамике, как правило, встречается множество других, не имеющих подобных прототипов и явно свидетельствующих об особом, ритуальном их значении. Это признают и те авторы, кто отдает должное идее об эстетическом характере орнаментального изображения [144, 356]. Во-вторых, коль скоро приходится признать, что немалая доля орнамента и рисунков все-таки несла ритуально-символическую нагрузку, нельзя исключить и того факта, что с течением времени и по мере усложнения роли ритуальной символики многие узоры и элементы, первоначально лишенные значения ритуальных символов, могли приобрести его, начать ассоциироваться с теми или иными явлениями или представлениями религиозно-культовой сферы [3]. Вот почему, когда речь заходит о росписи и орнаменте на сосудах серии культур расписной керамики, ни у кого из исследователей в конечном счете нет сомнений в том, что здесь в большей или меньшей степени представлена символика ритуально-культового содержания.

В том, что касается Китая, т. е. расписной керамики Яншао, это бесспорное положение убедительно подкрепляется всей последующей историей развития орнамента на бронзовых сосудах Инь и Чжоу, где нередко встречаются орнаментальные элементы и мотивы, близкие к яншаоским.

Специалистам хорошо известно, что по сравнению со стоянками Яншао центральной зоны роспись на сосудах ганьсуйского Яншао неизмеримо богаче, обильней, разнообразней, причем именно она дает наибольшее количество аналогий и параллелей с росписью на сосудах иных культур расписной керамики. Важно заметить также, что прежде всего эта роспись дала основание вначале Андерсону, а затем и другим ученым ставить вопрос о сходстве, идентичности, влияниях и заимствованиях. Именно она рождает идеи о «ключевом», «связующем» характере ранне-

---

[3] Это в равной мере касается и орнаментальных узоров, и зоо- либо антропоморфных изображений, как весьма реалистически исполненных, так и доведенных до крайней степени схематизации. Более того, специальные исследования показывают, что сосуды с изображениями, выполненными в реалистической манере, и сосуды с аналогичными изображениями, едва угадывающимися вследствие трансформации их в условно-схематические, по существу орнаментальные конструкции, практически одновременны [395, 20 сл.; 144, 353—354]. Этот очень существенный вывод имеет значение и для китайского неолита. Известно, сколько усилий прилагают китайские археологи для того, чтобы установить типологические ряды трансформации изображений (например, рыбы или птицы) из реалистических в орнаментально-схематические [667, 183—185]. При этом чаще всего делается вывод о том, что это была эволюция от ранних модификаций к более сложным и поздним [676, 58, 60]. Эти эволюционно-типологические ряды подчас, как у Су Бин-ци, служат подкреплением для делений того или иного варианта Яншао на периоды и субпериоды. В этом смысле исследования, свидетельствующие о практической одновременности изображений реалистических и крайне схематических, имеют определенное значение для оценки степени весомости аргументации исследователей Яншао.

го земледельческого неолита Ганьсу. Неудивительно поэтому, что едва ли не основные усилия противников теории контактов и значительной роли диффузии в процессе генезиса Яншао сконцентрированы именно на том, чтобы опровергнуть аналогии в росписи на керамике. Примечательно, что эти опровержения, как правило, не связаны с анализом символики и семантики росписи, а основаны лишь на доказательствах несходства, отсутствия полной идентичности в орнаментации или композиции и т. п.

Сомнения в правомочности сопоставлений и аналогий в этом плане появились уже вскоре после первых публикаций Андерсона, в 20-х годах, однако характер целеустремленной кампании все это приобрело значительно позже, причем не без влияния изменений в позиции самого Андерсона, который в 1943 г. пришел к выводу, что наиболее яркие параллели приходятся на вариант Мачан и более поздние этапы — варианты ганьсуйского неолита и энеолита — и еще преждевременно строить сколько-нибудь определенные гипотезы о возникновении Яншао в результате воздействий извне. Стоит заметить, что этот вывод был сделан в разгар второй мировой войны и выпады Андерсона в адрес Г. Шмидта и Л. Баховера, как и всей теории о высших народах (Herrenvölker), якобы принесших свою культуру в Китай, были в некоторой степени обусловлены и политической ситуацией [273, 287—291].

Если же говорить о существе вопроса, то действительно многие параллели, приведенные в таблицах Андерсона, весьма убедительны. Однако принимать их без оговорок едва ли следует. Во-первых, опубликованные в 1956 г. Соммарштрёмом материалы раскопок Мацзяо позволяют заключить, что знаменитая обегающая спираль, которая столь очевидно сближает роспись Триполья с Мачан [273, 288], характерна и для Мацзяо [515, фиг. 10—11]. Во-вторых, роспись на сосудах из Мяодигоу снова поставила на повестку дня вопрос о сходстве и параллелях. «Но самым замечательным в Мяодигоу является, конечно, роспись посуды. В ней можно узнать чуть ли не все мотивы росписей трипольских сосудов, особенно стадии C_1. Вместе с тем орнаменты открытых чаш (рис. 2, 19—23) живо напоминают росписи Анау и даже Убайда»,— писал по этому поводу С. В. Киселев [109, 248]. Правда, он ограничился тем, что зафиксировал такого рода «поразительные совпадения» и предположил, что влияние Анау могло быть причиной появления в Яншао сходных орнаментов [109, 248]. Таким образом, акцент, сделанный Андерсоном в 1943 г. на том, что максимальное сходство иных культур с вторичным Мачан лишает специалистов оснований говорить о роли внешних влияний в процессе генезиса Яншао, ныне явно потерял свое значение. Новые материалы позволяют ставить вопрос о такого рода сходстве и совпадениях уже на самом раннем этапе Яншао. При этом очень важно иметь в виду, что вопрос не ограничивается чисто внешним сходством: гораздо важнее сход-

ство в сфере ритуальной символики, комбинации элементов орнамента и их композиции [4].

Проблемой семантики орнамента в культурах расписной керамики интересовались многие [295; 490; 491; 104]. В этой проблеме немало своих сложностей. Символика одних элементов не вполне ясна и противоречива, других — вызывает споры и различные толкования. Однако тем не менее есть ряд элементов и композиций, занимающих нередко центральное место в орнаментальном изображении, символика и ритуальный смысл которых фактически однозначны и едва ли могут вызывать сомнения.

Специалисты, изучавшие мотивы и элементы орнамента на керамике различных культур Евразии, единодушны в том, что кажущаяся порой случайным и бессистемным нагромождением роспись на самом деле имеет четко определенный ритуальный смысл. При этом на первое место среди всего прочего выходит культ женского плодоносящего (Мать-Земля и т. п.) и мужского животворящего (небесный дождь, змей-дракон, символизирующий влагу, и т. п.) начал, а также идеи смены времен года, солнечного кругооборота, календарного исчисления, повторяемости годового цикла [199; 295]. Этот вывод может быть подкреплен не только общими соображениями о специфических интересах земледельческих племен, для которых плодородие земли, оплодотворяющая сила вовремя выпавшего дождя и правильное исчисление времен года имели жизненно важное значение [380, 335], но и более конкретными указаниями источников. Я имею в виду древнюю китайскую «Книгу истории» — Шуцзин, в которой собраны легендарные сведения о наиболее ранних этапах и деятелях китайской истории, в частности о деятельности древнейших императоров. В главе «Яо дянь» среди описания важнейших нововведений мудрых древних правителей Яо и Шуня едва ли не главное место занимает рассказ о том, что первейшей функцией обоих «императоров» и их многочисленных помощников было следить за небом, изучать движение солнца и луны, планет и звезд, точно устанавливать время летнего и зимнего

[4] Иногда вопрос об аналогиях ставится под сомнение по той причине, что сходство орнамента не стопроцентное. Так, М. В. Крюков, сопоставляя предложенные еще Андерсоном [272, 185] орнаментальные композиции на черепках сосудов из Анау и Яншао, попытался показать, что орнамент на полностью реконструированных (неясно кем, где и когда, об этом не упомянуто [119, 90—92]) этих самых сосудах различен. Даже если согласиться с тем, что реконструкция сделана безупречно (а это едва ли так: есть серьезные основания сомневаться), и принять, что яншаоский орнамент отнюдь не является двойником анауского (факт несомненный и естественный), то разве это значит, что не следует ставить вопроса о параллелях и аналогиях? Не говоря уже о том, что сам факт «поразительных совпадений» бесспорен и общепризнан, гораздо важнее то, что такие совпадения фиксируются отнюдь не только в случайном внешнем сходстве отдельных элементов и композиций. Они — в смысле, в символике росписи, что и дает главное основание для сопоставлений и для выводов о генетическом, этнокультурном родстве.

солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия, определять число дней в году, времена года и т. п. [791, т. III, 39—83; 419, 1—4]. В другой главе этой же книги, «Гао Яо мо», прямо говорилось о том, что именно солнце, луна, звезды, горы изображались на ритуальных сосудах, т. е. на той расписной керамике, о которой идет речь [5].

И действительно, даже самого первого взгляда на характер и основные элементы орнамента на этих сосудах достаточно для того, чтобы убедиться в справедливости утверждений «Гао Яо мо». Среди 57 элементов орнамента на сосудах Мацзяяо, выделенных и описанных Б. Соммарштрёмом, видное место занимают различного рода круги, круги с точками, а также полумесяцы [515, 94—95, рис. 6—7]. Такого же типа круги, круги с точками и полумесяцы в изобилии встречаются на росписи сосудов из Мяодигоу [646, 27—28 и л. илл. V—XXVII]. Сомнений в семантике этих знаков не может быть: Б. А. Рыбаков, например, относит знаки такого типа к категории понятных и бесспорных [199, ч. I, стр. 30 и рис. 7]. К числу подобного же рода понятных знаков Рыбаков относит изображения растений в виде елочек, колосьев, листьев. Такие же знаки нередки и в керамике Яншао, причем семантика и символика их в обоих случаях несомненна: они отражают идею жизни, роста, плодородия [199, ч. I, 30]. К категории менее очевидных, по мнению Б. А. Рыбакова, относятся вульвообразные овалы — символ женского плодородия [199, 31]. На мой взгляд, этот символ тоже бесспорен. Точно такие овалы — либо с прорезью-черточкой, либо с меньшим узким овалом внутри большего — встречаются и среди элементов орнамента Мацзяяо [515, рис. 7, № 46], причем сходство их с обильно встречающимися в баньшаньских и мачанских сосудах изображениями каури подтверждает бесспорность такой интерпретации.

К числу знаков, смысл которых, по представлению Б. А. Рыбакова, лишь «угадывается по связи с другими элементами орнамента», относятся, например, квадраты, разделенные на четыре части двумя перекрещивающимися линиями и снабженные четырьмя точками в центре этих частей. В этом квадрате Рыбаков видит символ обработанного поля [199, ч. I, 31 и рис. 8]. Среди элементов мацзяяоского орнамента есть такие же квадраты. Правда, они лишены наружного оформления и являют собой две перекрещивающиеся линии, но зато в некоторых таких фигурах не по одной, а сразу по три точки в каждой четверти, что поддерживает идею о том, что это и пиктограмма, и символ поля [515, рис. 5, №№ 12—14] [6].

Кроме отдельных элементов ритуально-символический смысл

[5] Эта фраза приведена в реконструированном Б. Карлгреном варианте Шуцзин, состоящем только из аутентичных глав [419, 10—11].

[6] В погребальных баньшаньских урнах можно найти изображение и обрамленного поля [273, л. илл. 90].

имеют определенные мотивы и целые композиции росписи. К ним в первую очередь следует отнести S-образную спираль, иногда помещенную крест-накрест с другой такой же спиралью в виде свастикообразного круга (мотив, очень характерный для ближневосточной зоны). В яншаоской росписи такая как бы вращающаяся вокруг центра спираль бывает трехвостой [515, рис. 7, № 56]. Это явно космический символ, знак ветра или вихря и т. п. [295, 22—25]. В орнаменте на иньско-чжоуской бронзе спиралеобразные завитки позже так и считались «громовым» орнаментом, т. е. символом грома и всего с ним связанного. Круговые спирали, однако, являют собой лишь локальный мотив орнамента. Гораздо более заметную роль в орнаментальной росписи играла так называемая обегающая спираль.

Это — сложная орнаментальная композиция из кругов, спиралеобразных завитков, а подчас также и полумесяцев и иных элементов. В своем самом простом виде она представляет либо расположенные вдоль широкой замкнутой ленты, идущей по всему тулову сосуда, четыре круга, связанные между собой спиралеобразными линиями, идущими слева вверх направо, либо даже спиралеобразную ленту, состоящую из тех же четырех положенных на бок s-образных элементов. Внимательно проанализировавший эту композицию Б. А. Рыбаков пришел к выводу, что четыре круга на непрерывном ленточном орнаменте такого типа — это четыре солярных знака, а связывающие их спиралеобразные ленты — символ хода солнца по небосводу (утром снизу, затем в зените, к вечеру снова внизу). Непрерывность и бесконечность всей композиции символизируют бесконечность этого процесса, бег времени [199, ч. I, 42—43]. Примерно в том же плане, как движение солнца и луны, как космическое движение, рассматривает спиралеобразные мотивы на ганьсуйской керамике и Э. Буллинг [295, 25—46].

Очень важно обратить внимание на то, что, хотя ритуально-культовые представления и символы, лежавшие в основе таких композиций, изменялись крайне медленно, сам орнамент испытывал более заметную трансформацию. Поэтому ни о каком абсолютном сходстве между, скажем, трипольской и ганьсуйской обегающими спиралями речи быть не может. Даже напротив, вызывает удивление формальная близость, идентичность («поразительные совпадения») таких композиций. По-видимому, в тех случаях, когда композиция играла центральную роль в орнаменте и несла основную ритуально-символическую нагрузку, традиционный консерватизм практики ее изображения бывал особенно сильным. Не исключено, что отдаленные потомки не полностью могли понимать символику тех или иных мотивов и композиций, которые были созданы их предками. Отсюда заметная трансформация этих мотивов, усложнение, порой даже вычурность композиций. Так, в практике ленточной орнаментации многих мяодигоуских расписных сосудов идея обегающей спира-

ли настолько усложнена и обременена явно вторичными, возможно декоративными, мотивами и добавлениями, что ее общий смысл не сразу открывается перед исследователем. И все-таки если внимательно посмотреть на все эти ленты, собранные вместе на стр. 27—28 монографии «Мяодигоу юй Саньлицяо» [646], а затем сравнить их с композициями на мацзяяоских сосудах [515, рис. 10—11], обратить внимание на сопоставление Андерсоном таких же обегающих спиралей из Триполья и Мачан [273, 288] и, наконец, посмотреть на образцы, приведенные в статье Рыбакова [199, ч. I, рис. 21, 23 и др.], то трудно не заметить, что в основе всех этих композиций лежит все та же обегающая спираль, символизировавшая движение солнца, бег времени, смену сезонов года и т. п.

Могла ли столь сложная комплексная идея в столь специфическом исполнении и в столь однообразной форме (орнаментальная лента на тулове расписного сосуда) возникать самостоятельно, конвергентно у разных народов, не имевших между собой культурно-генетических связей? Мне это кажется почти невероятным.

Выше уже упоминалось, что спиралеобразные завитки символизировали ветер, вихрь, гром. Развивая эту идею, Андерсон в свое время обратил внимание на то, что сильно закрученные спирали на баньшаньских сосудах могли быть пиктографическим отображением сильнейших вихрей-смерчей, которые нередки в местах обитания яншаосцев и которые должны были у них вызывать немало эмоций. Андерсон предположил далее, что яншаосцы могли, даже должны были именно эти смерчи ассоциировать с деятельностью небесного дракона, который в древнекитайской мифологии был символом ветров, облаков, грома и молний и т. п. [272, 325—327]. Это предположение достаточно обоснованно не только потому, что в исторические периоды в Китае дракон действительно всегда был божеством влаги, подателем дождя, хранителем вод и т. п., но и потому, что мотив змеи, ужа, дракона играл такую же роль в символике орнамента и в других культурах расписной керамики. В анализе трипольского орнамента и космогонических представлений трипольцев Б. А. Рыбаков специально остановился на этом. Он обратил внимание, в частности, на то, что в ряде случаев обегающая спираль трактована в форме обегающих извивающихся змей, причем символика здесь все та же: змеи и ужи с их зимней спячкой и весенним обновлением (смена кожи) символизировали все ту же идею цикла, бега времени. Однако при этом змеи, ужи и драконы несли и вторую семантико-символическую нагрузку: они олицетворяли идею дождя, были как бы символом воды [199, ч. I, 44—45].

Идея дождя, небесной влаги выражалась в росписи на сосудах и более простым способом, в виде ниспадающих сверху вниз прямых или косых параллельных полос [199, ч. II, 24—25]. По-

лосы такого типа часто встречаются на сосудах Мацзяяо [273, л. илл. 57], изредка нечто подобное можно обнаружить и в Мяодигоу [646, л. илл. VI, №№ 1, 2, XVI, № 1; возможно также XXIV, № 5]. Такого рода полосы в яншаоской росписи нередко воспроизводятся в комбинации со спиралями, с изображениями дугообразных параллельных линий (пиктограмма туч?) и т. п. Кстати, именно эта практика изображения идеи дождя дала основание для реконструкции К. Хэнце семантики и символики баньшаньских антропоморфных фигурок.

Столь частые в яншаоской росписи треугольники, зубчатые линии, зигзаги, ромбы, ромбовидная или квадратная сетка-штриховка — эти и некоторые иные элементы геометрического орнамента расшифровать значительно сложнее. Впрочем, некоторые из них, как это достаточно убедительно показано китайскими археологами, являются результатом стилизации изображений животных, в частности встречающихся в керамике Баньпо рыб [667, 183—184]. Другие, возможно, как это предлагает считать Буллинг, символизировали собой горы, быть может даже западные горы, за которые заходило солнце [295, 56—84]. Вообще же многое в элементах, мотивах и композиции орнамента на расписных сосудах продолжает оставаться неясным. Впрочем, далеко не все ясно не только с геометрическим орнаментом, но и с различными зоо-, антропо- и зооантропоморфными изображениями, как вписанными в орнамент, так и нарисованными отдельно.

В частности, довольно необычный феномен представляют собой антропоморфные стилизованные фигурки, нарисованные на нескольких погребальных урнах Баньшань и Мачан. Это вписанные в орнамент из спиралей, кругов и заштрихованных полос стилизованные конструкции из двух рядов параллельных зигзагообразных полос, соединенных толстой вертикальной линией, как бы изображающей хребет антропоморфной фигурки. По существу, самой фигурки нет, нет даже головы — в лучшем случае вместо нее все тот же солярный круг. Однако композиция в целом такова, что зигзагообразные параллельные линии явно символизируют сложенные в коленях и локтях конечности стилизованной антропоморфной фигурки [273, л. илл. 188—191]. Чтобы это было вполне очевидным, на изломах зигзагообразных линий — где надо и где не надо, в том числе на коленях и локтях,— нарисованы пальцеобразные отростки. Как все это следует понимать?

Если учесть, что фигурки вписаны в орнамент, символизирующий определенные космические явления и небесные силы, если принять к тому же, что головы этих фигурок образуют солярные круги (либо такой головой является как бы вся верхняя часть — шейка — сосуда), то божественный характер персоны, о которой идет речь, едва ли может быть поставлен под сомнение. Почти на всех сосудах, кроме одного [273, л. илл. 191 сверху], фигурки упираются головой в небо (т. е. в верхнюю часть сосуда, в со-

лярный круг), а ногами — в землю, т. е. как бы сидят на линии, которой снизу заканчивается орнаментальная композиция[7]. Аналогичные фигурки в аналогичном контексте встречаются на балканских сосудах, причем Б. А. Рыбаков склонен видеть в них изображение многоруких титанов. Правда, балканские фигурки несколько иначе трактованы: они являют собой трехъярусные изображения существа с двумя торсами, поставленными друг на друга, и соответственно с четырьмя руками в двух ярусах — при одной голове и одной паре ног [199, ч. II, 23]. Но очень сходны композиция изображения и место этих фигурок в композиции: между землей и небом, рядом с солярными кругами и иными небесными явлениями, символизируемыми различными элементами орнамента.

Расшифровывая смысл изображения, Рыбаков апеллирует к известным ведическим сказаниям, к мифам о первочеловеке-титане Пуруше. Очень похоже на то, что изображенный на баньшаньских и мачанских сосудах человек-титан тоже восходит своими корнями к аналогичным представлениям (не будем связывать их с ведическими мифами — думаю, что происхождение такого представления намного древнее их, во всяком случае времени их фиксации в письменной форме). Если же вспомнить, что аналогичное предание о первочеловеке-великане Паньгу существовало и в Китае, возможность параллели окажется еще более оправданной.

Правда, здесь есть одно «но». Хорошо известно — и мне, в частности, приходилось писать об этом [55, 237 сл.],— что миф о Паньгу появился в письменной форме лишь в позднеханьское время, уже в нашей эре. О существовании такого мифа среди ханьцев, т. е. собственно китайцев, в доханьское время сведений нет. Возможно, что его и не было, ибо специалисты нередко считают, что по происхождению этот миф, возможно, не собственно китайский, а заимствованный от западных либо юго-западных соседних племен. У ряда соседних с китайцами (на западе) племен действительно зафиксирован миф о великане Паньху, но там этот великан воспринимается в виде собаки. В то же время не исключено, что другой модификацией этого титана был и антропоморфный великан: ведь в Китае как-никак он стал известен именно в таком облике. Как бы то ни было, стоит обратить внимание на то, что в центральной зоне Яншао, т. е. в местах расселения протокитайцев, антропоморфных изображений такого типа не обнаружено: они зафиксированы лишь в баньшаньско-

[7] Б. А. Рыбаков обращает внимание на то, что роспись на многих сосудах как бы являет собой картину мира и соответственно делится по вертикали на три слоя: снизу — земля в виде горизонтальной или волнистой линии, нескольких параллельных линий, посредине — широкая полоса, заполненная солярными кругами, полумесяцами, косыми дождевыми линиями и т. п., это обычное небо, а сверху — верхнее небо, как бы хранилище влаги, также отделенное от среднего яруса линией [199, ч. I, 37—40].

мачанских местонахождениях, т. е. в тех ганьсуйских районах, которые можно считать предковыми по отношению к ряду некитайских племен, бывших вплоть до их присоединения к Китаю в ханьскую эпоху соседями Китая на западе и юго-западе.

Разумеется, все это лишь гипотетическая реконструкция. Однако она далеко не беспочвенна. Ведь антропоморфные ганьсуйские фигурки великана — реальность, как и более поздний миф о первочеловеке Паньгу, который был распространен в Китае усилиями даосов в ханьское либо послеханьское время, когда центр деятельности адептов этой вновь формировавшейся религии был как раз на юго-западной периферии тогдашнего Китая. Во всяком случае, есть определенные основания видеть сходство, даже родство, в идеях, послуживших основой для появления многоруких титанов в росписи на балканских сосудах и антропоморфных фигурок на баньшаньских и мачанских погребальных урнах. Здесь опять-таки многое говорит в пользу того, что сходства и совпадения в элементах и мотивах росписи, равно как и в других изделиях насельников неолита расписной керамики Китая и более западных районов, не следует рассматривать лишь как случайность, от которой можно просто отмахнуться, сославшись на невозможность тысячекилометровых миграций. В том-то и заключается весь смысл этих параллелей и аналогий, что они возникли и долгое время продолжали существовать не потому, что одни народы постоянно влияли на другие, передавая им все свои достижения, а потому, что более поздние и периферийные по отношению к материнскому ядру элементы культуры и этноса даже после длительного и сложного процесса эволюции и скрещиваний с иными этнокультурными компонентами продолжали сохранять в своей памяти, в своем «генетическом коде» многое из древних верований, представлений и идей прошлого, которые были едиными и общими для всех них.

Стоит еще раз обратить внимание и на то, что прежде всего и главным образом это были параллели в идеях и аналогии в изображениях и в ритуальной символике между ганьсуйским Яншао и более западными культурами. Ганьсуйская ветвь Яншао, возникшая и формировавшаяся, как можно полагать, параллельно с его основной, восточной ветвью, сохранила гораздо больше параллелей и аналогий с другими культурами и была ближе к их общей alma mater именно потому, что она располагалась на крайнем западе. Если продвигавшиеся на восток и все более удалявшиеся восточные ветви Яншао быстрее теряли и меньше приобретали те общие культурные черты и элементы, которые связывали между собой культуры расписной керамики Евразии, то с ганьсуйской ветвью дело обстояло как раз наоборот. Являясь как бы щитом, который принимал на себя львиную долю контактов с внешним миром, она не только сохраняла, но и впитывала в себя новые элементы родственных ей культур-

ных традиций[8], чем и следует объяснять как длительное сохранение в Ганьсу культуры расписной керамики (с регенерацией ее даже после проникновения культуры Цицзя, родственной Луншань), так и столь явственно фиксируемые моменты сходства и идентичность с другими культурами запада не только на ранних, но и на поздних этапах ее эволюции.

Таким образом, обстоятельное ознакомление с накопленными археологией материалами о земледельческом неолите расписной керамики Яншао, а также специальный разбор высказанных в связи с анализом этих материалов мнений, предложений, гипотез и реконструкций дает достаточно серьезные основания не согласиться с почти общепризнанной ныне концепцией автохтонности неолита Яншао, сложившегося будто бы в центральной зоне бассейна Хуанхэ на неясной пока основе, но без заметных влияний извне. Анализ введенных в научный оборот материалов позволяет не только оспорить эту концепцию как не объясняющую процесс генезиса Яншао и характер взаимоотношений вариантов этой культуры, но и вновь обратить внимание специалистов на несомненные аналогии и взаимосвязи земледельцев Яншао с другими земледельческими культурами, в частности с культурами расписной керамики Евразии. Разумеется, при этом нет и речи о том, что яншаоский неолит принесен кем-то извне чуть ли не в готовом виде. Напротив, весь смысл предлагаемой реконструкции процесса генезиса Яншао, основанной как на принципиально-теоретических соображениях, так и на детальном разборе конкретного фактического материала, сводится к тому, чтобы показать, как именно в ходе сложного процесса культурного взаимодействия, миграций, смешений племен и рас на местной субнеолитической основе где-то к западу или юго-западу от бассейна Хуанхэ постепенно складывалась развитая неолитическая культура монголоидов, которые на определенном этапе своего развития — возможно, уже в начале IV тысячелетия до н. э.— осели, наконец, в верховьях Хуанхэ, положив начало яншаоскому неолиту.

[8] В этой связи стоит напомнить, что если современные китайские археологи признают какие-либо контакты китайского неолита с западом, то это именно контакты ганьсуйского Яншао, которое они считают вторичным по отношению к восточному Яншао [750, 68; 789, 326].

глава шестая

НЕОЛИТ ЧЕРНО-СЕРОЙ КЕРАМИКИ
(Луншань и луншаноидные культуры)

Высокоразвитая древнекитайская культура расписной керамики на рубеже III—II тысячелетий до н. э. была вытеснена и замещена в бассейне Хуанхэ другой неолитической культурой — Луншань. В конце 20-х годов нашего столетия, после раскопок Андерсоном первых стоянок Яншао и начала раскопок иньского городища в Сяотуни, китайские археологи высказывали мысль о том, что зафиксированные ими наследственно-преемственные связи между Яншао и Инь не были результатом прямого заимствования и непосредственного влияния, что между этими культурами могло, даже должно было быть еще что-то [572, II, 337—347].

Эта точка зрения, сформулированная руководителем раскопок иньского городища Ли Цзи, вскоре нашла свое реальное подтверждение в раскопках стоянки Луншань в Чэнцзыяй, нижний слой которой познакомил китайских археологов с новой неолитической культурой черной лощеной и черно-серой грубой керамики. Хотя типы керамики и особенно каменный инвентарь этой новой культуры во многом напоминали Яншао, было обнаружено при раскопках и немало нового, так что оригинальность, самостоятельность Луншань, ее отличия от Яншао бросались в глаза и считались бесспорными [783; 319]. Кроме того, некоторые культурные черты и признаки Луншань сближали ее с Инь, например наличие гадательных костей, хотя и без надписей. Естественно, что в 30-х годах среди китайских археологов сложилось представление о том, что культура Луншань, ареал распространения которой в отличие от Яншао был зафиксирован на крайнем востоке Китая, существовала практически параллельно с Яншао, но была все же несколько более поздней, развитой и близкой к бронзовой культуре Инь.

Это представление опиралось на данные некоторых раскопок начала 30-х годов, материалы которых оказались достаточно противоречивыми. Так, известные раскопки Лян Сы-юна в Хоугане (провинция Хэнань) позволили ему выделить в 1931 г. три последовательных слоя: Яншао — Луншань — Инь [636, 99—106]. Это могло бы дать некоторые основания для более определенного вывода о том, что Луншань позже Яншао. Однако параллель-

но с раскопками в Хоугане в ряде других стоянок, прежде всего все в той же провинции Хэнань, яншаоские и луншаньские вещи при раскопках обнаруживались в одном и том же слое. Неудивительно поэтому, что у китайских археологов того времени возникло предположение о том, что культура Луншань, продвигаясь с востока на запад, столкнулась в западной Хэнани с Яншао. В одних случаях, например в Хоугане, это привело к тому, что луншаньский слой оказался над более ранним, яншаоским, а в других — к смешению культур, к их тесной связи и взаимодействию. Этот вывод сформулировал, в частности, и сам Лян Сы-юн [636, 94].

Поставленный в очень осторожной форме, тезис о смешении двух культур был далеко не общепринятым. Напротив, среди многих специалистов гораздо большее распространение получило мнение о параллельном и фактически независимом существовании двух самостоятельных неолитических культур на западе Китая (Яншао) и на востоке (Луншань). Именно с этим устоявшимся мнением и вступил в полемику Андерсон в 1943 г., когда он в своей сводной публикации материалов неолита уделил особое внимание довольно многочисленным изделиям из черной лощеной керамики, которые были им найдены при раскопках яншаоских стоянок в Хэнани, прежде всего Яншаоцунь и Бучжаочжай [273, 62—78]. Что касается Бучжаочжай, то опубликованные Андерсоном в 1947 г. материалы раскопок этой стоянки [275] показали, что в ней почти нет расписной керамики. Естественно, что это обстоятельство не могло не вызвать сомнений относительно принадлежности Бучжаочжай к Яншао,— не случайно археологи почти не использовали сведений об этой стоянке в своих последующих работах. Проведенное в 1962 г. повторное обследование этого местонахождения показало, что Бучжаочжай действительно нельзя считать яншаоской стоянкой, ибо из двух обнаруженных здесь слоев верхний оказался типично луншаньским (хэнаньский вариант культуры Луншань), а нижний — переходным яншао-луншаньским типа Мяодигоу-II [720, 433]. Иное дело — стоянка Яншаоцунь, где Андерсон впервые обнаружил слой Яншао (откуда и пошло наименование культуры) и где (все в том же слое) им были найдены изделия явно луншаньского типа.

Вначале Андерсон и его сотрудники не придали находкам черной керамики особого значения. Однако после открытия в Чэнцзыяй новой неолитической культуры Луншань Андерсон установил, что некоторые сосуды из Яншаоцунь принадлежат к тому же типу изделий, что и луншаньские [273, 73—75, рис. 19—20]. Зафиксировав эти бесспорные параллели и еще раз подчеркнув, что изделия из черной керамики были им найдены в том же слое, что и чисто яншаоские, Андерсон призвал китайских археологов проверить его выводы путем вторичных раскопок Яншаоцунь. В то же время он, сославшись на аналогичную картину

с обнаружением в одном и том же слое типично яншаоских и типично луншаньских изделий китайскими археологами Ли Цзи и Лян Сы-юном в стоянке Сиинъцунь в Шэньси [273, 77], предложил считать, что открытый им феномен не является случайностью и что все дело в том, что черная керамика в Яншаоцунь — это начальные шаги новой культуры, которая впоследствии, приобретя ряд других характерных культурных признаков, превратится в зрелую культуру Луншань [273, 76].

Это предположение Андерсона получило признание далеко не сразу. Когда Ся Най, вняв его призывам, провел на рубеже 50-х годов повторные раскопки стоянки Яншаоцунь и получил аналогичные результаты, он предложил иное объяснение. Суть его концепции сводилась к тому, что культура Луншань, первоначальным ареалом распространения которой был восток Китая (Шаньдун), постепенно перемещалась на запад, где она, как это предположил в свое время Лян Сы-юн, сблизилась и смешалась с Яншао [692, 935—937]. Эта концепция смешанной яншао-луншаньской культуры, которая, казалось бы, убедительно подтверждалась археологическими стоянками в Хэнани, получила довольно быстрое признание и широкое распространение в 50-х годах [99]. Именно она легла в основу и ряда сводных трудов по китайской археологии [640; 311]. Однако ей суждено было просуществовать очень недолго.

Уже в середине 50-х годов специалисты в самом Китае и вне его начали высказывать сомнения в истинности теории смешения двух культур, а в конце этого десятилетия публикация материалов раскопок в Мяодигоу и Саньлицяо, сыгравшая столь важную роль в решении ряда проблем собственно Яншао, окончательно убедила китайских археологов в том, что было предсказано Андерсоном еще в 1943 г.: ранние формы и варианты новой культуры черно-серой керамики возникли на базе неолита Яншао. Ныне именно эта концепция является общепризнанной среди специалистов. Однако признание вторичности культуры Луншань и ее наследственно-преемственных связей с Яншао далеко еще не решает всех возникающих в этом плане проблем. Более того, как это ни покажется парадоксальным, в известном смысле оно даже затрудняет их решение: из рук археологов выпали важнейшие критерии, которые могли бы помочь найти грань, отделяющую одну культуру от другой (вспомним упоминавшиеся выше проблемы «Баоцзи», «Цицзя» и «Лицзяцунь»).

Теория о генетической связи и преемственности Яншао и Луншань усложнила решение проблем позднего неолита в Китае еще и потому, что такого рода связь имели и многие другие послеяншаоские по времени культуры, стоянки которых в 50-е годы были в обилии найдены в Центральном и даже Южном Китае. Если принять во внимание, что едва ли не все эти культуры по своему типу в большей или меньшей степени напоминали Луншань и характеризовались прежде всего и главным образом

преобладанием черно-серой керамики и использованием гончарного круга, то станет вполне очевидным, что в 60—70-х годах уже невозможно говорить о культуре Луншань как преемнице Яншао в узком смысле этого слова. Возникла необходимость необычайно широкой трактовки понятия «культура черной (или черно-серой) керамики». Практически речь теперь идет о том, что вся совокупность позднеолитических земледельческих культур, которые сложились на базе Яншао или под влиянием Яншао (имеются в виду связи непосредственные и опосредованные), представляет собой нечто единое, некую «суперкультуру». Эту суперкультуру мы по традиции можем продолжать именовать луншаньской, но по существу она уже давно распалась на группу родственных культур, как собственно луншаньских (переходная типа Мяодигоу-II, хэнаньская, шэньсийская, шаньдунская типа Баотоу и поздняя, «классическая» типа Чэнцзыяй), так и очень близких ей (Цицзя), в том числе луншаноидных (по терминологии Чжан Гуан-чжи), складывавшихся в Центральном и Южном Китае (Цюйцзялин, Люлинь и др.).

Наследственно-преемственная связь между Яншао и всеми этими луншаньскими и луншаноидными культурами едва ли может быть поставлена под сомнение. Как правило, она прослеживается с достаточной степенью убедительности. Однако заслуживает внимания осторожность, с которой трактуется эта проблема даже Чжан Гуан-чжи, уверенным или почти уверенным в том, что именно из бассейна Хуанхэ (где предположительно протекала постулированная им неолитическая революция) достижения неолита распространялись во все стороны, в том числе и на юг. Он ставит вопрос альтернативно, полагая, что наряду с наиболее вероятным вариантом (происхождение всего луншаноидного горизонта, как и собственно луншаньских культур, непосредственно от Яншао) возможен и иной: самостоятельное формирование этого горизонта в бассейне Хуайхэ и Янцзы с последующим установлением контактов с Яншао [305, 147]. И эта альтернативность в постановке проблемы закономерна, ибо кое-что в луншаноидных культурах к югу от Хуанхэ явно свидетельствует в пользу существования иного, кроме Яншао и Луншань, источника их формирования. Это «кое-что», если быть точным, явно свидетельствует об определенных южных связях, которые могли познакомить южнокитайский неолит, например, с рисосеянием.

Проблема генезиса луншаньской и луншаноидных культур не менее сложна и неопределенна, нежели проблема генезиса Яншао. И хотя ныне вполне очевидно, что основу культуры Луншань заложила трансформация поздних яншаоских культур, столь же несомненно и другое: Луншань возникла не только на фундаменте дряхлеющего Яншао. Едва ли не вся суть проблематики луншаньско-луншаноидного горизонта сводится к тому, когда и каким образом многочисленные культуры этого гори-

зонта получили все те важнейшие новые признаки и культурные достижения, благодаря которым все они сделали шаг вперед по сравнению с Яншао.

ПОСЛЕЯНШАОСКИЙ НЕОЛИТ ЧЕРНО-СЕРОЙ КЕРАМИКИ

В 30—50-х годах, в период господства теории о смешении двух неолитических культур, на передний план обычно выдвигалось то, что отличает эти культуры друг от друга. Считалось, что наиболее типичным и характерным признаком для Яншао является роспись на сосудах; для Луншань — тонкостенная лощеная черная керамика, столь великолепно представленная на первой, ныне «классической», стоянке Чэнцзыяй. Однако после пересмотра этой теории специалисты стали подходить к оценке различий между Яншао и послеяншаоскими неолитическими культурами с иных позиций. Расписная керамика, с одной стороны, и тонкая лощеная черная — с другой, стали рассматриваться как своего рода полярные крайности, противоположные точки единого длительного процесса трансформации китайского неолита. В соответствии с этим гораздо большее внимание специалисты стали обращать на культурные признаки обеих культур, которые позволяли наметить наследственно-преемственную связь между ними, проследить весь процесс эволюции и трансформации Яншао. Едва ли не важнейшим культурным признаком, сближавшим между собой Яншао и луншаньско-луншаноидные культуры (и даже в известной мере более поздние культуры Инь и Чжоу), оказалось наличие и нередко даже преобладание грубой серой керамики со шнуровым и близким к нему по типу орнаментом (вспомним постулат Чжан Гуан-чжи о горизонте шнуровой керамики).

В самом деле, грубая серая керамика с характерным для нее орнаментом преобладала и в Яншао, и в луншаноидных культурах, и даже в «классической» Луншань, что в свете современнах взглядов вполне может служить надежным свидетельством культурной гомогенности китайского неолита. В пользу такого рода гомогенности говорят и некоторые другие признаки. К их числу следует отнести большое количество традиционных форм сосудов (кувшины, миски, чаши, сосуды на поддонах, триподы, остродонные сосуды, хотя и изредка встречающиеся, и т. п.), сохранившиеся в послеяншаоских культурах яншаоские каменные изделия (ножи, топоры, заступы и др.), жилища-полуземлянки и иные строения, доставшиеся по наследству от Яншао одомашненные злаки (просо) и породы скота (собака, свинья) и т. п. К этому можно добавить и нередко встречающуюся — особенно в ранних стоянках луншаноидных культур — расписную керамику чисто яншаоского или близкого к нему типа, явно имеющего с ним генетические связи. Словом, на современном уровне разви-

тия археологических исследований в Китае трудно сомневаться, что все послеяншаоские неолитические культуры в той или иной мере, прямо или косвенно, непосредственно или опосредованно получили от Яншао достижения земледельческого неолита.

Однако наряду с этим в культурах луншаноидного горизонта и еще более явственно в собственно Луншань прослеживается ряд культурных черт и признаков, которых не было в Яншао и наличие которых дало им возможность сделать шаг вперед по сравнению с Яншао. Что же это за черты и признаки?

В монографии Чжан Гуан-чжи приведена сравнительная таблица, в которой сопоставляются все основные характеристики Яншао и Луншань [305, 128—129]. Таблица призвана подчеркнуть различия между этими культурами, а также тот факт, что эти различия — результат закономерной культурной эволюции и трансформации. В ряде случаев это не вызывает возражений. Так, постепенное вытеснение временных повторяющихся стоянок земледельцев, столь характерных для Яншао, более или менее постоянными поселениями луншаноидов действительно могло быть итогом определенной эволюции в формах ведения сельского хозяйства, вызванной как некоторыми изменениями в технике, так и в еще большей степени увеличением количества населения. Этим же объясняется и более широкий ареал расселения луншаньцев и луншаноидов по сравнению с зоной расселения яншаосцев. Видимо, как результат спонтанной эволюции может быть воспринята и замена прямоугольных каменных ножей яншаоского типа полулунными, более близкими по форме к серпу, что вызывалось потребностями земледелия, хотя этот вывод уже далеко не бесспорен и для его доказательства нужно провести специальное исследование. Еще сложнее обстоит дело с другими культурными различиями.

Во-первых, это проблема одомашненных злаков. Как известно, яншаосцы возделывали лишь один вид проса — чумизу. Насельники луншаньских стоянок были знакомы и с другими злаками — пшеницей, ячменем, сорго (гаолян). Правда, все эти злаки были в Луншань едва известны, господствовала по-прежнему чумиза. Но если принять, что соответствующие находки относятся именно ко времени китайского неолита [305, 89], и учесть общепризнанные зоны их происхождения, то от вывода о появлении их в Китае извне трудно уйти. С мнением о некитайском происхождении этих злаков, в том числе некоторых сортов проса, солидаризируются и авторы трудов, которые в целом весьма скептически относятся к проблеме внешних воздействий и миграций [154, 69].

Во-вторых, это проблема пород одомашненного скота. В Яншао были известны лишь свинья и собака, причем есть основания полагать, что свинья местной восточноазиатской разновидности была одомашнена (независимо от того, имелись ли у яншаосцев и их предков до этого навыки в таком деле или нет)

самими яншаосцами, хотя авторы книги «Народы Восточной Азии» считают возможными и иные варианты [154, 69]. Зато с новыми породами скота (бык, баран, коза), появившимися в китайском неолите только в эпоху Луншань, дело обстояло более определенно. Все эти породы были одомашнены в Западной Азии в эпоху протекавшей там неолитической революции, причем никаких диких видов животных этих пород, из которых можно было бы спонтанно одомашнить в Китае свои виды быка, барана и козы, наука не обнаруживает. Отсюда с несомненностью следует, что насельники луншаньского неолита могли познакомиться с этими породами домашнего скота только через посредство других народов, вероятнее всего степняков, которые каким-то образом оказались в непосредственной близости от зоны обитания луншаньцев.

В-третьих, это гончарный круг. В первой главе уже говорилось об обстоятельствах его появления и распространения. Круг был совершенно неизвестен в Яншао, едва проявлял себя в переходную эпоху (возможно, это был круг медленного вращения) и довольно быстро вышел на передний план в собственно луншаньских культурах, особенно в поздних. Показательно и еще одно: если в ранних стоянках, еще незнакомых с кругом, расписная керамика, пусть в резко уменьшенном количестве, все-таки изредка встречалась, то в стоянках с заметным количеством изделий, изготовленных на круге, ее уже, как правило, не было. Гончарный круг решительно вытесняет расписную керамику, заменяя ее черно-серой, в том числе и тонкой лощеной. По-видимому, это было связано с изменением конструкции гончарной печи и методики обжига, как об этом пишут китайские и советские специалисты [см., например, 154, 56]. Но можно ли считать эти изменения лишь результатом «игры вкусов», «прихоти моды»? Не вернее ли полагать, что здесь одна устойчивая, хотя и отмирающая, культурная традиция столкнулась с иной, более совершенной? Вопрос сложен. Оставим его открытым и обратимся к еще одному важному пункту, фиксирующему культурные различия Яншао и Луншань.

Речь идет о специфических луншаньских сосудах — триподах типа ли. Вообще говоря, китайский неолит богат триподами различных типов и модификаций. В свое время, после первых находок Андерсона, трипод типа дин на трех ножках-подставках воспринимался даже как своего рода символ китайской цивилизации, пока последующие раскопки не позволили обнаружить в Иране и других местах Западной Азии немало сосудов совершенно аналогичного типа. Однако трипод типа ли в этом ряду занимает свое уникальное место. Этот грубый глиняный сосуд с большими полыми ножками в форме вымени появился именно в Луншань и по происхождению, видимо, не имел ничего общего со столь похожим на него триподом типа дин. Одним из первых производивший сравнительный анализ обоих

сосудов Г. Крил пришел к выводу, что этот сосуд уникален по форме и по замыслу. В отличие от трипода типа дин, который мог возникнуть очень просто — под сосуд типа котелка подставили минимально необходимое для его устойчивости количество ножек [338, 203],— этот трипод мог возникнуть лишь в очень специфических условиях. В каких же именно?

Пытаясь реконструировать эти условия, Ф. Аккерман, специалист по древнекитайским ритуалам, выступила со своей гипотезой происхождения трипода ли. Она предположила, что первоначально это был сосуд, изготовленный из трех шкур с задних ног животных и использовавшийся для сливания туда крови жертвенного животного. Позже именно эта форма и была воплощена в керамике [259, 98]. Гипотеза достаточно убедительна. Она объясняет главное — необычную форму сосуда. Но она идет еще дальше и связывает сосуд типа ли с появлением домашних животных типа козы или овцы (ибо ясно, что единственным видом животных, о которых могла бы идти речь в случае, если мы примем гипотезу Аккерман, были именно и только они — для сравнения напомню о бурдюках). Неясным остается одно: кем были те скотоводы, которые пасли овец и коз и научились выделывать столь необычные сосуды из их шкур?

Дело в том, что, появившись в луншаньских стоянках, триподы типа ли быстро оказались наиболее типичными и широко распространенными видами сосудов в бассейне Хуанхэ. Трипод типа ли просуществовал в Китае достаточно долго, был одним из излюбленных видов сосудов и в Инь, и даже позже. У специалистов, которые почти не встречали сосуда такого типа вне Китая и тем более в других цивилизациях к западу от Китая, сложилось твердое и вполне определенное впечатление, что это типично китайский сосуд, характерный именно для Китая. Еще Андерсон, обратив внимание на сходство ножек ли с женской грудью, пытался объяснить появление этого сосуда в Китае связью его формы с земледельческим культом плодородия [273, 235]. Однако сосуды, на которые он при этом опирался, принадлежали к числу весьма поздних модификаций (ганьсуйские культуры Сыва и Синьдянь), и потому есть основание полагать, что нарочитое сходство некоторых их ножек с женской грудью было уже вторичным явлением. В результате гипотеза Андерсона не ответила на вопрос о происхождении и смысле формы сосуда ли. Вопрос оставался открытым вплоть до появления гипотезы Аккерман, по существу оспаривающей взгляд на сосуд ли как земледельческий по происхождению.

Но почему, собственно, мы обязаны считать, что сосуд ли был изобретен именно земледельцами? Только потому, что он встречается лишь в Китае? Однако, если взглянуть внимательнее на соседние с Китаем территории, то окажется, что сосуды такого типа — причем в их наиболее ранних формах (с длинными ножками и переборками-перегородками внутри) — уже довольно

давно попадались археологам в Монголии, Южной Сибири, даже Маньчжурии. Правда, их обычно датировали довольно поздним временем (середина II тысячелетия до н. э.) и считали появившимися под влиянием китайских луншаньских прототипов [167]. Но доказательств этому обычно не приводилось, ибо обстоятельства находок не позволяли говорить о твердо фиксируемых и датируемых комплексах. Бесспорным оставался лишь сам факт: скотоводы, обитавшие в степях Монголии и Южной Сибири в эпоху позднего неолита, были хорошо знакомы с сосудами именно такого типа и, видимо, охотно использовали их в своих (возможно, ритуальных) целях.

Таким образом, единственный район, где помимо Китая встречаются сосуды типа ли — это степные территории к северу от Хуанхэ. Если только гипотеза Аккерман верна и если нас не подводит логика реконструкции всего процесса, именно отсюда могли попасть в луншаньский Китай и одомашненные козы и овцы,— в противном случае их появление в Китае окажется неразрешимой загадкой: ведь земледельцы-яншаосцы сами не могли одомашнить какие-либо виды скота, если в их распоряжении не было (даже нигде поблизости не было) диких предков животных этих пород. К этому стоит добавить еще одно: вместе, во всяком случае практически одновременно, с сосудами ли, с одомашненными козами и овцами, с гончарным кругом и некоторыми новыми видами керамики (тонкая черная лощеная) в луншаньский Китай попала и практика гадания на лопатках баранов — скапулимантия. Скапулимантия получила свое огромное развитие в Китае позже, в эпоху Инь, когда именно на этих гадательных костях иньцы начали писать. Однако впервые гадательные кости без надписей появились именно в Луншань.

Напрашивается предположение, что все эти важные новшества — или почти все — можно связать воедино, а появление их в послеяншаоском неолите Китая отнести за счет контакта с какими-то иными неолитическими культурами, сыгравшими весьма своеобразную (но далеко не уникально-исключительную!) роль посредника между Китаем и более развитыми земледельческими центрами на западе Азии. В принципе такую возможность — особенно учитывая сложность проблемы и отсутствие иных вариантов объяснений появления в Луншань, скажем, одомашненных животных новых пород — едва ли кто-нибудь станет отрицать. Но если принять ее, то сразу же возникнет множество вопросов, которые подчас представляются практически неразрешимыми. Откуда появились в степных районах к северу или северо-западу от Хуанхэ гипотетические племена, владевшие к тому же более высокими достижениями неолитической культуры по сравнению с Яншао? Чем, кроме случайных находок неопределенно датируемых сосудов типа ли, вообще можно подтвердить существование таких племен с их высокой культурой? Почему в конце концов мы не можем принять, что никакого

такого нового культурного — внешнего по отношению к Яншао — комплекса вообще не было и все новые достижения Луншань были все-таки результатом спонтанной эволюции?

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОЦЕССА ГЕНЕЗИСА НОВОГО НЕОЛИТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЯНШАО

Почему мы вынуждены с такой категоричностью ставить вопрос о поисках ряда важных культурных компонентов Луншань вне Яншао? Если в отношении любых компонентов культурного комплекса Яншао еще можно было спорить, отстаивая их гомогенность и автохтонность, то в отношении новых видов злаков или пород скота сомнений нет: они могли попасть в Луншань только извне. А вместе с ними, естественно, и скапулимантия и (если учесть гипотезу Аккерман) столь характерные для Луншань сосуды типа ли. Нововведениями культуры Луншань были еще два важных элемента — гончарный круг и тонкая черная лощеная керамика. Каково их происхождение? Известно, сколь важным, принципиальным изобретением считается в современной культурной антропологии и истории культуры такое изобретение, как гончарный круг. В Яншао его не было. Появление быстрого гончарного круга в Луншань едва ли могло быть результатом спонтанной эволюции Яншао. Для этого не было времени. Именно это ставит гончарный круг и черную тонкую лощеную керамику в один ряд с теми нововведениями, которые попали в Китай в эпоху Луншань извне. Кроме того, гончарный круг в луншаньско-луншаноидных культурах важен не сам по себе, но как орудие, коренным образом изменившее практику изготовления керамического инвентаря. Из истории едва ли не всех культур расписной керамики известно, что появление круга знаменовало конец традиции росписи керамики. Это совпадение характерно и для Луншань, причем едва ли оно было случайным.

Таким образом, среди важнейших новшеств луншаньско-луншаноидного горизонта можно выделить два различных по характеру — хотя, быть может, близких друг к другу по происхождению — компонента. Один, включающий новые породы скота, скапулимантию и сосуды типа ли, явно тяготел к какому-то скотоводческому комплексу. Другой, имеющий отношение к новым видам злаков, новым типам керамики и гончарному кругу,— несомненно земледельческого происхождения. В принципе возможно, что оба компонента были слиты воедино в рамках какого-то гипотетического земледельческо-скотоводческого культурного комплекса, который вступил во взаимодействие с яншаосцами и тем самым дал толчок ускоренной трансформации Яншао в Луншань. Однако не исключено и параллельное независимое

воздействие обоих компонентов на земледельцев Хуанхэ и Янцзы. В любом случае, однако, встает вопрос, где следует искать культуры, которые могли познакомить неолитических земледельцев Китая с нововведениями, характерными для луншаньско-луншаноидного горизонта.

Ответить на этот вопрос нелегко. Более того, готового ответа просто нет. Есть только предположения, поиски, гипотетические отождествления специалистов. На рубеже 50—60-х годов в ряде работ высказывались идеи, суть которых сводилась к тому, что происхождение луншаньской культуры следует связать с иранским неолитом черно-серой керамики [502, 602—603; 449, 48]. Было выдвинуто предположение, что культурный комплекс, о котором идет речь, из Ирана через среднеазиатские и казахские степи достиг Туркестана и Монголии, а затем и бассейна Хуанхэ. Косвенно это предположение подкреплялось реальными фактами резкой инфильтрации иранских племен на рубеже IV—III тысячелетий до н. э. [143]. Принимая во внимание все эти факты, предположения и расчеты, Р. Гейне-Гельдерн выдвинул теорию о глобальных миграционных процессах и мощном потоке культурной диффузии в III—II тысячелетиях до н. э. Та часть этих построений, которая касается непосредственно Луншань, исходит из того, что новый культурный комплекс черно-серой лощеной керамики с гончарным кругом, сложившийся в Северном Иране в III тысячелетии до н. э., явился в конечном счете причиной появления в Китае новой неолитической культуры Луншань [385, 105]. После Гейне-Гельдерна на это же сходство культуры лощеной черной керамики Луншань и Северного Ирана, как и других районов Западной Азии, обращали внимание и иные исследователи, в том числе У. Фэйрсервис [358, 100—101].

Действительно, ныне уже хорошо известный факт постепенного вытеснения на северо-восточных окраинах ближневосточной зоны культуры расписной керамики культурой черно-серой керамики, широко знакомой с гончарным кругом, может натолкнуть исследователя на мысль о заимствовании. Однако при современном уровне знаний и требований, предъявляемых к такого рода широким конструкциям, этого еще далеко не достаточно. Вот почему, отдав должное глобальным построениям таких специалистов, как Гейне-Гельдерн с его огромной эрудицией и великолепной интуицией (качество, весьма необходимое для тех, кто пытается решать сложные задачи со многими неизвестными), можно лишь констатировать, что они правильно поставили проблему, но слишком мало сделали для ее решения.

Накопление все новых и новых данных, преимущественно археологических, создает ныне возможность для более убедительных решений. Прежде всего, стало совершенно очевидным, что процесс давления избытка населения в земледельческих районах ближневосточного неолита вел не только к проникновению новых групп земледельцев-мигрантов во все более отдаленные районы

ойкумены, но и к своеобразной производственной дифференциации на периферии ближневосточной зоны. Часть земледельцев периферийных окраин, оказавшись в менее выгодных для земледелия условиях, делала основной упор на разведение скота и, не порывая с земледелием, постепенно фактически превращалась в полубродячих скотоводов. В том, что такого рода легкие на подъем коллективы скотоводов существовали внутри этой зоны по меньшей мере в начале II тысячелетия до н. э., а скорей всего, и до этого, убеждают ветхозаветные предания Библии, красочно повествующие об истории древних евреев. Но аргументы исследователей опираются отнюдь не только на библейские тексты. Данные археологии Средней Азии и Казахстана убедительно свидетельствуют о том, что спорадические контакты таких земледельцев-скотоводов ближневосточной зоны с более отсталыми местными племенами собирателей, обитавших по соседству с этой зоной, приводили к постепенному преобразованию хозяйственного уклада этих племен, к превращению их в скотоводов [232, 103—111].

Через Среднюю Азию и Казахстан новый скотоводческий хозяйственный уклад становится известным в Туркестане, Монголии, Южной Сибири, где местные охотничьи племена знакомятся с разведением крупного рогатого скота и превращаются в скотоводов [368, 88]. Скотоводство становится широко распространенным способом производства пищи уже на рубеже III—II тысячелетий до н. э. Иногда, как упоминалось, процесс генезиса этого способа производства сравнивают с ближневосточной неолитической революцией, считая его чем-то вроде варианта этой революции (со скотоводческим уклоном). Видимо, этот вариант не следует сравнивать с первым и основным — с земледельческим, ибо скотоводческий уклон был вторичным, определенным местными условиями, делавшими более выгодным и целесообразным выращивать прежде всего и главным образом скот, а не злаки.

Скотоводство — даже при сохранении земледелия, имевшего подсобное, второстепенное значение для хозяйства данного коллектива,— создало принципиально новые условия для существования большого количества племен. Мобильные, быстрые, легкие на подъем скотоводы-кочевники могли покрывать огромные расстояния, часто вступать в контакты даже с отдаленными соседями и передавать им свои навыки и свой весьма несложный в принципе хозяйственный уклад, начиная с самого стада, которое было главным объектом ценностей и всегда становилось первейшей и основной добычей победителя. Вместе со стадом, с пленными женщинами побежденного племени победители получали немало новых культурных навыков и достижений, которые уже в следующем поколении становились естественной составной частью культурного потенциала быстро трансформирующегося коллектива.

Как далеко и насколько быстро шел процесс распространения скотоводства в районах к востоку от Западной Азии? Ответить на этот вопрос достаточно сложно, и тому есть ряд объективных причин.

Начнем с того, что поздний неолит степной зоны (как, впрочем, и ранний) изучен сравнительно слабо. И не потому, что им недостаточно интересовались и занимались. Напротив, именно с изучения этого района начались едва ли не первые археологические исследования Восточной Азии, причем изучение велось достаточно серьезно и тщательно рядом специальных экспедиций. Немало и основательных публикаций, например капитальная работа Д. Маринге́ра [453]. Слабость в том, что сама специфика зоны, с ее неблагоприятными для земледелия почвами и климатическими условиями, не способствовала возникновению и существованию здесь сколько-нибудь стабильных оседлых поселений. Поселения такого типа являли исключительную редкость, да и их раскопки, как правило, мало что давали. Практически раскопки культурного слоя в стоянках и иных местонахождениях этой зоны заменялись поверхностными сборами и случайными недатируемыми находками. Материалов такого рода с течением времени собрано немало, а их анализ позволил специалистам с достаточной степенью полноты составить общее представление о культуре субнеолитических племен охотников и собирателей на большей части территории этой зоны [311, гл. 4].

Однако с периодизацией этих культур дело обстоит значительно сложнее. Долгое время специалисты затруднялись даже определить критерии, с помощью которых можно датировать тот или иной обнаруженный комплекс эпохой мезолита, докерамического неолита или субнеолита, уже знакомого с керамикой и некоторыми другими достижениями неолита. При этом изучались, естественно, наиболее доступные для археолога комплексы степной полосы (Казахстан—Туркестан—Монголия—Сибирь), в частности микролит Гоби. Что же касается районов к югу от этой полосы, особенно районов предгорий и горных хребтов Куэнь-Луня, Тибета и Гималаев, то они исследованы меньше. Между тем в принципе есть все основания согласиться с генеральными реконструкциями Гейне-Гельдерна и предположить, что гипотетическая культура черно-серой керамики не ограничилась воздействием на земледельцев Яншао в бассейне Хуанхэ. Поток, о котором идет речь, явно просочился южнее и, вступив во взаимодействие с местными культурами расписной керамики, создал там луншаноидный комплекс, во многом напоминавший луншаньскую культуру в Хуанхэ, но все же кое в чем и отличный от нее (впрочем, это не мешало и параллельному взаимодействию луншаньских и луншаноидных культур).

Итак, о каких же реально зафиксированных археологами культурах может идти речь в интересующем нас случае?

Если говорить о Средней Азии и Казахстане, то это прежде

всего кельтеминарская культура скотоводов, хорошо знакомых и с земледелием,— та самая, о влиянии которой на Монголию и Сибирь упоминалось в связи с проблемой генезиса неолита в этих восточных регионах. Если ставить вопрос о центральноазиатских степных скотоводческих культурах, то речь должна идти главным образом о неолите Гоби, уже знакомом с керамикой, в частности с изготовлением тех сосудов-триподов типа ли, которые были столь характерной достопримечательностью всего луншаньско-луншаноидного горизонта. Культуры этого типа весьма различны по инвентарю и общему облику, по времени своего существования. Большинство их было знакомо с расписной керамикой, некоторые, наиболее поздние, даже со штампованной [588, 677]. В отдельных случаях среди находок обнаруживали гадательные кости [684], сходство которых с луншаньскими не вызывает сомнений. Близкими к этим культурам, как, впрочем, и к соответствующим культурам Средней Азии и Казахстана, были те, следы которых археологи фиксируют в Восточном Туркестане, хотя в большинстве своем эти культуры тоже достаточно поздние [281; 729; 717]. Похоже на то, что по крайней мере некоторые неолитические культуры Восточного Туркестана могли занимать промежуточную позицию и быть связующим звеном между скотоводами-земледельцами на восточной периферии ближневосточной зоны, с одной стороны, и центральноазиатскими племенами, соседствовавшими с земледельцами яншаоского неолита в бассейне Хуанхэ,— с другой.

Видимо, аналогичную роль промежуточного связующего звена могли играть и племена скотоводов-земледельцев, принадлежавшие к группе южносибирских неолитических культур. Наиболее ярким представителем их могут считаться племена афанасьевской культуры. Правда, эти племена, обитавшие на рубеже III—II тысячелетий до н. э. в районе Минусинской котловины, были более земледельческими, нежели скотоводческими. Однако они были знакомы с разведением крупного рогатого скота [98, 161], игравшего в их хозяйстве немалую роль. Не вполне ясно место племен окуневской культуры, бывших младшими современниками афанасьевцев и проживавших неподалеку от них. Некоторые данные, позволяющие датировать окуневскую культуру началом II тысячелетия до н. э., отмечают известную монголоидную примесь в расовом облике окуневцев [98, 166].

Наконец, стоит упомянуть и о группе культур к северу от бассейна Хуанхэ, уже находившихся в контакте с яншаоскими земледельцами. Культуры этого типа отличались от неолитических скотоводов Центральной Азии. Находясь на южной периферии восточной части той обширной степной скотоводческой зоны, о которой идет речь, эти культуры уже были в известной мере причастны к земледелию, были хорошо знакомы с керамическим производством, в том числе и с расписной керамикой [573, 37—40]. Правда, сходство и культурная близость этих пе-

риферийных культур степной зоны с земледельческим неолитом бассейна Хуанхэ настолько очевидны, что ни у кого обычно не возникает сомнений, что основные достижения земледельческого неолита были ими заимствованы с юга, от яншаосцев. И все-таки этого объяснения явно недостаточно, так как оно не позволяет понять, откуда у этих скотоводческих периферийных культур появились одомашненные породы рогатого скота, с которым яншаосцы не были знакомы. По-видимому, кроме яншаоского неолита периферийные культуры южной полосы степной зоны имели и иной источник культурных влияний и заимствований.

Происхождение этого источника вполне очевидно: следы явно ведут к западу, но минуя бассейн Хуанхэ. Имеется в виду все та же степная зона, перемещения по которой всегда были, особенно для скотоводческих племен, очень простым делом [1]. По-видимому, именно в результате таких широтных перемещений больших миграционных масс, в основном скотоводческих племен, многие достижения ближневосточного и среднеазиатского неолита становились широко распространенными в полосе к северу от Китая. Чем это доказывается?

Специалисты неоднократно обращали внимание на серьезные отличия хозяйства земледельческих неолитических племен III—II тысячелетий до н. э., живших в бассейне Хуанхэ (Яншао) и к северу от него. Разумеется, многое в хозяйстве племен степной зоны, Монголии, Маньчжурии или Приморья было получено в результате культурных связей с Яншао. Однако ряд существенных отличий позволяет полагать, что Яншао было по меньшей мере не единственным источником, откуда эти племена черпали навыки земледелия и скотоводства. Стоит напомнить в этой связи, что в 1960 г. В. Е. Ларичев обстоятельно развил тезис о том, что на северо-западе современного Китая, в Маньчжурии, каменные лемехи-плуги начали употреблять задолго до того, как применение плуга стало известным в собственно Китае [121]. На подобного же рода различия в характере земледелия, с несомненностью указывающие на существование иных, неяншаоских источников культурных заимствований в области земледелия в эпоху неолита, обратил внимание и В. С. Стариков [208]. Примерно о том же говорится — применительно к Приморью — в статье А. П. Окладникова и Д. Л. Бродянского [171].

Быть может, культурное наследие, полученное в результате широтных контактов вдоль степной и лесостепной полосы к северу от Хуанхэ, и не было слишком богатым. Не исключено, что с юга, непосредственно от яншаосцев, их северные соседи, знакомые с земледельческим неолитом, получали больше. Однако для нас в данном случае гораздо важнее сам факт: помимо Яншао племена южной периферии скотоводческо-земледельческой степ-

[1] Степь напоминает море: она не разъединяет, а соединяет противоположные берега, писал в этой связи Л. Бахофер [277, 252].

ной зоны Центральной Азии имели и иной источник культурных влияний. Этому источнику они обязаны своим знакомством со скотоводством, разведением рогатого скота, ставшим основным видом хозяйственной деятельности племен этой зоны. Из него они могли черпать и некоторые сведения о земледелии и т. п. Для тех же племен, среди которых скотоводство преобладало, контакт с земледельческим неолитом Яншао до поры до времени значил, видимо, совсем немного. И только на определенном этапе эволюции, когда племена скотоводов-земледельцев вступили в самое непосредственное взаимодействие с земледельцами-яншаосцами на территории бассейна Хуанхэ, ситуация резко изменилась. Как конкретно это могло произойти?

Экологические закономерности подсказывают, что степные районы к северу от Хуанхэ, равно как и аналогичные районы на восточной периферии среднеазиатской земледельческой зоны, были в равной мере мало удобны для расцвета земледелия. Как уже упоминалось, это могло и даже должно было вести к возникновению на этих степных территориях скотоводческого хозяйства. Однако сами по себе эти природные факторы, сравнительно одинаковые как на восточной, так и на западной окраинах обширной степной полосы, были хотя и необходимым, но далеко не достаточным условием для возникновения скотоводства. Для этого требовалось еще одно обязательное условие: наличие одомашненного рогатого скота. На периферии Хуанхэ, в восточной окраине степной полосы, такого скота не было. На периферии среднеазиатской зоны, в западной части степи, этот скот был. Именно там, на западе, только и могли сложиться первые мощные группы скотоводческих племен. Эти мобильные племена легко перемещались вдоль степной полосы, прежде всего на восток, в неосвоенные степные дали. Кроме того — и это очень существенно — вместе со скотоводством на восток передавались и многие земледельческие навыки, ибо скотоводство было не столько чисто кочевым (каким оно стало для многих центральноазиатских и среднеазиатских кочевников впоследствии), сколько тесно связанным с земледелием.

В близких к бассейну Хуанхэ районах южной части степной полосы скотоводческо-земледельческие племена, распространявшиеся преимущественно в широтном направлении, могли и даже должны были столкнуться с влиянием земледельцев Яншао. Контакты и взаимодействия вели к тому, что на северной периферии бассейна Хуанхэ стали возникать скотоводческо-земледельческие культуры, знакомые как с земледелием яншаоского типа, так и с разведением рогатого скота. Но этим процесс далеко не ограничился. Экстенсивное распространение скотоводческо-земледельческих племен в более южные предгорья, в том числе на территорию тибетско-гималайского горного района (не исключено, что в этом направлении движение земледельцев и скотоводов шло параллельно с основным широтным вдоль степи и

что в тибетско-гималайский район они проникали непосредственно из среднеазиатской зоны, через памирские горные перевалы, через Гиндукуш и т. п.), охватывало бассейны Хуанхэ и Янцзы как бы кольцом. Рано или поздно, но земледельцы неолитического Китая должны были вступить во взаимодействие со скотоводческо-земледельческими племенами, их теперь окружавшими.

Едва ли такого рода столкновение произошло в форме нашествия, в виде единовременной разовой волны, захлестнувшей и поглотившей земледельческие культуры расписной керамики в бассейне Хуанхэ и к югу от него. Скорей напротив, окруженные весьма мобильными и легко изменявшимися, адсорбировавшими новые влияния этнокультурными общностями скотоводческо-земледельческого типа культуры расписной керамики, прежде всего ганьсуйские, сами активно влияли на пришельцев.

Исполняя функции посредника-передатчика и, в свою очередь, подвергаясь интенсивному влиянию со стороны развитого земледельческого неолита яншаоского типа, некоторые скотоводческо-земледельческие культуры с течением времени сами активно трансформировались, все более эволюционируя в сторону чисто земледельческих культур. Превращаясь в земледельцев, они все более активно внедрялись в зону яншаоского неолита, в плодородные долины Хуанхэ и ее западных притоков, а также в долины Янцзы и Хуайхэ. При этом оба процесса — трансформация и перемещение — шли параллельно, так что результат их можно наблюдать только в конечной фазе цикла, т. е. тогда, когда уже на самой территории бассейна Хуанхэ археология фиксирует активное взаимодействие, смешение обеих культур.

Это относится прежде всего к ганьсуйским культурам. Западные провинции, особенно Ганьсу, на протяжении всей истории Китая служили щитом, принимавшим на себя первые волны иноземных нашествий или влияний. Здесь процесс культурного взаимодействия протекал наиболее наглядно и в эпоху неолита. Параллельно с Ганьсу аналогичный процесс в несколько ином виде протекал и чуть южнее, в бассейне Янцзы, откуда шло в центральные провинции Хуанхэ влияние складывавшихся здесь луншаноидных культур. При этом, однако, для южных культур луншаноидного типа, тоже возникавших под воздействием скотоводческо-земледельческой периферии на западных их рубежах, было характерно в отличие от ганьсуйских менее ощутимое влияние скотоводческого компонента.

ЯНШАО И ЦИЦЗЯ

Трансформация Яншао в луншаньско-луншаноидную серию позднеолитических культур зафиксирована археологами на широкой территории Китая, в бассейнах Хуанхэ и Янцзы. В Ганьсу на смену ранним модификациям культуры расписной керамики (Яншао, Мацзяо, Баньшань, Мачан) на рубеже III—

II тысячелетий до н. э. пришла культура луншаньского типа — Цицзя.

О Цицзя уже немало говорилось. Стоит напомнить, что стоянку Цицзяпин впервые раскопал в 1923 г. Андерсон, который счел ее представляющей наиболее ранний этап китайского неолита. Определяя относительную древность культуры Цицзя, Андерсон принимал во внимание и близость некоторых черт ее с другими неолитическими культурами вне Китая (гребенчатая керамика), и сходство ее с Яншао (при отсутствии расписной керамики), и даже то немаловажное, в его представлении, обстоятельство, что при иной оценке эту культуру никак нельзя вклинить между столь связанными друг с другом этапами расписной керамики в Ганьсу (Яншао—Мачан—Синьдянь—Сыва). Словом, Цицзя для Андерсона была первой неолитической земледельческой культурой Китая и он отстаивал эту точку зрения даже после того, как она уже была подвергнута серьезной критике, в частности Л. Бахофером [273, 78—82, 280—282].

Ныне хорошо известно, что это была ошибка Андерсона, едва ли не самая значительная из всех, допущенных им при исследовании тогда еще почти совсем неизученного китайского неолита. Трудно даже сосчитать, сколько раз помянули Андерсона недобрым словом (особенно археологи КНР) в связи с Цицзя. При этом показательно, что его критиковали не только и не столько за эту действительно допущенную им ошибку, сколько за то, что он вообще мог подумать, что культура Цицзя как-то была связана с культурными воздействиями извне. Так, в статье Ши Тао сам факт сопоставления Андерсоном гребенчатой керамики Цицзя с культурой гребенчатой керамики Северной Европы и Сибири был расценен как рецидив «буржуазной реакционной теории „культурных кругов“» [790, 9]. Между тем именно эти сопоставления Андерсона содержали и сохраняют по сей день в себе зерно истины, к которому следует присмотреться как можно внимательнее.

В послевоенном Китае стоянок культуры Цицзя раскопано очень много. Достаточно напомнить, что к 1960 г. их число в ганьсуйской зоне составляло 325, т. е. превышало количество стоянок Яншао (собственно Яншао и ганьсуйского Яншао, вместе взятых —318). Среди них несколько двухслойных яншао-цицзяских стоянок, где слой Яншао был четко отделен от более позднего Цицзя [758, 18—21, см. также табл. I—III]. Иными словами, Цицзя — более поздняя культура по сравнению с Яншао, пришедшая на смену Яншао, что и позволило поставить точку на проблеме Цицзя. Однако доказательство этого еще ни в коей мере не снимает всех сложностей, связанных с проблемой взаимоотношений Цицзя с Яншао. Тот же Чжан Сюэ-чжэн, который одним из первых исследовал двухслойную яншао-цицзяскую стоянку в Вацзяпин [757], писал, что, согласно его наблюдениям, «в стоянках Яншао можно обнаружить изделия Цицзя,

в стоянках Цицзя — изделия Яншао. В этой взаимосвязи много неясного. Поэтому, знакомясь со стоянкой, следует обследовать всю ее поверхность, обращать внимание не только на изделия с верхнего слоя, но и на стратиграфию культурного слоя» [756, 5]. Правда, в последующих своих статьях он к этой теме взаимного переплетения возвращался в более осторожной форме [см., например, 758, 20], однако проблема сама по себе от этого не исчезла. Но прежде чем обратиться к ней, остановимся более подробно на характеристике самой культуры Цицзя, как она предстает перед нами в результате изучения многих сотен ее стоянок.

Стоянки Цицзя небольшие, 1,5—2,5 га с толщиной культурного слоя в среднем 0,5—1 м, располагались, как и яншаоские стоянки, в основном в долинах рек — западных притоков Хуанхэ. Зона распространения Цицзя достаточно велика, но в основном локализуется территорией провинции Ганьсу. Строения на стоянках представлены обычно прямоугольными и квадратными полуземлянками с дверью на юг или юго-запад и круглым очагом близ входа.

Кроме того, рядом с домами-полуземлянками располагались различного рода и форм ямы, служившие подсобными помещениями, амбарами и т. п. Рядом со стоянками, подчас чуть ли не внутри них, размещались могильники. Ямы-погреба изнутри обмазывались довольно толстой (4—8 см) обмазкой из глины с соломой, а внутренние поверхности домов — аккуратной бело-серой (известняковой) обмазкой. Захоронения — прямоугольные, чаще всего одиночные. Подавляющее большинство покойников захоронено в положении на спине с ориентацией головы на северо-запад и запад (очень редко — на северо-восток и юго-восток). С покойником, как обычно, помещались орудия, оружие, утварь, украшения и т. п., вплоть до медных ножичков и мелких поделок.

Судя по изредка обнаруживаемым остаткам зерен, из злаков по-прежнему преобладала чумиза. Зато кости домашних животных свидетельствуют о том, что насельники Цицзя разводили не только свиней и собак, но также быков и баранов. При этом в качестве гадательных костей использовались кости всех трех пород домашнего скота (кроме собак). Из кости выделывались и многие другие поделки, как, впрочем, и из раковин. Медных изделий у цицзясцев было очень немного. По-видимому, это были драгоценные предметы далекого импорта, весьма ценившиеся и передававшиеся из поколения в поколение.

Каменные орудия — ножи, топоры, нередко перфорированные. Немало нефритовых колец. Встречаются и орудия микролитического облика, явно свидетельствующие о связях с северными районами. Особого внимания заслуживает керамика. В основном глиняная и песчаная, она поражает богатством оттенков: красноватая, желтоватая, коричневая, серая и даже белая, чего ни-

когда прежде не встречалось. Часть сосудов — с лощеной поверхностью, тонкой стенкой. Однако чаще всего встречаются грубые толстостенные. Среди наиболее типичных форм сосудов — гуань, с пузатым туловом и широким горлом с двумя ручками сверху. Много иных кувшинообразных сосудов. Главный новый тип сосуда — трипод ли. Орнамент необычайно разнообразный. Нередко попадаются сосуды и фрагменты сосудов расписной керамики, но чаще всего это шнуровой орнамент, точечно-ямочный и — главная достопримечательность Цицзя, столь поразившая в свое время Андерсона,— гребенчатый. Правда, гребенчатый орнамент встречается сравнительно редко. Вся керамика ручная, без гончарного круга.

Эти сведения о Цицзя ныне достаточно хорошо известны [268; 273; 297; 573; 595; 598; 610; 663; 665; 671; 691; 692; 711; 756; 757; 778; 779; 305, 171—175; 311, 106—108]. В некоторых статьях последних лет содержатся данные радиокарбонного анализа для Цицзя. Эти данные свидетельствуют, что подвергшиеся анализу стоянки относятся примерно к XVIII—XVII вв. до н. э. [668, 55; 570, 59; 475, 142]. Это обычно воспринимается в качестве общей датировки для культуры Цицзя в целом. Между тем вопрос о датировке Цицзя не столь прост.

Прежде всего, стоянок Цицзя очень много. Они исчисляются сотнями, и эта концентрация нескольких сотен стоянок на сравнительно небольшой территории одной провинции Китая, Ганьсу, может свидетельствовать (по аналогии с Яншао, о чем в связи с проблемой датировок уже говорилось) о том, что многочисленные стоянки Цицзя отличались друг от друга временем своего существования, степенью своей зрелости. Если в отношении стоянок Яншао двух модификаций (Баньпо и Мяодигоу) считается возможным говорить о 1,5—2-тысячелетнем существовании на одной и той же территории, почти без взаимного напластования и без существенных, заметных для археолога, изменений, то едва ли могут быть серьезные основания возразить против того, что и стоянки Цицзя могли различаться по времени, тем более что это косвенно подтверждается и раскапывавшими стоянки Цицзя археологами.

Так, например, исследовавший хорошо известную стоянку Хуаннянняйтай Го Дэ-юн пришел к выводу, что эта стоянка с необычно обильным для Цицзя металлическим инвентарем принадлежит к числу наиболее поздних [598, 71]. И хотя формально деления Цицзя на этапы и периоды пока не производилось, кто может поручиться, что среди нескольких сотен обнаруженных стоянок нет тех, которые могут быть датированы несколькими веками ранее XVIII—XVII вв. до н. э.? А это уже достаточно важно для нашего анализа.

Обратим внимание на еще одно важное обстоятельство. Археологи, раскапывавшие стоянки Цицзя, свидетельствуют о смешении элементов этой культуры с Яншао в Ганьсу — даже не с

Мацзяо, не с Баньшань—Мачан и тем более не с поздненеолитическими и энеолитическими пережиточными модификациями расписной керамики вроде Сыва и Синьдянь, а с Яншао, т. е. с самым ранним на территории Ганьсу (по данным тех же археологов) вариантом неолита расписной керамики. «Многое в этой взаимосвязи неясно»,— писал Чжан Сюэ-чжэн [756, 5]. Да и как говорить о ясности, если Яншао, пусть даже в его наипоздних, ганьсуйских вариантах, едва ли может выходить за пределы III тысячелетия до н. э., а Цицзя датируется более поздним временем! Видимо, для прояснения зафиксированного Чжан Сюэ-чжэном феномена смешения Яншао и Цицзя следует предположить, что те стоянки, в которых это смешение налицо, были несколько более ранними, чем зрелое Цицзя в его подвергшихся радиокарбонному анализу стоянках.

И наконец, есть еще одно существенное соображение, позволяющее отвергнуть единую позднюю датировку Цицзя и настаивать на том, что формирование Цицзя было достаточно длительным процессом, который лишь на завершающем этапе может считаться соответствующим полученным датам, т. е. XVIII—XVII вв. до н. э.

Речь идет о культурном облике Цицзя, о том самом факторе, который ввел в заблуждение Андерсона, поставившего Цицзя в связь с Яншао и даже перед Яншао. Ведь очень многое в Цицзя до мелочей напоминает Яншао и по своей сути является именно яншаоским. К числу этих элементов относится общий облик и размещение стоянок вдоль рек, принцип строительства и основные формы строений, практика захоронений, главные земледельческие навыки, злаки (чумиза) и орудия труда. О связях с Яншао свидетельствуют и многие керамические изделия, как расписные, так и более грубые, монохромные. Все это неопровержимо говорит о том, что Цицзя складывалась постепенно и на основе Яншао.

Видимо, где-то на периферии ганьсуйской зоны Яншао (на севере или западе этой зоны) яншаоские стоянки, испытывая давление новых культурных элементов, носителями которых были различные (скорей всего, далеко не один) коллективы скотоводов, обогащались в ходе культурных контактов. Приобретая все новые и новые признаки культурного комплекса, который впоследствии стал характерным для Цицзя (стоит напомнить, что далеко не во всех стоянках Цицзя зафиксированы все или даже большинство новшеств, характерных для Цицзя), отдельные стоянки яншаоской культуры все более энергично трансформировались.

В результате на их основе складывалась новая культура. Контактируя с другими насельниками Яншао, еще не вступившими на путь трансформации, представители новой культуры активно взаимодействовали с ними, вследствие чего и другие стоянки Яншао начинали энергично трансформироваться. Именно

в этом смысле и следует воспринимать замечание Чжан Сюэ-чжэна о том, что в стоянках Яншао в Ганьсу можно найти следы Цицзя, а в стоянках Цицзя — следы Яншао. Ведь совершенно очевидно, что, хотя Цицзя была более поздней по сравнению с Яншао и шла на смену Яншао, эта новая культура возникала именно в ходе взаимодействия с Яншао, следствием чего и являлись ее вкрапления в сохранявших еще свой яншаоский облик более ранних стоянках.

Что нового принесла культура Цицзя?

Как бы мы ни расценивали характер этой культуры (а она, безусловно, земледельческая), то новое, что заметно отличало ее от яншаоской основы, на которой она складывалась, относится прежде всего к скотоводческому комплексу: новые породы скота, скапулимантия, сосуды типа ли. Явно второстепенное значение среди этих новшеств имели новые формы каменного инвентаря, тяготевшие к микролиту степной зоны, немногочисленные изделия из меди, а также некоторые новые типы керамики (включая белую) и орнамента (гребенчатый). Наиболее типичные для луншаньско-луншаноидного горизонта нововведения, такие, как выделка сосудов на гончарном круге и изготовление тонкой черной лощеной керамики, для культуры Цицзя, несмотря на ее сравнительно поздние датировки, оказались нехарактерны.

Некитайское, неяншаоское происхождение всех этих новшеств очевидно, а аналогии с другими культурами неолита Евразии в Цицзя очень заметны: достаточно напомнить о гребенчатой керамике (правда, не в обычном сочетании с ямками, а в сопровождении точек-углублений и точечных пунктиров [273, л. илл. 36]). Впрочем, гребенчатая керамика, так же как и изделия из меди, в Цицзя тоже были редки, как и белая керамика. Что же касается нововведений скотоводческого комплекса и грубой черной и черно-серой керамики, то эти культурные элементы принадлежали к числу важнейших, культурообразующих в Цицзя, причем именно они являлись тем общим, что сближало Цицзя с развитыми вариантами Луншань в бассейне Хуанхэ (на эту близость, даже родство, не раз обращали внимание китайские археологи [595, 142; 711, 19; 790, 10]).

Таким образом, в ганьсуйской зоне Яншао на базе спонтанной внутренней трансформации местных культур расписной керамики и при активном взаимодействии этих культур с соседними скотоводческими и скотоводческо-земледельческими где-то на рубеже III—II тысячелетий до н. э. складывался луншаньский горизонт в виде культуры Цицзя, с ее явным уклоном в сторону скотоводческого комплекса и с ее специфическими особенностями (гребенчатая керамика, белая керамика, медные изделия). Несколько иначе, видимо, шел процесс формирования этого же луншаньского горизонта в центральной, шэньси-хэнаньской зоне бассейна Хуанхэ.

ЯНШАО-ЛУНШАНЬСКАЯ ПЕРЕХОДНАЯ КУЛЬТУРА В ШЭНЬСИ-ХЭНАНЬСКОЙ ЗОНЕ

Данные раскопок луншаньских стоянок и слоев в бассейне Хуанхэ позволили археологам выделить в этой зоне ряд модификаций культуры Луншань. Среди них наиболее ранней считается переходная яншао-луншаньская культура типа Мяодигоу-II; ее изучение легло, как упоминалось, в основу общепринятой ныне концепции, согласно которой Луншань считается возникшей от Яншао в ходе постепенной спонтанной ее трансформации.

И действительно, в свете имеющихся данных археологии едва ли можно сомневаться в том, что внутренняя трансформация Яншао в центральной зоне играла, видимо, гораздо большую роль, нежели на западе, в ганьсуйской зоне. Однако и здесь, в центре бассейна Хуанхэ, едва ли можно весь процесс сводить лишь к этапам этой трансформации. Ведь проблема генезиса важнейших нововведений Луншань никоим образом не может быть решена при такой постановке вопроса. Отсюда следует, что новая неолитическая культура и в этой зоне могла появиться только при посредстве внешних влияний, воздействие которых сочеталось с процессом спонтанной трансформации и взаимодействовало с ним.

Из материалов предыдущей главы очевидно, что неолит расписной керамики в центральной зоне развивался более интенсивно по сравнению с ганьсуйской зоной. Это объясняется рядом причин, и не в последнюю очередь тем, что более широкие пространства и благоприятные возможности для экстенсивного распространения земледельческой культуры способствовали возникновению новых вариантов Яншао и их взаимодействию. Видимо, это обстоятельство сыграло немаловажную роль и в ускорении темпов культурной трансформации Яншао центральной зоны. И, хотя споры об этапах и вариантах Яншао не привели пока к убедительному решению вопроса, с каждой новой публикацией материалов о Яншао и Луншань становится все более ясным, что процесс эволюции шел в направлении постепенного упадка полихромной росписи, уменьшения доли расписной керамики и замены ее более грубой серой и красновато-коричневатой. Это явно свидетельствовало о постепенной утрате потомками первых яншаосцев культурных традиций их предков. Однако вместе с тем эволюционный процесс говорил и о прямо противоположном, т. е. о появлении новых культурных традиций, в том числе и в производстве керамического инвентаря.

Вот с этой точки зрения и следует прежде всего рассмотреть культурный облик тех стоянок и слоев, которые ныне считаются олицетворением раннего, переходного этапа. Первым и важнейшим среди них, играющим своеобразную роль эталона, считается слой Мяодигоу-II из стоянки Мяодигоу в Хэнани, где в конце

50-х годов производились значительные археологические работы в связи со строительством гидроузла в Саньмэньсе [646, 64—82]. Переходная культура типа Мяодигоу-II не только хорошо изучена и опубликована, но и играет роль ключа, позволяющего расшифровать место некоторых других стоянок и слоев. Так, раскопки стоянок Хэнчжэньцунь в Шэньси, Бучжаочжай и Ванвань в Хэнани дали возможность обнаружить сразу два последовательных слоя луншаньской культуры. Нижние слои этой культуры были приравнены археологами к Мяодигоу-II, что и позволило не только выделить два этапа Луншань в центральной зоне, но и определить их облик и убедительно показать последовательно-хронологическую связь между ними [622, 7—9; 625; 720, 433]. Стоянки раннего, переходного типа, сходного с Мяодигоу-II, были обнаружены также в Паньнаньцунь (на юге Шаньси), в Цюаньхуцунь (Шэньси) и, наконец, в Яншаоцунь.

О Яншаоцунь стоит сказать особо. Выше говорилось о том, что не только Андерсон, впервые открывший в этой стоянке китайский неолит, но и Ся Най, проведший здесь спустя двадцать с лишним лет повторные раскопки, не выделили в этой стоянке последовательных слоев и пришли к выводу, что она однослойна, а наличие в ней элементов культур Яншао и Луншань свидетельствует об определенном культурном смешении или синтезе [273, 71—76; 692, 935—937]. На рубеже 50—60-х годов, особенно после публикации данных о раскопках в Мяодигоу, критика построений Андерсона в этом вопросе усилилась. Так, Ян Цзянь-фан показал, что, судя по описаниям самого Андерсона, скелеты из местонахождения XII с типично яншаоским инвентарем и с сосудами ли [273, 245—247] не могут считаться яншаоскими, что их следует отнести к развитому, хэнаньскому варианту Луншань [803, 263].

Видимо, в этом следует согласиться с Ян Цзянь-фаном. Однако это едва ли может означать, что Андерсон, как это иногда полагают, вообще был путаником и не умел толком определить стратиграфию [2]. И дело здесь, видимо, обстоит сложнее. Ведь в 1943 г. Андерсон, хорошо знакомый с публикацией материалов о Луншань и с данными раскопок в Хоугане, где три слоя (Яншао, Луншань и Инь) последовательно сменяли друг друга, снова утверждал, что в местонахождениях I и II и в могильниках V и XII красная (расписная), серая и черная керамика встречаются на всех уровнях, т. е. независимо от слоя [273, 72]. И именно этот вывод фактически подтвердил своими повторными раскопками Ся Най.

По-видимому, дело в том, что керамический инвентарь различного типа равно встречался в разных раскопках стоянки Ян-

[2] «Ошибка И. Г. Андерсона объясняется тем, что во время раскопок он обращал внимание не на напластование культурных слоев, а на соотношение абсолютных глубин отдельных находок» [119, 86].

шаоцунь, весьма обширной по своим размерам. Но если бы при этом были вскрыты сколько-нибудь значительные по площади части стоянки, то, вероятно, обнаружилось бы, что в стоянке все-таки можно зафиксировать слои, отличные друг от друга не столько цветом керамического инвентаря, сколько иными культурными характеристиками. Это частично подтвердилось в ходе третьего тура раскопок, проведенных в Яншаоцунь в 1962 г. Этот третий тур далеко еще не поставил все точки над «и» и, конечно, не смог уличить Андерсона в путанице. Единственное, что он помог выяснить (и в чем его ценность),— это то, что культурный облик слоя (а речь по-прежнему идет об однослойной стоянке) в разных частях стоянки различен. В западной части стоянки это типичное Яншао, близкое к Мяодигоу-I, в центральной части — ранний этап Луншань, сходный с Мяодигоу-II, а в восточной — развитой хэнаньский Луньшань [720, 431].

Пока неясно, налегал ли где-либо в пределах этой стоянки один из этих трех слоев на другие. Но вполне вероятно, что здесь все-таки, как это показали раскопки Фан Ю-шэна, три разных культурных комплекса. Один из них, обнаруженный в центре стоянки, вместе с некоторыми другими соответствующими стоянками и слоями как раз и характеризует ранний этап Луншань, ныне столь хорошо изученный археологами на примере слоя Мяодигоу-II. Несколько слов о нем.

Строения обычного типа: круглые (чаще) или прямоугольные полуземлянки каркасно-столбовой конструкции. Кроме обычных яншаоских орудий труда появляются ставшие впоследствии типичными для Луншань каменные ножи и серпы полулунной формы. Из злаков абсолютно преобладает чумиза, из домашних животных — свинья. Некоторые данные позволяют предположить, что насельникам стоянок типа Мяодигоу-II была уже известна одомашненная курица [573, 15]. Правда, число костей курицы (4) настолько невелико, что факт ее появления, зафиксированный только в Мяодигоу-II, пока стоит под вопросом. Но если этот факт подтвердится, то он окажется неоспоримым важным свидетельством в пользу существования южных связей и влияний в конце эпохи Яншао (происхождение домашней птицы — юго-восточно-азиатское, индийское [32, 163]).

Среди керамического инвентаря больше всего серой грубой с веревочным орнаментом бытовой керамики. Расписной нет или почти нет, во всяком случае ее немного. Вся керамика ручная, гончарный круг неизвестен. Чаще всего встречаются триподы типа дин, сосуды гуань и доу. Триподов типа ли нет, что, по мнению авторов «Археологии в новом Китае», было специфической чертой раннего этапа Луншань [573, 16].

Могильник (в Мяодигоу-II) находится близ стоянки, погребения в основном одиночные, чаще всего без сопровождающего инвентаря. Как правило, покойников хоронили на спине

с головой, обращенной к югу, хотя встречались и захороненные головой к северу (№ 99).

В слое Мяодигоу-II археологами была найдена гончарная печь, конструкция которой подробно описана [646, 18—22]. Никаких принципиальных новшеств эта печь по сравнению, скажем, с печами из Баньпо [667, 156—160] не содержала. Пожалуй, новое было только в том, что доступ воздуха к обжигаемому сосуду сверху, видимо, ограничивался (некоторые особенности конструкции печи позволяют предположить, что ее верхние стенки могли в своем цельном виде образовывать куполообразный свод в отличие от вертикально-цилиндрического в Баньпо), и именно этим может быть объяснен серый цвет сосудов [507, 383; 573, 16; 154, 56]. Впрочем, достаточно было оставить этот свод чуть открытым сверху и обеспечить приток кислорода при повышении температуры обжига, как вместо серой керамики получалась красновато-коричневатая, также типичная для раннего этапа Луншань.

Неизвестно, однако, насколько это было новым. Ведь и у яншаосцев грубая серая керамика была едва ли не преобладающей, во всяком случае количественно. Видимо, они тоже знали способ делать ее серой, т. е. закрывать свод и ограничивать приток воздуха, что облегчало процесс обжига. Речь может практически идти лишь о том, что в переходных культурах типа Мяодигоу-II, когда искусство выделки расписной керамики уже пришло в глубокий упадок, изготовление серой керамики стало явно преобладать, что вызвало некоторые изменения конструкции верхней части печи, способствовавшие более легкому и удобному созданию над печью закрытого купола.

Итак, если принять, что культура типа Мяодигоу-II была переходной, лежавшей как бы на грани между Яншао и Луншань, то следует заметить, что этот переход дался насельникам земледельческого неолита центральной зоны бассейна Хуанхэ нелегко. Он явно сопровождался заметным упадком их культурного уровня. В самом деле, фундаментом культуры типа Мяодигоу-II продолжали оставаться культурные авуары Яншао. Однако многое из них было уже безвозвратно потеряно. Ушло в прошлое, оставшись лишь в виде жалких реминисценций, высокое искусство расписной керамики с ее эстетическим богатством и глубокой ритуальной символикой и семантикой. По-видимому, ослабление ритуально-символического начала сказалось и на всех остальных сторонах жизни: достаточно напомнить о крайней скудости погребального инвентаря, встречающегося едва ли чаще, чем в одном погребении на десяток.

Грубая серая или красноватая керамика с довольно ограниченным набором форм (дин, доу, гуань, пэнь, цзя) и элементарным веревочным или плетеным орнаментом соответствует этому общему уровню. Вместе с тем, однако, в переходной культуре появляется и нечто новое. Среди каменного инвентаря встреча-

ются ножи полулунной формы. Из земледельческих орудий — соха типа лэй, отпечатки которой обнаружены при раскопках переходной культуры [573, 15]. Заметно увеличилось потребление продуктов скотоводства (в 26 погребных ямах Мяодигоу-II найдено больше костей, чем в 168 яншаоских [646, 82]). Наконец, есть некоторые данные о появлении домашней птицы, курицы, знакомство с которой указывает на направление внешних контактов.

Таким образом, общий облик переходной яншао-луншаньской культуры типа Мяодигоу-II свидетельствует о том, что за более чем 1,5 тысячелетия своего существования (с 3944 г. до 2190 г. до н. э. [475, 142]) культура Яншао претерпела лишь минимальную качественную трансформацию. Были утеряны высокохудожественные традиции росписи на керамике, чуть видоизменены формы некоторых орудий труда. Несколько возросла доля мясной пищи в рационе земледельца, возможно под влиянием контактов с неолитическими культурами южных районов. Все эти малозначительные изменения сами по себе еще не свидетельствовали о сложении новой культуры: была создана лишь база для ее возможного возникновения. Поэтому собственно культуру Луншань в виде ряда ее развитых вариантов археологи фиксируют лишь с момента появления принципиальных новшеств земледельческого (тонкая черная керамика, гончарный круг, новые виды злаков) и скотоводческого (новые породы скота, скапулимантия, сосуд ли) происхождения.

РАЗВИТЫЕ ВАРИАНТЫ ЛУНШАНЬ В ШЭНЬСИ-ХЭНАНЬСКОЙ ЗОНЕ

В центральной зоне насчитываются два развитых варианта Луншань, шэньсийский и хэнаньский, причем ареалы их распространения почти совпадают (хотя и не с абсолютной географической точностью) с современными провинциями Шэньси (включая юг Шаньси) и Хэнань [305, 159, карта 58]. Варианты близки друг к другу, имеют немало общего, но и значительные качественные различия. Видимо, оба они в равной мере сложились на базе переходной культуры типа Мяодигоу-II, но в дальнейшем их пути несколько разошлись, причем размеры и характер расхождений зависели от тех зон влияния, которые воздействовали (или преимущественно воздействовали) на каждый этот вариант.

Начнем с собственно хэнаньского варианта, эталоном которого ныне принято считать слой Хоуган-II из раскопок Лян Сыюна. Кроме Хэнани этот вариант представлен некоторыми другими стоянками, в том числе в провинции Шаньси и южной части Хэбэя. Из всех этих стоянок важнейшее значение для определения места этого варианта в ряду других модификаций Луншань имеет Ванвань (близ Лояна), в которой слой хэнаньского

Луншаня зафиксирован непосредственно над слоем раннего варианта типа Мяодигоу-II. К стоянкам развитого, хэнаньского варианта Луншань принято относить и культуру Саньлицяо-II, и луншаньские стоянки в Эрлиган, Гэдаван, Хуэйцзуй, Бучжаочжай и др. [561, 92—94; 646, 85—102; 652, 179; 653, 42; 770, 45].

Что характерно для культурного облика хэнаньского Луншаня? Меньше всего изменяются строения — это все те же полуземлянки каркасно-столбовой конструкции, прямоугольные или круглые в плане, с входом, обращенным чаще всего на юг, и с известковой внутренней обмазкой [573, 17; 653, 42]. Сравнительно немного изменений претерпели и основные орудия труда: при раскопках обнаружены следы тех же двузубых сох лэй, перфорированные каменные ножи, в том числе полулунной формы, немало изделий из кости и раковин. В земледелии и скотоводстве, судя по данным находок, новшеств также немного. Основной вид домашнего скота здесь по-прежнему свинья. В пищу шли также продукты охоты (олень, кабан) и рыболовства.

Больше всего изменений в керамике. Появляется гончарный круг. В Саньлицяо-II с его помощью произведено около 20% всех сосудов. Сам набор керамического инвентаря намного богаче и разнообразней по сравнению с Мяодигоу-II. Правда, красной и расписной керамики становится все меньше, она практически исчезает вовсе. Зато наряду с наиболее типичными серыми грубыми сосудами со шнуровой, плетеной и сетчатой керамикой во все большем количестве появляются черные, в том числе тонкостенные, сосуды достаточно изящных форм, лощеные снаружи. Обращает на себя внимание обилие форм и типов сосудов, среди которых встречаются, хотя и не очень часто, сосуды типа ли [646, л. илл. LXXX—LXXXIX].

В ряде стоянок хэнаньского варианта были найдены гончарные печи, форма которых, как это видно на примере печи из Саньлицяо-II, более совершенна по сравнению с Мяодигоу-II, что, видимо, играло свою роль при обжиге тонкостенной черной керамики [646, 86—88]. Практика захоронений в хэнаньском варианте мало изменилась по сравнению с Мяодигоу-II. Погребальный инвентарь по-прежнему скуден и встречается далеко не всегда, ориентация покойников, как и их расположение, различна.

Таким образом, хэнаньский вариант развитого Луншаня помимо нововведений раннего этапа типа Мяодигоу-II (полулунные ножи, преобладание грубой серой керамики и упадок расписной и т. п.) приобрел и некоторые новые культурные признаки, важнейшими из которых были гончарный круг и тесно связанная с ним черная лощеная керамика. Тripод типа ли был, видимо, наиболее поздним культурным приобретением хэнаньского варианта, о чем свидетельствуют данные последних раскопок в Хэнани и к северу от нее, которые подтверждают сложившийся облик хэнаньского Луншаня.

Так, раскопки луншаньского слоя стоянки Хуачэн, расположенной неподалеку от Хуэйцзуй в том же уезде Яньши провинции Хэнань, показали, что для восточной части центральной зоны действительно был характерен именно тот культурный потенциал, о котором уже говорилось выше: довольно большое количество черной лощеной керамики и неплохое знакомство с гончарным кругом при изобилии грубой серой ручной керамики с веревочным или плетеным орнаментом и некотором количестве красной. Однако отсутствие сосуда типа ли несколько озадачило археологов, что, видимо, и побудило автора статьи отнести луншаньский слой Хуачэн к раннему Луншань, приравнять его к Мяодигоу-II [772, 35]. Между тем знакомство с опубликованным в статье материалом и приведенными фотографиями и рисунками дает основание усомниться в этом выводе и предположить, что культурный вариант, о котором идет речь, гораздо ближе к развитому хэнаньскому Луншаню, нежели к примитивному раннему этапу типа Мяодигоу-II. Здесь есть гончарный круг, есть тонкая лощеная керамика весьма изящных форм, кое в чем напоминающая изделия классического варианта Луншань (обстоятельство, замеченное еще Андерсоном при анализе материалов стоянки Яншаоцунь),— нет только триподов ли.

Таким образом, изучение хэнаньских стоянок развитого Луншаня показывает, что из трех основных нововведений, которые способствовали созданию луншаньского позднеолитического комплекса, два более ранних и самых основных (гончарный круг и тонкая черная лощеная керамика), явно связанные с каким-то земледельческим компонентом, появились чуть раньше третьего, т. е. сосуда типа ли, генетически восходящего к скотоводческим культурам. К вопросу о происхождении основных нововведений земледельческого характера мы возвратимся ниже. Пока обратим внимание на трипод типа ли, характерный облик которого наиболее надежно указывает на пути и направления возможных влияний.

Трипод ли можно считать признаком того скотоводческого комплекса, с которым он, видимо, был тесно связан и который кроме ли характеризовался наличием рогатого скота и практики скапулимантии. Ни с рогатым скотом, ни со скапулимантией хэнаньский вариант, насколько можно судить по данным раскопок, знаком не был. Откуда же хэнаньский Луншань получил триподы ли? Едва ли с востока, из провинции Шаньдун, где сосуда такого типа в то время еще не было: он, как и другие элементы развитого Луншаня, появился там позже. Более серьезным могло бы выглядеть предположение о приобретении новых культурных элементов в ходе взаимодействия с северными районами,— имея в виду то, что говорилось выше о контактах со скотоводческими племенами на северной периферии бассейна Хуанхэ. Однако факты отвергают и это предположение.

Группа китайских археологов обследовала северную часть

долины Хуанхэ, район ее излучины (Ордос, южная часть Внутренней Монголии). Обследовав несколько десятков стоянок Яншао и Луншань, расположенных в основном вдоль реки, авторы написанной по этому поводу статьи дали этим культурам в их ордосском варианте сводную характеристику. В части, посвященной Луншань, они отметили, что стоянки этой культуры испытали на себе заметное влияние микролитических культур севера. Казалось бы, за этим могло последовать сообщение, что именно таким образом в эти стоянки проникли новые породы рогатого скота и остальные элементы скотоводческого комплекса, характерные для культуры Луншань. Но такого сообщения не последовало. Более того, ни в одной из многих луншаньских стоянок, в общем достаточно разнообразных с точки зрения их каменного и керамического инвентаря, как раз следов рогатого скота, скапулимантии и триподов типа ли не оказалось. Впрочем, там не было обнаружено и следов гончарного круга, и тонкой черной керамики. Словом, по своему культурному уровню они ненамного превосходили ранний этап типа Мяодигоу-II [805].

По существу, это означает, что хэнаньский Луншань не мог заимствовать какие-либо культурные нововведения скотоводческого комплекса непосредственно с севера. Корни тех новшеств, о которых идет речь, восходят к иным источникам: к западному соседу хэнаньского варианта, шэньсийскому варианту культуры Луншань.

Шэньсийский Луншань сложился, как и хэнаньский, все на той же базе Мяодигоу-II, но культурный облик его несколько отличался от хэнаньского. Эталоном шэньсийского варианта культуры Луншань принято считать слой Кэшэнчжуан-II. Роль контрольно-проверочной стоянки здесь играет Хэнчжэнь, верхний луншаньский слой которой близок к Кэшэнчжуан-II, а нижний, переходный — к Мяодигоу-II [622, 7]. По сравнению с хэнаньским этот вариант пока представлен в раскопках довольно слабо. Однако того, что уже имеется, достаточно, чтобы составить представление об этой модификации Луншаня.

Дома́ из раскопок луншаньского слоя в Хэнчжэнь представляют собой обычные полуземлянки каркасно-столбовой конструкции. Как правило, они прямоугольные по форме, покрыты изнутри известковой обмазкой и имеют выход на юг [622, 7]. В Кэшэнчжуан-II строения несколько необычны по типу. Это двухкомнатные помещения, где одна из комнат, проходная, соединена узким проходом с другой. Обе комнаты — все те же полуземлянки прямоугольной или круглой формы, однако в целом они представляют собой нетипичный и для Яншао и для Луншань сдвоенный жилой комплекс. Неподалеку было найдено множество ям-погребов, тоже весьма своеобразной, бутылочной формы: узкий вход-горловина и более широкая емкость под землей [606, 43—47 и 190, л. илл. XIX].

Орудия труда в шэньсийском варианте в общем сходны с хэнаньскими. Преобладают изделия из камня, особенно прямоугольные перфорированные ножи. Полулунные встречаются реже. Изделий из кости и керамики сравнительно немного, а из раковин нет вовсе. Зато в Кэшэнчжуан-II обнаружено множество костных останков быка, барана, буйвола, свиньи и собаки. Параллельно со скотоводством процветала скапулимантия. Что же касается сосудов типа ли, то они занимали явно господствующее положение среди других. Вообще в керамическом инвентаре Кэшэнчжуан-II преобладала грубая серая керамика с веревочным, плетеным и т. п. орнаментом (до 80%). На втором месте — грубая красная керамика (18%). Всего 1—2% составляла черная тонкая лощеная керамика, и примерно столь же ничтожную роль играл гончарный круг по сравнению с посудой, выделывавшейся вручную. И все-таки это очень существенно: черная лощеная керамика и гончарный круг, фрагмент которого был найден при раскопках [606, л. илл. XXXIV, № 1], в Кэшэнчжуан-II были известны.

Заслуживает внимания обилие и многообразие типов сосудов в шэньсийском варианте Кэшэнчжуан-II. Так, трипод типа ли представлен здесь в трех различных модификациях, не говоря уж о четвертой, т. е. о триподе типа гуй (это более высокий сосуд кувшинообразной формы, нижняя часть которого — тот же трипод ли, а верхняя, как бы надстроенная над стенками ли, постепенно сужается и изгибается в виде наклонного носика — в результате получается кувшин с ручкой, близкий к современному типу кувшина для воды, но на трех полых ножках). Три модификации имеет и сосуд-трипод типа цзя — нечто среднее между триподом дин на трех цельных подставках и триподом ли (в отличие от трипода дин у цзя толстые полые ножки, но в отличие от ли они не составляют единого целого с туловом, а просто прилепляются к сферическому днищу сосуда). Одним из наиболее любопытных и нетипичных в Луншань, но зато крайне типичных в Цицзя сосудов из Кэшэнчжуан-II были сосуды гуань с двумя ручками [л. илл. XXXI], изредка даже с тремя. Во множестве представлены и крышки для сосудов, есть и ряд сосудов уникальной формы, таких, как шлемообразная бутыль вэн, напоминающая знаменитые баньшаньские фигурки-бюсты. Словом, керамика Кэшэнчжуан-II, по существу, содержит едва ли не все важнейшие типы, характерные как для различных развитых вариантов Луншань, так и для Цицзя [606, 56—68, л. илл. XXV—XXXVI].

Если сопоставить хэнаньский Луншань с шэньсийским (считая их, как это обычно и делается, практически одновременными), то получится довольно любопытная картина. Более западный и соседний с Цицзя шэньсийский вариант демонстрирует широкое знакомство с теми элементами скотоводческого комплекса, которые были столь характерны для Цицзя: здесь много

рогатого скота, процветает скапулимантия, богатый выбор различных модификаций трипода ли. Все это соседствует с типичными для Яншао и Цицзя формами керамики и типами орнамента на ней (кроме гребенчатого, редкого и в самой Цицзя). Что же касается земледельческих новшеств луншаньско-луншаноидного горизонта (гончарный круг, черная тонкая лощеная керамика), то с ними шэньсийский вариант едва знаком (а в Цицзя, как упоминалось, они практически неизвестны вовсе). С хэнаньским вариантом дело обстоит как раз наоборот. С элементами земледельческого комплекса Луншань он знаком хорошо, из элементов скотоводческого там только трипод ли, да и то в небольшом количестве и не повсюду, больше в западной части зоны.

Складывается впечатление, что где-то на стыке между хэнаньским и шэньсийским вариантами, в контактной зоне между ними, шел процесс взаимного проникновения важных элементов луншаньско-луншаноидного культурного горизонта, причем с востока, из Хэнани, распространялись нововведения земледельческого комплекса, а с запада, из Шэньси — скотоводческого. Но почему этот процесс предстает перед археологами лишь в той стадии, которую можно было бы считать начальной? И последовала ли за этой стадией следующая, на которой культурный потенциал обоих вариантов практически уже уравнялся?

Что касается Шэньси, то нет сомнения, что там со временем прочно утвердились все элементы земледельческого комплекса луншаньского горизонта. Но что касается Хэнани, то здесь, возможно, дело обстояло чуть иначе. И хотя хэнаньский Луншань, со временем трансформировавшийся в ту основу, на фундаменте которой сложилась иньская цивилизация, не оказался чуждым, скажем, искусству скапулимантии (а трипод ли стал здесь, в этой зоне, широко употребляемым сосудом), важнейший элемент собственно скотоводческого комплекса — само стадо рогатого скота,— видимо, так и не получил в Хэнани большого распространения. Скорей всего потому, что этому никак не благоприятствовали природные условия: в Хэнани просто не оказалось достаточно подходящих территорий для широкого разведения рогатого скота. Возможно, были и другие причины, сыгравшие свою роль. Но как бы то ни было, существенно иметь в виду, что китайцы бассейна Хуанхэ и в исторические времена, вплоть до сегодняшего дня, были мало знакомы как с рогатым скотом, так и с получаемыми от него мясо-молочными продуктами. Более того, отсутствие молочной пищи в рационе китайцев воспринимается подчас как весомый аргумент против предположений, что предки китайцев были номадами [344, 184].

Но при всем этом остается невыясненным вопрос: откуда заимствовали обе соседние зоны, шэньсийская и хэнаньская, свои культурные авуары луншаньско-луншаноидного горизонта и, главное, почему характер этих авуаров в обеих соседних и вы-

росших на едином, общем фундаменте переходной культуры типа Мяодигоу-II зонах оказался весьма различным (хотя и кое в чем был общим и одинаковым)? Другими словами: почему земледельцы Шэньси заимствовали прежде всего элементы скотоводческого комплекса и были сравнительно слабо знакомы с нововведениями земледельческого характера, тогда как в Хэнани дело обстояло наоборот?

Можно было бы полагать, что поток культурных нововведений шел из Цицзя на восток и что именно поэтому в Цицзя их было больше, чем в шэньсийском варианте, а в этом варианте больше, чем в Хэнани, но при таком объяснении возникает ряд сложностей (почему в Цицзя вовсе не обнаружено следов гончарного круга и почти нет черной тонкой лощеной керамики, тогда как в Хэнани то и другое было хорошо известно), и оно поэтому выглядит не вполне убедительным [57]. Видимо, параллельно с этим движением из Ганьсу (от Цицзя) на восток в начальный период сложения луншаньско-луншаноидного горизонта существовал и иной, параллельный поток культурных влияний, основное направление которого лежало к югу от бассейна Хуанхэ. Следы этого потока сталкивают нас с проблемой генезиса луншаноидных культур бассейна Янцзы, прежде всего культуры Цюйцзялин.

ЦЮЙЦЗЯЛИН И ЛУНШАНЬ

Цюйцзялин принадлежит к числу культур луншаноидного горизонта. Термин «луншаноидные», предложенный Чжан Гуанчжи,— хотя он еще далеко не общепринят [100, 37—41; 527, 853],— удачно характеризует всю серию, отражая как переходный характер ее (от местных вариантов Яншао), так и сходство с культурами луншаньского типа. Луншаноидные культуры расположены к югу от Хуанхэ, они весьма различны, что позволяет говорить о «культурной мозаике» [527] и фиксировать преимущественное внимание на этих различиях, порой забывая о культурно-генетической общности горизонта в целом [100, 135].

Конечно, проблема генетических связей всей пестрой и разновременной «культурной мозаики», которая столь характерна для территории Центрального и Южного Китая, действительно непроста. Однако, коль скоро речь идет не о третьестепенных локальных различиях, а о принципиальном знакомстве с важнейшими культурными признаками и нововведениями из культурного потенциала Яншао и Луншань, вопрос о генезисе культур луншаноидного горизонта может быть решен только в том плане, как это было в случае с самими Яншао и Луншань. И сколь бы ни казалась при этом «очевидной» автохтонность каждой из этих культур — она только кажущаяся, ибо о культурной стерильности в данных условиях говорить не приходится. Можно ставить лишь вопрос о том, как и при каких обстоятельствах на

местной субнеолитической основе в районах к югу от Хуанхэ сложилась серия высокоразвитых позднеолитических культур, знакомых с основными достижениями земледельческого злакового неолита и напоминающих по своим аруарам облик Яншао и Луншань.

Луншаноидная культура Цюйцзялин, ареал распространения которой покрывает среднюю часть междуречья Хуанхэ и Янцзы, старше развитых вариантов Луншань, в том числе хэнаньского и шэньсийского. Это стало вполне очевидным еще на рубеже 50—60-х годов, после раскопок в провинции Хубэй четырехслойной стоянки Дасы (Яншао—Цюйцзялин—Луншань—Чуньцю) и трехслойной Цинлунцюань (Яншао—Цюйцзялин—Луншань). Анализ показал, что нижний слой обеих соседних стоянок — это местное хубэйское Яншао. Касаясь проблемы генезиса культуры Цюйцзялин, М. В. Крюков писал, что «переход к производящей экономике происходил здесь на местной основе и не был связан с культурным влиянием бассейна Хуанхэ» [119, 95]. Этот вывод был воспроизведен и в других работах [171, 13].

Речь идет, по сути дела, о генезисе того самого хубэйского Яншао, слои которого предшествовали культуре Цюйцзялин, развивавшейся на этом фундаменте. Можно ли считать, что происхождение хубэйского Яншао «не было связано с культурным влиянием бассейна Хуанхэ»? Оценивая эту культуру, китайские археологи писали, что в хубэйском Яншао представлены те же формы и типы строений, захоронений, орудий труда, керамики (расписной и грубой), те же мотивы росписи и орнамента, что были характерны для Яншао в бассейне Хуанхэ. Хубэйское Яншао имеет много черт, связывающих и сближающих его с вариантом Баньпо. Однако в нем зафиксированы и признаки, типичные для варианта Мяодигоу [734, 519—523]. Более того, в археологических публикациях было прямо сказано, что хубэйское Яншао испытало определенное влияние Яншао бассейна Хуанхэ [573, 30]. И все-таки вопрос остается не вполне ясным, а предположение М. В. Крюкова имеет, видимо, некоторые основания.

Дело в том, что хубэйское Яншао с его недифференцированным обликом, имеющим признаки и Баньпо, и Мяодигоу, в принципе не может не напомнить о тех протояншао-мацзяюских ранних культурах, которые фиксируются археологами в верховьях реки Вэй и на базе которых, скорей всего, сложились и культуры ганьсуйского Яншао, и варианты Баньпо и Мяодигоу центральной зоны Яншао. Поэтому вполне можно предположить, что одной из ветвей гипотетической протокультуры, положившей начало Яншао в Ганьсу и Шэньси—Хэнани, была более южная, следы которой и зафиксированы археологами в виде нижних слоев Дасы и Цинлунцюань. Если это так, то вполне закономерны недифференцированность хубэйского Яншао, и его специфические культурные признаки, и даже предположение о том, что процесс

формирования хубэйского Яншао шел параллельно и независимо от Яншао бассейна Хуанхэ, с которым его связывала лишь генетическая общность.

Одной из наиболее ярких особенностей хубэйского Яншао были весьма специфические формы трипода дин. Либо это был пузатый котел на трех тонких длинных ножках, либо, что чаще и типичнее, котлообразный сосуд на трех ножках в виде пальцеобразных отростков, иногда сплющенных [734, л. илл. II, №№ 4, 8, 10]. Именно такой формы триподы, особенно в последней их модификации, со сплющенными прямоугольными в поперечном разрезе ножками, стали затем типичными и для культуры Цюйцзялин, слои которой, налегавшие на слои хубэйского Яншао, формировались на этом фундаменте.

Слои типа Дасы-II и Цинлунцюань-II явно складывались на основе Яншао. Генетическое родство культуры Цюйцзялин с Яншао несомненно [527, 855; 528, 88; 573, 30], и в этом смысле никакие предположения о спонтанной эволюции этой культуры неправомерны. Другое дело, что хубэйское Яншао, на фундаменте которого, скорей всего, складывалась культура Цюйцзялин,— это все-таки не Яншао бассейна Хуанхэ, хотя и родство обеих этих ветвей Яншао, восходящих к единой общей протокультуре, несомненно. От хубэйского Яншао культура Цюйцзялин получила яншаоские типы строений, захоронений, каменных орудий, керамики (сосуды доу, дин, бо, гуань). Неотличима от яншаоской гончарная печь, остатки которой были обнаружены при раскопках. Много расписной керамики, но роспись отличается от яншаоской. Среди домашних животных — те же яншаоские свинья и собака. Следов злаков археологи в Дасы-II и Цинлунцюань-II не обнаружили, но, скорей всего, насельники этих стоянок возделывали ту же чумизу, что и их современники в бассейне Хуанхэ.

Однако далеко не все в Цюйцзялин — только от Яншао. Среди керамического инвентаря стоянок археологи нашли немало черной тонкой лощеной керамики явно луншаньского типа, причем сам факт лощения побудил их предположить, что первым цюйцзялинцам был известен гончарный круг, использовавшийся для обработки поверхности сосудов [734, 520—526]. Это впечатление сложилось после опубликования первых сообщений о раскопках собственно цюйцзялинской стоянки, расположенной к юго-востоку от Дасы и Цинлунцюань, уже в центральной части бассейна Янцзы [580].

Полная публикация материалов раскопок стоянки Цюйцзялин и ряда соседних с ней позволила археологам выявить здесь три последовательных слоя, три этапа эволюции культуры, в своем зрелом виде достаточно поздней, как об этом писали сами авторы монографии [733, 75]. В раннем слое, в целом сопоставимом с Дасы-II и Цинлунцюань-II, зафиксировано обилие черной тонкой лощеной керамики (наряду с красноватой, желтой, в

том числе и расписной, а также грубой серой), причем толщина стенок черных лощеных сосудов гуань порой достигала 0,1—0,2 см, что принято считать важной особенностью раннего слоя трехслойной шкалы собственно Цюйцзялин. В последующих, более поздних слоях характер культуры существенно не изменился, если не считать укоренившейся практики изготовлять с помощью гончарного круга не только тонкие черные лощеные, но и расписные керамические сосуды. Некоторые стоянки этой культуры, с большим количеством выделанной на круге черной лощеной керамики, были, однако, лишены расписной керамики (на этом основании их подчас считают более ранними [584]).

В южном варианте культуры Цюйцзялин (в слоях собственно Цюйцзялин) археологи обнаружили следы риса вида Orysa Sativa Indica, дикие предшественники которого распространены в Индии и Юго-Восточной Азии [528, 88; 529, 63; 247, 3], что подтверждает уже высказывавшиеся предположения о западном происхождении тех земледельческо-скотоводческих нововведений, волна которых в конце Яншао привела к сложению в бассейнах Хуанхэ и Янцзы (на местной основе Яншао) серии луншаньско-луншаноидных культур. Правда, не вполне ясными остаются основные направления этого влияния.

Судя по всему, между северным и южным вариантами культуры Цюйцзялин существовала некоторая разница, причем эта разница сводится к тому, что северный вариант (Дасы-II, Цинлунцюань-II и близкие к ним стоянки в бассейне Хуанхэ, в Хэнани [631]) был старше. Возможно, что культуру Цюйцзялин в ее полном виде следовало бы подразделить не на три, а на четыре этапа, из которых три последних (собственно Цюйцзялин, т. е. южный и более поздний вариант) генетически восходили к первому, сложившемуся на базе хубэйского Яншао, но явно под влиянием земледельческого комплекса более западных районов. Именно этому гипотетическому комплексу ранний северный вариант был обязан своим знакомством с теми нововведениями (гончарный круг и тонкая черная лощеная керамика), которые сыграли столь значительную роль в сложении всего луншаньско-луншаноидного горизонта. Что же касается злаков, то не исключено, что и северные, и южные цюйцзялинцы знали как чумизу, так и полученный ими с запада рис, но при этом на севере основным злаком оставалась чумиза, тогда как в более южных районах (которые остаются центром китайского рисосеяния и сегодня) привился и стал широко возделываться рис. Этот вывод о некоторой разнице в хронологии и периодизации слоев культуры Цюйцзялин опирается на данные радиокарбонного анализа.

Южный вариант Цюйцзялин (нижние, наиболее древние слои) был датирован в китайских публикациях временем между 2245 и 2080 г. до н. э. [670, 334], что с учетом поправочного коэффициента соответствует примерно 2100—1950 гг. до н. э. В то же время радиокарбонный анализ одной из стоянок северного

варианта (типа Дасы-II и Цинлунцюань-II) в Хэнани дал цифру 2151 (по пересчитанной шкале общепринятых дат [475, 143]). Конечно, эта разница очень невелика и практически есть все основания ею пренебречь. Однако эта разница все-таки в пользу северного варианта. А если учесть, что культура Цюйцзялин в ее наиболее раннем виде явно складывалась на основе хубэйского Яншао (о чем свидетельствуют специфические формы ножек на сосудах ли, которые и побуждают археологов приравнивать находимые ими в Хэнани культуры именно к Цюйцзялин [631, 667]) и лишь затем распространилась на севере, в Хэнани, то можно предположить, что слои Дасы-II и Цинлунцюань-II датируются еще более ранним временем.

Практически это значит, что северный вариант Цюйцзялин хронологически одновременен переходной яншао-луншаньской культуре типа Мяодигоу-II в Хэнани. Но если культура Мяодигоу-II имела сравнительно мало новшеств луншаньского типа, так что ее и луншаньской-то можно считать лишь условно, имея в виду процесс дальнейшей эволюции, то северный вариант Цюйцзялин имел больше луншаньских признаков, и в частности был знаком с черной тонкой лощеной керамикой и гончарным кругом, которые, скорей всего, были заимствованы с запада, где в то время, в конце III тысячелетия до н. э., бассейны Хуанхэ и Янцзы уже окружал пояс различных земледельческо-скотоводческих культур, генетически восходивших к восточноиранской и среднеазиатской периферии (столь хорошо знакомой и с рогатым скотом, и с черной керамикой, и с гончарным кругом).

Можно предположить, что цюйцзялинцы междуречья Хуанхэ и Янцзы ранее всех неолитических земледельцев Китая познакомились с гончарным кругом и активнее других начали применять его для выделки тонкой черной лощеной керамики, и прежде всего для лощения ее тонких стенок, что было характернейшим признаком именно луншаньско-луншаноидного культурного горизонта. Освоившие эти нововведения, цюйцзялинцы затем передали его своим соседям, как на юге, где впоследствии сложилась база позднецюйцзялинских культур (южный вариант), так и на севере, в бассейне Хуанхэ, где, скорей всего, именно от цюйцзялинцев насельники хэнаньского Луншаня получили навыки изготовления черной тонкой лощеной керамики с помощью гончарного круга.

Возможно, одновременно эти же навыки стали знакомы и соседнему шэньсийскому варианту развитого этапа Луншань. Однако более вероятно (особенно если учесть ареал распространения цюйцзялинской культуры, в бассейне Хуанхэ не выходивший за пределы Хэнани), что шэньсийцы получили эти навыки через посредство своих соседей-хэнаньцев, которые, в свою очередь, заимствовали у шэньсийцев некоторые элементы столь знакомого на западе (Ганьсу—Шэньси) скотоводческого комплекса, в частности триподы типа ли.

Изложенное выше позволяет теперь более четко реконструировать весь гипотетический процесс генезиса луншаньско-луншаноидного горизонта, протекавшего в виде сложных взаимодействий земледельцев яншаоского неолита в бассейнах Хуанхэ и Янцзы с носителями внешних влияний земледельческо-скотоводческой периферии на северо-западе и западе, в горных районах верховьев Хуанхэ, Янцзы и их притоков.

Земледельческий неолит Яншао, проникший на территорию бассейна Хуанхэ (в виде одной раздвоившейся затем протояншао-мацзяяоской ветви) и в междуречье Хуанхэ и Янцзы (в виде другой сходной ветви, породившей со временем хубэйское Яншао), просуществовал, если верить ранним датировкам Баньпо, около 1,5 тысячелетий без существенных качественных видоизменений. И лишь после этого, в конце III тысячелетия до н. э., он вступил на путь энергичной трансформации. Трансформация эта была вызвана как внутренними причинами, так и внешними воздействиями. Внутренние причины, обусловившие упадок типично яншаоских культурных черт (прежде всего расписной керамики), с течением времени привели к возникновению культуры промежуточного характера, представленной в центре бассейна Хуанхэ вариантом Мяодигоу-II. Внешние причины свелись к воздействию на приходившие в упадок культуры расписной керамики со стороны западных и северо-западных периферийных культур скотоводческо-земледельческого типа. Культуры этого типа, проникнув вдоль широкой степной полосы в районы к северу от бассейна Хуанхэ, а также через горные и пустынные районы Туркестана и пригималайско-тибетских хребтов в районы к западу от междуречья Хуанхэ и Янцзы, к концу III тысячелетия до н. э. стали энергично взаимодействовать с яншаосцами.

На западе бассейна Хуанхэ, в Ганьсу, это взаимодействие привело к постепенному сложению новой культуры луншаньского типа — Цицзя. Культура эта в своем зрелом виде датируется сравнительно поздним временем. Однако сам процесс взаимодействия и сложения Цицзя можно, видимо, отнести к последним векам III тысячелетия до н. э. Отличием Цицзя от других культур луншаньско-луншаноидного горизонта было заметное влияние в ней элементов скотоводческого комплекса. В западной части междуречья Хуанхэ и Янцзы параллельно шел другой процесс: проникновение ряда новых элементов преимущественно земледельческого комплекса в глубь Китая. Это проникновение сыграло свою роль в формировании на базе хубэйского Яншао культуры Цюйцзялин, практически, видимо, современной как Мяодигоу-II, так и раннему этапу формирования Цицзя.

Культура Цюйцзялин, дальнейшая основная история развития которой фиксируется юго-восточнее, в средней части долины Янцзы, где цюйцзялинцы во II тысячелетии до н. э. уже возделывали рис, имела, видимо, на начальном этапе своего развития важное значение для процесса генезиса луншаньского горизонта

в бассейне Хуанхэ. Влияние нововведений Цюйцзялин (тонкая черная лощеная керамика и гончарный круг) обусловило общий облик развитого хэнаньского варианта культуры Луншань, сложившегося на базе Мяодигоу-II.

Культура Цицзя сыграла аналогичную роль в возникновении шэньсийского варианта Луншань, который, по словам китайских археологов, с одной стороны, близок Цицзя, а с другой — хэнаньскому Луншаню [606, 55—58, 191]. Именно этому влиянию Цицзя-шэньсийский вариант обязан своими отличиями от хэнаньского, и прежде всего широким использованием элементов скотоводческого комплекса (рогатого скота, скапулимантии и особенно сосудов ли). Это не означает, что все эти элементы в комплексе были внешним по отношению к Китаю явлением. Не исключено, что такое явление, как скапулимантия, возникло и получило широкое распространение в ходе взаимодействия между Цицзя и Яншао в Ганьсу, что именно у земледельцев Ганьсу и Шэньси сосуд ли применялся в различных многочисленных его модификациях (ведь независимо от того, каково происхождение этого сосуда, модификации его из керамики были свойственны прежде всего земледельческому хозяйству). Но, как бы то ни было, элементы комплекса Цицзя через посредство шэньсийского варианта шли далее на восток. Элементы культурного комплекса Цюйцзялин, освоенные и развитые в хэнаньском варианте Луншань, также могли проникать как на запад, в Шэньси, так и на восток, в Шаньдун. Тем самым на рубеже III—II тысячелетий до н. э., и особенно в начале II тысячелетия, были заложены основы развитого луншаньского и развитого луншаноидного комплексов, причем оба они взаимодействовали между собой как в пределах бассейна Хуанхэ, так и южнее его, в междуречье Хуанхэ и Янцзы. Более всего это взаимодействие видно на примере неолитических культур Восточного Китая, в бассейне реки Хуай.

ЦИНЛЯНЬГАН И ЛУНШАНОИДНЫЕ КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНОГО КИТАЯ

Стоянки культуры Цинляньган расположены в устье реки Хуай, в провинции Цзянсу. В этом районе восточного побережья Китая, равно как и к северу (провинция Шаньдун) и к югу от него, в сторону Янцзы, в 50-х годах было обнаружено множество неолитических стоянок, как луншаньских, так и близких к ним. Сначала группу культур, которая получила наименование Цинляньган по одной из первых стоянок этой культуры [767], помещали в описаниях после стоянок культуры Луншань. Дело в том, что стоянки Цинляньган производили впечатление довольно поздних, а знакомство культурного слоя цинляньганских стоянок с изделиями яншаоского и луншаньского типов, с рисосеянием, полированными сосудами, триподами дин и ли, явно под-

утверждало такой вывод [746, 43—45]. Позже, однако, в публикациях материалов об археологическом обследовании луншаньских и цинляньганских стоянок в провинции Цзянсу археологи стали подходить к вопросу о периодизации культур более осторожно, ставить этот вопрос альтернативно (Луншань и Цинляньган либо параллельны, либо следуют одна за другой [575]), а в юбилейной публикации «Археология в новом Китае» культурный комплекс Цинляньган был уже вынесен вперед и поставлен ранее культуры Луншань, между Яншао и Луншань [573, 31].

Впрочем, к этому времени и представление о культуре Цинляньган значительно изменилось. Стало ясно, что перед нами лестница, целая шкала слоев, нижние ступени которых, по сути, можно идентифицировать с Яншао, и даже, как показали последующие радиокарбонные датировки, с ранним Яншао[3]. В частности, в Эрцзяньцунь (Цзянсу) была обнаружена стоянка, стратиграфически подтвердившая, что культура Цинляньган (собственно Цинляньган, классический Цинляньган) предшествовала луншаньскому горизонту [576]. Затем была обследована и раскопана стоянка Люлинь, близкая по культурному облику к Цинляньган и поставленная раскапывавшими ее археологами между Цинляньган и Луншань [613]. Последующие стоянки этого типа стали уже «распределяться» между «классическим» Цинляньган и Люлинь [616]. При этом собственно цинляньганские стоянки заметно приобрели более строгий, очищенный от случайных внешних примесей культурный облик, в целом мало отличный от более западных культур расписной керамики яншаоского типа.

Становилось все очевиднее, что для раннего («классического») Цинляньган характерны яншаоский тип трипода (дин), грубая красноватая и серая керамика, изредка расписная [614], близкие к яншаоским каменные орудия и поделки, в частности диски. Сделанные автором первой публикации о раскопках стоянки Цинляньган Чжао Цин-фаном предположения об использовании гончарного круга [767, 22] в дальнейшем не под-

[3] Похоже, что близость океана существенно влияет на радиокарбонный анализ в сторону заметного удревнения датировок, особенно ранних неолитических культур. Это относится к чрезмерно древним датировкам японского неолита дзёмон, тайваньского неолита, а также слоев из находок Сольхейма в Таиланде. Видимо, это касается и китайского неолита восточного побережья. Датировки по радиокарбону здесь явно не соответствуют тем, какие ожидаются археологами. Так, например, очень поздняя по облику, со следами не только развитого Луншаня (сосуд гуй, модификация сосуда ли, черная керамика), но и более позднего керамического инвентаря, со штампованным орнаментом, стоянка Цяньшаньян культуры Лянчжу в провинции Чжэцзян, которая самими раскапывавшими ее археологами была отнесена к позднему неолиту и сочтена развившейся под влиянием Луншаня [673, 87 и 90—91], была датирована радиокарбоном 2617 г. до н. э. (по уточненным, принятым среди археологов данным [475, 143]). Это же, видимо, относится и к датировке раннего слоя Цинляньган (3835—3675 гг. до н. э. [670, 334]), оказавшегося почти столь же древним, как и стоянка Баньпо, чего никак нельзя заключить из чисто археологического анализа нижних яншаоских слоев Цинляньгана.

твердились, как не был принят и его вывод о позднем, чуть ли не эпохи бронзы, характере стоянки [767, 23]. Зато мнение Чжао Цин-фана о заметном влиянии яншаоской расписной керамики на Цинляньган [767, 23] теперь уже вне сомнений: культура Цинляньган была теснейшим образом связана с яншаоским горизонтом.

Раскопки 1963 г. в Дадуньцзы обнаружили двухслойную стоянку Цинляньган — Люлинь и двухслойный могильник Люлинь — Хуадин, что дало основание выделить три последовательных слоя (Цинляньган—Люлинь—Хуадин). Инь Хуань-чжан и его сотрудники предложили считать, что ранний этап, собственно Цинляньган, следует датировать временем Яншао, третий, Хуадин,— ранним Луншань, а Люлинь соответственно отнести к концу Яншао [615, 49]. Хотя это предположение в 60-х годах казалось несколько сомнительным [305, 142], радиокарбонные датировки подтвердили его. А повторные раскопки стоянки Люлинь, проведенные в 1964 г., позволили Инь Хуань-чжану выделить в этом слое, в свою очередь, два этапа, из которых ранний (Люлинь-I) оказался ближе к собственно Цинляньган [616а, 44], что еще более убедительно связало всю шкалу слоев. Эти же раскопки дали возможность сделать более определенный вывод о сходстве расписной керамики Люлинь с керамикой варианта Мяодигоу центральной зоны Яншао при наличии, разумеется, и некоторых местных особенностей [616а, 45].

После всех этих дополнений и уточнений, связанных с определением характера и облика различных этапов представлявшейся ранее единым целым культуры Цинляньган, стало очевидным, что эта культура восточной окраины междуречья Хуанхэ и Янцзы претерпела ту же эволюцию, что и другие неолитические земледельческие комплексы Хуанхэ и Янцзы. Ранний слой культуры Цинляньган, представленный, в частности, рядом стоянок из публикации Чжао Цин-фана [767], а также стоянками Дадуньцзы [615] и Эрцзяньцунь [576], многим напоминает Яншао. Среди орудий труда — типично яншаоские сплошные и перфорированные каменные топоры прямоугольной формы либо с овальным закруглением рабочей части, аналогичные по типу и довольно грубо выделанные заступы и т. п. [767, 15—16, л. илл. I; 573, 29, табл. 14; 576, л. илл. II, №№ 1—3; 615, 12—14, л. илл. IV, №№ 1—5 и V, № 4]. Керамика преимущественно красноватая, серая, реже — черная, как правило, очень грубой ручной выделки, со шнуровым или нацарапанным орнаментом. Расписной керамики или нет совсем (Эрцзяньцунь), или она представлена немногими черепками [767, л. илл. VI—VII; 615, 17, рис. VII, № 6]. Среди типов сосудов явно преобладают яншаоские треноги дин, причем преимущественно в их хубэйской модификации: с толстыми короткими либо с длинными сплющенными пальцеобразными ножками. Иногда эти ножки принимают изысканно вычурную фигурную форму [575, 23, рис. 7], что стало типичным

для более поздних слоев серии. Встречаются также яншаоские типы сосудов доу, гуань, бо.

Итак, культурный потенциал раннего слоя (собственно Цинляньган) небогат. Видимо, этот слой в целом правильней считать отдаленным и сравнительно ранним по времени периферийным вариантом яншаоского горизонта, достигшего океанского побережья. Скорей всего, это была периферийная волна южной, хубэйской, ветви Яншао, на родство с которой указывает форма сосудов дин. Радиокарбонный анализ датирует нижние слои стоянок Цинляньган, с пересчетом по общепринятому стандарту, XXXVII—XXXIII вв. до н. э. [670, 334; 475, 143], причем эти цифры представляются несколько преувеличенными.

Следующая модификация культуры, ее второй этап, Люлинь, заметно отличается от раннего. Даже если принять разделение Люлинь на два этапа, оба они выглядят намного более зрелыми и развитыми по сравнению с ранним Цинляньган. Видимо, далеко не случайно раскапывавшие могильники Люлинь археологи считают возможным датировать эту модификацию поздним Яншао, отмечают воздействие на нее со стороны развитого варианта Мяодигоу. Разница между Люлинь и Хуадин невелика, практически неощутима. И в этом смысле можно говорить о двух основных этапах культуры Цинляньган, о раннем (собственно Цинляньган) и развитом (Люлинь—Хуадин).

Развитой Цинляньган (Люлинь — Хуадин) сложился на базе раннего, но при бесспорном воздействии извне. И если первый этап этой культуры можно считать периферией южной, хубэйской, ветви Яншао, то второй, зрелый и, видимо, много более поздний, переходно-луншаноидный и по времени своего существования, и по типу культуры, складывался также и под воздействием Яншао бассейна Хуанхэ. Во всяком случае, в пользу этого предположения убедительно свидетельствует характер, обилие и облик орнаментальной росписи на некоторых сосудах из могильника Дадуньцзы ([615, 56], цветная вклейка). Именно эти сосуды в первую очередь побудили поставить вопрос об аналогиях с яншаоским Мяодигоу.

Вообще развитой Цинляньган демонстрирует немало специфических культурных черт и признаков, преимущественно восходивших к традиционно-яншаоским элементам. Вычурный, предельно развитой облик этих элементов яншаоской культуры бросается в глаза. Собственно, именно он и создает специфику Люлинь-Хуадин. Это видно на примере тщательно обработанного и хорошо отполированного обильного и разнообразного каменного инвентаря: заботливо выделанные каменные, преимущественно перфорированные, прямоугольные и овальные топоры, тесла, ножи, совершенные по форме кольца и диски [615, 26 и 38, л. илл. IV—VI; 616а, 20—21 и 27—28, л. илл. V]. Это также видно и из характера захоронений с весьма обильным даже для классического Яншао погребальным инвентарем, преимущест-

венно из высококачественной и художественно-вычурной керамики [613; 615, 20—25, л. илл. IX—XVI; 616а, л. илл. VII—XIV], с отчетливым делением на богатые и бедные погребения [616а, 45]. Поражает богатство и разнообразие костяного инвентаря — шилья, крючья, наконечники копий и особенно гарпуны [615, л. илл. VII—VIII; 616а, л. илл. VI]. Обилие гарпунов вполне естественно для развитой земледельческой культуры, существующей в устье большой реки, рядом с морем и потому уделяющей большое внимание рыболовству.

Но более всего поражает керамика — красноватая, серая, черная, вычурных форм и типов. Как и на раннем этапе культуры Цинляньган, в Люлинь—Хуадин преобладает яншаоский трипод дин. Но как он отличен от обычного скромного треножника из Баньпо или Мяодигоу! Пальцеобразные ножки хубэйского типа постепенно трансформировались то в затейливо изогнутые выпуклые и как бы прилепленные к сосуду сбоку подставки [616а, л. илл. IV, № 2], то в треугольные подставки с фигурными вырезами [615, л. илл. X, № 1]. Часть триподов дин оказалась снабженной крышками. Еще более вычурны формы яншаоских сосудов доу. Чаще всего это небольшие открытые чаши на очень высоких колоннообразных поддонах с рельефно выпуклыми кольцеобразными налепами. При этом поддоны нередко украшены орнаментом (параллельные линии-насечки и кружки-кольца) и вдобавок ко всему опираются снизу все на те же, что и у дин, небольшие ножки подтреугольной формы со сплющенными и сужающимися книзу основаниями. Другой распространенный тип доу — более глубокие чаши на пузатых, расширяющихся книзу поддонах, опять-таки обильно разукрашенных орнаментом в виде вырезанных в поддонах кружков, треугольных или ромбовидных отверстий [613, 92, л. илл. V; 615, 33, 37—43, л. илл. XI—XII, XVI; 616а, л. илл. XI—XII].

Появляются сосуды новых форм: сосуд дин с рукоятью [616а, л. илл. VIII, № 3], а также кувшины гуань с носиками [616а, л. илл. IX, № 4] и чайникообразные сосуды [573, 29], видимо использовавшиеся для вина [4].

Среди сосудов раннего этапа Цинляньган сосудов ли, естественно, не было, как и тонкой лощеной черной керамики (грубая черная была). На втором этапе, в культурах Люлинь—Хуадин, триподов ли тоже нет, но изрезка встречаются триподы типа гуй — модификация сосуда ли. Очень немного тонкой черной лощеной керамики. Наконец, есть предположение, что на этом этапе был уже известен ручной гончарный круг, с помощью которого подправляли форму сосудов, а может быть, и подвергали их лощению [615, 30; 573, 31]. Правда, остается не вполне яс-

[4] Как известно, среди китайских специалистов еще не решен вопрос, когда началось виноделие,— с Яншао или с Луншань, причем решение этого вопроса связывается с находками археологами сосудов различных форм [723].

ным, к какому времени — уже в рамках второго этапа — относятся эти важные нововведения луншаньско-луншаноидного горизонта. Но если принять во внимание, что сосуды гуй, тонкая керамика и гончарный круг встречались редко и использовались мало, то будут все основания предположить, что эти нововведения только-только появлялись,— а это вполне соответствует той датировке, которая была дана второму этапу Цинляньган (конец Яншао — начало Луншань). Другими словами, в конце второго этапа развитая, даже в известном смысле перезрелая культура яншаоского типа Цинляньган—Люлинь—Хуадин приобретает черты луншаноидной.

За счет чего приобрела культура Цинляньган на ее втором этапе признаки луншаноидного горизонта? Трудно ответить на этот вопрос с полной определенностью, но некоторые данные позволяют заключить, что это произошло за счет влияний с запада, прежде всего со стороны культуры Цюйцзялин, с характерными для нее формами керамики (сосуд дин) и практикой рисосеяния. Как известно, насельники культуры Цинляньган, так же как и цюйцзялинцы, возделывали рис. Но к какому из двух этапов культуры Цинляньган относятся сведения о рисосеянии?

Сведения об обнаружении риса в цинляньганских стоянках Мяошань и Сяньлидунь были опубликованы Цзян Цзань-чу в 1959 г. [746, 40]. Поскольку в то время культура Цинляньган воспринималась как нечто единое целое и к тому же достаточно позднее, неудивительно, что эти данные не произвели сенсации,— просто было принято к сведению, что позднеолитическая послелуншаньская (по данным отчета Цзян Цзань-чу) культура Цинляньган была знакома с рисосеянием. Позже, когда все эти сведения получили широкую огласку, вошли в сводные публикации [573] и стало очевидно, что собственно Цинляньган гораздо древнее, чем это казалось, произошла подмена некоторых понятий и представлений, на что многие не обратили внимания (и о чем многие, за исключением специально интересующихся проблемой Цинляньган, могли и не знать): знакомство с рисосеянием по традиции стали относить к Цинляньган (т. е. к собственно Цинляньган, к первому этапу, к яншаоскому горизонту) и, естественно, датировать очень ранним временем, что немало смущает авторов, исходящих из устоявшихся уже в науке представлений об индийском происхождении риса и рисосеяния. Между тем никаких несоответствий здесь нет.

Рис и рисосеяние на восточном побережье Китая датируется не ранним, но лишь вторым этапом культуры Цинляньган. Достаточно ознакомиться с публикацией Цзян Цзань-чу, в которой упоминается о сосудах типа гуй, о богатом инвентаре из кости и камня, о многих типах и формах керамики, о различных типах орнамента, включая расписной, и о многих других признаках зрелой неолитической культуры, чтобы согласиться с тем, что у автора публикации были основания для сравнительно поздней

датировки обнаруженной им культуры и что в свете современных представлений стоянки, о которых идет речь (в том числе и те, где были обнаружены зерна риса), следует относить ко второму этапу культуры Цинляньган, т. е. к Люлинь—Хуадин, к переходно-луншаноидному времени. А если так, то и вопрос о происхождении риса и рисосеяния на восточном побережье Китая не будет составлять проблемы: скорей всего, этот злак и искусство его выращивания были заимствованы у цюйцзялинцев, знакомых с рисосеянием по меньшей мере с рубежа III—II тысячелетий до н. э. Возможно, таково же происхождение и некоторых других специфических культурных элементов, в частности сосудов с носиками,— сосуды такого же типа были широко распространены в Индии в эпоху неолита [255, 104 и 118 сл.].

В любом случае, однако, контактами с цюйцзялинской культурой вдоль междуречья Хуанхэ и Янцзы дело не ограничивалось. Пусть крайне редко, но в стоянках второго этапа культуры Цинляньган обнаружены триподы ли [746, 40; 573, 31]. Много чаще встречалась специфическая восточнокитайская модификация этого сосуда — гуй, уже хорошо известная и в обилии представленная в Цицзя и шэньсийском варианте Луншань. Появление сосуда гуй, т. е. знакомство с самим принципом изготовления трипода нового типа, базовой формой для которого служил, без сомнения, трипод ли, свидетельствует о проникновении на восток влияний того скотоводческого комплекса, о котором уже говорилось выше.

Ни одна из пород рогатого скота не проникла так далеко на восток: луншаноидные культуры восточного побережья не были знакомы с иными домашними животными, кроме яншаоских свиньи и собаки. Однако говорить о влиянии скотоводческого комплекса мы вправе. И не только потому, что сосуды ли и гуй были уже известны, так же как и тонкая черная лощеная керамика и гончарный круг, пусть даже только медленного вращения. Есть еще сведения, дающие основание для такого заключения. Во-первых, это практика скапулимантии. Разумеется, не скапулимантии, как таковой: коль скоро на востоке не разводили баранов, то там не знали и бараньих лопаток, на которых насельники стоянок ганьсуйского Цицзя и шэньсийского варианта Луншань производили гадания. И все-таки сам принцип гадания такого рода (с выделыванием круглых углублений на кости), видимо, был уже известен на втором этапе культуры Цинляньган. Речь идет о так называемой пластромантии, т. е. о гадании на черепашьих панцирях.

Дело в том, что среди прочих находок археологи обнаружили в стоянках типа Люлинь—Хуадин немало черепашьих панцирей с начертанными на них знаками (кресты, кольца) или выдолбленными небольшими отверстиями. Правда, Инь Хуань-чжан и его коллеги полагают, что эти отверстия служили для закрепления веревок и снастей. Но обращает на себя внимание обилие

(явно излишнее, если вести речь о закреплении веревки) близко расположенных друг к другу отверстий. В отдельных случаях их число достигало 12, причем только в одной нижней кромке панциря [613, л. илл. VI, № 6]. Кроме того, все равно остается неясным, для чего поверхность отдельных (не перфорированных) панцирей украшалась кругами или крестами. Словом, не исключено, что все это уже имело какое-то отношение к пластромантии, тем более что начиная с Инь, т. е. по времени очень близко ко второму этапу-варианту Цинляньган, пластромантия, как и скапулимантия, были на восточном побережье Китая хорошо известны, а сырье для гадания, т. е. черепахи, поступало к иньцам с юга.

Наконец, есть и еще одно соображение, которое надлежит принять во внимание при решении вопроса о генетических связях и внешних контактах луншаноидных культур восточного побережья, прежде всего Люлинь—Хуадин. Речь идет о практике захоронений, точнее, даже об обычае класть с погребенным в могилу не только керамические и иные изделия, но и такую, казалось бы, необычную вещь, как челюсть свиньи. Этот странный обычай, зафиксированный археологами при анализе захоронений в Люлинь [615, 20—25], считается очень сильным генетически культурным признаком. О нем как о специфической культурной характеристике именно восточнокитайских неолитических культур говорится в сводных работах [154, 58]. Казалось бы, такого рода признак действительно уникален. Но внимательное знакомство с захоронениями в Цицзя показывает, что в неолите Ганьсу такой обычай тоже практиковался. Нижние челюсти свиньи, причем не одна, а несколько, сопровождали покойника на тот свет вместе с керамической утварью, орудиями и иными предметами [779, 10]. Если учесть, что между Цицзя и Люлинь, лежавшими на противоположных окраинах междуречья Хуанхэ и Янцзы, нигде больше археологи этого обычая не зафиксировали, то такое совпадение может показаться не только странным, но и просто случайным, не стоящим внимания,— примерно так к этому и относятся китайские археологи. Между тем при наличии некоторых других связующих нитей ситуация может выглядеть и в несколько ином свете. Но сначала — о вариантах культуры Луншань в восточной провинции Шаньдун.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛУНШАНЬСКИХ И ЛУНШАНОИДНЫХ КУЛЬТУР В ШАНЬДУНЕ

В недавнем прошлом, как упоминалось, Шаньдун считался родиной и заповедником культуры Луншань, а шаньдунский классический Луншань — эталоном этой культуры. Ныне ситуация кардинальным образом изменилась, так что классический Луншань считается просто наиболее поздней, периферийной модификацией развитого Луншаня.

Более подробное ознакомление с культурным потенциалом развитого шаньдунского Луншаня позволяет убедиться в том, что он сложился именно на базе развитого Луншаня хэнаньского типа (быть может, с учетом того, что для поздней классической модификации были характерны также и рогатый скот, и скапулимантия, которые в развитом хэнаньском варианте еще не были распространены, хотя существовали в шэньсийском, откуда они распространялись на восток). Собственно, об этом ныне достаточно убедительно свидетельствуют и данные новых раскопок, подчас подкрепленные стратиграфическими свидетельствами. Однако в целом проблема генезиса классического Луншаня более сложна. И несмотря на кажущуюся очевидность ряда выводов, многие из них оспариваются специалистами,— достаточно ознакомиться хотя бы с двумя сводно-обобщающими статьями, посвященными в основном проблеме именно шаньдунского Луншаня, чтобы убедиться в этом [799 и 699].

В настоящее время не вызывает споров то обстоятельство, что классическому варианту Луншань в Шаньдуне предшествовал иной, несущий в себе элементы, сближавшие его как с хэнаньским варинтом Луншань, так и с Яншао. Однако неясности, связанные с направлением культурных взаимовлияний, с наличием ряда таких направлений (в том числе южного — связи с Люлинь), как раз и сыграли роль яблока раздора, в результате чего авторы указанных статей в весьма проблематичном аспекте рассуждают о генезисе классического Луншаня, вплоть до того, что считают возможным предполагать, что этот вариант Луншань может быть генетически не связан с хэнаньским, а представляет собой самостоятельно возникшую на иной основе культуру [799, 380].

Шаньдун в археологическом смысле изучен очень хорошо. Здесь, как и на противоположном конце бассейна Хуанхэ, в Ганьсу, обследовано и раскопано несколько сотен неолитических стоянок, по преимуществу луншаньских. Среди этих стоянок поздний, классический вариант Луншань явно преобладает. Однако за последние годы обнаружено и некоторое количество стоянок иного типа, в том числе и таких, в которых черты хэнаньского Луншаня перемежаются с культурными традициями Яншао, до того вообще не зафиксированного в Шаньдуне. Речь идет о стоянках и могильниках типа Баотоу (Давэнькоу), Сисяхоу и ряда других, близких к ним по облику и времени существования. В ряде случаев (Сисяхоу) в этих стоянках можно обнаружить и стратиграфические доказательства того, что тип стоянок и всей культуры, о которых идет речь, хронологически предшествовал классическому шаньдунскому Луншаню [591, 104]. Словом, этот тип культуры, публикации о котором стали появляться в китайской археологической периодике с 1959 г., заслуживает внимания.

В ходе раскопок 1959 г. близ Баотоу китайские археологи

впервые познакомились с новой для них — в пределах Шаньдуна — неолитической стоянкой. Изучение около 120 могил показало, что новый вариант неолита имеет немало общего как с традиционным Яншао, так и с развитыми вариантами Луншань. Наряду с великолепными образцами расписной керамики, которые в Баотоу впервые на территории Шаньдуна были обнаружены и зафиксированы (яншаоские сосуды гуань, бо и дин, щедро, хотя и весьма своеобразно, расписанные черной, красной и даже белой красками), здесь найдены и типично луншаньские керамические изделия, в том числе, хотя и изредка, трипод гуй. Среди керамического инвентаря преобладает серая грубая и красноватая керамика. Меньше черной, в том числе и лощеной. Наконец, идет расписная и как завершение всей гаммы красок — белая, которая из культур луншаньско-луншаноидного горизонта встречалась лишь в Цицзя. Керамика в основном ручная, но круг уже известен, и часть сосудов подправлялась на круге. Стоит заметить, что среди прочего инвентаря были обнаружены все те же, знакомые уже по развитому Цинляньгану, панцири черепах. Эти панцири были перфорированы и, по мнению автора раскопок, использовались для ритуальных целей. Гадательных костей, как и вообще рогатого скота и скапулимантии, на территории стоянки обнаружено не было [798].

В статье, опубликованной в 1959 г., Ян Цзы-фань, естественно, не мог ставить вопроса о сходстве варианта Баотоу с хэнаньским Луншанем. Позже стало ясно, что именно к этому типу ближе всего стоит Баотоу, со временем превратившееся в своего рода эталон — или, во всяком случае, в один из эталонов — шаньдунского доклассического Луншаня, который как по облику, так и по набору культурных признаков (наследство Яншао, черная лощеная керамика, гончарный круг, небольшое количество триподов гуй, отсутствие рогатого скота и скапулимантии, но зато наличие представлений о гадании и пластромантии) не только близок хэнаньскому Луншаню, но и явно связан с ним по происхождению. И это обстоятельство едва ли можно всерьез поставить под сомнение.

Стоянки типа Баотоу (иногда его именуют Давэнькоу) вскоре были обнаружены и в другом уезде провинции Шаньдун, в Цюйво, расположенном чуть южнее. Материалы об этих стоянках, которых в Цюйво оказалось довольно много, опубликованы в 1963—1964 гг. [577; 591]. Из этих стоянок наибольшего внимания заслуживает Дунвэйчжуан, в которой после повторного обследования были обнаружены два слоя: нижний — типа Давэнькоу и верхний — классический шаньдунский Луншань. Тем самым была окончательно установлена хронологическая последовательность этих вариантов в Шаньдуне [695, 487].

Анализируя материалы уже довольно многочисленных к тому времени стоянок варианта Баотоу, Ян Цзы-фань и Ван Сы-ли, усилиями которых в основном и производились археологические

раскопки неолитических стоянок Шаньдуна, опубликовали в 1963 г. сводно-обобщающую статью, касающуюся ряда проблем Луншань и в первую очередь проблемы Баотоу. Не имея еще в руках доказательств первичности типа Баотоу по сравнению с классическим Луншань (авторы упоминают о спорности вопроса и прямо противоположных точках зрения на этот счет), они предложили считать этот тип ранним. Сравнивая его с классическим, они обратили внимание на то, что в стоянках типа Баотоу сосуды выделывались в основном от руки, что в них преобладала серая и красноватая керамика, реже встречалась черная, но зато попадалась расписная. Мало столь типичных для классического Луншаня сосудов гуй. Зато много триподов дин кувшинообразной формы, доу с перфорированными поддонами и некоторых типично яншаоских по форме сосудов, например бо.

В то же время между ранним и поздним вариантами шаньдунского Луншаня оказалось немало общего (сходные формы орудий, сосудов, методов их выделки, захоронений), что позволило авторам не только сделать вывод о наследственно-преемственной связи этих этапов-вариантов [799, 377—378], но и пойти дальше. Фиксируя определенные различия в культурном облике шаньдунского и хэнаньского вариантов (на западе преобладает трипод ли, на востоке — его модификация гуй, там черная керамика грубее — здесь богаче, там одна ориентация покойников — здесь другая), Ян Цзы-фань и Ван Сы-ли выдвинули предположение, что хэнаньский Луншань — преемник Яншао, тогда как шаньдунский иного происхождения, сходство же объясняется тем, что шаньдунский влиял на хэнаньский [799, 379—380].

Вообще-то концепция такого рода не нова. В 50-х годах сходная теория сближения шедшей с востока культуры Луншань с двигавшимся с запада Яншао и как результат этого возникновение смешанной яншао-луншаньской культуры (а ближе всего к этому смешанному типу и подходит тот вариант, который ныне именуется хэнаньским Луншанем) была едва ли не общепринятой в Китае и нашла свое отражение в первом томе сводного многотомного труда Чжэн Дэ-куня. Конечно, то, что ныне предлагают Ян и Ван, выглядит иначе. Однако идея, в сущности, та же. И если принять ее, то сразу возникнет множество неразрешимых проблем.

Во-первых, откуда же тогда возник шаньдунский Луншань в обоих его вариантах, раннем и позднем. Если корни его следует искать на юге (при сравнительном анализе Луншань и Цинлянь-ган авторы, отметив немалое сходство этих культур, особенно Баотоу и Люлинь, многозначительно заметили в заключение, что характер этого сходства им пока не совсем ясен), то возникнет не только вопрос, откуда в Шаньдуне появились почти неизвестные в Люлинь элементы скотоводческого комплекса, но и второй, едва ли не более существенный: почему культурный облик

шаньдунско-цзянсуйских культур столь близок к хэнаньскому Луншаню? Если принять предложенное Яном и Ваном объяснение (это — результат влияния шаньдунского Луншаня на хэнаньский), то все снова возвратится «на круги своя» и вопрос о генезисе некоторых важнейших культурных достижений Луншань повиснет в воздухе.

В этой связи стоит напомнить, что в статье Тан Юнь-мина, также посвященной проблемам Луншань, те же сложные вопросы соотношения между шаньдунским и хэнаньским Луншанем рассматриваются в прямо противоположном плане [699]. Первая половина статьи посвящена описанию различий между стоянкой Цзинчжичжэнь (баотоуский тип) и классическим Луншанем в самом Шаньдуне, а вторая — различиям между ранним и поздним слоями стоянки Ханьдань в южной части Хэбэя, где нижний слой — типичный хэнаньский Луншань, а верхний имел некоторые особенности, сближавшие его с классическим шаньдунским [680; 699].

Общий смысл этой статьи сводится к тому, что и в Хэнани, и в Шаньдуне можно наметить два последовательных этапа Луншань. И хотя по вопросу о правомочности сближения второго слоя стоянки Ханьдань (Цзяньгоуцунь) с классическим шаньдунским Луншанем можно еще спорить, постановка вопроса Тан Юнь-мином представляется вполне приемлемой. Даже принимая во внимание, что весь пафос его статьи направлен на полемику с авторами «Археологии в новом Китае» по вопросу о соотношении хэнаньского и шаньдунского вариантов (в том, насколько эти варианты параллельны), стоит заметить, что в основном, т. е. в фиксации тесных генетических связей между обоими вариантами (будь они параллельны или последовательны), и Тан Юнь-мин, и авторы «Археологии в новом Китае», и, как уже упоминалось, многие другие специалисты согласны.

Что же в таком случае побудило Ян Цзы-фаня и Ван Сы-ли поставить именно эту устоявшуюся точку зрения под сомнение, пусть даже в предположительном плане? Пожалуй, здесь сыграло роль то обстоятельство, что среди обнаруженных в южношаньдунском уезде Тэнсянь местонахождений баотоуского типа одно оказалось весьма специфичным, во многом напоминающим Цинляньган—Люлинь. Речь идет о могильнике Ганшанцунь. В погребальном инвентаре могил из Ганшанцунь оказалось немало типично люлиньских сосудов, в частности специфичных доу на высокой ножке, украшенной поперечными налепами, или сосудов дин на очень высоких сплющенных и сужающихся книзу треугольных по форме ножках [579, 360].

Более того, Ганшанцунь — лишь наиболее концентрированное отражение того несомненного сходства и явного генетического родства, которое можно проследить между шаньдунским и баотоуским вариантами Луншань и Люлинь. Сходство между этими культурами настолько велико, что их, по существу, следует счи-

гать локальными вариантами единой культуры. В чем именно это сходство? Не говоря уже о том, что с точки зрения набора основных культурных достижений они фактически тождественны, следует обратить внимание и на столь типичные для обоих вариантов (Баотоу и Люлинь) формы сосудов доу и триподов дин, и на наличие там и здесь практики пластромантии (очень важный момент для фиксации генетических связей), и на существование в обоих этих вариантах специфичных чайникообразных сосудов с носиками. Наконец, следует упомянуть и о таком важном этнокультурном признаке, как обычай класть в захоронение голову или нижнюю челюсть свиньи, что зафиксировано археологами и в баотоуском варианте шаньдунского Луншаня, и в позднем Цинляньгане (Люлинь, могильник Иньянин [573, 31; 768, 17; 798, 63, рис. 5]).

Все эти признаки свидетельствуют в пользу существования этногенетических связей между луншаньским вариантом Баотоу в Шаньдуне и поздним Цинляньганом со всеми его модификациями в районе к югу от Шаньдуна. А поскольку этих модификаций в результате последних археологических обследований оказывается все больше и больше — при довольно умеренном количестве стоянок баотоуского типа в Шаньдуне,— то неудивительно, что внимание археологов переносится на юг. Отсюда и неопределенность суждений, и предположительные построения, идея которых сводится в конечном счете к тому, чтобы связать шаньдунский Луншань в его баотоуском и классическом вариантах с Цинляньганом не только по облику, но и по происхождению. Между тем есть основания для решения проблемы взаимоотношения шаньдунского Луншаня и позднего Цинляньгана в ином плане.

В 1962 г. при раскопках могил близ одного из луншаньских местонахождений в уезде Цюйво, Сисяхоу, было стратиграфически доказано, что из 11 раскопанных могил пять следует отнести к нижнему, а остальные шесть — к верхнему слою. Сравнительный анализ культурного облика обоих слоев показал, что в нижнем слое преобладала серая грубая керамика, затем шла красноватая и серо-черная. Черной лощеной и серо-белой очень немного, так же как и расписной. В верхнем слое явно преобладала серо-черная и черная керамика. Соответственно от нижнего к верхнему слою менялись преобладающие модификации основных типов сосудов (доу, дин, гуй и некоторых других). В целом различия между нижним и верхним слоями оказались не очень существенными, так что оба слоя, т. е. стоянку Сисяхоу в целом, авторы публикации сочли возможным воспринять как единое целое и приравнять к Баотоу (Давэнькоу), Ганшанцунь и Цзинчжичжэнь, т. е. к баотоускому варианту Луншань [591, 103—104].

Итак, Давэнькоу—Сисяхоу—Ганшанцунь—Люлинь — все эти могильники лежат почти на одной прямой, рядом друг с другом,

растянувшись с севера, из бассейна Хуанхэ, к югу, к зоне цинляньганской культуры в бассейне Хуайхэ [305, 144, карта]. Для всех них характерен если не одинаковый, то очень близкий набор культурных элементов, явно свидетельствующий о тесном взаимодействии луншаньских вариантов Шаньдуна с луншаноидными культурами Цзянсу. О чем говорит это сходство?

Для Ян Цзы-фаня и Ван Сы-ли оно послужило причиной отказаться от привычного взгляда на Шаньдун как часть луншаньского горизонта бассейна Хуанхэ и связать баотоуский вариант этого горизонта с южными культурами цинляньганско-люлиньского типа. И, казалось бы, для этого есть определенные основания — достаточно напомнить об общности в типах и формах керамики, о пластромантии, чайникообразных сосудах, захоронении челюсти свиньи с покойником. Эти весьма сильные этногенетические признаки действительно убедительно связывают Шаньдун и Цзянсу в единую культурную общность. Но значит ли это, что ведущим в этой этногенетической общности следует считать Цзянсу? Не действует ли при этом автоматически, как в случае с цинляньганским рисом, некоторая подмена понятий и магия имен (Цинляньган древнее любой неолитической культуры Шаньдуна, стало быть, приоритет ему, т. е. югу, Цзянсу)?

Ведь если даже согласиться с тем, что в эпоху Яншао в Цзянсу уже существовали неолитические культуры яншаоского типа, а в Шаньдуне, возможно, нет (во всяком случае, их следов еще не найдено), то разве из этого вытекает, что сложившаяся на основе раннего этапа Цинляньган более зрелая и на определенной ступени уже явно луншаноидная культура типа Люлинь—Хуадин во всех ее модификациях тем самым заведомо более древняя, чем шаньдунские варианты Луншань, в частности баотоуский? И что поэтому влияние должно было идти с юга на север, а не иначе? Во-первых, само формирование второго этапа культуры Цинляньган шло под сильным влиянием извне, со стороны западных культур как цюйцзялинского типа, так и, быть может, хэнаньского варианта Луншань, о чем свидетельствует знакомство с тонкой черной лощеной керамикой, гончарным кругом, сосудом гуй и пластромантией. Во-вторых, те этнокультурные элементы, которые столь тесно сблизили между собой группу шаньдунских и цзянсуйских могильников луншаньско-луншаноидного горизонта (практика захоронения свиной челюсти с покойником, использование триподов гуй, а изредка и ли, пластромантия и даже белая керамика), разве не восходят к шэньсийскому варианту Луншань и через него к Цицзя? Ведь именно в Цицзя широко представлена белая керамика, там и в Шэньси обилие модификаций триподов ли, включая гуй, в той же зоне широко практиковалась скапулимантия. А что касается захоронения челюсти свиньи, то может быть обнаружение в Шэньси и Хэнани столь же хорошо представленных могильников луншаньского горизонта, как в Шаньдуне и Цзянсу, покажет, что этот

признак был не столь уж редким и что совпадение в этом плане Цицзя и Люлинь не случайное?

Впрочем, не исключено, что кое-какие культурные признаки, о которых идет речь, были получены в Цзянсу, минуя бассейн Хуанхэ, а знакомство с ними в Шаньдуне действительно было результатом влияния с юга, как о том пишут Ян Цзы-фань и Ван Сы-ли. Таким путем могли проникнуть влияния земледельческого комплекса, включая то, что связано с тонкой черной керамикой и с рисосеянием. В конечном счете неясен и вопрос об обычае захоронения свиной челюсти — очень уж он специфичен. Но элементы скотоводческого комплекса (триподы ли и гуй и, видимо, родственная скапулимантии пластромантия) связывают могильники Шаньдуна и Цзянсу с севером, с хэнаньско-шэньсийским Луншанем. Это же относится и к богато представленным в этих могильниках яншаоским изделиям, количество и разнообразие которых намного превышает то, с чем были знакомы насельники раннего этапа культуры Цинляньган.

Все это позволяет заключить, что процесс взаимодействия культур луншаньского и луншаноидного круга был сложным и противоречивым. Многое в нем еще неясно, так как оснований для предположений самого различного характера (как это и бытует ныне среди китайских археологов) вполне достаточно. Но если все-таки попытаться исходя из сложившихся представлений, имеющихся фактов и с учетом общих генеральных процессов реконструировать наиболее вероятный ход этого процесса, то он будет выглядеть примерно так.

Из центра бассейна Хуанхэ с запада на восток, от раннего Цицзя через шэньсийский и хэнаньский варианты развитого Луншаня в Шаньдун шло влияние собственно луншаньских культур (с учетом того, что в процессе генезиса хэнаньского варианта приняла важное участие луншаноидная культура Цюйцзялин). Параллельно с этим потоком к югу от Хуанхэ через Хубэй к восточному побережью, в Цзянсу, шел другой аналогичный поток, луншаноидный, в некоторых отношениях явно опережавший луншаньский, а в других (в том, что имеет отношение к скотоводческому комплексу) уступавший ему. Поскольку оба потока складывались и развивались на базе горизонта культур расписной керамики яншаоского типа, они были близки и родственны — не говоря уж о том, что подчас пути их пересекались и что стоянки Цюйцзялин в Хэнани, скорей всего, познакомили хэнаньских земледельцев с некоторыми существеннейшими элементами луншаньско-луншаноидного земледельческого комплекса.

На восточном побережье Китая, в Цзянсу и Шаньдуне, оба потока сомкнулись, и не исключено, что хронологически первым здесь был южный, луншаноидный, опиравшийся на местные варианты яншаоского горизонта (ранний Цинляньган). Слияние обоих потоков способствовало энергичному взаимодействию генетически родственных и культурно близких друг к другу ва-

риантов, что и привело к сходству между ними. Но это сходство, столь сильно влияющее ныне на выводы о происхождении баотоуского варианта Луншань, далеко не оттесняет на задний план существенные различия между баотоуским Луншанем (его тесная связь с хэнаньским вариантом, его близость к яншаоскому горизонту бассейна Хуанхэ), с одной стороны, и луншаноидными культурами Цзянсу, прежде всего Люлинь,— с другой. При всем том, однако, взаимодействие культур было достаточно сильным и результативным, о чем свидетельствуют данные антропологического анализа костяков из Давэнькоу, Сисяхоу и Дадуньцзы (Люлинь). Эти данные свидетельствуют о близости антропологического типа насельников Шаньдуна и Цзянсу в эпоху Луншань и о некотором отличии луншаньцев и луншаноидов от неолитических земледельцев бассейна Хуанхэ в эпоху Яншао. Отличия сводятся в основном к еще более сильной южномонголоидности расового облика луншаньцев и луншаноидов восточного побережья по сравнению с яншаосцами западных провинций страны [724; 809; 810].

Взаимодействие луншаньских и луншаноидных культур в Шаньдуне не только обусловило специфический, во многом отличный от хэнаньского облик соседнего с ним баотоуского варианта, но и оказало немалое влияние на сложение здесь того самого классического варианта, стоянки которого впервые познакомили археологов с новой неолитической культурой черной тонкой лощеной керамики Луншань.

Процесс эволюции баотоуского варианта в Шаньдуне привел к возникновению классического варианта Луншань, эталоном которого в прошлом была стоянка Чэнцзыяй, а ныне такая хорошо известная стоянка, как Жичжао (Лянчэнчжэнь [632]). Надо сразу же сказать, что между баотоуским вариантом (особенно в его поздней модификации) и классическим жичжаоским принципиальной разницы нет. Напротив, очень многое в обоих вариантах близко и вполне естественно переходит друг в друга. Но можно и нужно все-таки наметить некоторые главные отличия, позволяющие безошибочно отделять баотоуский Луншань от жичжаоского. Во-первых, это полное отсутствие в классическом варианте расписной керамики. Во-вторых, явное преобладание черной лощеной керамики, преимущественно выделанной на гончарном круге. Немалая часть этой керамики отличается минимальной толщиной стенок — толщиной «яичной скорлупы», как ее обычно именуют. В-третьих, обилие сосудов типа гуй (очень редко — ли) при меньшем распространении (по сравнению с вариантами Баотоу или Люлинь) триподов дин или сосудов доу. Наконец, четвертое отличие классического Луншаня от предыдущих этапов заключается в том, что по крайней мере некоторые его стоянки были уже знакомы с рогатым скотом и скапулимантией. Это отличие далеко не типичное и не характерное: в большинстве стоянок, в том числе и в Жичжао, ни костей ро-

гатого скота, ни гадательных костей не обнаружено [578; 632; 681; 780]. Возможно, это следует отнести за счет скудости материалов, обнаруженных на этих стоянках. Быть может, это было связано с тем, что рогатый скот и скапулимантия в отличие от пластромантии появились в Шаньдуне поздно, уже в ту эпоху, когда в центре бассейна Хуанхэ господствовала иньская цивилизация. Не исключено, что это было связано с очень неблагоприятными условиями для разведения рогатого скота в тех районах, о которых идет речь. Но, как бы то ни было, в принципе классический Луншань был знаком и с разведением рогатого скота, и со скапулимантией.

На этапе классического шаньдунского Луншаня закончила свою типологическую эволюцию культура черной или черно-серой керамики в Китае. Это не значит, конечно, что именно этот этап следует считать наиболее поздним. Напротив, ряд соображений позволяет полагать, что в южных районах Китая неолитические культуры, напоминающие Луншань и генетически восходящие к нему, существовали и позже. Влияние Луншань при бóльшем (на западе) или меньшем (на востоке) количестве культурных элементов Яншао можно заметить буквально на всей территории бассейна Янцзы и районов, расположенных к югу от него (например, в культуре Лянчжу в провинции Чжэцзян, даже в культуре Фэнбитоу на Тайване).

Анализ материалов и проблем, о которых шла речь в этой главе, позволяет подвести некоторые итоги всей реконструкции процесса генезиса и распространения в древнейшем Китае позднеонеолитической послеяншаоской культуры, точнее, своеобразной суперкультуры, именуемой иногда по традиции термином Луншань. Главное, на что надлежит обратить внимание при формулировке итоговых выводов,— это тот несомненный факт, что культурные потенции всех культур и вариантов, о которых шла речь в этой главе, удивительно похожи. Конечно, в одном случае возделывали просо, а в другом — рис, в одних культурах по-прежнему преобладали триподы дин, а в других — ли или гуй. И все же показательно, что во всех без исключения развитых культурах и вариантах мы сталкиваемся все с тем же ограниченным по набору количеством различных видов (серая, черная, красноватая, расписная, белая) и типов (кувшины гуань, чаши бо, триподы доу на поддонах и т. п.) керамики, выделанных от руки либо, в меньшем количестве, на круге. Повсюду одинаковые, однотипные виды орнамента, способ лощения тонкой черной керамики. Не приходится говорить и о полном сходстве каменной индустрии и типов строений. С точки зрения теории археологии это обычная картина распространения вширь единой культуры или группы родственных культур, распадающихся на многие локальные варианты и постоянно взаимно переплетающихся, взаимодействующих.

Конечно, это нисколько не умаляет самостоятельности и са-

мобытности каждой из многочисленных культур Северного или Южного Китая, так же как и культур Передней Азии или Европы, Египта или Индии. Это вполне самостоятельные этнокультурные комплексы, и, видимо, многие из них послужили основой для тех многочисленных этнических групп, которыми столь богат и поныне Южный и Западный Китай. В этом смысле вполне правы те, кто обращает внимание на «культурную мозаику» здесь, начиная с неолита [527]. И все-таки, при всей своей самостоятельности, самобытности и даже определенной изолированности от остальных, каждый из многочисленных элементов этой мозаики был чем-то вроде частицы единого целого, дочерним ответвлением которого он являлся.

Здесь важно подчеркнуть, что при наличии весомой местной основы — неолита Яншао и местных субнеолитических культур Южного Китая — в процессе формирования луншаньско-луншаноидного горизонта весьма важную, в некотором смысле решающую роль сыграли контакты китайского неолита с внешним миром, импульсы извне. И именно те важнейшие нововведения, которые в результате этих контактов стали известны в китайском неолите, являются самым убедительным свидетельством в пользу гомогенности всей этой позднеолитической суперкультуры, которую именуют термином Луншань. Именно на смену культуре Луншань в бассейне Хуанхэ — колыбели китайской цивилизации — уже во второй трети II тысячелетия до н. э. пришла новая культура — бронзовый век Шан—Инь. Появление Шан—Инь означало не только замену неолита бронзой: с иньской бронзой в неолитическом Китае появился, наконец, первый очаг цивилизации в собственном смысле этого слова.

глава седьмая

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИНЬСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Земледельческий неолит яншаоского и луншаньско-луншаноидного горизонта за несколько тысячелетий своего существования заложил фундамент, на котором в середине II тысячелетия до н. э., в эпоху развитого бронзового века, сложилась цивилизация городского типа. Именно в это время в бассейне Хуанхэ возникают первые, еще весьма смутные и неопределенные очертания общества и культуры нового типа — с высоким уровнем развития производства, духовной жизни, со сравнительно сложной социальной организацией и нарождавшейся политической администрацией.

В первой главе упоминалось, что специалисты, разрабатывавшие проблемы генезиса первичных очагов цивилизации городского типа, например Г. Чайлд, предложили ряд критериев, позволивших оттенить и точно определить разницу между нецивилизованными обществами и цивилизациями. Среди этих критериев немалое место занимали и те, на которые обращает внимание марксизм (возникновение имущественного неравенства и прибавочного продукта как первооснова сложения классов и государства). Однако в критериях Чайлда упор был сделан именно на сферу материальной культуры, изменения в которой — опять-таки в соответствии с теми закономерностями, которые были открыты Марксом и Энгельсом, — предшествовали сдвигам в производственных отношениях, идеях и институтах. Вот об этих сдвигах в сфере материальной культуры и сопутствовавших им переменах в духовной культуре и пойдет речь в данной главе.

Иньский очаг цивилизации был последним первичным (во всяком случае, в пределах Старого Света), — все остальные, возникшие позже, уже настолько явно несли на себе следы влияний той или иной развитой цивилизации, что не могут считаться первичными. Подчеркивая термин «первичная», следует при этом иметь в виду, что речь идет о глубоко самобытном и самостоятельно складывавшемся центре цивилизации городского типа. Однако эту самостоятельность ни в коей мере не следует понимать как абсолютную независимость и стопроцентную стерильность. Следует иметь в виду, что, складываясь значительно позже остальных, иньский очаг китайской цивилизации

развивался очень быстрыми темпами, за немногие века своего существования преодолевая те рубежи, на которые другие первичные центры цивилизации затрачивали тысячелетия.

Нет никаких сомнений в том, что это ускорение шло прежде всего за счет распространявшейся по мировым каналам информации уже накопленной человечеством мудрости. В частности, формированию иньского очага цивилизации предшествовал сложный процесс культурных контактов и взаимовлияний, миграций народов и культурной диффузии. С точки зрения теории и логики анализа явлений из истории человеческой культуры, особенно ранней, это легко доказать: ведь от первых робких опытов с изделиями из кованой меди, деревянным ободом-диском или нацарапанным знаком-символом до развитой металлургии, великолепных боевых колесниц и хорошо разработанной письменности в древних цивилизациях Западной Азии уходили тысячелетия. В Китае же все это в своем зрелом и совершенном виде было известно уже в XIV в. до н. э. (Аньян), тогда как несколькими веками ранее, в эпоху Луншань и тем более Яншао, не было или почти не было этих культурных явлений даже в их начальной стадии.

Суть дела сводится к тому, что в Китае на основе китайского неолита (Яншао и Луншань) возникла именно китайская бронзовая культура, что привело к сложению китайской цивилизации. Однако в ходе этого эволюционного процесса сыграло, и неизбежно должно было сыграть свою чрезвычайно важную роль катализатора влияние извне. Это та исходная эвристическая посылка, которая представляется неоспоримой и которая, как это будет показано далее, подтверждается всей суммой накопленных наукой данных.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БРОНЗОВОЙ КУЛЬТУРЕ ШАН — ИНЬ

Высокоразвитая бронзовая культура Шан—Инь появилась в бассейне Хуанхэ примерно в середине II тысячелетия до н. э. Именно этим временем датируются раскопанные китайскими археологами иньские городища в Чжэнчжоу и Аньяне. Судя по всему, племенной коллектив иньцев, осевших в долине Хуанхэ, был компактным и сравнительно малочисленным даже по масштабам того времени. Если не считать немногих позднеиньских колоний на периферии, представленных серией маловыразительных и обычно весьма скудных в смысле инвентаря стоянок в провинциях Шэньси, Хэбэй, Шаньдун, все основные и наиболее известные, богатые и ярко выраженные стоянки и городища («столицы») иньцев были сконцентрированы на небольшом пространстве, охватывающем лишь часть провинции Хэнань.

Есть достаточно оснований считать, что обитавший на этой сравнительно небольшой территории племенной союз иньцев

ощущал себя до известной степени чужеродным телом в той этнокультурной среде земледельцев неолита, которая его окружала. При этом речь идет не только о разном уровне культуры, но и вообще об этнических, даже расово-антропологических отличиях. Обычно в публикациях современных китайских антропологов обращается внимание главным образом на то, что зубы погребенных иньцев свидетельствуют об их монголоидности [643]. Но принадлежность к монголоидам еще ни в коей мере не исключает возможности существенных расовых отличий между иньцами, с одной стороны, и местными земледельцами неолита — с другой, а ряд специальных исследований подтверждает факт такого рода различий.

Произведенный Ли Цзи анализ 135 черепов из Хоуцзячжуана (близ Аньяна) показал, что по всем семи основным прямым измерениям иньские черепа отличны от неолитических, причем разница (головной указатель у иньцев — 76,96) свидетельствует о заметном возрастании брахицефального элемента в иньской популяции. Правда, при этом Ли Цзи оговаривается, что это еще не может быть воспринято как свидетельство «фундаментальных изменений» в этнической композиции иньцев по сравнению с эпохой неолита [445, 433—434]. Но пусть даже различия действительно не «фундаментальны» — они тем не менее есть, и даже весьма заметные. И если попытаться дать археологическое и историческое толкование этому факту, то оно сведется все к тому же тезису об известном этнокультурном и даже расовом несходстве между племенным союзом иньцев и окружавшей его в бассейне Хуанхэ неолитической средой.

Как известно, с заменой неолита бронзовым веком и возникновением первичного очага цивилизации городского типа кончается предыстория и начинается собственно история народа, идущего по пути сложения классового общества и государственности, точнее — письменная история этого народа. В Китае эта история началась именно с Инь. Сохранили ли письменные памятники этой эпохи или более поздняя историографическая традиция какие-либо свидетельства этнокультурных отличий коллектива иньцев? Безусловно, да. Разумеется, речь идет не о том, что культура иньцев была совсем чуждой неолитической среде, в которую она попала. Напротив, многое перешло в эту культуру именно из неолита, особенно луншаньского неолита, генетическое родство которого с Инь, например в керамическом инвентаре [698, 67—68] или в практике использования гадательных костей, не вызывает сомнений. Речь идет о другом — об этнокультурной специфике иньцев.

Если обратиться к надписям на иньских гадательных костях, которые ныне достаточно хорошо изучены и систематизированы [233; 786], то легко заметить, что важнейшее место в практике ритуалов занимало принесение в жертву, нередко в массовых количествах, пленных, т. е. соседей иньцев. Ничего

похожего в эпоху неолита, как об этом свидетельствуют погребальные обряды и раскопки могильников, не было. Конечно, это «нововведение» можно объяснить тем, что иньцы в отличие от своих предшественников — луншаньцев находились на иной ступени социального развития. Часто при этом ссылаются даже на институт рабства, хотя с логической точки зрения эти ссылки явно несостоятельны: массовое принесение в жертву пленных иноплеменников могло означать лишь то, что в рабах коллектив иньцев, по существу, не нуждался.

Итак, зафиксированная в письменных памятниках иньской эпохи и подтвержденная археологическими раскопками иньских захоронений практика ритуальных человеческих жертвоприношений находилась в явном несоответствии с тем, что было в бассейне Хуанхэ до иньцев. Зато практика такого рода была известной вне Китая, начиная с Месопотамии (царские гробницы Ура). И едва ли появление такого рода практики у иньцев можно отнести только за счет социальной эволюции земледельцев неолита бассейна Хуанхэ в племенной союз эпохи бронзы. Ведь в том-то и состоит суть вопроса, что иноплеменники приносились в жертву иньским племенным вождям, прежде всего покойным, во главе с великим божественным первопредком Шанди. Другими словами, жертвоприношениями такого рода подчеркивалась этнокультурная разница между иньцами и неиньцами, равно как и этническая гомогенность в среде самих иньцев — потомков великого Шанди.

Теперь об историографической традиции. Согласно древнейшим историческим записям, зафиксированным еще в Шуцзин, династия Инь не была первой: первой и явно легендарной династией, будто бы правившей в Китае до Инь, считается Ся. В Шуцзин в главе «Тан-ши» говорится о том, что последний правитель этой династии, Цзе, отличался скверным поведением и недобродетельными акциями, в результате чего народ страдал. Именно этим, в частности, аргументировал свое решение выступить против него иньский Чэн Тан, навсегда оставшийся в китайской исторической традиции одним из образцов высокодобродетельного правителя, выступившим против тирана и тем осуществившим волю Неба: «Правитель Ся виновен; опасаясь Шанди, я не смею не покарать его» [791, т. III, 260; 419, 18].

Нет сомнений, что этот текст Шуцзин несет на себе отпечаток более поздней конфуцианской интерпретации древнейших исторических событий. Реальное существование династии Ся весьма сомнительно. Судя по всему, запечатленные в древнекитайских письменных памятниках сведения о Ся отражают лишь смутные реминисценции, сохранявшиеся в эпоху Инь и передававшиеся по традиции. Предлагаемые время от времени попытки отыскать среди археологических культур и стоянок такие, которые можно было бы, хоть с каким-либо основанием, отнести к Ся [573, 43—44], в общем следует считать неубедительны-

ми. Едва ли такие отождествления могут рассчитывать на успех и в будущем. Насколько можно судить по имеющимся ныне данным, под наименованием Ся в иньское время подразумевалась вся та этническая совокупность неолитических племен, с которой предки иньцев столкнулись и вступили во взаимодействие, оказавшись в бассейне Хуанхэ. В любом случае, однако, само противостояние Ся и Инь в китайской исторической традиции свидетельствует о тех этнических различиях между неолитической периферией и компактным союзом иньцев, которые в свете всего сказанного представляются достаточно очевидными.

В письменных памятниках древнего Китая (Шуцзин, гл. «Пань Гэн»; Шицзи) можно найти и еще одно важное в этом плане сообщение о ранней истории Инь. Речь идет о многократных переселениях иньцев: до Чэн Тана (за 14 поколений, начиная с легендарного основателя династии Ци) они сменили местожительство восемь раз, после этого — еще пять раз [682, гл. 3; 208а, 167, 171—172; 229, 46—47]. Столь частая перемена мест свидетельствует о полуоседлом характере коллектива, весьма легкого на подъем. Косвенно об этом же говорят и некоторые другие особенности иньской культуры — обилие, даже преобладание свойственной неземледельческим племенам круглодонной керамики, большая роль скотоводства и особенно охоты [291] в жизни иньцев, культ лошади, с которой неолитические земледельцы Яншао и Луншань вовсе не были знакомы, «звериный стиль» в искусстве иньцев и т. п. Словом, далеко не случайно исследователи, хорошо знакомые с историей культуры древности, напоминают о том, что иньская цивилизация многим сходна с культурой ряда полуоседлых племен-степняков, столь заметных на политической арене Западной Азии в том же II тысячелетии до н. э. [352, 107; 358, 130]. Как правило, эти племена, достаточно знакомые и с земледелием, и с бронзой, но предпочитавшие воинственную судьбу скотовода и охотника и имевшие в своем распоряжении запряженных в боевые колесницы лошадей, нередко вихрем обрушивались на территории, издавна возделывавшиеся местными земледельцами, завоевывали их и затем оседали. Так было с хеттами, гиксосами, касситами, ариями.

Бронзовая культура и цивилизация Инь появились в бассейне Хуанхэ в середине II тысячелетия до н. э. Важно заметить, что периода постепенного вызревания элементов новой культуры бронзового века на местной основе неолита китайская цивилизация практически не знала. Правда, данные последних раскопок (Чжэнчжоу, Эрлитоу) значительно изменили сложившееся было после открытия иньского городища в районе Аньяна представление, будто высокоразвитый бронзовый век со всеми аксессуарами урбанистической цивилизации появился сразу в своем зрелом облике. Однако даже признание существования

более древних по сравнению с аньянским этапов или вариантов иньской культуры не меняет того весьма важного обстоятельства, что все эти этапы и варианты не в состоянии продемонстрировать процесс постепенной спонтанной трансформации неолита в культуру бронзового века. Первым на отсутствие постепенного процесса и на возможность внешних воздействий в ходе генезиса Инь обратил внимание Ли Цзи, раскапывавший сяотуньское городище в Аньяне [446, 20]. И, хотя с тех пор раскопки дали немало новых материалов, тезис Ли Цзи отнюдь не потерял своего значения.

В монографии Чжан Гуан-чжи приводится таблица, которая на первый взгляд производит внушительное впечатление [305, 236] и порой даже воспроизводится другими авторами [119, 98]. Суть ее сводится к тому, что количество культурных признаков, сближающих бронзовую культуру Шан—Инь с неолитом, превышает число нововведений, отличающих их друг от друга. Но даже если признать эту таблицу абсолютно точной и принять ее за основу, окажется, что в число нововведений входит именно то, что составляет самую суть иньской цивилизации — высокое искусство бронзового литья, лошади и колесницы, совершенно новые типы оружия (топоры-кельты, кинжалы), принципиально иные формы ритуалов и виды художественного творчества (резьба по камню), новая техника строительства, письменность, — не говоря уже о тех новшествах, которые можно отнести исключительно за счет социальных изменений (элементы социальной дифференциации, зачатки торгово-денежных отношений и административной структуры и т. п.). Словом, на деле таблица Чжан Гуан-чжи не только ничего не объясняет (ибо против того, что многое в Инь шло от неолита Яншао и Луншань, никто и никогда не возражал), но, напротив, обнажает разницу, причем не столько социально-эволюционную, сколько этнокультурную, между Инь и китайским неолитом. При этом характерно, что и сам Чжан Гуан-чжи не в состоянии объяснить происхождение этих важнейших нововведений и ограничивается лишь замечанием, что генезис по крайней мере некоторых из них остается пока неизвестным и «нуждается еще в изучении» [305, 237 и 240].

Практически это признание означает, что если даже материалы доаньянских этапов и вариантов Инь свидетельствуют о постепенном вызревании некоторых культурных элементов Шан—Инь, то это говорит о комплексности и многосторонности процесса сложения иньской цивилизации, но никак не о том, что все важнейшие нововведения эпохи бронзы в Китае можно зафиксировать в их зародышевом либо переходном состоянии в доаньянских этапах и вариантах. О генезисе именно этих ключевых сторон иньской культуры должна идти речь в первую очередь, если ставить перед собой задачу решить проблему происхождения иньской цивилизации.

ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА КИТАЙСКОЙ БРОНЗЫ

Загадка происхождения китайской бронзы (в первую очередь генезиса бронзолитейного дела, во вторую — искусства бронзы) — главная в этой сумме проблем. Вопрос стоит так: сами иньцы уже на территории Китая разработали основы металлургии бронзы или они познакомились с принципами техники и искусства бронзового литья из источников, расположенных вне Китая?

В 20—40-х годах нашего столетия точка зрения о некитайском происхождении искусства бронзолитейного дела в Инь господствовала в западной синологии (в китайской синологии в те годы этой проблеме уделяли немного внимания). В 50-х и особенно в 60-х годах ситуация изменилась. Новые археологические раскопки предоставили немало данных, которые не укладывались в примитивную схему заимствования металлургии бронзы в готовом виде извне. В первую очередь подверглась критике распространенная в прошлом идея о том, что в иньско-чжоуском Китае бронзовые сосуды отливались с помощью метода cire perdue («утраченного воска»), т. е. господствовало литье по восковой модели.

Подвергнутая критике еще О. Карлбеком в 1935 г. [410], эта идея, однако, продолжала пользоваться поддержкой специалистов до 50—60-х годов, когда было окончательно доказано и признано, что в бронзовом литье Инь — Чжоу преобладал (если не был исключительным) метод литья по глиняной модели [455, 628—630; 280]. Кроме того, новые обстоятельные исследования химического состава бронз обнаружили некоторые отличия китайских бронзовых изделий (в частности, нередко встречавшееся повышенное количество примеси свинца). Все это, вкупе с общей явно выраженной тенденцией последних десятилетий искать истоки китайской цивилизации в самом Китае, сыграло свою роль в пересмотре точки зрения о некитайском происхождении иньских бронз. Капитальная монография Н. Барнарда [280], посвященная изучению именно технической стороны (химия, металлургия, вопрос о моделях, методах литья и т. п.) бронзолитейного дела в Инь, фактически подводит читателя к выводу о том, что бронзолитейное дело в Китае — результат внутреннего процесса эволюции производства и техники.

В работе Барнарда тщательно проанализированы все стороны технологического процесса бронзолитейного дела в Инь. Однако в ней почти не затронуты вопросы о том, когда все это стало известно иньцам и насколько это было оригинальным, т. е. отличалось от той практики, которая была характерна для металлургии ближневосточной зоны, существовавшей по меньшей мере за 1—1,5 тыс. лет до иньской. Показательно, что Барнард, предлагая аргументы в пользу признания бронзолитейного дела иньцев автохтонным нововведением, основанным

на развитой практике керамического производства, все время сопровождает их оговорками, смысл которых сводится к тому, что эти аргументы (в частности, в связи с различиями в деталях технологического процесса) еще «нуждаются в дальнейшем изучении», как и вообще «западные параллели» [280, 57, прим. 14 и 59].

Хорошо изучив бронзолитейное дело иньцев, Барнард откровенно признается, что он не вполне компетентен судить о тонкостях технологического процесса в западных зонах развитой металлургии бронзы. Разумеется, трудно упрекать его за это. Но при решении столь существенного вопроса, как генезис иньской бронзы, поверить специалисту можно было бы лишь в том случае, если он, детально проанализировав и сравнив элементы технологии, пришел именно в ходе этого исследования к выводу об автохтонном происхождении иньской металлургии бронзы. Дело в том, что в монографиях более общего плана металлургия иньской бронзы рассматривается наряду с другими очагами бронзолитейного производства и на основании этого сопоставления делается как раз противоположный вывод об общности их главных принципов и происхождения [263]. Собственно это и заставляет Барнарда постоянно оговариваться.

Важно заметить, что в работе В. Фэйрбэнк, также посвященной проблеме иньской бронзы, и в частности ее происхождению, сделан иной вывод: считается вполне вероятным, что многими своими высококачественными характеристиками и тонкостями производства металлургия бронзы в Инь могла быть обязана импульсам извне [357, 187—189]. Неудивительно, что выводы Барнарда воспринимаются с осторожностью даже теми, кто склонен принять и поддержать их. Так, Чжан Гуан-чжи, излагая материалы новых находок и мнения специалистов по поводу происхождения иньской металлургии бронзы, писал в 1968 г.: «Резюмируя все вышесказанное, мы можем заключить, что ныне на проблему происхождения бронзы пролит новый свет, и это делает вероятным ее независимое происхождение. Однако прежде, чем такое предположение превратится в уверенность, должна быть получена новая информация» [305, 239].

Постановка вопроса в принципе верна, но лишь с той оговоркой, что «новая информация» может дать основания и для прямо противоположных выводов, т. е. для подкрепления той точки зрения, которую уже не раз высказывали компетентные синологи: иньская бронза своим совершенством обязана не только высокому искусству неолитических гончаров бассейна Хуанхэ, но и богатой информации, накопленной веками развития металлургии в иных районах Евразии и полученной посредством культурных контактов. На чем базируется эта точка зрения?

Прежде всего на том, что раннего этапа металлургии бронзы в Китае археологи не нашли. И в этом смысле не очень убе-

дительны попытки Чжэн Дэ-куня считать, что отдельные металлические изделия из самородной меди, золота или свинца, изредка обнаруживаемые при раскопках иньских стоянок, свидетельствуют будто бы о ранних формах металлургии [312, 161—162]. Во-первых, для того, чтобы это предположение было весомым, нужны доказательства более ранних датировок тех местонахождений, где такие изделия были найдены. Во-вторых, изделия подобного типа встречались, хотя и редко, и в доиньскую эпоху, в частности в Цицзя, что, впрочем, тоже ничего не доказывает, ибо от кованой меди до литья бронзы — огромная дистанция.

Уверенность в большой роли внешних импульсов в процессе генезиса иньской бронзы базируется также на том, что все попытки считать чжэнчжоускую бронзу более примитивным этапом в развитии китайской металлургии в общем несостоятельны. Чжэнчжоуские бронзовые сосуды кое в чем уступают аньянским. Они несколько проще (с точки зрения изысканности формы, богатства орнаментировки), но эта простота никак не относится к основным принципам технологии. Даже если принять, что чжэнчжоуские мастера-литейщики уступали своим аньянским коллегам в квалификации, они безусловно владели теми же техническими методами и химико-технологическими приемами обработки металла, что и аньянцы. Следовательно, следов раннего, или примитивного, бронзового литья в Китае археология еще найти не может.

Наконец, точка зрения тех, кто отстаивает роль внешних импульсов в процессе генезиса иньской бронзы, базируется и на том, что из бронзы отливались не только великолепные сосуды, гордость иньских, а затем и чжоуских литейщиков, но и многое другое. Конечно, сосуды — это вершина их мастерства. Совершенно закономерно и то, что именно их Барнард поставил в центр своего внимания: бросается в глаза сходство этих сосудов с доиньской керамикой (имеется в виду прежде всего форма, а не их высокохудожественный и насыщенный богатой символикой орнамент, которого луншаньские сосуды не знали), оно как бы агитирует за признание всей иньской бронзы сугубо автохтонным и самобытным явлением. Однако Барнард даже не коснулся вопроса о других бронзовых изделиях, прежде всего об иньском оружии со всем его богатством и многообразием форм и типов. Впрочем, здесь тоже есть своя закономерность: если иньские сосуды свидетельствуют в пользу автохтонности металлургии бронзы, то оружие, украшения, детали колесниц и некоторые другие изделия, особенно выполненные в так называемом «зверином стиле», столь же убедительно опровергают подобную постановку вопроса.

Эти изделия изучались специалистами меньше, чем сосуды. При этом и здесь нередко делался преимущественный акцент на стилистический анализ, выделение типов и разновидностей,

в то время как вопрос о происхождении тех или иных видов оружия или утвари всерьез почти не затрагивался [418]. Ему просто не уделялось достаточно внимания, и это подчас казалось вполне оправданным: для такого мастера стилистического анализа, как, например, Б. Карлгрен, древнекитайское бронзовое оружие — это один из важных и характерных элементов именно китайской культуры. Он не то чтобы заранее отметает любую возможность того, что эти изделия по типу и происхождению некитайские (он вынужден считаться с такой возможностью хотя бы в отношении части таких изделий), — эта проблема просто оставляется им как бы в стороне, но при этом делается все, чтобы дезавуировать мнения или предположения о некитайском происхождении этих типов.

Достаточно напомнить, как Карлгрен, ссылаясь на позднюю (сравнительно с Аньяном) датировку карасукской бронзовой культуры, где обнаружено немало сходных типов бронзового оружия, фактически отверг возможность заимствования иньцами этих типов с севера, предложив прямо противоположный вариант [418, 143]. Подобно Карлгрену, позицию умолчания или скепсиса по отношению к любым попыткам поставить вопрос о связях и заимствованиях занимают и другие исследователи, особенно китайские [774]. Единственным, пожалуй, исключением в этом ряду китайских исследователей является Ли Цзи, который допускает возможность заимствования и внешних влияний, хотя как раз его собственный анализ, скажем, типологической эволюции иньских ножей (от их каменного, неолитического прототипа, без учета влияний со стороны) весьма неубедителен [446, 49], что уже было отмечено специалистами [230, 26; 161, 32].

Только те немногочисленные исследователи, которые занимались типологическим анализом иньского бронзового оружия в связи с проблемой его происхождения (не считая археологов Сибири, изучающих проблему внешних влияний со своих позиций), обращали внимание на аналогии и ставили вопрос о заимствованиях. Среди них в первую очередь следует назвать М. Лера, автора едва ли не единственной монографии, посвященной бронзовому оружию иньцев [450].

Монография Лера посвящена анализу оружия из коллекции Вернера Дженнингса, ныне находящейся в пекинском музее. Может возникнуть вопрос о репрезентативности этой коллекции. Здесь следует сказать, что вообще подавляющее большинство сохранившегося до наших дней иньского оружия (как, впрочем, и сосудов) — это итог случайных находок и коллекционирования. Археологические раскопки и полевые сборы последних десятилетий также дали немало ценных находок. Однако общее количество их оказалось невелико по сравнению с уже знакомыми специалистам коллекциями. Кроме того, найденные при раскопках образцы, при всем их огромном значении для датировки этих изделий, не дали практически ни одного нового типа, ко-

торый не был бы достаточно широко представлен в коллекциях.

Словом, образцы иньского оружия (как и сосудов), найденные при раскопках, лишь подтвердили то, что изделия из известных коллекций по своему типу и стилю, форме, орнаменту и другим показателям действительно были или, во всяком случае, могли быть иньскими. Вот почему ценность материалов наиболее крупных и известных коллекций, к числу которых принадлежит и пекинская коллекция Дженнингса, и в наши дни, после многочисленных раскопок и находок, не только не поставлена под сомнение, но, напротив, получила авторитетное подтверждение. К этому можно добавить, что производившееся Лером изучение коллекции сопровождалось анализом аналогов из различных музеев и коллекций, а также из материалов раскопок в различных районах Евразии.

Изучение иньского бронзового оружия Лер начал с топоров, которые он подразделил на три типа: А, с полостной втульчатой рукоятью; Б, с рукоятью в виде плоского прямоугольного выступа (танга) и В, проушные топоры-кельты. Тип В почти не был представлен в коллекции, хотя вообще этот тип топора не столь уж редко встречается среди других образцов иньского оружия. Типы А и Б оказалось возможным подразделить на ряд подтипов и модификаций. Проанализировав все выделенные им подтипы, Лер сгруппировал их в три основные модификации: бесспорно иньские, или раннечжоуские, т. е. выделанные в самом Китае; северные, ордосские или суйюаньские («сино-сибирские») и неопределенные.

Составив на основе этого деления таблицу, Лер обнаружил, что среди собственно китайских топоров равно представлены оба типа, среди северных — только один тип А (полостные), среди неопределенных — тоже в основном А, за единственным исключением. Уточнив исходные посылки и вставив единственнное исключение — подтип Б-1 — в первую, собственно китайскую модификацию, к которой он явно тяготел, Лер получил еще более красноречивый итог: все изделия типа Б оказались бесспорно иньско-чжоускими, тогда как тип А включал в себя все три модификации [450, 25—26]. Этот результат полностью совпал с теми наблюдениями, которые были зафиксированы ранее: в 1930 г. О. Карлбек писал, что северные племена номадов, жившие в районе Ордоса, вплоть до эпохи Хань не были знакомы с китайскими формами топоров, с рукоятью-тангом, но использовали только полостные [409, 201].

Сославшись на Карлбека, Лер сделал следующий шаг и заключил, что морфологически собственно китайские топоры с выступом-тангом восходят к каменным неолитическим прототипам, тогда как северные, полостные топоры, с характерной для них трубкой-полостью, были уже принципиально нового, металлического века. Иными словами, тип топоров с выступом-тангом можно считать автохтонным, характерным именно для китай-

цев (иньцев и чжоусцев), тогда как полостные типы, видимо, пришли с севера — в противном случае ситуация останется необъяснимой [450, 26].

Это соображение косвенно подкрепляется и многочисленными аналогиями между различными подтипами полостных топоров А сино-сибирской модификации и близкими к ним по форме полостными топорами из иранско-месопотамского региона, на которые ссылается Лер [450, 27—30]. Правда, при этом он очень осторожен в окончательных выводах, приводит и сопоставляет друг с другом ряд альтернативных версий, отмечая их преимущества и недостатки. Одна из версий, в частности, сводится к тому, что полостные топоры северного типа, возможно, были присущи доаньянской стадии бронзового века (полость превратилась в узкое кольцо, а затем могли появиться рукояти в форме плоского выступа-танга). Однако, замечает он, в этом случае остается неясной причина сходства наиболее поздней — танговой — формы с каменными прототипами [450, 31].

Сегодня к этим рассуждениям Лера можно добавить, что раскопки доаньянских стоянок (Чжэнчжоу или Эрлитоу) не дали основания для подтверждения такого рода предположений. В то же время незначительное количество и быстрое исчезновение из обихода полостных топоров, равно как и отсутствие среди них ранних, примитивных образцов, подтверждает то обстоятельство, что этот тип был чуждым Китаю и, возможно, в какой-то мере переходным, способствовавшим появлению местных китайских типов, среди которых преобладали танговые. Лер в конечном счете приходит к выводу, что неолитические земледельцы Китая, восприняв извне искусство металлического литья и некоторые новые для них типы бронзового оружия, использовали эти новшества в основном для того, чтобы копировать в металле привычные для них формы изделий из камня [450, 32].

Здесь существенно обратить внимание на третий из выделенных Лером типов иньских топоров — топоры-кельты. Этот специфический тип, рабочая часть которого непосредственно и органически переходит в полость для рукояти, принадлежит к числу наиболее совершенных образцов металлического века и не может иметь прототипов в камне. «Втулка — изобретение металлической эпохи, и втульчатые топоры, чеканы и секиры изобретены на Ближнем Востоке»,— напоминает в своей монографии Н. Л. Членова [250, 35]. Проделанные Г. Чайлдом специальные исследования, касающиеся происхождения и распространения по Евразии топоров-кельтов [321; 328; см. также 327, 164], убедительно свидетельствуют об этом и дают серьезные основания для вывода, что кельт возник вне Китая и появился в Китае в иньское время в весьма развитой и завершенной модификации. Признание такой возможности звучит в альтернативной форме и в некоторых статьях С. В. Киселева [111]. На кельты, практически отсутствующие в коллекции Дженнингса, Лер обратил не-

много внимания. Зато внимание было уделено ближайшему родственнику кельтов — втульчатым наконечникам копий. Формы этих изделий настолько близки, что они справедливо ставятся рядом при типологическом и генетическом анализе; к этому стоит добавить, что в ряде случаев встречаются и формы для одновременной отливки двух изделий — кельта и наконечника копья.

В вопросе о происхождении этого типа оружия иньцев Лер более определенен. Ссылаясь на мнение Ли Цзи, который в 1939 г. в своих публикациях материалов аньянских раскопок сделал вывод о некитайском происхождении этого типа оружия [572, т. IV, 576], а также на аналогичные суждения других авторов, Лер подчеркивает, что нет никаких оснований для иных мнений, ибо столь сложная форма при отсутствии более примитивных предшественников не могла быть результатом автохтонной эволюции. В Китае она могла стать известной только через Сибирь [450, 41—43].

Новые раскопки 50—60-х годов ничего в этом плане не изменили: ни в Чжэнчжоу, ни в других стоянках, которые по тем или иным признакам считаются более ранними по сравнению с Аньяном, промежуточных модификаций втульчатого оружия (кельтов или наконечников копий) не обнаружено. Более того, следует еще раз обратить внимание на то, что полостные типы оружия вообще оказались нетипичными для иньцев и чжоусцев и в начале Чжоу практически исчезли из употребления. На смену им в чжоуском Китае пришли новые, теперь уже типично китайские, модификации бронзового оружия, часть которых явно была синтетической по своему облику. Речь идет в первую очередь о так называемых топорах-кинжалах — китайской модификации чеканов.

Эти топоры-кинжалы, представлявшие собой треугольные или подтреугольные двусторонние лезвия на танговой или (ранние образцы) полостной рукояти (гэ или цюй), были известны Инь. Согласно данным Лера, чеканы типа цюй, с полостной рукоятью, были немногочисленны и на раннем этапе иньской культуры практически сосуществовали с аналогичными чеканами гэ, с танговой рукоятью в виде плоского прямоугольного выступа [450, 49, 57]. Эти данные совпадают с материалами Чжоу Вэя, который также полагает, что полостные типы (цюй) предшествовали танговым в эволюционном ряду древнекитайских чеканов [774, 67, табл. 4; см. также 250, 259, табл. 9]. В монографии М. Лера проблема происхождения этого типа оружия не решена: автор предлагает ряд альтернативных решений, но в конечном счете все-таки склоняется к предположению, что корни его следует искать вне Китая [450, 32—33].

На примере эволюции китайских чеканов можно проследить процесс постепенного перерастания полостного типа оружия в танговое, более привычное для протокитайцев. При этом речь

идет не просто о замене одного типа рукояти другим, а об эволюции всего вида оружия в целом: в данном случае наряду с восходящей к древности плоской сплошной рукоятью была принята явно заимствованная извне идея двулезвийного оружия (кинжала), которого в китайском неолите, естественно, не было. Отсюда — синтетический тип китайского оружия. Видимо, эволюционный ряд чеканов цюй—гэ в этом смысле нельзя считать случайным и единичным. Более того, есть все основания полагать, что этот ряд является своего рода ключом, который может позволить решить и проблему топоров. Если Лер в своем анализе четко разделил топоры по их происхождению на местные (танговые) и заимствованные (полостные) и отметил при этом, что полостные довольно быстро исчезли из обихода, то это буквально наталкивает на вывод, что именно полостные типы бронзового оружия в иньском Китае следует считать первичной модификацией, тогда как танговые — вторичной, производной, результатом осмысления и переваривания на китайской почве пришедших извне типов бронзового оружия.

При всей бесспорности отсутствия на местной китайской неолитической почве прототипов полостных видов оружия один этот факт сам по себе еще не столь доказателен, чтобы делать уверенный вывод о некитайском происхождении втульчатого бронзового оружия. Не случайно специалисты осторожны в своих выводах. И все-таки это факт, который еще трудно опровергнуть и объяснить с точки зрения теории автохтонности бронзовой культуры Шан-Инь. Но особенно показательным будет он при сопоставлении с проблемой происхождения еще двух важных видов бронзового оружия — кинжалов и ножей.

Двулезвийного типа оружия (кинжала) китайский неолит не знал, а наиболее ранние образцы этого оружия в иньском Китае (кстати, крайне немногочисленные) настолько напоминают сибирско-ордосские, что даже осторожный М. Лер отказывается признать их продуктом собственно китайского производства, впрочем оставляя вопрос открытым до будущих раскопок [450, 69]. Раскопки и находки, на которые надеялся Лер, не принесли, однако, решения проблемы. В какой-то мере даже само отсутствие кинжалов среди бронзового инвентаря множества вновь обнаруженных стоянок весьма красноречиво и говорит само за себя. Те же немногочисленные образцы иньских кинжалов, которые известны специалистам, опять-таки, как это было и с полостными типами оружия, явно указывают на внешние связи. Что касается проблемы происхождения кинжала как типа оружия, то она тщательно рассмотрена Н. Л. Членовой, убедительно показавшей, как и в какой форме возник кинжал в Египте и Месопотамии (IV—III тысячелетия до н. э.), какие модификации он принимал затем и в какой форме распространялся во II тысячелетии до н. э. в Европе и на Ближнем и Среднем Востоке, а во второй половине II тысячелетия до н. э.— в Казах-

стане, Сибири и Центральной Азии вплоть до Ордоса [250, 16—20].

Идея двулезвийного оружия была известна иньцам, о чем свидетельствуют те немногочисленные образцы кинжалов ордосско-сибирского типа, которые встречались именно в иньском Китае. Однако заимствована и принята в эпоху Инь (и в начале Чжоу) была только идея, которая, как говорилось, нашла свое применение в процессе формирования наиболее распространенного в иньско-чжоуском Китае типа оружия — чекана гэ. Что же касается собственно кинжала как самостоятельного вида оружия, то он стал более или менее распространенным в Китае лишь в Чжоу, да и то не с самого начала. Таким образом, двулезвийное оружие, судя по имеющимся данным, также было в иньском Китае результатом заимствования извне.

Последний вид оружия, о котором в этом плане стоит сказать особо,— это ножи. Ножи принадлежат к числу простейших орудий, восходящих к каменным, неолитическим прототипам. Это обстоятельство наряду с многообразием форм иньских бронзовых ножей открывает широкие перспективы для различных типологических построений и эволюционных рядов. Одним из них и следует считать предложенный Ли Цзи ряд, согласно которому все многочисленные типы иньских бронзовых ножей в конечном счете, через ряд магистральных и маржинальных линий эволюции, восходят к элементарному каменному прототипу.

Схема Ли Цзи — явное упрощение гораздо более сложного процесса. Здесь, как и в случае с топорами, часть бронзовых ножей действительно копирует, с неизбежными модификациями, неолитические прототипы. Однако другая часть ножей, с рукоятями в виде звериных головок («звериный стиль»), с кольцевыми или шарообразными навершиями и другими аналогичными украшениями, настолько специфична и при этом столь близка по стилю к сибирско-ордосским образцам, что простой ссылкой на маржинальный эволюционный процесс здесь не обойтись. Как ни стараться, самопроизвольной спонтанной и случайно-сходной эволюцией такие аналогичные специфические формы в соседних районах в одно и то же время не объяснить. Но это значит, что перед исследователями возникает дилемма: либо иньские формы наверший были заимствованы в Сибири и Ордосе (этот вариант, ссылаясь на более позднюю по сравнению с Аньяном датировку карасука, выдвинул в свое время Б. Карлгрен), либо, наоборот, иньский Китай получил формы по крайней мере части своих бронзовых ножей из Сибири.

Впрочем, этот второй вариант именно вследствие датировки карасука, даже если считать его синхронным с Аньяном [251], а не несколько более поздним, как это было принято считать раньше [108, 188], неприемлем. Стало быть, неизбежно должен возникнуть третий вариант: и иньские, и карасукские сходные формы бронзовых изделий, в первую очередь ножей, обязаны

своим происхождением какому-то третьему, промежуточному комплексу, локализованному, скорее всего, где-то в Центральной Азии. Ответвлением этого гипотетического комплекса можно в таком случае считать бронзовую культуру Ордоса. Именно к этому выводу подводит своих читателей в главе, посвященной иньским ножам и кинжалам, М. Лер [450, 69]. Этот вывод в еще более определенной форме сделан им и в заключительной главе монографии.

Автор приводит сводную таблицу, где даны основные типы и модификации иньского бронзового оружия с указанием возможных их истоков. Поясняя таблицу, Лер замечает, что вопрос о происхождении иньского оружия весьма сложен и противоречив. Часть типов свидетельствует о происхождении от местных каменных орудий, тогда как другие столь же несомненно говорят о заимствовании извне. В этой связи самым сложным оказывается вопрос о тех путях, посредством которых могли появиться в Китае иностранные влияния, особенно если речь идет о ближневосточных, иранско-месопотамских. Этот вопрос, по существу, оставлен открытым. Иное дело — соседние районы Монголии и Сибири. Автор проанализировал бронзовую индустрию Сибири, в результате чего пришел к выводу, что единственной культурой, которая генетически могла бы предшествовать и иньскому Китаю, и карасуку, можно считать андроновскую [1]. Выдвигая три варианта интерпретации проблемы взаимовлияний между китайскими и сибирскими бронзами, Лер в конечном счете склонился ко второму, суть которого сводится к тому, что северный (ордосский, сино-сибирский) бронзовый комплекс был в контакте с иньским Китаем, отражением чего и являются отдельные влияния в иньской бронзе [450, 103—104].

Вывод достаточно осторожный, причем и он сопровожден оговорками и ссылками на будущие раскопки и гипотетическую доаньянскую стадию, материалы которой могут прояснить все неопределенности. Нужно сразу же сказать, что раскопки и находки 50—60-х годов этих надежд не оправдали. Как и десятилетия назад, специалисты и после этих раскопок по-прежнему стоят перед проблемой происхождения тех сложных форм, о которых столь подробно говорится в монографии Лера и в других специальных трудах. Но, может быть, раскопки дали что-либо новое для решения других важнейших проблем генезиса культурных достижений иньского Китая? Ведь не случайно некоторые археологи, например Чжэн Дэ-кунь, считают, что после новых раскопок чуть ли не вся эволюция иньской культуры, от ранних этапов до конца Инь, представлена как на ладони!

Если даже вытянуть в единую линию различные стоянки и этапы иньской культуры, как это делает в своей монографии

[1] На андроновскую основу как базу для сложения карасукской культуры, хотя бы в некоторых конкретных ее модификациях, указывают и некоторые советские археологи [140, 133].

Чжэн Дэ-кунь [312], то это никак не помогает решению кардинальных проблем генезиса иньской культуры. Это было продемонстрировано на примере бронзового оружия с его специфическими формами и стилистическими особенностями, столь характерными не только для ордосских и сибирских аналогов, но и для далеких ближневосточных прототипов. Но это же, пожалуй даже более наглядно и убедительно, можно продемонстрировать и на примере одного из важнейших нововведений иньской культуры — запряженных лошадьми боевых колесниц.

ИНЬСКИЕ БОЕВЫЕ КОЛЕСНИЦЫ

Ни колесницы, ни повозки, ни даже просто колеса неолитические племена Китая, судя по всему, не знали, хотя с идеей круга (гончарный круг) они были знакомы. Не были одомашнены в неолитическом Китае и лошади. Да они и не могли быть одомашнены там, ибо происхождение одомашненной лошади вполне очевидно восходит к более западным районам [254а]. Для иньского же Китая великолепные боевые колесницы на тонких и прочных колесах с большим количеством спиц и бронзовыми втулками были едва ли не наиболее характерной особенностью. В определенном смысле можно сказать, что вся иньская культура, весь иньский этнос были теснейшим образом связаны с запряженной выносливыми лошадьми колесницей, которая в те времена и в тех условиях равнинно-степного ландшафта являлась не только наиболее мощным видом вооружения, дававшим решающий перевес в схватке с противником, лишенным такого оружия, но и своеобразным этнокультурным символом, первейшей единицей учета боевой силы племени. Именно колесница, по своим функциям напоминавшая современные танки, наводила страх и ужас на воинов противника, сминала его ряды и тем самым решала исход сражения, а вслед за этим и историческую судьбу племени. Именно колесница в немалой степени способствовала мобильности полуоседлого этноса, его тысячекилометровым миграциям, завершавшимся, как это случалось, например, с хеттами, касситами, гиксосами, ариями, неожиданным появлением воинственного племени в районе поселения мирных земледельцев.

Легко уподобить иньский этнос хорошо известным истории индоевропейским племенам, которые заселили в свое время земли Эллады, Малой Азии, Ирана и Индии. Больше того, для этого есть определенные основания, о чем подробней будет сказано ниже. Однако столь элементарным образом проблема генезиса иньцев не решается — достаточно еще раз напомнить об их монголоидности. Проблема в целом, как это вполне очевидно, достаточно сложна, а факт знакомства иньцев с запряженной лошадью боевой колесницей является лишь одним из важных моментов этой проблемы.

Иньская колесница неплохо изучена. Остатки ее были найдены в захоронениях, что позволило полностью реконструировать ее облик [см., например, 312, 209; 343, 725]. Одними из первых реконструкцию и подробное описание колесницы из погребения в Дасыкунцунь предложили китайские специалисты [638, 63—67, рис. 23—24]. В обстоятельных исследованиях Хаяси Минао было показано, что и лошадь, и колесница обязаны своим появлением в иньском Китае внешним связям и заимствованиям [725; 726]. Чжэн Дэ-кунь обратил внимание на то, что «шанская колесница по своей общей структуре весьма напоминает те, которые использовались на Ближнем Востоке, а позже в Греции и Риме» [312, 207], что, впрочем, не помешало ему несколькими десятками страниц ниже заметить, что «китайская колесница была изобретением народа Шан» [312, 247]. Впрочем, если «народ Шан» понимать в широком смысле, включая сюда все различные этнокультурные компоненты, синтез которых привел к возникновению иньцев, эта фраза может быть не столь уж и неточна.

Исследования конца 60-х годов снова обратили внимание на сходство иньской и ближневосточной колесниц, на их функционально-структурную идентичность, на общность и в принципах, и в мелочах, в деталях [114; 115; 478]. Фиксация этого факта и широкое сравнительное изучение проблемы позволили заключить, что конструктивно-техническое сходство колесниц в Европе, Передней Азии (Армении) и Китае слишком очевидно, чтобы говорить об их полицентрическом происхождении [115, 29—30; 478, 19].

Вывод весьма определенный и категоричный, но он вполне оправдан. Показательно, что за последние годы вопрос о некитайском происхождении иньских колесниц (равно как и лошадей) все реже стал ставиться под сомнение. Даже специалисты, склонные поддерживать идею автохтонности иньской культуры, либо открыто это признают [119, 98—99], либо считаются с такой возможностью [305, 237—238].

Какие же аргументы при этом прежде всего следует принять во внимание? Ведь само по себе отсутствие в доиньском Китае лошади и колесницы, при всей важности этого факта, еще не может быть сочтено достаточным доказательством. Более существен в этом плане факт полного сходства в общем облике и деталях, в принципе конструкции и формах упряжи, который был зафиксирован специалистами в отношении колесниц Ближнего и Дальнего Востока II тысячелетия до н. э. Еще более существенно то обстоятельство, что ближневосточные колесницы в обилии дают более ранние и примитивные прототипы боевых колесниц и повозок, запряженных лошадьми или быками, тогда как иньский Китай демонстрирует в качестве наиболее раннего образца весьма позднюю по типу и совершенную по выделке боевую колесницу с большими колесами и обилием тонких спиц

(18, а то и 26). Это достаточно убедительное доказательство, но и это еще не все.

Прежде всего, стоит напомнить, что боевая колесница тесно связана с эпохой бронзы: без бронзовой втулки на ней нельзя было бы проехать и километра. Второе, что весьма существенно в этом плане,— это использование бронзового «ярма». Именно это «ярмо» в работах ряда специалистов, в частности С. В. Киселева, именуемое «предметом неизвестного назначения» [109, 260], дает связующую нить, которая позволяет выйти за пределы логических конструкций и отдаленных (в смысле территорий) аналогий и поставить вопрос о происхождении иньской колесницы в плоскость вполне реального, базирующегося на неопровержимом фактическом материале исследования.

Как показано П. М. Кожиным, ярмо, которое было изобретено на Ближнем Востоке и широко использовалось в средиземноморском мире (где оно вскоре приобрело символическое звучание), было всегда тесным и неудобным, так что эволюция конской упряжи шла в направлении изменения его формы и способов впрягания в него лошадей, что со временем привело к изобретению постромков [115, 31—34]. Знакомы с постромками были и иньцы, о чем и свидетельствует применение бронзового «ярма-валька», весьма специфического изделия, по форме напоминающего прямоугольную вытянутую и чуть выгнутую пластину, концы которой переходят в крутые круглые в плане дуги, заканчивающиеся бубенцами или изображениями зверей, чаще всего конских голов. Предназначение этого изделия издавна вызывало споры — многие китайские специалисты до сих пор считают его накладкой на лук [697], хотя это мнение встречало аргументированные возражения [550, 209]. Предложенное Кожиным решение (связать этот предмет с ярмом и тем самым с колесницей) весьма правдоподобно, причем оно выходит за пределы вопроса об иньских колесницах.

Дело в том, что среди карасукских бронз нередко находят точно такие по типу изделия, правда более миниатюрные по размеру и расположенные в погребениях без признаков колесниц. Сходство этих миниатюрных ярм с иньскими бесспорно и «исключает их независимое происхождение» [115, 39]. Отсюда следует не только то, что карасукцы, подобно иньцам, некогда были знакомы с колесницами (косвенно об этом могут свидетельствовать отдельные изображения [44; 78, 87—88]), но и то, что колесницы в карасуке не получили распространения и вскоре были преданы забвению, тогда как миниатюрные ярма превратились в раритеты, в ритуально-символические изделия. Как и почему это могло произойти? Если попытаться реконструировать все связанные с этим события, то они могут быть сведены примерно к следующему.

Некая этнокультурная общность, возможно близкая к индоевропейским племенам и уже соприкоснувшаяся с ближневос-

точной цивилизацией, ознакомившаяся с основными достижениями развитых культур бронзового века, в середине II тысячелетия до н. э. стала энергично перемещаться на восток. Активно используя колесницы, она быстро достигла района Минусинской котловины в Южной Сибири, где подверглась определенному воздействию со стороны местных монголоидных племен. О результатах этого расового взаимодействия свидетельствует антропологический облик карасукцев (европеоиды с заметной монголоидной и подчас даже негроидной примесью [1, 382—383; 2, 163; 80, 82—83; 134]). Карасукцев с их сложным расовым составом и хорошим знакомством с культурой развитой бронзы можно считать потомками оставшейся в Минусинской котловине части той гипотетической общности, о которой идет речь. От своих предков они и унаследовали изделия типа ярма, в прошлом явно имевшие отношение к колесницам, но затем утратившие свой первоначальный смысл. Что же касается основной части гипотетической общности, то она, приобретя монголоидные признаки, вскоре, видимо, продолжила свое движение на восток, в ходе которого и достигла берегов Хуанхэ. Именно таким путем могли появиться в районе Аньяна протоиньцы со своими боевыми колесницами (как известно, именно монголоидность связанных с колесницами иньцев смутила в свое время некоторых исследователей, отказывавшихся связывать некитайские колесницы с китайскими [343, 19]).

Боевая колесница появилась в Китае вместе с лошадью, и о лошади в этой связи стоит сказать особо. Лошадь была одомашнена в Западной и Средней Азии давно, по крайней мере в III тысячелетии до н. э., но широко использоваться стала только после появления боевой колесницы. Одними из первых создали подлинный культ лошади митаннийцы, составившие целый гиппологический трактат (трактат Киккули) с исчерпывающими сведениями о лошадях различного пола, возраста, породы, масти и т. п. Ряд терминов из этого трактата позволяет заключить, что он принадлежал народу, говорившему на языках индоиранской группы (аналогичные термины встречались у ариев) [34, 123].

С культом лошади были знакомы многие индоевропейские народы, в частности хетты [96, 12]. Следы этого культа хорошо знакомы и археологам, особенно раскапывавшим погребения срубной и андроновской культур: среди этих погребений нередко встречаются пышные захоронения лошадей с богатой сбруей и т. п. [371, 539—541; 478, 22]. Погребения такого типа обычно связывают с верованиями племен индоевропейского происхождения, в частности древнеиранских (ритуальное захоронение лошади на Памире) [135, 6—7].

Культ лошади был едва ли не наиболее заметным среди других и в иньском Китае. Археологи обнаруживают бронзовые фигуры лошадей. О культе лошади свидетельствуют некоторые термины из надписей на бронзовых изделиях Инь и Чжоу. Смысл

этих терминов имеет отношение к весенним ритуалам жертвоприношений в честь предка-лошади, причем ритуал этот связывался с торжественным обрядом отрыва жеребенка от матери и надевания на него первой узды [792, 325—329].

Жеребцы считались лучшей, высшей жертвой, которую можно было принести в честь покойного правителя-предка. В иньско-чжоуском Китае, по подсчетам специалистов, имелось несколько десятков терминов для обозначения лошадей различной масти (чистой и с пятнами, причем для разных цветовых вариантов термины были особые), возраста и т. п. [356, 41—45]. Использовавшиеся, как и индоевропейскими племенами степняков в Западной Азии, лишь в боевой запряжке, лошади в иньском Китае высоко ценились, богато украшались, были объектом обмена и купли (при торговле с северными степными племенами, разводившими лошадей и сбывавшими их в Китай).

Итак, скаковая лошадь, боевая колесница, бронзовые втулки, ярма, утварь и оружие, не имевшие прототипов в Китае, но аналогичные некитайским,— все это в сумме оказывается достаточно впечатляющим, чтобы обратить на себя внимание специалистов и поставить вопрос о генезисе иньской бронзовой культуры. Так, обратившись к этой проблеме, В. Эберхард счел необходимым дополнить свои прежние построения о происхождении китайской цивилизации, причем именно вопрос о лошади, колеснице и бронзе как важнейших культурных элементах, следы которых нельзя найти ни в одной из его локальных протокультур, вынудил его поставить вопрос о культурных заимствованиях. Эти нововведения пришли в иньский Китай через посредство номадов, скорей всего в результате серии спорадических волн,— таков его основной вывод, в котором он солидаризировался с Р. Гейне-Гельдерном [352, 107—110].

Вывод не вызывает возражений, особенно если учесть, что он сделан в осторожной форме и никак не сводит всю иньскую цивилизацию к сумме заимствованных культурных новшеств. Но фундирован он слабо, ибо изложен в статье, ставившей своей целью дать только социо-антропологический анализ этой сложной проблемы. Видимо, именно поэтому Эберхардом были использованы лишь немногие (упомянутые выше бронза, колесница, лошадь) аргументы, что не могло не ослабить его позиции и послужило причиной критического к ней отношения [343, 17—19]. Между тем эти аргументы можно и должно дополнить рядом других, весьма существенных для создания полной картины.

ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА В ИНЬ

Сооружениям (дома-дворцы, мавзолеи, городские стены и др.) и методам строительных работ иньцев современная историография уделила немало внимания. Начиная с первых публи-

каций Ли Цзи и его коллег об аньянском городище и вплоть до самых новых сообщений, центральное место среди которых заняли материалы о чжэнчжоуском городище, раскопанном в 50-х годах, уровень архитектурно-строительного мастерства в Инь неизменно приковывал к себе взоры специалистов. Ничего подобного в эпоху неолита в Китае не было: в иньском Китае иные типы зданий и могил, иные принципы их сооружения, иные методы строительства.

Прежде всего, иньцы умели возводить городские стены, что превращало их центральные поселения («столицы») в города в полном смысле этого слова [2]. Остатки городской стены, обнаруженные археологами в Чжэнчжоу, характеризовались внушительными размерами: длина — около 2 км, ширина — 1,7 км, общий периметр — 7,195 км, высота стен — 9—10 м, ширина у основания — в среднем около 20 м, иногда до 36 м [559, 77; 305, 205]. По подсчетам китайских археологов, постройка такой стены, включая транспортировку материалов и все подсобные работы, должна была длиться около 18 лет при 10 тыс. работников, занятых по 330 дней в году [559, 77].

На раскопанных археологами остатках стены наглядно видна столь характерная для иньцев техника земляных работ — метод хан-ту (трамбовка земли). Метод этот, применявшийся на протяжении всей истории Китая, вплоть до недавних времен, очень прост и в то же время достаточно эффективен: земля насыпается в прямоугольные деревянные рамки, после чего плотно утрамбовывается с помощью специальных пестов. Затем рамка удаляется и на готовый слой кладется новая, после чего все повторяется сызнова. И так слой за слоем, до достижения нужной высоты, в результате чего сооружение кажется похожим на кирпичную кладку.

Важно еще раз отметить, что этот метод, несмотря на всю его простоту, не был известен в Китае до Инь: сообщения о том, что его применяли в Луншань [305, 128],— результат недоразумения, о котором уже упоминалось. Метод хан-ту использовался иньцами при строительных работах весьма широко. С его помощью иньцы сооружали фундаменты для своих наземных построек, проводили желоба рвов и дренажных канав и т. п.

Методы строительства жилых зданий также отличались от тех, которые были свойственны неолитическим земледельцам Яншао и Луншань с их излюбленными полуземлянками каркасно-столбовой конструкции. Часть иньских строений, по общему мнению наиболее ранних, а в пределах аньянского городища даже,

[2] В свое время неточные данные о раскопках в Чэнцзыяй послужили поводом для предположения, что городские стены возводились в эпоху Луншань. Впоследствии, однако, уточненные материалы показали, что это было ошибкой, так как основы стен, которые имелись в виду, принадлежали гораздо более позднему, чжоускому слою. Это совпало и с данными многочисленных последующих раскопок луншаньских стоянок, ни в одной из которых не было найдено и намека на такого рода признаки урбанизации.

возможно, додинастических (т. е. относящихся ко времени до переселения туда основной части иньцев во главе с Пань Гэном), представляла собой землянки, которые служили преимущественно подсобными помещениями. Но в качестве жилищ и особенно культовых и общественных построек, местожительства правителей использовались наземные дома, воздвигавшиеся на прочном утрамбованном и чуть возвышавшемся над уровнем земли фундаменте. Только в аньянском (сяотуньском) городище обнаружено 53 фундамента домов различных размеров [312, 50]. При этом крупнейшие из них — настоящие дома-дворцы, с большими залами, общей площадью сотни квадратных метров.

Реконструкция иньских наземных жилых строений, произведенная Ши Чжан-жу, показала, что для возведения больших сооружений с залами иньцы умели использовать сложную технику переплетения потолочных перекрытий, опиравшихся на немногочисленные несущие столбы, расположенные в основном вдоль стен, по периметру здания [305, 220, рис. 81]. Стены зданий иньцы делали земляными, либо действуя все тем же методом хан-ту, либо используя заранее подготовленные блоки из утрамбованной глины. Внутренняя поверхность стен обшивалась досками, а в стенах прорубались окна [данные Ши Чжан-жу; цит. по: 312, 52—53].

Важной сферой приложения архитектурно-строительного мастерства иньцев было сооружение гробниц, как рядовых могильных сооружений, так и величественных подземных дворцов-мавзолеев, так называемых царских захоронений. Рядовые гробницы были разные, от простейших неглубоких ям, в которых располагался покойник с небольшим количеством сопровождающего инвентаря, до довольно внушительных по размеру погребальных помещений со следами деревянного гроба, в которых покоились, видимо, заслуженные воины, сопровождаемые немалым количеством оружия, утвари, принесенных в жертву животных (чаще всего собак, от одной до шести-восьми), а подчас и людей, главным образом подростков [312, 66—70]. Но все они не идут ни в какое сравнение с роскошными царскими гробницами-мавзолеями.

Царскими эти гробницы, раскопанные преимущественно в Сибэйгане (близ Аньяна) еще в 30-х годах, стали именоваться именно вследствие их размера, богатства и обилия принесенных в жертву животных и людей. Раскопавшие и изучавшие их специалисты закономерно предположили, что в Сибэйгане, поблизости от аньянского городища, погребали именно иньских правителей — ванов. Этому, однако, не вполне соответствовало количество гробниц — их оказалось 14 [408], что несколько превышает количество ванов, правивших в последний период Инь, начиная с Пань Гэна, перенесшего столицу в район Аньяна, и вплоть до Ди И, предшественника последнего иньского вана Чжоу Синя, павшего в огне гибнущей столицы. Кроме того, гроб-

ницу-мавзолей, подобную сибэйганским, обнаружили в Угуанцунь, также поблизости от Аньяна; несколько меньшую, но тоже очень внушительную гробницу с десятками сопогребенных людей нашли в Хоугане. Таким образом, число царских гробниц превышает количество ванов, правивших за те 273 года, которые приходятся на аньянский период эпохи Инь, до ее гибели в 1027 г. до н. э. Однако это обстоятельство едва ли следует драматизировать: быть может, некоторые царские гробницы были заняты ближайшими родственниками вана или наследниками, погибшими до того, как они успели вступить на трон. В основном же гробницы, о которых идет речь, действительно царские, в этом никто из специалистов практически не сомневается. Что характерно для этих гробниц-мавзолеев?

Это огромные сооружения крестообразной формы. Погребальная камера с гробом располагалась в центре, на глубине около 10 м. От нее во все четыре стороны уходили пологие подъемы или лестницы, в результате чего и возникла крестообразная форма. Размеры камеры значительно варьировали: в знаменитой гробнице № 1001 из Сибэйгана это было помещение площадью 14×19 м, тогда как длина южного, самого длинного подъема равнялась 30 м. Сам гроб обычно не представлял собой ничего особенного и никак не напоминал знаменитые египетские саркофаги с мумифицированными, тщательно одетыми и разукрашенными покойниками. Положение покойника в гробу мало чем отличалось от обычного иньского захоронения. Разница была в другом. Рядом с покойником, бок о бок с ним или поодаль располагались предметы для сопровождения, в том числе бронзовые сосуды и оружие, изделия из мрамора и нефрита. Особенно интересен богатый набор их в гробнице № 1001, побившей рекорд в области каменной скульптуры [305, 224, рис. 85].

Но даже не эти предметы, при всем их обилии и высоком качестве, поразили раскапывавших гробницы археологов и изучавших их первые публикации специалистов. Всех их поразило другое: огромное количество сопогребенных людей, которые многими десятками, иногда сотнями сопровождали на тот свет своего покойного повелителя, занимавшего центральное место в гробнице. По-разному выглядели скелеты этих людей. Часть их, без черепов, принадлежала людям, которых хоронили обезглавленными (чуть поодаль от этих скелетов обычно помещали кучку отрубленных голов, о чем свидетельствуют находки серии отдельных черепов). Других погребали живыми, о чем говорят позы захороненных. Не исключено, что часть сопогребенных (близкие покойника, его жены и слуги) шли в могилу добровольно или полудобровольно, движимые принятыми нормами и обычаями (вспомним обычай сати, т. е. самосожжения вдов с трупом мужа в высших кастах Индии [3]).

[3] На тему о возможных индийских влияниях в связи с изучением изделий из царских гробниц Инь высказывался в свое время П. Пеллио [476].

Ничего подобного в Китае до эпохи Инь не было; не говоря уже о масштабах, сам принцип сопогребения людей не был знаком земледельцам неолита. Это изобретение новой эпохи, века бронзы, с его институтами социального неравенства, господства и подчинения. Где и когда было оно сделано? Вопрос несколько наивен, но не столь неуместен, как это может показаться на первый взгляд. Не случайно взоры специалистов, пытавшихся раскрыть тайну иньских царских гробниц-мавзолеев, был обращен опять-таки на Ближний Восток, к знаменитым царским гробницам Ура, где также были открыты погребения правителей с десятками принесенных в жертву и сопогребенных людей [64, 61—97; 70, 700—701]. Разумеется, это никак не означает, что практика сооружения каменных гробниц Ура оказала непосредственное влияние на протоиньцев. Здесь важнее обратить внимание на другое: в Месопотамии в III тысячелетии до н. э. уже было известно массовое сопогребение людей в гробницах царей, т. е. сам институт сопогребения в III и тем более во II тысячелетии до н. э. был знаком народам Ближнего Востока, вступившим на путь урбанизации и становления классового общества и государства. Иньцы в этом смысле не изобрели ничего нового — новое было только в том, что практика сопогребения появилась в бассейне Хуанхэ, где до того ее, как, впрочем, и практики сооружения больших гробниц-мавзолеев или домов-дворцов, не существовало.

В этой связи заслуживает внимания и еще одно обстоятельство, имеющее непосредственное отношение к практике строительства домов и гробниц в Инь. Речь идет опять-таки о погребальных ритуалах, но теперь уже не просто о сопогребении людей вместе с умершим, а о принесении людей и животных в жертву при строительстве сооружения. Раскапывавших аньянское (сяотуньское) городище археологов в 30-х годах поразило обилие захороненных в фундаментах жилищ и поблизости от них животных и людей.

При этом место захоронения (специальная ямка под фундаментом, ямка возле двери-входа и т. п.), поза погребенных животных и особенно людей (обезглавленные либо стоявшие на коленях в полной боевой выкладке) и даже сочетания их (воин с собакой, колесница с возничим, лошадь с юным грумом) безошибочно свидетельствовали о том, что здесь были совершены ритуальные жертвоприношения. Так, в фундаментах больших наземных строений были обнаружены либо собака, либо ребенок, в основе глинобитных стен (уже после закладки фундамента) погребали еще животных или стоявших на коленях воинов-стражей с собаками. Такие же воины с собаками — у дверей больших строений. После окончания строительства общественных сооружений, имевших, видимо, ритуально-культовый характер, поблизости от них, по мнению исследовавшего эту проблему Ши Чжан-жу, погребали сотни принесенных в жертву лю-

дей, а также лошадей, колесниц с обслуживавшими их грумами и возничими и иных жертвенных животных — быков, баранов и особенно собак [312, 53—57].

Сам Ши Чжан-жу объяснял эту практику жертвоприношений тем, что все они предназначались в качестве своего рода духовной стражи для этих важных строений [цит. по: 312, 55]. Этот вывод поддержали и другие специалисты. В статье М. Лера проведена аналогия между захороненными близ домов и сопогребенными в царских гробницах и сделан общий вывод, что и в том и в другом случае люди (особенно коленопреклоненные воины с оружием) и собаки призваны были прежде всего охранять строения (недаром именно воины с собакой помещались у входа в дом) и что один и тот же ритуал (погребение воинов и собак, а также коней и т. п.) использовался иньцами для охраны и живых и мертвых [451, 457].

Строго говоря, и идея и практика такого рода ритуальных погребений-жертвоприношений существовала и в эпоху неолита как в Китае, так и в других районах Евразии — вспомним о захоронениях младенцев. Но в том-то и заключалось, видимо, отличие, что в эпоху неолита это была жертва-откуп, жертва-плата, жертва-искупление, тогда как теперь наряду с идеей откупа (те же ямки с собаками под фундаментом домов и гробами правителей) присутствовала, видимо, и иная — идея защиты наиболее важных строений и сооружений от влияния злых сил, о чем свидетельствуют погребения у дверей. И все-таки идея жертвы-откупа и в иньском Китае явно преобладала, о чем, помимо прочего, говорят захоронения едва ли не самого дорогого из того, что было у иньцев,— колесниц с упряжкой лошадей и полным боевым снаряжением, включая возничего и воина. Такие захоронения не часты, но и не столь уж редки: их нашли и в сяотуньском городище, и в могильнике Дасыкунцунь. В качестве жертвы-откупа следует рассматривать и массовые жертвоприношения пленных иноплеменников, о чем помимо археологии, свидетельствуют данные многочисленных надписей на гадательных костях Инь.

Практика строительства и ритуалов показывает огромный прогресс, которого достигли иньцы на пути к урбанизации. Правда, ни строительство крупных сооружений, ни массовые человеческие жертвоприношения сами по себе не могут противоречить идее спонтанного вызревания иньской культуры на базе китайского неолита: весь прогресс легко может быть воспринят именно как свидетельство спонтанной эволюции. Однако в сочетании с изложенными выше соображениями и фактами он может быть воспринят и иначе, стать лишним серьезным свидетельством сложности процесса этнокультурного синтеза, результатом которого явилась иньская цивилизация. В этом же плане заслуживают пристального внимания и еще несколько аналогичных проблем.

ИСКУССТВО В ИНЬ. «ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ»

Искусство, изображение, символ — важнейшие этнокультурные показатели, и их анализу уделяют обычно немало внимания: достаточно напомнить о той роли, которую сыграл анализ росписи на неолитических сосудах серии культур расписной керамики Евразии. Осталось ли в искусстве Инь что-то от искусства китайского неолита, особенно Яншао? И если да, то сколько? А если нет, то откуда взялись новые мотивы, символы, принципы, насколько они родственны неолитическим и могут быть выведены из них?

Следует сразу же заметить, что в искусстве иньцев, всегда поражавшем специалистов высоким художественным уровнем, разнообразием и мастерством, не так уж много от искусства китайского неолита. Начать с того, что иньская керамика (как и луншаньская) не украшалась росписью. Правда, кое-что в иньском рельефе на бронзе или резьбе на камне может быть уподоблено тем символам и мотивам, которые в обилии встречались в росписи на яншаоской керамике. Но этого еще очень мало для постановки вопроса о генезисе и преемственности — в лучшем случае можно говорить о том, что традиционные принципы искусства и символики, характерные для китайского неолита, оказали некоторое влияние на формирование сложного мира иньского искусства со всеми его методами, стилями, мотивами и символами. В основной же своей части иньское искусство — явление настолько интересное, необычное, оригинальное, что ему недаром посвящают специальные исследования.

В Инь появилось по крайней мере два принципиально новых вида искусства — бронзовое литье и круглая каменная скульптура. Достаточно взглянуть на великолепные скульптурные изображения людей и животных, выделанные из мрамора и яшмы, т. е. из едва ли не наиболее твердых пород камня, чтобы оценить и мастерство и технический уровень иньских скульпторов [312, л. илл. X—XX]. Ничего подобного в доиньском Китае не было, и в то же время совершенство изделий категорически исключает предположение, будто принципиальный качественный скачок мог произойти за те ничтожные сроки, которые разделяют Луншань и Инь. Не может быть никаких сомнений в том, что искусство скульптурной обработки камня, демонстрируемое иньскими мастерами, должно было пройти долгие века совершенствования, не говоря уже о том, что для столь тщательной обработки твердого камня необходимы были специальные инструменты.

Кроме круглой скульптуры в виде фигур сидящих и стоящих человечков, тигров и буйволов, зайцев, сов и иных животных (причем выполненных как в подчеркнуто реалистической манере, так и с явными признаками стилизации и, как правило, украшенных снаружи затейливой резьбой) иньские скульпторы умели изготовлять сосуды из мрамора, различные изящные по-

делки-фигурки из яшмы, художественные рукояти для топоров или ножей, а подчас и имитировавшие бронзу церемониальные топорики и ножи. Все эти изделия обычно украшались, как и художественные изделия из бронзы, богатым орнаментом, насыщенным характерной для иньского искусства символикой.

Этот орнамент сохранился также и на изделиях из слоновой и обычной кости, рукояти, чаши и наколки из которых также демонстрируют высокое художественное мастерство иньских ремесленников. Остатки орнамента со следами сгнившего дерева в полых глиняных слоях свидетельствуют о том, что таким же образом украшались и изделия из дерева [537]. Однако более всего представлен и самое большое впечатление производит резной орнамент на знаменитой иньской бронзе, в первую очередь на бронзовых сосудах.

Иньские бронзовые сосуды — вершина художественного творчества Инь. При этом специалисты издавна обратили внимание на то, что форма этих сосудов в основном воспроизводит форму китайской неолитической керамики. И это вполне справедливо, хотя и не означает, что абсолютно все многообразные формы бронзовых сосудов могут быть генетически связаны с луншаньской или яншаоской керамикой. Однако важно следующее: если трудно отрицать, что именно китайская неолитическая керамика явилась той формальной основой, на которую опирались иньские бронзолитейных дел мастера, когда они изготовляли свои сосуды, то еще трудней не согласиться с тем, что это касается лишь внешней формы сосудов. Как только речь заходит об орнаменте или рельефе, которыми обильно покрывалась поверхность почти всех иньских бронзовых сосудов, не говоря уже о затейливых ручках, носиках или иных скульптурных украшениях и тем более оставляя в стороне сосуды, по форме уподоблявшиеся животным (слону, птице), сразу становится ясно, что проблема генетических связей иньских бронзовых сосудов намного сложнее, чем это кажется на первый взгляд.

Прежде всего, как это в 1937 г. блестяще показал Б. Карлгрен, именно иньские, причем наиболее древние сосуды принадлежат к числу самых совершенных с точки зрения выделки и орнамента [414, 81—95]. Это было в дальнейшем подтверждено результатами раскопок и вновь отмечено Карлгреном [421]. Второе характерное наблюдение Карлгрена, которое, правда, было несколько поколеблено впоследствии, сводится к тому, что самые древние сосуды (стиль А в отличие от более позднего стиля Б, хотя оба стиля могли сосуществовать в рамках позднеиньского периода) украшались в более реалистической манере, тогда как чуть более поздние (стиль Б) были результатом стилизации натуралистических форм орнамента [414, 76—80].

Пусть даже, как это, ссылаясь на раскопки в Чжэнчжоу, заметил Уотсон [545, 156], оба стиля следует считать практически одновременными (что в конечном счете считал возможным и сам

Карлгрен). Это не меняет общего вывода: самые совершенные, самые причудливые по форме (выделанные в форме слона, например), самые вычурные по орнаменту, в том числе все сосуды со сплошным орнаментальным покрытием, принадлежат именно к ранним, к иньским (а не к очень близким и похожим на них раннечжоуским). Выработкой четкого стилистического критерия, позволившего бесспорно отделять иньские сосуды от чжоуских, как раз и прославились блестящие работы Карлгрена 30-х годов [413; 414]. Иными словами, сложность формы и изысканность орнамента не нарастали с течением времени, как это можно было бы предположить, а, напротив, ослабевали в конце Инь и тем более в Чжоу.

В рамках Инь, особенно если судить по данным раскопок сяотуньского городища (вопрос о городище Чжэнчжоу, на материалы которого ссылается Уотсон, может быть поставлен особо), эта характерная черта убедительно подкрепляется наличием столь же изысканных по форме и орнаменту каменных сосудов и сосудов из белой глины. Тех и других было очень немного, и есть все основания считать, что их изготовители при выделке своих шедевров старались копировать уже хорошо знакомые им изысканные бронзовые сосуды — для этого достаточно беглого взгляда на иньские мраморные или белокерамические сосуды [312, л. илл. XI, а, в, XXXI]. Но это значит, что все великолепие, вся изысканность орнаментальной композиции на бронзовых, каменных и белокерамических сосудах, не говоря уже о вычурных изделиях в форме животных, с носиками и головками зверей, выделанными рельефом или в круглой скульптуре, были очень хорошо знакомы иньским мастерам по крайней мере в те 273 года, что просуществовала аньянская столица. Откуда же все это взялось?

Специально изучавший эту проблему Ли Цзи выдвинул предположение, что основу изысканного искусства резьбы и рельефа следует искать в древних восточных традициях, сохранившихся позже в районе тихоокеанского бассейна. Приведя в качестве аргумента искусно покрытую резным рельефом костяную рукоять, раскопанную в 1929 г. в сяотуньском городище [446, 30, рис. 5], Ли Цзи обратил внимание на то, что столь характерные для этой рукояти приемы резьбы (деление всей поверхности резной части на параллельные полосы, изображение маски таоте на каждой полосе то анфас, то в профиль, со строгим чередованием, соблюдением ритма и симметрии) полностью совпадают с принципами расположения рельефа на бронзовых сосудах Инь и на деревянных поделках более поздних эпох в Океании. Затем, сославшись на свою статью, где было еще ранее высказано предположение, что иньские бронзовые сосуды квадратной и прямоугольной форм генетически восходили, видимо, к деревянным шкатулкам (тогда как круглые — к керамике), Ли Цзи напомнил, что иньские аристократы, любившие охоту и проводившие

немало времени в лесах в поисках дичи (не случайно количество костей оленя в раскопках уступает лишь костным останкам свиньи), должны были иметь развитое искусство резьбы по дереву [446, 30—33].

Несмотря на то что это последнее умозаключение выглядит не очень убедительно, иньцы действительно были знакомы с искусством резьбы по дереву, о чем свидетельствуют сохранившиеся в лёссе отпечатки тонкого резного узора, некогда нанесенного на ныне давно сгнившие деревянные доски [537; 446, 33, 26, рис. 3; 312, л. илл. VI]. Неудивительно поэтому, что мнение Ли Цзи было поддержано другими специалистами [312, 173; 545, 149]. Но чем можно подтвердить это мнение, т. е. предположение, что резьба по дереву и кости — и не просто резьба, а именно та вычурная, о которой идет речь,— предшествовала иньским рельефам на бронзе? Отвечая на этот вопрос, У. Уотсон писал: «Происхождение этого стиля декора неясно. Характер его заставляет предположить, что он не был изобретен для отливки в бронзе, а, скорей всего, начал развиваться в резьбе по дереву или кости. К сожалению, столь непрочный материал не сохранился с эпохи неолита, чтобы продемонстрировать вероятных предшественников искусства бронзового века» [545, 149].

В принципе можно согласиться с Уотсоном в том, что практика нанесения орнамента на стены сосудов появилась задолго до начала выплавки бронзовых изделий и что поэтому для украшения этих изделий ни принцип, ни даже стиль орнаментировки заново не выдумывались. Если уж на то пошло, можно было бы сослаться на керамику Яншао. Но Уотсон не делает этого не случайно: слишком уж велика разница в стиле, в характере орнамента (не говоря о том, что между Яншао и Инь все же лежала целая эпоха Луншань, когда керамика росписью не украшалась). Видимо, именно поэтому Уотсон и ссылается на кость и дерево. Но здесь в отличие от более осторожных Ли Цзи и Чжэн Дэ-куня он явно увлекся. Во-первых, почему он считает кость непрочным материалом, когда на самом деле это один из самых прочных и среди находок археологов всегда занимает видное место? Во-вторых, ему следовало бы иметь в виду, что в северокитайском лёссе даже следы изделий из дерева сохраняются не так уж плохо, о чем убедительно свидетельствуют упоминавшиеся отпечатки. Нет оснований полагать, что подобные отпечатки в принципе не могли бы сохраниться и со времен Луншань, если бы резьба по дереву (как, впрочем, и по кости) действительно была в то время и хотя бы примерно в том же виде, как в Инь, распространена. Словом, не непрочность материалов виной тому, что в луншаньско-луншаноидных культурах не обнаружено орнамента или рельефа протоиньского типа. И уже одно это обстоятельство позволяет поставить под сомнение постулат Ли Цзи.

В самом деле, в принципе, как говорилось, сомнений нет:

искусство орнаментировки бронзы вторично хотя бы потому, что бронза — гораздо более позднее изобретение по сравнению с керамикой, с практикой резьбы по дереву или кости. Но применительно к иньскому Китаю это уже далеко не так очевидно, и есть немало оснований полагать, что причудливый рельефный орнамент примерно одинакового стиля в равной мере и параллельно существовал в Инь в изделиях из дерева, кости, белой керамики, камня и бронзы, а истоки его уходят в глубину веков, но не обязательно в китайский неолит.

В отличие от Уотсона Ли Цзи не так сильно акцентирует внимание на дошанском неолите, хотя и имеет его в виду. Он напоминает об охотничьих забавах иньских аристократов и именно с этим связывает распространение резьбы по дереву. Что же, может быть, здесь есть доля истины. Но тогда можно поставить вопрос и иначе: эти забавы тоже могли иметь древние корни и вместе с резьбой и самими аристократами восходить к тем отдаленным местам и временам, которые еще покрыты мраком неизвестности, но которые едва ли справедливо связывать только с дошанским неолитом собственно Китая (вспомним хотя бы о колесницах). А если так, то неудивительно отсутствие следов резной кости и дерева в Луншань. Неудивительно и то, что мотивы орнамента и рисунка на дереве (кстати, от иньского времени остались лишь отпечатки с плоских деревянных досок-плит, украшенных некогда тонким рельефом, но никак не следы резных шкатулок либо фигурок, о которых упоминает Ли Цзи) у самого Ли Цзи рождают определенные ассоциации, о которых будет идти речь ниже.

Словом, происхождение иньского рельефного орнамента, столь сложного и вычурного, обильного и бросающегося в глаза, действительно неясно, а ссылка на приоритет кости или дерева с упоминанием их непрочности как материала ничего не проясняет. Факт остается фактом: после луншаньской керамики, отличавшейся в основном вычурностью форм (но не орнамента или орнаментального рельефа), изысканность иньского искусства поражает. Что же интересного и характерного было в мотивах и символах иньского искусства, чем они отличны от яншаоских и, наконец, как все это было связано со знаменитым ближневосточно-степным «звериным стилем»?

Центральное место в орнаменте занимало изображение животных и монстров — птиц, змей, драконов, цикад, слонов, рыб и т. п. Изредка встречались фигурки, головы или лица людей. Как правило, все эти изображения, за исключением, пожалуй, наиболее миниатюрных из них, в свою очередь, покрывались тонким рельефом из геометрических фигур, чаще всего меандров типа лэй-вэнь (громовой орнамент) или ⊂⊃-образных завитков. В том, что касается символов и мотивов геометрического орнамента, можно найти определенную общность между Инь и Яншао (кстати, не только Яншао, но и почти любой другой евра-

зийской культуры расписной керамики). Но геометрический орнамент в иньском рельефе играл явно подчиненную роль, лишь заполняя собой пустоты и подчеркивая символическую и эстетическую выразительность главного изображения.

Центральную же роль главного изображения в иньском рельефе всегда играла маска тао-те — монстр с огромными глазами, мощными разветвленными рогами, изредка с большим ртом, носом и туловом какого-либо зверя (чаще всего дракона) или даже человека. Загадка тао-те долгие годы обсуждалась специалистами по истории китайского искусства и религии — его сравнивали с различными божествами [391], но почему-то никто не доводил свою мысль до логического конца и так и не сопоставил тао-те с верховным божеством иньцев Шанди (Ди). Между тем ряд соображений дает веские основания видеть в этой маске иконографическое отображение именно этого божества, рассматривавшегося иньцами в качестве своего легендарного первопредка [541; 55, 82—86].

Я не случайно здесь вновь возвращаюсь к этой теме. Если учесть, что почти на любом сосуде (будь то бронза, камень, белая керамика) или другом ритуальном предмете (хотя бы на той костяной рукояти, на которую, как на образец для орнаментального рельефа на бронзовых сосудах, ссылался Ли Цзи) центральным мотивом является маска тао-те, изображаемая и анфас, и в профиль, и в виде натурализованной личины, и с крайней степенью стилизации, то ключом к разгадке всего сложного мира мотивов и символов на иньских орнаментальных рельефах будет решение проблемы значения этой маски. И если согласиться с доводами о том, что маска тао-те — иконографический облик Шанди, многое станет на свои места.

Но отождествление тао-те с Шанди и отнесение их обоих исключительно к этнокультурной общности Инь еще само по себе не решает проблемы истоков богатейшего художественного мастерства иньцев в области рельефа и орнамента. И очень трудно сказать, даже в предположительном плане, где следует искать эти истоки. Но все-таки некоторые указания на этот счет есть, причем современные исследователи не оставили их без внимания.

Один из отпечатков в лёссе тонкого рельефа на дереве являет собой, по трактовке приводящего его Ли Цзи, изображение типа тао-те с одной головой и двумя переплетающимися змеиными телами [446, 26, рис. 3]. Мотив довольно обычный в рельефах на бронзе, но та его модификация, о которой идет речь, поразительно напоминает аналогичные композиции Ближнего Востока, зафиксированные Г. Фрэнкфортом в Египте и Шумере тысячелетием раньше [366, 102, л. илл. X, 16, л. илл. XXI, 41]. Именно это сходство и поразило Ли Цзи, заставив его заключить, что иньский рельеф на дереве (т. е. та самая основа, о которой он же столь ярко писал чуть ниже) восходит к шумерско-

му прототипу [446, 27]. Это еще не все. Другой мотив, также зафиксированный на деревянном рельефе иньцев тем же Ли Цзи,— два тигра с хвостами, обращенными к центру, и человеческим лицом между ними сверху. Сходный мотив обнаружен и на одном бронзовом тетраподе из царской гробницы. Это, по оценке Ли Цзи, опять-таки иньская модификация известного шумерского мотива «героя и зверя», который почти в такой же геральдической позе известен и на Ближнем Востоке, и в Инь [366, 102, л. илл. XI, 23, 24; 446, 27—29, л. илл. I].

Как бы ни оценивать эти совпадения, они весьма показательны и едва ли могут просто считаться случайными. То, что эти совпадения не случайны, а имеют определенную генетическую связь, подтверждается и еще одним зафиксированным Ли Цзи аналогичным совпадением, на этот раз в области обычной керамики. В его книге [446, 28] приведены изображения трех крышек от сосудов с однотипной и уникальной по характеру особенностью: внутри каждой этой керамической крышки от котлов или кувшинов, выделанных в форме миски с расширяющимися кверху краями, помещен фаллический выступ, используемый в качестве рукояти. Одна крышка — из Джемдет Насра, другая — из Мохенджодаро, третья — из Сяотуни. Случайного совпадения в такой нарочитой и глубоко символической форме видеть нельзя, в этом Ли Цзи безусловно прав [446, 29]. К этому существенно добавить, что в пределах Джемдет Насра можно зафиксировать постепенное становление этого орнаментально-скульптурного мотива: от небольшого выступа рукоять постепенно увеличивалась и все более явственно приобретала форму фаллоса [235, 206, рис. 65 снизу]. В Сяотуни крышка такого типа — уже вполне развитой формы, с высокой и не вызывающей сомнения в символике рукоятью. Другими словами, более поздняя по времени иньская крышка с фаллосом явно копирует поздние и развитые образцы из Джемдет Насра, повторенные в Мохенджодаро и, видимо, получившие распространение именно вследствие своей символической выразительности. Склонность иньцев к фаллической символике — вне сомнений: изображения фаллических выступов и в бронзе и в камне достаточно часты, о чем в свое время писал Б. Карлгрен [412].

Часто, говоря об иньском искусстве, употребляют термин «звериный стиль». На первый взгляд может показаться, что это совершенно справедливо. Действительно, «звериный» орнамент преобладает и в рельефе, и еще более заметно в круглой скульптуре, не говоря уже о том, что сами скульптурные фигурки — это в основном изображения животных, реже людей. Чжэн Дэкунь, например, посвятил специальную работу проблеме «звериного стиля» в древнекитайском искусстве. И хотя в его работе уделено место проблематике «звериного стиля» и сделан должный реверанс в адрес его первоисследователей (Ростовцев, Миниз, Боровка), смысл его концепции сводится к тому, что —

независимо от различных теорий о «зверином стиле» с его скифо-сибирскими ответвлениями и т. п.— в Китае практика изображения животных была характерна с неолита. Если и менялись преобладающие тенденции в нем — натуралистическая, декоративная, реалистическая, условная,— то это лишь результат игры вкусов предков китайцев, не более того. В качестве основы были реальные прототипы (т. е. животные), и нет оснований, по его мнению, говорить о каких-либо прямых влияниях извне [313].

Надо сразу же сказать, что позиция Чжэн Дэ-куня в этом вопросе далеко не безупречна. Верно, что и в неолите, и в Инь изображали животных. Верно, что изменялась манера и приемы изображений, но неверно, что все это можно свести лишь к своеобразной игре вкусов, стоявшей за сменой стилей. На самом деле все обстояло намного сложнее и между изображениями человеко-рыбы в яншаоском Баньпо и иньского монстра с чертами человека, животного и чудища (тао-те) — дистанция огромного размера. Это, по существу, совершенно различные приемы, методы и стили изображения. Вот почему безоговорочно именовать любое изображение животного «звериным стилем», как это получается у Чжэн Дэ-куня, неверно.

Но если оставить в стороне неолит и касаться только иньского искусства, правомерно ли по отношению к нему использовать термин «звериный стиль»?

Дело в том, что под термином «звериный стиль» в современной археологии и истории искусства подразумевается нечто вполне определенное, т. е. не просто сам факт изображения преимущественно зверей, а изображение их в таком виде и в таких позах, которые имеют определенные стилевые закономерности и свидетельствуют о бесспорном сходстве, об этнокультурной близости народов, в искусстве которых такой стиль господствовал.

Впервые с феноменом «звериного стиля» наука столкнулась еще в конце XIX в., когда немецкий исследователь П. Рейнеке обратил внимание на стилистическое сходство скифских и минусинских бронз с северокитайскими ордосскими [485]. Позже этой проблемой заинтересовались многие известные специалисты [290; 463; 464; 488], искавшие истоки «звериного стиля». Стали выдвигаться различные гипотезы. С. А. Теплоухов одним из первых связал скифский «звериный стиль» с сибирским (карасукским) и с северокитайским [213]. Затем к этому вопросу обратились синологи, в том числе Андерсон, Масперо, Сальмони, Карлгрен [271; 413; 457; 492].

Постепенно возникла большая историография вопроса, причем все исследователи исходили из признания этнокультурной общности народов, знакомых с бронзами, изготовлявшимися в «зверином стиле». И этот вывод в принципе справедлив и бесспорен. Стиль, о котором идет речь, уникален и неповторим. Характерные для него динамические напряженные позы мчащихся или готовых к прыжку животных (львов, козлов, оленей, орлов

и т. п.) отличались столь явственно выраженными и бесспорными стилевыми особенностями (практика выделки сквозных глаз и ноздрей, часто обведенных концентрическими кружками, изображение тела в виде группы нарочито подчеркнутых и как бы «играющих» мускулов, моделированных в форме различного рода кругов, овалов, завитков, чаще всего грушевидных клеток-ячеек [413, 102; 250, 128]), что о случайном совпадении не могло быть и речи. Оставалось лишь решить вопрос о происхождении этого стиля.

Андерсон предложил теорию, согласно которой этот стиль сложился на основе охотничьей магии, но где именно это произошло, когда, куда и откуда пошло — все эти вопросы он оставил открытыми [271]. Другие специалисты были более определенны в своих выводах о генезисе стиля: одни (Тальгрен, Ростовцев, Герцфельд, Кюн и др.) склонны были считать, что истоки этого стиля восходят к иранско-месопотамскому миру, откуда он затем стал распространяться по евразийской степи, достигнув, в частности, Сибири и Северного Китая; такие, как Боровка, Миннз, предполагали, что он возник в Сибири, наконец, третьи (Карлгрен, Чжэн Дэ-кунь) были готовы считать этот стиль автохтонным явлением Северного Китая.

Об аргументах Чжэн Дэ-куня уже упоминалось. Более серьезны аргументы Карлгрена, но и они сводятся в основном к тому, что иньский Китай хронологически более древний, нежели карасук, и поэтому нет оснований считать, что иньцы могли заимствовать этот стиль с севера, скорей все произошло наоборот [418, 139—144]. В том, что иньский Китай по меньшей мере синхронен с карасуком (а может быть, в виде чжэнчжоуского этапа, более древний), спорить с Карлгреном не приходится. Но сама постановка вопроса неприемлема: ведь нет альтернативы — иньский Китай или карасук. А почему не предположить, что и иньский Китай, и карасук обязаны своим происхождением какому-то третьему источнику, генезис которого еще неясен? Многое говорит в пользу такого предположения вообще, а в частности оно оказывается единственно возможным и для решения проблемы генезиса «звериного стиля».

В самом деле, Карлгрен прав, когда подчеркивает отсутствие в Сибири корней этого стиля — ни Боровка, ни Миннз так и не сумели доказать факт существования таких корней [290, 76; 464, 58, 63—69],— но в то же время он сам чувствует слабость своей аргументации, когда ставит вопрос о возможности генезиса этого стиля в иньском или прединьском Китае. В одной работе он даже писал, что в Китае этот стиль появился сравнительно поздно и не без влияния с севера [414, 108]. Ныне становится все более ясным, что иньская модификация «звериного стиля», т. е. те самые рукояти и украшения на оружии, которые сближают часть иньских бронз с ордосскими, не может быть возведена к культурным традициям китайского неолита, но зато через род-

ство с южносибирскими изделиями этого стиля явно восходит к более древним и более западным прототипам.

Речь идет о том, что за последние годы специалисты все более склоняются к выводу, что истоки «звериного стиля» действительно восходят, как это показал еще М. Ростовцев, к иранско-месопотамскому миру. Именно оттуда в разные стороны распространялся этот специфический стиль, оказавший свое влияние как на Элладу (коринфские вазы) [441], так и на бронзовые культуры Азии (включая сам ахеменидский Иран) [489]. Этот вопрос был обстоятельно рассмотрен Н. Л. Членовой [250, 123 сл.], которая вслед за Э. Герцфельдом пришла к выводу, что особенности этого стиля связаны с первоначальной техникой изготовления стеатитовых печатей типа Керкук. Позже именно эта техника была перенесена в бронзу, в первую очередь в луристанскую [250, 128].

Что касается датировки луристанских бронз, то следует заметить, что попытка некоторых специалистов дать единую позднюю их датировку (Р. Гиршман отнес всех их к VIII—VII вв. до н. э.) вызвала резкие возражения со стороны Л. Ван дер Берга и П. Калмейера, которые убедительно доказали, что луристанские бронзы подразделяются чуть ли не на семь последовательных групп, древнейшая из которых датируется серединой III тысячелетия до н. э. [11, 290]. Но в ближневосточной зоне истоки техники и искусства «звериного стиля» не ограничиваются лишь луристанскими бронзами. Вполне определенно следы зарождения этого стиля можно найти и среди раннехеттских бронз конца III тысячелетия до н. э.— достаточно обратить внимание на навершие штандарта в виде фигурки оленя [174, илл. 212а].

Проблема скифо-сибирского «звериного стиля», расцвет которого пришелся на I тысячелетие до н. э., но основы которого были заложены во II тысячелетии до н. э., остается еще открытой. Но как бы эта проблема ни была решена в дальнейшем, версия о китайском (иньском или протоиньском) происхождении этого стиля ныне, как это представляется совершенно очевидным, несостоятельна. Иньский Китай убедительно свидетельствует лишь о том, что в XIV—XIII вв. до н. э. этот стиль достиг Аньяна (в Чжэнчжоу его следов нет). Однако эта сравнительно ранняя дата более не может служить основанием для выводов о приоритете Китая: хорошая изученность доиньских культур не дает ни малейших поводов для этого. Словом, «звериный стиль» в узком смысле слова, как это принято среди археологов и искусствоведов, явно некитайский по происхождению.

Но «звериный стиль» характерен лишь для части сложного мира мотивов и символов иньского искусства. Еще Карлгрен обратил на это внимание, заметив, что характер изображения зверей на иньских бронзовых сосудах совершенно очевидно отличен от «звериного стиля» [418, 130—131]. Об этом писали позже

и другие специалисты [545, 88; 250, 272; 59, 33]. И действительно, орнаментальный рельеф на иньской бронзе, при всем обилии «звериных» мотивов в нем, выходит за пределы «звериного стиля». Другими словами, в иньском искусстве как бы сосуществовали два различных стилистических приема изображений животных: один — на оружии и утвари того «северного», «сино-сибирского», «ордосского» типа, который подчас до мелочей совпадал со «звериным стилем» карасукских бронз, другой — на сосудах, причем ничего общего с ним (как и, естественно, самих бронзовых сосудов иньского типа) в карасуке не обнаружено (в Ордосе тоже).

Это еще одна загадка иньской культуры, на которую до сих пор не обращено должного внимания. Как говорилось выше, некоторые приведенные в работе Ли Цзи параллели позволяют заключить, что истоки тех мотивов, которые отражались в орнаментальном рельефе на сосудах или деревянных плитках, также восходят, по крайней мере частично, к древнему искусству ближневосточного региона (тао-те с извивающимся туловом, мотив героя и зверя). Однако параллели здесь гораздо более отдаленные и трудно доказуемые, чем в случае с северным «звериным стилем». Пожалуй, единственное, что можно сказать по этому поводу более или менее определенно, это то, что искусство иньского Китая со всей его суммой приемов, стилей, мотивов и образов было продуктом сложного сплава по меньшей мере двух, а скорее — большего числа различных компонентов, причем на долю местного, луншаньского компонента выпало в этом синтезе не так уж много (форма сосудов и некоторых видов оружия и утвари). О существовании различных этнокультурных компонентов в Инь свидетельствуют и еще некоторые факты.

Ли Цзи обратил внимание на манеру изображения в круглой каменной скульптуре сидящих на корточках людей. Здесь четко выделяются две различные позы: сидящие на согнутых коленях (опираясь на пятки) и сидящие на полу с поджатыми к себе согнутыми в коленях ногами. Первая поза, по мнению Ли Цзи,— типично иньская, причем одежда изображенных в этой позе людей была покрыта характерными для Инь орнаментальными мотивами. Вторая поза была издревле распространена на востоке Китая среди луншаньских аборигенов (Ли Цзи упоминает в связи с этим о «восточных варварах И» более поздних китайских хроник), которых как раз и называли «варварами, сидящими на корточках». Фигурки последних, также известные из иньских находок, обычно были обильно покрыты татуировкой, что отличало аборигенные племена Восточного и Южного Китая и в более поздние времена [446, 34—35]. Этнокультурные различия здесь предстают достаточно рельефно.

Второй факт, наглядно свидетельствующий о том же, связан с практикой изображения в иньском искусстве человеческих лиц. Практика эта была достаточно реалистична, и, видимо, скульп-

торы не отступали в своих творениях от оригинала. Собранные воедино, 15—20 изображений иньцев в расовом отношении являют собой поразительно пеструю картину. Среди них можно обнаружить и бесспорных монголоидов, как континентальной, так и тихоокеанской ветви, и меланезоидов, и близких к ним типов с негро-австралоидной примесью и, что наиболее интересно в свете изучаемых нами проблем, явно выраженные европеоидные типы. Прямые, острые, даже чуть крючковатые носы, очень слабо выраженные скулы, глаза с явно немонголоидным разрезом, сжатый рот с тонкими губами — ни в Чжоу, ни в более поздние эпохи ничего похожего в китайской пластике, камне и бронзе не встретишь. К. Хэнце, который привел некоторые из этих изображений в своей книге [393], попытался сопоставить их с современными сибирскими народностями, отличия которых от китайцев или монголов в немалой степени связаны именно с добавлением в их расовый тип европеоидного компонента. В отдельных изображениях европеоидный расовый тип представлен явно и бесспорно, например голова с характерным длинным носом и узким лицом, выделанная в виде навершия [393, л. илл. XV, снизу], или фигурка человека с крупным носом с горбинкой и с общим обликом, напоминающим семитский [312, 280—С].

Фигурки (лица) такого расового типа среди иньских изображений человека довольно редки. Но они все же встречаются, что уже само по себе говорит о многом, хотя бы о пестроте расовых типов, с которыми иньцы (или протоиньцы) были в контакте. Преобладающий расовый тип иньцев, как об этом можно судить по опубликованным Ли Цзи данным (на основании анализа 135 черепов из могильника Хоуцзячжуан),— это монголоиды, но сильно брахицефализированные. За счет чего, где и когда произошла эта брахицефализация, какова роль в этом процессе иных, немонголоидных расовых типов? На эти вопросы еще нет ответа. Но небезынтересно заметить, что, говоря о тенденции к брахицефализации среди части населения Средней Азии, антропологи связывают ее с воздействием со стороны андроновцев (индоевропейцев), обитавших в районах Казахстана и Южной Сибири во II тысячелетии до н. э. [68, 386].

В распоряжении китайских археологов и антропологов имеются многие сотни и тысячи еще не изученных (либо изученных, но по каким-либо причинам остающихся неопубликованными) иньских черепов. Исследованные же и опубликованные скудные и разноречивые материалы о расовом типе иньцев лишь подтверждают те выводы, которые уже были сделаны в связи с анализом иньского искусства и которые совпадают с другими излагавшимися выше данными: этнокультурная общность Инь сформировалась на китайской почве в ходе сложного процесса синтеза ряда этнокультурных компонентов, как местных, так и пришлых.

ПИСЬМЕННОСТЬ И КАЛЕНДАРЬ ИНЬЦЕВ

Загадки древнекитайской иероглифической письменности привлекали внимание синологов уже с первых шагов этой науки. Как упоминалось, именно ссылками на близость и родство отдельных знаков в китайской письменности и в иероглифическом письме ряда ближневосточных народов древности подкреплялись гипотезы о происхождении китайской цивилизации из Египта или Месопотамии. Параллельно с иероглифами специалисты обращали внимание и на календарь, а также астрономо-астрологические представления древних китайцев в сравнении с халдеями, вавилонянами и т. п.

Так, Т. де Лакупри в итоге своих скрупулезных исследований пришел к выводу, что едва ли не все древнекитайские представления о календаре и строении небесной сферы до мелочей совпадают с аналогичными представлениями на Ближнем Востоке: преимущественное исчисление календаря по солнечному году с включением дополнительных месяцев, деление года не только на месяцы, но и на 24 полумесяца, деление дня на 12 частей явно аналогичны соответствующим делениям и исчислениям у знаменитых своим культом астрономии и астрологии халдеев. Астрологические приемы и гадания по звездам и созвездиям, так же как и использование в исчислении дней (а позже и лет) 12- и 60-ричных циклов, восходят к аналогичным явлениям в древней Вавилонии [431, 9—10]. О том, что вся система астрологических прогнозов в древнем Китае порой до мелочей напоминает древневавилонскую, писал также Бецольд, причем его выводы были уже в наши дни активно поддержаны виднейшим историком китайской культуры Д. Нидэмом [282; 468, 354]. Поразительное сходство астрономических и космологических представлений древних китайцев и вавилонян отмечали и другие авторы, в том числе Л. де Соссюр и Хасимото [501; 379].

Разумеется, эти данные во многом устарели. Раскопки сяотуньского городища и изучение многих тысяч иньских гадательных надписей, в которых циклические знаки, числа, месяцы и годы занимали видное место, многое изменили в традиционных представлениях о древнекитайском календаре. Так, согласно исследованиям Дун Цзо-биня, день в иньском Китае делился вначале на семь (период господства «консервативной» школы в иньской системе ритуалов), а потом — на 10 частей (ночь на части не делилась). Однако существование десятидневки-декады в качестве единицы исчисления им было подтверждено, так же как и практика членения года на 12 месяцев, использование дополнительных вставных месяцев (7 на 19 лет) и — едва ли не самое важное — использование 60-ричного цикла для исчисления дней [цит. по: 312, 228—232]. Дун Цзо-бин не ставил перед собой вопрос об истоках всей этой системы календарного исчисления. Но, по существу, его детальные исследования лишь подтвердили те

выводы об аналогиях и значительном сходстве этой системы с древневавилонской, к которым пришли специалисты до него. Пусть сходство и не стопроцентное, но оно все-таки есть. А что касается приоритета, то первенство Вавилонии в области календарного исчисления, астрономии и математики едва ли может быть оспорено [437; 469], причем это признается и авторитетными специалистами в КНР. Го Мо-жо, например, писал: «Здесь же можно сказать об этом кратко: двенадцать циклических знаков означают двенадцать знаков зодиака, представление о которых распространилось в древности из Вавилона» [69, 25].

Таким образом, никто, по существу, никогда не оспаривал утверждений об аналогиях и даже заимствованиях древними китайцами западноазиатских представлений о небесной сфере и календарном исчислении. Сходство здесь слишком очевидно, чтобы его можно было всерьез ставить под сомнение.

А как обстоит дело с иньской письменностью? Вообще все известные науке виды иероглифического письма имеют между собой немало общего. Не случайно специалисты, расшифровывающие какую-нибудь загадочную пиктографическую систему (например, письменность острова Пасхи, индейцев майя), считают своим долгом предварительно ознакомиться со всеми другими аналогичными системами. Однако этого еще слишком мало для того, чтобы говорить об аналогиях и генетическом родстве иероглифических систем. Во всяком случае, между китайскими и египетскими иероглифами нет почти ничего общего, если не считать немногих совпадений (знак горы или поля, знак записки, которые почти одинаковы [549, 41—42]). Несколько сложнее вопрос с аналогиями между китайскими и шумерскими иероглифами.

Одним из первых обратил внимание на сходство шумерских и китайских знаков лингвист Ч. Болл. В солидной монографии, посвященной этой проблеме, Болл постарался, используя доступные ему материалы, продемонстрировать это сходство и поставить вопрос о его причинах. В таблице, приложенной к его работе и ставящей целью наглядно показать близость, порой даже идентичность отдельных знаков со сходной графикой и значением, действительно немало интересного [279]. Неудивительно, что к изысканиям Болла синологи отнеслись иначе, чем к построениям Лакупри: как правило, при всей критической настроенности оппоненты признавали, что по крайней мере кое-что в его работе достаточно убедительно.

Развивая его идеи, синолог Уайт напомнил, что поразительно не только сходство многих идеограмм (особенно близких, практически идентичных, он нашел 21, в том числе знаки колодца, ножа), но и ряда сложных, составных иероглифов. Так, знак «гадание» в иньской и шумерской иероглифике составлен из одинаковых компонентов, причем компоненты (рот, собственно знак гадания и еще один углообразный элемент) имели, видимо, одно и то же значение. Уайт обратил также внимание на то, что три

очень близких по графике китайских знака (дерево, год и «еще нет» — речь идет об иньской графике) соответствуют таким же трем близким по графике знакам у шумеров, хотя причина такой связи между этими знаками неясна [549, 38—40].

Конечно, после серии блестящих открытий 30-х и 50-х годов, когда иньская цивилизация предстала перед специалистами во всем своем блеске, проблема сходства знаков отошла на третий план и была вытеснена обстоятельными исследованиями, посвященными различным сторонам самой иньской культуры. Более того, многое стало пересматриваться в пользу признания автохтонности и независимости иньской цивилизации, причем этот процесс активно продолжается и в наши дни. Интересно, например, что в недавно опубликованной статье Го Мо-жо, касаясь проблемы генезиса китайской письменности, пытается вывести ее из тех невнятных знаков, которые встречались (в виде черточек, крестиков, Т-образных элементов и т. п.) еще на баньпоской керамике [599]. К этому сопоставлению можно было бы отнестись с должным вниманием, если бы из материалов приведенной Го Мо-жо таблицы не явствовало, что между примитивными штрихами на керамике Баньпо и развитым иньским письмом, по существу, нет ничего общего, во всяком случае его гораздо меньше, чем между китайскими и египетскими иероглифами.

Оба вида знаков, штрихи из Баньпо и аньянские иероглифы, отличаются друг от друга не только развитостью, но и вообще самим принципом: в одном случае это система письма, а в другом — знаки типа тамг. Но и это еще не все. В раннеиньских слоях в Чжэнчжоу на керамике можно встретить почти такие же знаки-тамги, что и в Баньпо [782, л. илл. XXXI]. По существу, это означает, что за тысячелетия, отделяющие Баньпо от Чжэнчжоу, никакого развития письма в неолитическом Китае не было. Не было системы письма еще и на этапе Чжэнчжоу — она появляется, причем в высокоразвитой форме, с аньянского этапа. Другими словами, за 100—200 лет, отделяющие Чжэнчжоу от Аньяна,— огромный скачок [4]. Ясно, что на такой скачок нужны долгие века активной эволюции, следов которой в Китае не видно. И все-таки отношение к проблеме генезиса китайского письма среди специалистов очень осторожное. Если и ставится вопрос о возможных его некитайских истоках, то обычно с массой оговорок. В частности, хотя все специалисты по-прежнему единодушны в том, что столь совершенная система письма не могла возникнуть сразу и из ничего, что ей должны были предшествовать долгие века развития, теперь практически уже никто не отваживается ставить вопрос, например, о шумерско-иньских параллелях. Здесь, видимо, имело значение то, что патриарх китайского

[4] Датировка доаньянских слоев и этапов пока что весьма условна. Однако даже наиболее удревняющая датировка исходит из того, что самый ранний этап, Эрлитоу,— это XVIII в. до н. э. [318, 26]. При этом на долю Чжэнчжоу приходятся XVII—XV вв. до н. э.

языкознания Б. Карлгрен довольно решительно высказался в пользу идеи об автохтонности китайской системы письменности и китайского языка [411], а также то, что между древнешумерской и иньской системами письма лежали не только тысячи километров, но и тысячи лет.

«Шумерская» теория, таким образом, практически сошла на нет, как и в свое время «египетская», хотя существуют некоторые соображения, согласно которым связующим звеном между шумерской и иньской системами письменности может считаться протоэламское письмо, еще очень слабо изученное. Ныне гораздо большее внимание приковывает к себе «индогерманская» гипотеза, которую первым выдвинул и обстоятельно развил в своих трудах Г. Шлегель [504]. Идеи Шлегеля о параллелях между древнекитайским и рядом арийских индогерманских языков древности, которые строились на реконструкции звучания отдельных слов (о письменности уже фактически речь не шла), выглядели вначале не очень убедительно. И хотя Шлегеля в отдельных пунктах поддержали некоторые лингвисты [531], всерьез к этой гипотезе долго никто не относился.

Положение кардинальным образом изменилось после опубликования Б. Карлгреном его знаменитого труда «Grammata Serica» (первое издание в 1940 г., второе — в 1957 г. [415; 420]). Эта работа оказалась важнейшим событием в синологии, ибо она ставила проблемы реконструкции древнекитайского языка на серьезную научную основу. В ней впервые было дано научно обоснованное звучание китайских слов в их древнекитайском и среднекитайском вариантах. Показательно, что, хотя отдельные слова вызывали критику оппонентов Карлгрена, особенно в Китае, принципа его реконструкции никто не смог поколебать. Опубликование работы Карлгрена дало новую и надежную основу для поисков древних генетических связей древнекитайского языка.

Начало было положено опубликованием в 1966 г. статьи известного синолога Э. Паллиблэнка под интригующим заголовком «Китайцы и индоевропейцы» [481]. Написанная в осторожном тоне, статья вместе с тем совершенно определенно поставила вопрос не только о параллелях и аналогиях в древнекитайском и индоевропейском языках, но и о том, что индоевропейские племена (речь шла о тохарах) явно достигали Восточного Туркестана. Как писал автор статьи, имея в виду известные из истории принципы агрессивного поведения таких племен, «мало что могло удержать их от того, чтобы вторгнуться в Китай и осесть там, принеся с собой технические достижения Ближнего Востока, которые могли заложить основы цивилизации с письменностью, металлургией и т. п.» [481, 30]. Разумеется, Паллиблэнк подчеркивает, что он имеет в виду лишь возможность такого вторжения и что, учитывая данные атропологического анализа иньских черепов, он полагает, что можно говорить только

о вторжении небольшого числа воинов с колесницами, которые, в дальнейшем смешавшись с местным населением, вскоре приобрели монголоидный облик.

Тохары, чье присутствие на западных окраинах современной территории Китая (провинция Синьцзян) зафиксировано археологией, действительно были одной из ветвей индоевропейских племен. Предполагают, что они появились из европейских районов России примерно в II тысячелетии до н. э. [435, 80]. Собственно лингвистические параллели, привлеченные в поддержку предположения о возможной роли индоевропейцев в процессе генезиса иньской цивилизации, в рамках статьи Паллиблэнка были ограничены анализом прежде всего самого языка тохаров (потомков этого народа, по мнению специалистов, китайцы ханьской эпохи именовали юэчжи). В анализ китайского языка с этих позиций Паллиблэнк не вдавался. Однако это не означает, что в самом китайском языке нет следов, позволяющих ставить вопрос о параллелях его с индоевропейскими. Напротив, вскоре об этих параллелях начали все активнее говорить лингвисты.

В 1967 г. Ян Уленбрук опубликовал статью о совпадениях смысла и звучания 57 древнекитайских и древнегерманских слов [533]. Затем он опубликовал еще две заметки, посвященные подробному этимологическому анализу некоторых слов: «ди» (младший брат), «сюэ» (кровь). Смысл этих заметок сводился все к тому же: в древности звучание и значение обоих слов были сходными, близкими в Китае и у индоевропейцев [534; 535]. Эти положения были подтверждены другим синологом-лингвистом, Т. Улвингом. Он писал: «Этот материал (речь идет о его статье.— *Л. В.*) — побочный результат моей работы над сведением данных Grammata Serica Recensa в алфавитный древнекитайско-английский и англо-древнекитайский словари, которую я предпринял несколько лет назад в связи с изучением коренных слов в китайском языке. Первоначально, собирая материалы, я не предполагал обнаружить какие-либо генетические связи между китайским и индоевропейскими языками. Я и сейчас еще очень сомневаюсь в этом родстве. Но какое бы объяснение многочисленным и бесспорным совпадениям между китайскими и индоевропейскими словами ни было дано, они определенно заслуживают внимания. Вот почему, ободренный появлением работы Уленбрука, я решил предложить кое-что из моих материалов. Так как половина сопоставлений Уленбрука (речь идет о 57 словах из первой статьи.— *Л. В.*) была и у меня, я их здесь не повторяю» [536, 945]. Далее в статье идет сопоставление еще 150—200 слов.

Итак, количество совпадений стало уже настолько значительным, что едва ли может быть отнесено за счет случайности. Осторожность формулировок и неуверенность общих выводов в статье Улвинга вполне понятна: ставя вопрос только о языке, он имеет слишком мало оснований для смелых гипотез. Более

того, эта осторожность вполне оправдана, что хорошо видно на примере работ Уленбрука: в отличие от Улвинга он гораздо более решителен в выводах и, смело ссылаясь на мифического Фуси, легендарную династию Ся (которую он очень уверенно сопоставляет с эпохой Яншао), делает весьма далеко идущие выводы о том, что индоевропейские корни проникли в Китай скорей всего еще с расписной керамикой [534, 81—82; 535, 600]. Эти выводы Уленбрука несерьезны, а добытые столь сложным путем данные тщательного лингвистического анализа заслуживают гораздо более основательного исторического осмысления.

Материалы Уленбрука и Улвинга убедительно подкрепляют те осторожные выводы, которые были сделаны в связи с проблемой индоевропейцев-тохаров в древнем Китае Паллиблэнком. Эти выводы палеолингвистики особенно звучат в сочетании с теми данными о происхождении иньских боевых колесниц, столь свойственного индоевропейским племенам культа лошади, развитой металлургии бронзы, «звериного стиля» и других элементов иньской культуры, о которых уже упоминалось. К тому же они дополняются бесспорными аналогиями между древнекитайской и ближневосточной системами календарно-астрологических вычислений. Наконец, интересен и еще один момент, указывающий на определенные параллели между иньскими представлениями и соответствующими явлениями у некоторых индоевропейских племен. Речь идет о системе наследования власти.

Известно, что в иньском Китае эта система выглядела весьма запутанно из-за того, что преобладающей формой наследования был переход власти от старшего брата к младшему [88]. Есть серьезные основания считать, что столь специфическая форма наследования — вне зависимости от того, как она произошла и какие родственные связи и традиции сыграли при этом решающую роль,— была специфичной именно для индоевропейцев, во всяком случае хотя бы для части их. Так, специальное изучение клинописных хеттских источников XVIII—XVII вв. до н. э. показало, что у хеттов наследование также преимущественно осуществлялось от брата к брату и от дяди к племяннику и что в царском роде хеттов (как это было и в Инь) все братья одного поколения называли друг друга братьми, а представителей восходящего и нисходящего поколений соответственно отцами и сыновьями [87]. Если вспомнить иньские надписи, в которых от имени правящего вана приносились жертвы «отцу» такому-то, «отцу» такому-то и еще «отцу» такому-то одновременно, то сходство хеттской и иньской систем родства и наследования будет вполне убедительным.

Хетты были одним из первых индоевропейских народов, осевших в Анатолии вскоре после того, как индоевропейцы на рубеже III—II тысячелетий до н. э. начали расселяться из своей гипотетической прародины (причерноморские и прикаспийские степи?). Хеттская клинопись является современницей иньцев [96,

8—10], причем по происхождению она, видимо, восходит к шумерской иероглифической системе [397, 757]. Эта система и у хеттов, и в самой Вавилонии была уже замещена клинописью. У иньцев же была иероглифическая система, причем если и нет пока оснований для постулирования тесной связи ее с шумерской, то при сопоставлении с протоэламской эта связь, возможно, окажется более заметной.

Конечно, нет никакой необходимости чересчур сближать иньцев ни с шумерами, ни с вавилонянами, ни с хеттами, ни даже с тохарами. Но важно иметь в виду, что многие из тех характеристик, в том числе весьма специфических, которые приложимы к различным племенам и культурам ближневосточной и центральноазиатской зон, были не чужды иньцам. А это еще и еще раз заставляет учитывать важную роль внешних контактов, прямых миграций и культурной диффузии при решении проблемы генезиса иньского очага китайской цивилизации.

ЭТАПЫ И ВАРИАНТЫ КУЛЬТУРЫ ИНЬ

Важность проблемы этапов очевидна: ведь именно открытие новых вариантов культуры Инь, в частности Чжэнчжоу и Эрлитоу, которые ныне единодушно считаются более ранними этапами ее (по сравнению с аньянским), наиболее веско поставило под сомнение все построения прошлых лет о несамостоятельности бронзового века в Китае. И если бы археология была в состоянии убедительно показать, что ранние этапы иньской культуры были закономерными наследниками луншаньского неолита, что более развитые ее этапы характеризовались постепенным развитием новых элементов цивилизации и что именно в ходе этого процесса сложились основы бронзовой культуры Шан—Инь, то все приводившиеся выше свидетельства о контактах с иными племенами и культурами, о параллелях и аналогиях практически имели бы мало значения. Однако в том-то и заключена суть вопроса, что археология не в состоянии показать постепенного процесса закономерной эволюции. Открытые же археологами новые доаньянские этапы иньской культуры при внимательном анализе убедительно разрушают иллюзию о наследственно-преемственных линиях спонтанного наращивания элементов развитой культуры бронзового века.

Раскопки в Чжэнчжоу, начавшиеся в 1951 г., дали ценные результаты: было обнаружено несколько мелких стоянок и одно довольно крупное городище, обнесенное мощной стеной. Среди стоянок оказались весьма различные по культурному потенциалу комплексы, а отдельные находки двухслойных стоянок в Наньгуаньвай, Гэдаван, Тунчжай [766, 6—7; 769; 770; 305, 202] дали возможность создать стратиграфическую колонку и разделить серию местонахождений в районе Чжэнчжоу на последовательные этапы.

К низшему, более раннему и явно переходному по типу варианту были отнесены стоянки типа Лодамяо, которые во многом еще напоминали Луншань. В стоянках этого типа, наиболее древней из которых считается Шанцзе [585, 7; 305, 202—203], еще крайне мало специфически иньских культурных признаков, в частности вовсе нет бронзы. Каменный и костяной инвентарь и значительная часть керамического явно тяготеют к луншаньским прототипам [787, 49—51; 797, 48—49, л. илл. I—VIII; 573, 44; 585, 5, л. илл. I—II]. Это и неудивительно: связи стоянок типа Лодамяо с луншаньским неолитом вне сомнения, а о сходстве луншаньской и иньской керамики говорилось в специальных статьях [698]. Однако важней отметить другое: в стоянках этого типа уже достаточно определенно представлена и типично иньская керамика, в том числе круглодонная. Орнамент по большей части шнуровой, но изредка встречается резной и аппликированный, что характерно именно для иньской керамики и можно обнаружить в Шанцзе [585, л. илл. II, № 8; см. также 312, 138].

К следующему варианту относят обычно слои типа Эрлиган. Этот тип специалисты тоже делят на два этапа, ранний и поздний, однако это членение для нашего анализа несущественно, ибо оба этапа весьма близки друг к другу и, что гораздо важнее, равно отличны от Лодамяо. Собственно, именно тип Эрлиган и олицетворяет собой те слои из раскопок чжэнчжоуских стоянок, которые действительно можно считать раннеиньскими. В слоях Эрлиган представлена развитая керамическая индустрия иньского типа, с характерными, даже специфично иньскими формами и орнаментом, бронзовые изделия и т. п. Словом, между Эрлиган и Лодамяо — большие культурные различия, так что непосредственно из типа Лодамяо тип Эрлиган явно не выводится. Впрочем, ныне этого никто и не пытается делать: решение проблемы генезиса типа Эрлиган в настоящее время все более определенно связывается со сравнительно недавними раскопками в районе Эрлитоу, расположенном к западу от Чжэнчжоу в той же провинции Хэнань, тоже чуть южнее Хуанхэ.

Именно здесь, прежде всего в уезде Яньши, начиная с 1958 г. стали производиться раскопки иньских стоянок, в том числе Гаояй [623], Хуэйцзуй [653] и особенно Эрлитоу [686, 598—599; 674; 773; 721]. К 1963 г. было обследовано и частично раскопано восемь стоянок этого типа, причем китайские археологи пришли к выводу, что тип Эрлитоу сложился на базе хэнаньского Луншаня, возможно также и под влиянием шаньдунского Луншаня [721, 223], и явно предшествовал типу Эрлиган. Более того, они высказали предположение, что Эрлитоу — это как раз и есть то связующее звено, которое должно соединить реальную историческую эпоху Инь с полулегендарной эпохой Ся [686; 773, 653].

Действительно, культурный потенциал Эрлитоу явно находится где-то посредине между типом Лодамяо и типом Эрлиган. В

стоянках Эрлитоу найдены в отличие от Лодамяо изделия из бронзы. Однако это не сосуды, как в Эрлиган, а всего лишь небольшие мелкие предметы (обломок ножа из Гаояй [623, 547, рис. 4, № 18]; обломок ножа, шило, наконечник стрелы и колокольчик из Эрлитоу [674, 84, рис. 3, № 25; 721, л. илл. V, №№ 6, 7, 9, 14, 20]). Кроме того, не обнаружено следов производства бронзы, так что не исключено, что найденные изделия были предметом импорта (хотя это само по себе уже кое-что значит: если был путь для импорта, то мог быть путь и для притока информации, для культурных заимствований).

Важно заметить, что существенным элементом чисто иньских культурных традиций, обнаруженных в Эрлитоу, были строительные методы, в частности хан-ту. С помощью этого метода был возведен большой Т-образный фундамент с типично иньскими колоннами вдоль части периметра этого фундамента. Сам по себе фундамент слишком велик (до 100 м в длину и ширину), чтобы считать его основанием единого строения, хотя именно такое впечатление складывается из его описания [см. 721, 215—216]. Скорей всего, это было нечто вроде общей центральной площади, на которой было воздвигнуто несколько строений. Однако это в данном случае не столь важно — существен факт знакомства с типично иньским методом строительства, широко использовавшимся в дальнейшем и в Чжэнчжоу, и в Аньяне.

Еще одним характерным именно для Инь культурным новшеством, зафиксированным в Эрлитоу, была керамика. Ее формы, в том числе тетраподы дин и пань, горшок-паровик цзэн, триподы цзя с рукоятями и т. п., новы и необычны для Луншань, хотя в принципе могут быть возведены к луншаньским прототипам. Вообще, вся керамика Эрлитоу с ее разнообразием форм и типов (там представлена серая, черная и белая, сосуды грубые и тонкие, примитивные и вычурные) — результат сложного синтеза не только керамических традиций хэнаньского и шаньдунского Луншаня [721, 223], но и, видимо, каких-то новых, чуждых Луншань культурных явлений. Это особенно заметно на примере орнамента. Резной и аппликационный орнамент на керамике был зафиксирован в типе Лодамяо, в Шанцзе; в позднелодамяоской стоянке Цилипу он в ряде случаев принял характер штампованного: только наносившийся на сырое тесто штамп мог оставить такого рода отпечатки, которые приведены в публикациях в виде эстампов [797, 42, рис. 16]. В Эрлитоу все эти виды орнамента получили дальнейшее развитие. Так, сосуды, покрытые густой сетью параллельных или чуть расходящихся аппликационных налепов в виде шнуров или толстых лент с насечками, равно встречаются и в лодамяоской стоянке Цилипу, и в Дунганьгоу [797, л. илл. VII, № 1; 573, л. илл. XXVII], и в Эрлитоу [721, л. илл. III, № 1]. Однако важнее всего было развитие штампа. Если в Цилипу этот прием делал только первые шаги, то в Эрлитоу резной штамп, причем весьма искусный, с

затейливой резьбой и высоким художественным мастерством, фактически оказался главным способом украшения наиболее ценных сосудов.

Более того. Внимания заслуживает не только штамп сам по себе как новый, типично иньский метод орнаментации сосудов. Гораздо существеннее художественная, идейная, символическая сторона изображений, создававшихся методом штампованного орнамента. Уже в Цилипу обращают на себя внимание узоры и мотивы штампов: наряду с более или менее элементарной «елочкой», зигзагами, ромбами, завитушками геометрического орнамента можно было встретить целые композиции, в том числе такие, которые являли собой исходную форму столь характерной для иньского искусства маски тао-те [797, 42, рис. 16, № 4]. Именно такого рода орнаментальные композиции стали играть существенную роль в художественном оформлении некоторых сосудов в Эрлитоу. На отдельных керамических сосудах начали появляться изображения драконов и монстров, а по крайней мере на двух-трех из опубликованных — символы типа маски тао-те и изображения антропоморфных существ [721, 222].

Особенно ярко видно это на сосуде с орнаментом в виде маски тао-те — вся композиция свидетельствует о том, что сделан какой-то новый качественный переход от элементарного орнаментального штампа к комплексному орнаментальному поясу на сосуде. Этот орнаментальный пояс достаточно совершенен по характеру и принципу исполнения. И если предположить и здесь нечто вроде штампа, с помощью которого должен был наноситься весь комплекс орнамента, то такой штамп окажется близнецом-двойником тех керамических мульдов, которые в Чжэнчжоу—Эрлиган служили для отливки бронзовых сосудов. И по типу и по характеру орнаментации керамический сосуд из Эрлитоу, о котором идет речь,— двойник бронзовых сосудов из Эрлиган [721, л. илл. III, № 10].

Казалось бы, вопрос совершенно ясен. Авторы публикаций, посвященных Эрлитоу, соединяют все раскопанные к 1965 г. стоянки типа Эрлитоу (их оказалось уже 21 в Яньши и соседних уездах) с местонахождениями типа Лодамяо в единый комплекс Лодамяо—Эрлитоу, помещаемый между Луншань и Чжэнчжоу—Эрлиган [721, 223]. И действительно, между Эрлитоу и Эрлиган фиксируются вполне заметные наследственно-преемственные связи. Можно сказать еще более определенно: типы и формы керамики, орнаментальные штампы и пояса с изображениями, в том числе и маски тао-те, в Эрлиган те же, что и в Эрлитоу. В ряде случаев это настолько очевидно, что сходство бросается в глаза [782, л. илл. I—XIII]. Трудно уйти от впечатления, что Эрлитоу и Эрлиган — близнецы. И это впечатление было бы неопровержимым, если бы не бронзовые сосуды.

В самом деле, керамика, каменный и костяной инвентарь одинаковы в Эрлитоу и Эрлиган. Метод хан-ту, известный в Эрли-

тоу, использовался и в Эрлиган, где с его помощью были сооружены не только дома, но и городская стена. Конечно, сооружение стены значит немало: стена — это символ урбанизации, элемент городской цивилизации. Однако в принципе важна не столько чжэнчжоуская стена сама по себе, сколько то, что она, как и фундамент в Эрлитоу, сооружалась все тем же иньским методом хан-ту. Таким образом, если оставить в стороне масштабы (Эрлитоу — сравнительно небольшая стоянка, Эрлиган — крупное, обнесенное стеной городище в 4 кв. км, с рядом строений, мастерских и т. п.), вся разница в облике и культурном потенциале между этими типами сведется к бронзе, бронзовому инвентарю и сосудам.

Если в Эрлитоу лишь в немногих стоянках найдены следы скудного бронзового инвентаря и вовсе не обнаружено следов бронзолитейного производства, то в Эрлиган найдена великолепная бронзолитейная мастерская с огромным количеством мульдов для литья сосудов и иных изделий, раскопано немало готовых бронзовых сосудов, пусть несколько уступающих по качеству, великолепию отделки и отточенности стиля аньянским, но в принципе точно таких же. Те же типы и формы, тот же принцип орнаментации, чаще всего в виде орнаментальных поясов с семантически единой композицией, в центре которой стоит маска тао-те. Чаще всего сосуд опоясан одним более или менее широким орнаментальным поясом, реже двумя, даже тремя [771, л. илл. III]. Кроме сосудов, изделий из бронзы в Эрлиган обнаружено сравнительно немного, причем они близки к эрлитоуским. Особенно показательно сходство черешковых двуперых наконечников: экземпляр из Эрлитоу не отличишь от эрлиганского [721, л. илл. V, № 9; 782, л. илл. XVII, № 7, 36—37]. Правда, в эрлиганском бронзовом инвентаре есть несколько типично иньских чеканов гэ, чего не найдено в Эрлитоу [771, л. илл. V, № 9], но этим, пожалуй, несходство в бронзовом инвентаре — кроме сосудов — исчерпывается. Впрочем, здесь существенно сделать одно добавление.

Хотя среди эрлиганских бронзовых изделий не было обнаружено бронзовых топоров, несколько таких изделий нашли на других, соседних с Эрлиган стоянках Чжэнчжоу. Важно заметить, что полостной топор того типа, который практически ничем не отличается (кроме отсутствия на нем орнамента) от обычных андроновских (сейминско-турбинского типа, о которых, в частности, писал М. Лер), не только найден в готовом виде [771, 59, рис. III, № 5], но и косвенно представлен в виде формы для его отливки [771, л. илл. VII, № 9]. Это указывает на направление возможных генетических связей эрлиганского бронзолитейного производства.

Словом, если исключить сосуды и боевое оружие типа топоров и чеканов, бронзолитейные комплексы Эрлитоу и Эрлиган близки. Стало быть, либо искусство отливки этих изделий было из-

вестно эрлитоусцам, но по каким-то причинам не нашло своего проявления и не зафиксировано археологами (это в виде робкого предположения высказал, в частности, Чжан Гуан-чжи, ссылаясь на то, что часть керамических эрлитоуских сосудов оставляет впечатление, будто они копировали сосуды из бронзы [305, 232]), либо оно появилось только в Эрлиган, причем сразу в столь развитом виде, что на овладение мастерством изготовления бронзовых сосудов долгого времени не потребовалось. Разумеется, и в том и в другом случае проблема генезиса всей гигантской информации, суммы навыков и мастерства, выработанной долгими веками и необходимой для отливки сосудов из бронзы, остается неразрешимой, если отказаться от постановки вопроса о внешних влияниях, диффузии культур.

Итак, если условиться, как это делают китайские археологи, в частности Фан Ю-шэн, что Лодамяо и Эрлитоу — единый культурный комплекс, и обратить внимание на сходство Эрлитоу с Эрлиганом, то окажется, что мы имеем дело, по сути, с единым комплексом. Вначале (Лодамяо — Шанцзе) он выражен слабо, представлен лишь некоторыми специфическими типами керамики, орнаментальным штампом, создававшим резной и аппликативный орнамент. Чуть позже, в позднелодамяоской стоянке Цилипу [о ее сравнительно позднем облике см. 797, 47—49], орнаментальный штамп получил вид сложной композиции, подчас близкой к маске тао-те. Еще позже, в Эрлитоу, маска тао-те господствует в орнаментальных композициях, а соответствующие ей штампы, по сути, являются почти готовыми секциями-мульдами, которые в Эрлиган использовались для отливки сосудов. В Эрлитоу появляются первые бронзовые изделия, которые остаются типичными и для очень близкого к нему по времени Эрлиган, так же как и объединяющий их метод хан-ту и многие виды и формы иньской керамики. Только в Эрлиган зафиксированы чеканы, полостные топоры андроновского типа и бронзовые сосуды, по форме и орнаменту практически мало чем отличавшиеся от керамических сосудов Эрлитоу, со сложными орнаментальными композициями, с маской тао-те. Словом, если оставить в стороне вопрос об истоках бронзы, вся линия Шанцзе — Лодамяо — Цилипу — Эрлитоу — Эрлиган (можно начать ее и прямо от хэнаньского Луншань) являет собой единый эволюционирующий культурный комплекс, сформировавшийся на базе неолита Луншань, но с примесью и некоторых иных культурных элементов, о происхождении которых (штамп в орнаменте, новые типы сосудов, мотивы орнамента, метод хан-ту) пойдет речь ниже.

Этот комплекс с полным основанием можно назвать раннеиньским (хотя предлагаемые китайскими археологами отождествления Эрлитоу с легендарной столицей иньцев Бо, а Эрлиган — с Ао едва ли приемлемы и уж, во всяком случае, недоказуемы при отсутствии следов письма). Но это само по себе — при

всем его значении для решения вопроса о возникновении основ иньской цивилизации — еще далеко не решает тех важных проблем, которые поставлены в данной главе. И дело не только и не столько в том, что остается неясной проблема генезиса эрлитоуско-эрлиганской бронзы. Гораздо важней в данном случае другое: комплекс Лодамяо — Эрлитоу — Эрлиган настолько существенно отличен от комплекса аньянского, что не приходится и говорить о том, что Аньян — наследник только Эрлиган. Между тем и другим слишком большая разница, чтобы принять подобное предположение, которое на первый взгляд кажется естественным и логичным.

Прежде всего обратим внимание на то, что сяотунь-аньянский комплекс — это совершенно развитая цивилизация. В ней представлена богатая и явно имеющая свою историю пиктографическая (иероглифическая) письменность в виде надписей на гадательных костях и панцирях черепах. Совершенно явственно выражено значительное социальное расслоение: богатые дворцы и храмы рядом со скромными жилищами, царские мавзолеи с массовыми сопогребениями и обилием великолепных вещей. Развитая урбанизация, на службу которой были призваны не только метод хан-ту, но и многие другие архитектурные методы и приемы. Специфические ритуалы и культы, включая обычаи массового принесения в жертву людей, ритуальных жертвоприношений (в том числе и человеческих) при сооружении общественных зданий, храмов, гробниц и т. п. Очень развитая бронзолитейная индустрия с производством огромного количества разнообразных сосудов (в том числе в виде фигур животного или птицы), многих типов оружия, утвари, украшений, нередко также с надписями. Боевые колесницы с лошадьми и упряжью. Культ лошади и захоронения лошадей с грумами, а порой и ритуальные погребения боевых колесниц с колесничими. «Звериный стиль» и оружие, предметы утвари с рукоятями или иными частями в виде животных или их голов, исполненных в «зверином стиле». Круглая каменная скульптура и тонкая затейливая резьба по камню и кости. Новые принципы и мотивы в искусстве (сплошное орнаментальное покрытие бронзовых сосудов, рельефные фигурки и изображения в камне и бронзе, изображения людей и человеческих голов и лиц, мотивы «герой и зверь», фаллические символы и т. п.), различные стили (реалистический до натурализма и условный до символики).

Этот далеко не полный перечень достаточно красноречив. Если сравнить с аньянским комплексом раннеиньский, то окажется, что в нем присутствует едва ли половина тех культурных достижений, которые не только были в аньянском, но составляют самую суть, квинтэссенцию всей иньской цивилизации. В самом деле, в раннеиньском комплексе есть бронза, в том числе бронзовые сосуды и некоторые типы оружия и орудий. Богато представлен орнамент типично иньского типа с маской тао-те, но

он все же значительно уступает аньянскому как по количеству (по степени орнаментального покрытия), так и по качеству: уровню мастерства, вкусу, изяществу и т. п. Есть городские стены и дома, но нет больших сооружений типа дворцов или храмов. Совсем нет царских гробниц-мавзолеев. Слабо развита практика ритуального сопогребения: при строительстве чжэнчжоуской стены приносились в жертву собаки, но не люди. Не похоже на то, что был известен принцип насильственного либо полуобязательного-полудобровольного сопогребения людей с умершим и тем более принцип массового жертвоприношения пленных иноплеменников. Нет следов боевых колесниц с лошадьми и упряжью, причем нет даже намека на их существование — никаких элементов утвари или упряжи (скажем, модели ярма), которые могли бы свидетельствовать о том, что это просто археологический пробел и что на самом деле чжэнчжоусцы все-таки могли быть знакомы с запряженной лошадьми колесницей. Нет оружия или изделий со следами «звериного стиля», столь характерного для значительной части бронзового инвентаря аньянцев.

Что касается искусства, то следует отметить, что не найдено никаких следов резьбы по камню или кости аньянского типа, а резные изделия чжэнчжоуского типа по стилю и качеству гораздо более близки к поделкам эпохи неолита. Лучшее в этом роде — орнаментальные композиции-пояса на бронзовых сосудах и штамп на керамике — несравнимо по качеству и художественному уровню с аньянским искусством резьбы по керамике и бронзой, хотя и в том же духе. Количество мотивов крайне ограничено. Преобладает маска тао-те, но нет ничего похожего на мотив «герой и зверь». Нет круглой каменной скульптуры или изображений человека или животного в рельефе на камне или в бронзе, а более или менее искусные поделки из глины (фигурки баранов, рыб, черепах и т. п.) по уровню художественного совершенства опять-таки намного ближе к неолитическим образцам, нежели к аньянским.

Одним словом, раннеиньский комплекс не может считаться цивилизацией, хотя в нем представлены определенные символы урбанизации (в частности, городская стена). Не помогают в этом смысле и те немногие знаки-штрихи, которые встречаются на раннеиньской керамике (в частности, в Чжэнчжоу). Они, как упоминалось, близки по типу к аналогичным знакам на неолитической керамике, но не могут идти ни в какое сравнение с письмом в подлинном смысле этого слова, т. е. с письменностью аньянского типа. Нет существенных следов и социального расслоения, и связанных с этим других важных признаков хоть сколько-нибудь развитой цивилизации. Короче говоря, о цивилизации в полном смысле этого слова, со всеми присущими этому социально-культурному феномену характерными чертами и признаками, можно говорить лишь применительно к аньянскому позднеиньскому комплексу. Естественно, что при этом проблемой

номер один снова оказывается вопрос о генезисе этого развитого комплекса, о процессе превращения раннеиньского комплекса в родственный ему, но неизмеримо более богатый позднеиньский, о происхождении тех культурных черт и признаков, следов которых в раннеиньском комплексе нет.

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОЦЕССА ГЕНЕЗИСА ИНЬСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Теперь, после того как было достаточно определенно установлено, что процесс генезиса иньской цивилизации хронологически следует разделить по меньшей мере на два этапа — сложение раннеиньского комплекса и возникновение аньянской культуры,— задача несколько упрощается, как бы делится на две. Разумеется, каждая из них, в свою очередь, остается сложной проблемой, тесно связанной с проблематикой другой из них. И все-таки решать их поочередно, до некоторой степени независимо друг от друга, несколько легче. Итак, как, на какой основе, из каких важнейших этнокультурных компонентов мог сложиться в западной Хэнани раннеиньский комплекс Лодамяо — Эрлитоу—Эрлиган?

Первый и основной по сумме этнокультурных признаков источник хорошо известен — это луншаньский неолит, прежде всего в своей хэнаньской, а также в шаньдунской и шэньсийской модификациях. Отсюда — основные типы каменного, керамического, костяного и прочего инвентаря, земледельческие навыки, скотоводство и скапулимантия (также и пластромантия), по крайней мере часть строительных навыков и дренажных приемов, многие обычаи погребального и ритуального плана, определенный стиль в искусстве (глиняные фигурки животных, прежде всего барана, рыбы) и в орнаментации сосудов (шнуровой орнамент). Видимо, к этому же источнику в конечном счете следует отнести и практику изготовления керамики черного и белого цвета, особенно тонкостенной и лощеной черной. К луншаньской и даже яншаоской керамике восходит подавляющее большинство типов и форм иньских глиняных сосудов, в том числе триподы типа ли, гуй и дин, сосуды на поддонах доу, кувшины гуань и т. д. В ряде случаев новые сосуды тоже явно восходят к луншаньским или луншаноидным прототипам, развивая существовавшие ранее принципы. К такого типа сосудам можно отнести паровик цзэн, ибо идея варки пищи на пару была известна по крайней мере с Цюйцзялин [573, 29, рис. сверху], а также сосуд с рукоятью типа цзя, представляющий собой модификацию луншаньских триподов, нечто среднее между ли и гуй.

Можно ли, однако, свести к луншаньским и луншаноидным прототипам всю сумму форм и типов иньской керамики? Вполне очевидно, что нет. Характерен в этом смысле типично иньский тетрапод дин, квадратный в плане, на четырех ножках. В неоли-

тических стоянках Китая ничего подобного не встречалось, а упоминавшаяся выше гипотеза Ли Цзи, согласно которой прямоугольные иньские сосуды произошли от деревянных шкатулок, в принципе может быть принята, но лишь с той оговоркой, что о шкатулках такого типа в китайском неолите говорить еще нет оснований. Стало быть, гораздо вероятнее предположить, что шкатулки прямоугольной формы, а с ними и искусство резьбы по дереву могли принадлежать какому-то иному, отличному от луншаньских и луншаноидных этнокультурному компоненту, участие которого в генезисе раннеиньского комплекса и позволило этому комплексу столь быстро (не следует забывать, что между полным господством луншаньских и луншаноидных культур и появлением позднеиньской аньянской цивилизации едва ли лежало более трех-четырех веков, которые и приходятся на долю эволюционировавшего раннеиньского комплекса) приобрести признаки, характерные для бронзовой культуры Инь. Если принять такое предположение, то легко объяснить не только появление тетраподов дин, но и, что гораздо существенней, иных важных элементов иньской культуры. Речь идет в первую очередь о типично иньских принципах штампованного, резного и аппликативного орнамента, о новых орнаментальных мотивах (таотe) и, наконец, о бронзе и методе хан-ту.

Обратив внимание на эти элементы и связав их предположительно с существованием неизвестного нам этнокультурного компонента, взаимодействие с которым могло привести к возникновению принципиально новой культуры бронзового века, мы обязаны теперь найти, хотя бы предположительно, ту культуру (скорей всего, культуру эпохи бронзы), влияние или взаимодействие которой с земледельцами луншаньского неолита должно было бы дать эффект, о котором идет речь. Иными словами, имеется в виду культура, носители которой уже были бы знакомы с бронзовой культурой (в частности, с изготовлением полостных топоров), с высокоразвитым плотницким мастерством (обработка дерева, резьба по дереву, изготовление досок), с принципом орнаментации сосудов при посредстве штампа, с методом резного и аппликативного орнамента (столь непохожим на принятые в неолитическом Китае . методы орнаментации — роспись, шнуровой орнамент, лощение) и даже с кремацией как способом погребения, не встречавшимся в неолитическом Китае, но известном в раннеиньском [311, 65—66]. Существовала ли культура такого типа где-либо поблизости от бассейна Хуанхэ в первой трети II тысячелетия до н. э.?

Именно такая культура бронзового века и существовала в это время на довольно широкой территории степной полосы Казахстана, Восточной Европы, Западной и Южной Сибири. Речь идет об андроновской культуре бронзового века, той самой, на которую возлагал в этом смысле столько надежд М. Лер в своей монографии, опубликованной еще до того, как раннеиньский до-

аньянский комплекс был открыт: «Если какая-либо культура на Западе и могла дать импульс, способствовавший развитию производства металла в Северном Китае, то это была только андроновская культура» [450, 86]. Именно андроновская культура содержала в себе те элементы, которые в том или ином виде фиксируются в раннеиньской культуре, хотя, разумеется, в весьма своеобразном и модифицированном виде. Одним из первых андроновскую культуру описал С. А. Теплоухов, кратко охарактеризовав культурный облик андрона и поместив его хронологически между энеолитической афанасьевской культурой и карасуком [213, 43—44]. В ходе дальнейших исследований облик андроновской культуры уточнялся, яснее очерчивалась зона распространения андрона в Сибири, взаимоотношения его с другими культурами.

Андроновские племена пришли в Западную Сибирь, скорей всего, с запада, из Казахстана [98, 179]. При этом наиболее характерные культурные признаки андрона связывают его с Приуральем, где находился ареал распространения племен срубной культуры, родственной андроновской [63, 454—456]. Правда, кое-что сближает андрон с афанасьевскими энеолитическими племенами, обитавшими в Западной Сибири до его появления. Это вполне закономерно и естественно. Иногда даже ставят вопрос таким образом, что андрон вырос на основе афанасьевского энеолита, имея в виду его окуневский этап-модификацию [155, 52]. Однако при этом обязательно отмечается, что андроновская культура во многом отличается от афанасьевской, особенно в области керамики.

Андроновская керамика — это в основном плоскодонные горшки и банки. Как правило, все они щедро покрыты орнаментом в виде горизонтальных поясов-лент, состоящих из различного рода повторяющихся геометрических фигур — треугольников, ромбов, зигзагов, меандров и просто ломаных и волнообразных линий. Изредка встречаются довольно сложные композиции из этих фигур [63; 98, 175; 102, 22; 155, 52; 370, 154]. Орнамент на сосуды наносился крупнозубчатым штампом, реже штампом более гладким, что, во-первых, обеспечивало повторяющийся геометрический узор, покрывавший более или менее широким поясом-лентой весь сосуд, а во-вторых, создавало рельефно-резную поверхность сосуда. Вообще, затейливый резной орнамент был очень распространен среди андроновцев. Им покрывались не только глиняные сосуды (разумеется, в сыром виде, до обжига), но и изделия из дерева и бересты. В частности, в одном адроновском погребении (село Новоселово) была найдена деревянная бадейка с резным орнаментом [98, 176].

Андроновские погребения часто делали с применением деревянных срубов, наряду с трупоположением (чаще всего с ориентацией головой на запад) встречается трупосожжение, причем и в том и в другом случае в могилу клались горшки с пи-

щей, одежда, вещи, украшения умершего [98, 176—177; 102, 22].

Андроновцы вели оседлый образ жизни, занимались земледелием и скотоводством и, как упоминалось, были знакомы с бронзой. Что касается бронзолитейного производства, то оно было в руках специалистов-литейщиков, по крайней мере часть из которых была, возможно, кем-то вроде бродячих ремесленников, сравнительно легко менявших свое местожительство и обслуживавших нужды то той, то другой соседней общины. Впервые идею о странствующих кузнецах-металлургах, неприкаянных потомках библейского Каина, которые постоянно перемещались по миру и были кем-то вроде цыган древности, выдвинул Г. Чайлд, а наиболее обстоятельно ее развил Э. Герцфельд [395, 157—161]. Эта идея достаточно спорна, многие специалисты ее отвергают, ссылаясь прежде всего на несходство образцов бронзолитейного производства даже в соседних друг с другом районах. Однако применительно к андроновской культуре эта идея была поддержана, во всяком случае было отмечено сходство бронзовых изделий, прежде всего полостных кельтов сейминско-турбинского типа, в андроновско-срубное время на широкой территории Восточной Европы, Западной и Южной Сибири и Казахстана [63, 456; 98, 174—179].

В какой степени культурные достижения андроновцев могли оказать воздействие на трансформацию неолитических и субнеолитических культур монголоидных племен, обитавших сравнительно неподалеку от них? На этот вопрос ответить нелегко. Общий облик андроновской культуры во многом отличен от раннеиньского бронзового комплекса. Неудивительно, что никто из специалистов (кроме разве М. Лера, да и то применительно лишь к бронзолитейному производству, а не к комплексу в целом) не ставил вопроса о какой-либо родственно-генетической связи между ними. Действительно, если брать элементы андроновской культуры по отдельности и сравнивать их с типично иньскими, скажем, керамикой, орнаментом, погребением, бронзой, то обнаружится очень немного общего. Точнее сказать, общее будет в принципе, но не в частностях, т. е. не в том конкретном и очевидном, что служит для археологов наиболее убедительным признаком культурного родства.

Все это побуждает отнестись к соблазнительной версии об андроне как истоке культурных традиций бронзового века в раннеиньском комплексе более чем осторожно. Пожалуй, единственное, что здесь можно принять,— это наличие сравнительно неподалеку от луншаньско-луншаноидного неолита развитого комплекса бронзового века, представленного серией культур срубного и андроновского типа. Видимо, далеко еще не со всеми культурами этой серии археологи знакомы достаточно хорошо. Не исключено, что какие-то пока что слабо известные варианты культур этой серии, располагавшиеся где-то к западу и северо-западу от бассейна Хуанхэ, могли оказать наибольшее воздей-

ствие на неолитических земледельцев луншаньско-луншаноидного горизонта. Инфильтрация основных культурных признаков, быстро нашедших свое применение и получивших дальнейшее развитие на хорошо подготовленной для этого луншаньской основе, как раз и могла послужить толчком для возникновения в Хэнани раннеиньского комплекса.

Если согласиться с тем, что такого рода инфильтрация могла иметь место, и если связать ее с упоминавшимся уже (хотя и далеко не общепризнанным) моментом миграции отдельных групп кузнецов-литейщиков, несших с собой многие достижения и культурные элементы эпохи бронзы, то можно предположить, что параллельно с формированием андроновского комплекса, особенно в его более позднем, южносибирском варианте, могло идти и формирование раннеиньского комплекса. Этот раннеиньский комплекс в чем-то общем и главном был сходен с андроновским. Вероятно, он имел с ним и некоторые культурно-генетические связи, о чем, в частности, свидетельствует анализ М. Лером иньских бронз. Однако это все-таки был самостоятельный культурный комплекс, археологически весьма отличный от андроновского.

Остается еще наясным, что это за гипотетическая группа, которая принесла с собой навыки бронзового века, как и откуда она шла, почему она, минуя едва ли не весь бассейн Хуанхэ, обнаружила себя (насколько можно судить по имеющимся в нашем распоряжении археологическим данным) в провинции Хэнань, т. е. довольно далеко к востоку от зоны распространения андрона. Можно лишь выдвинуть предположение, что маршрут этнокультурного ядра носителей бронзовой культуры был достаточно сложным, определялся многими факторами, в том числе и случайными, и что именно в Хэнани эти носители бронзовой культуры нашли наиболее благоприятную основу для своего взаимодействия с неолитическими земледельцами (стоит заметить, что именно здесь, в Хэнани, существовал в то время наиболее развитый вариант позднего неолита, уже давно созревший для восприятия новых достижений эпохи бронзы).

Как бы то ни было, но факт остается фактом: в районе Хэнани на рубеже первой и второй трети II тысячелетия до н. э. довольно быстрыми темпами начинает складываться новый, принципиально отличный от неолитического раннеиньский культурный комплекс бронзового века. Складывается он на местной основе, однако при наличии заимствованных культурных элементов, послуживших мощным катализатором его эволюции. За очень короткий срок возникают и приобретают классические характеристики искусство и техника бронзового литья. Появляются новые типы сосудов, в том числе такие, которые явно копировали деревянные ларцы или бадейки с резным орнаментом. Появляется искусство обработки дерева и изготовления досок — видимо, это искусство было тесно связано с наличием металли-

ческих инструментов. Плотницкое мастерство, в свою очередь, дает толчок возникновению новых методов строительства, например хан-ту (напомню, что существо этого метода сводится к трамбовке земли в деревянных дощатых рамках). Наконец, возникает новый метод штампованного, резного и аппликативного орнамента с господством геометрических фигур и композиций, что также первоначально могло быть связано с имитацией резьбы по дереву. Появляется новый для бассейна Хуанхэ метод захоронения покойников — кремация, хорошо известная в культурах бронзового века, в том числе и в андроновской. Наблюдается и весьма любопытный обычай сопогребения или принесения в жертву божествам собак: их, как и в андроновской культуре, иньцы либо погребали с хозяином, либо приносили в жертву при строительстве (например, обводной стены в Чжэнчжоу).

Все эти нововведения слишком взаимосвязаны друг с другом, чтобы считать появление каждого элемента результатом спонтанной эволюции. И в то же время синтез всех этих заимствованных или созданных на основе заимствования признаков с типично луншаньскими — с характерными для Луншань разнообразными сосудами, изделиями из кости и камня, строительными сооружениями, захоронениями и т. п.— привел в конечном счете к возникновению уникального в своем роде этнокультурного комплекса, который и положил начало китайской цивилизации эпохи Инь. Пожалуй, лучше всего этот процесс виден на примере возникновения типично иньских бронзовых сосудов.

Литье бронзовых сосудов не было характерным ни для андроновцев, ни для многих бронзовых культур среднеазиатско-иранского мира (хотя в принципе на Ближнем Востоке искусство литья сосудов, главным образом по восковой модели, было известно издавна). Что же касается типов, форм и орнамента иньских бронзовых сосудов, то уникальность и самобытность их бесспорна. Как могло возникнуть это искусство? Что явилось причиной его столь быстрого расцвета?

Если принять предложенную реконструкцию процесса генезиса раннеиньского комплекса, ответ на эти вопросы дать не столь уж сложно. Сам принцип бронзового литья был заимствован в его вполне развитом виде — об этом наиболее бесспорно свидетельствуют полостные кельты и копья, о которых писал М. Лер. В готовом виде был получен извне и принцип нанесения на керамику штампованного орнамента, для чего использовались специальные штампы — негативные по изображению орнамента куски керамики. Дело заключалось лишь в том, чтобы сделать серию таких одинаковых или искусно связанных друг с другом штампов, умело соединить их друг с другом при посредстве различного рода шипов и сочленений в единую форму и залить эту форму расплавленной бронзой. Конечно, это было не так уж просто — не случайно Н. Барнард так много внимания уделил искусству изготовления таких форм. Однако в ко-

нечном счете все это было в пределах возможного и требовало лишь терпения и умения — не случайно бронзовые сосуды появляются на стадии Эрлиган, т. е. не сразу, а с течением времени.

Наконец, важно обратить внимание еще на одно существенное обстоятельство — на искусство и символику орнаментации в керамике и в бронзе. С первых шагов использования орнаментального штампа (стоянка Цилипу) заметно наличие не только геометрических композиций, но и сложных символических сочетаний, явно бывших исходной формой будущей маски тао-те, столь важного этнокультурного показателя именно иньской общности. Выше говорилось, что в эпоху Инь эта маска была иконографией верховного божества Шанди. Однако вопрос о том, как она возникла и сразу ли стала выполнять роль иконографического символа Шанди, еще не ставился.

Ни в андроне, ни вообще где-либо в мире в ту эпоху ничего похожего на тао-те в его иньской модификации не было. Не было такой маски и в китайском неолите. Однако нечто подобное было и в неолитическом Китае, и в сибирских древностях. Речь идет о знаменитых каменных бабах Минусинского края и соседних с ним районов, много изучавшихся и датировавшихся то карасуком, то андроном, а то и афанасьевской, даже доафанасьевской эпохой [77; 78, 85; 79; 110; 495]. Ныне они датируются [98, 168] окуневским временем, непосредственно предшествовавшим андрону. Речь идет о каменных глыбах и плитах — изваяниях с вырубленными на них личинами, нередко с рогами, третьим глазом на лбу и параллельными полосами на лице, как-бы разделявшими его на три части. Специалисты издавна высказывали предположение, что эти личины имеют определенное сходство с тао-те [110; 407]. Более того, в одной из своих последних работ С. В. Киселев обратил внимание на сходство таких личин с баньпоской антропоморфной личиной и счел то и другое близким к тао-те [110, 56—57].

Если прибавить к этим соображениям несомненные факты, свидетельствующие о том, что в неолитическом Китае (Баньшань) существовали антропоморфные изображения божеств, легко согласиться с тем, что и неолитические земледельцы Китая, и земледельцы энеолита и ранней бронзы в Южной Сибири могли иметь до некоторой степени близкие представления и принципы изображения верховных божеств в виде антропоморфных существ с некоторыми зооморфными признаками (рога и т. п.). Тем более что такого рода представления вполне согласуются с широко распространенными в то время в Евразии тотемистическими верованиями.

Важно, однако, иметь в виду, что ни минусинские личины, ни неолитические изображения в Китае с настоящей маской тао-те не имели общего, во всяком случае если говорить не об идее, а о художественном ее изображении. Главное в тао-те — это глаза, большие, круглые и выпуклые. Именно они являются цент-

ром притяжения и вокруг них формируется вся композиция облика с характерными для него разветвленными рогами и (чаще всего на сосудах) изогнутым туловом змеи или дракона. И впервые нечто подобное — большие круги-глаза с виньетками рядом с ними, подчеркивающими их выразительность,— встретились на орнаментальном поясе одного керамического сосуда в Цилипу [797, 42, рис. 16, № 4]. Это значит, что процесс заимствования нового принципа орнаментации (штамп с геометрическими узорами) сочетался в раннеиньском комплексе с процессом творческого осмысления этого нового принципа.

Видимо, какие-то представления о великом и могучем верховном божестве, а может быть, и представление о божестве-первопредке, потомками которого, скажем, считала себя группа странствующих кузнецов, сыграли свою роль в том, что среди прочих композиций в раннеиньском комплексе на стадии Эрлитоу стала заметно выдвигаться именно та, в которой центральную роль играла маска тао-те. Вначале (Цилипу) лишь едва намеченная, она вскоре (Эрлитоу) приобрела свои законченные символические очертания и заняла центральное место в орнаментальном украшении сначала керамических [721, л. илл. III, № 10], а затем и бронзовых (Эрлиган) сосудов.

Неясно, ассоциировалась ли эта маска именно с Шанди, божеством-первопредком, имя которого известно из позднеиньских надписей. Возможно, что и нет. Не исключено, что эта маска символизировала в раннеиньском комплексе просто какое-то божество или божество-первопредка одного из этнокультурных компонентов раннеиньского комплекса (тех же кузнецов), сведения о которых вскоре уже стерлись в памяти поколений. Это вероятно не только потому, что этнокультурный компонент, связанный с группой странствующих литейщиков, едва ли мог быть настолько заметным и влиятельным, чтобы ассоциироваться в памяти поколений с представлением о предке-божестве (в принципе могло быть и такое, здесь ведь всегда более важно не количество, а качество), сколько из-за того, что позднеиньский Шанди скорей всего принадлежал к иному этнокультурному компоненту, появившемуся лишь на этапе позднего Инь.

Именно таким образом сложилась этнокультурная общность иньцев. На первых порах (раннеиньский комплекс) это еще не была цивилизация городского типа, хотя в Чжэнчжоу—Эрлиган и была раскопана столь внушительная по размерам городская стена. Цивилизация в полном смысле этого слова, с высокой культурой, развитым многоотраслевым производством, блестящим искусством, письменностью, сложным миром ритуалов и символов и, самое главное, с достаточно резким социальным расслоением и зачатками политической власти, появилась в Инь сравнительно поздно, лишь на аньянском этапе, в виде позднеиньского комплекса. Как и каким образом мог возникнуть этот комплекс? Как, когда и из каких компонентов сложился в бас-

сейне Хуанхэ последний в Евразии очаг первичной цивилизации городского типа?

Легендарные предания, зафиксированные в Шуцзин и Шицзи, единодушны в том, что степняки-иньцы до их оседания в районе Аньяна были полуоседлым народом, достаточно часто менявшим места своего пребывания. Принято считать, что Эрлитоу (Бо) и Эрлиган (Ао) — это по крайней мере два из таких мест, причем между Ао и столицей Пань Гэна — Шан (аньянское городище) было еще две-три остановки [682, гл. 3, 60]. Из легендарной традиции вытекает, что народ Инь поднимался по зову своего правителя и переселялся на новые места. Учитывая, что такой образ жизни был вполне обычным для воинственного племени степняков во II тысячелетии до н. э., эта традиция в принципе вполне заслуживает доверия. Единственный вопрос, который при этом остро нуждается в ответе, сводится в таком случае к следующему: о каком, собственно, народе идет и вообще может идти речь? О земледельцах того типа, который зафиксирован в стоянках раннеиньского комплекса?

Явно нет. Эти земледельцы по образу жизни были глубоко оседлым народом и не меняли слишком легко мест своего обитания — об этом, помимо прочего, свидетельствует и столь солидное сооружение, как чжэнчжоуская стена. Кроме того, в стоянках раннеиньского комплекса нет следов той походно-полуоседлой жизни, которые столь легко встретить в позднеиньском комплексе и которые были обязательным признаком всех племен, ведших во II тысячелетии до н. э. полукочевой образ жизни (напомню прежде всего о колесницах), как, впрочем, нет и следов заметного социального расслоения, существования признанного вождя-правителя, отдававшего приказы и грозившего суровой карой за неповиновение. Между тем, судя и по легендарной традиции, и по данным раскопок или надписей на костях из Аньяна, все это было и до Пань Гэна, т. е. до переселения иньцев в район Аньяна. Но это было где-то в другом месте и касалось кого-то другого, а не тех земледельцев, которые населяли стоянки раннеиньского комплекса. Словом, есть немало сомнений в том, что Эрлитоу следует отождествлять с Бо (или другой легендарной стоянкой предков иньцев), а Чжэнчжоу — с Ао. И в то же время нет сомнений в том, что раннеиньский комплекс в целом сыграл решающую роль в процессе формирования позднеиньской цивилизации. Неясно, однако, где и как происходил культурный синтез, результатом которого было появление аньянской культуры.

Видимо, тот пробел, который ныне столь существенно разделяет раннеиньский и позднеиньский (аньянский) комплексы, будет заполнен в ходе дальнейших археологических открытий. Однако и сегодня есть основания гипотетически реконструировать процесс синтеза раннеиньского комплекса с теми культурными

компонентами, которые были привнесены в него каким-то неясным пока племенем степняков, уже знакомым с важнейшими элементами цивилизации городского типа.

Гипотетически речь может идти о неведомом племени степняков, довольно легко менявшем места обитания, передвигавшемся на легких боевых колесницах, запряженных лошадьми, хорошо вооруженном различными типами бронзового оружия, в том числе исполненного в «зверином стиле». Племя, о котором может идти речь, было в какой-то, пусть весьма отдаленной, степени родственным другим степным племенам той эпохи, восходившим к общему для них индоиранскому корню и использовавшим соответствовавший этому же корню язык. Племя было знакомо с системой иероглифического письма и астрологического календаря, владело навыками художественного мастерства. По крайней мере часть его предков принадлежала к немонголоидному антропологическому типу, о чем свидетельствуют и общие данные антропологического анализа (брахицефальность иньцев), и некоторые изображения человеческих лиц на иньской бронзе. Словом, речь идет о том самом гипотетическом комплексе, ответвлением которого была карасукская культура и представители которого вполне могли добраться до берегов Хуанхэ.

Мы не знаем, как они добрались и как они при этом выглядели. Неясно, сколько было сделано остановок на этом пути, с каким количеством субнеолитических монголоидных племен интересующее нас племя встречалось и смешивалось. Трудно даже хотя бы приблизительно указать маршрут предполагаемого пути. Одно несомненно: прежде чем достичь района Аньяна, это племя встретило на своем пути раннеиньский бронзовый комплекс и вступило с ним в сложный процесс взаимовлияния. Без этого процесса не могло бы возникнуть аньянского комплекса как суммы двух этнокультурных компонентов: раннего (керамика типично китайских и раннеиньских типов, бронзовые сосуды, хан-ту, тао-те и пр.) и более развитого (колесницы с лошадьми, социальное расслоение с дворцами и царскими мавзолеями, с человеческими жертвами, оружие и утварь, выполненные в «зверином стиле», письменность и высокоразвитое, высокохудожественное искусство).

Только вобрав в себя всю сумму вновь появившихся в Китае признаков развитой цивилизации и, в свою очередь, влившись в возникший на этой сложной основе позднеиньский аньянский комплекс, раннеиньская культура превратилась в иньскую цивилизацию. Судя по тому, что в синтезированном сложном аньянском комплексе свободно и гармонично улеглось все то, что принесли с собой и местный, и пришлый культурные компоненты, синтез происходил в достаточно гармоничной форме, на основе взаимного обогащения. Можно предположить, что и столь излюбленная в раннеиньской культуре маска тао-те со всей своей

символикой гармонично слилась с представлениями иньских аристократов, столь сросшихся с излюбленными ими колесницами, об их великом первопредке — правителе и божестве Шанди. Именно результатом этого синтеза и стал, как надо полагать, культ этой маски в иньском искусстве — культ, сравнимый лишь с местом и ролью Шанди в системе ритуальных представлений иньцев.

Сложен вопрос о языке. Нет сомнений, что многократное смешение сильно изменило и грамматический строй, и лексический багаж потомков тех племен, которые, вступив друг с другом во взаимодействие, положили начало иньской цивилизации. Новый язык, сложившийся на базе этого смешения, был уникальным, своеобразным, т. е. тем, который впоследствии и стал китайским. Но в его древнейших слоях могут быть прослежены некоторые корни, сближающие его с древнейшими индоевропейскими языками. Видимо, нечто в таком же роде случилось и с иньской иероглифической письменностью, и с астрологическо-календарными представлениями, и с системой верований и ритуалов (не говоря уже о Шанди и маске тао-те).

Сформировавшаяся в ходе столь сложного и многоступенчатого процесса иньская цивилизация была лишь небольшим островком высокой культуры посреди океана отсталых неолитических или энеолитических племен. Она также заметно отличалась от своих соседей в этническом плане. И хотя на протяжении последней трети II тысячелетия до н. э. аньянский культурный комплекс оказывал заметное влияние на периферию и зона влияния иньцев постепенно расширялась, включая в свою орбиту соседние племена и народы, многое заимствовавшие от иньцев (как, например, чжоусцы), ареал распространения иньской цивилизации продолжал быть весьма и весьма ограниченным. По существу, вплоть до рубежа II—I тысячелетий до н. э., до падения Инь и завоевания ее чжоусцами, эта цивилизация оставалась сравнительно небольшим вкраплением. Но тем не менее значение ее в истории Китая огромно. Именно иньская цивилизация в виде ее аньянского комплекса, бывшего, в свою очередь, результатом сложного процесса взаимодействия многих культурных традиций и достижений, как местных, так и пришлых, явилась последним, завершающим этапом в процессе становления фундамента китайской культуры. Ведь в эпоху Шан была заложена основа той самой цивилизации и начата та самая история (история в полном смысле этого слова — письменная), которым суждено было пройти до наших дней свыше чем трехтысячелетний путь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процесс формирования основ китайской цивилизации был длительным, сложным и противоречивым. Вначале на протяжении сотен тысячелетий на территории Восточной Азии обитали предки современного сапиентного человека, последние представители которых, развиваясь в тесном контакте с неоантропами более западных регионов, сыграли существенную роль в сложении сапиентных монголоидов. Затем эти монголоиды, широко расселившись по всей Восточной Азии и по-прежнему испытывая на себе спорадическое воздействие со стороны более западных регионов, особенно в маржинальных, контактных зонах, способствовали возникновению ряда мезолитических и микролитических культур, бывших непосредственными предшественницами неолита в Китае и соседних с ним районах ойкумены. На этой основе микролитического (и не микролитического, южного, близкого к юго-восточно-азиатскому) мезолита сапиентных монголоидов сложился земледельческий неолит.

Возник он в Китае далеко не сразу. Сначала ему предшествовали культуры переходного типа, субнеолитические, принадлежавшие все тем же сапиентным монголоидам — собирателям, рыболовам и охотникам, которые уже были знакомы (примерно в V тысячелетии до н. э.) с некоторыми достижениями неолита, но не с земледелием. Как ни редки следы культур такого типа на территории Китая, но они есть, что свидетельствует о постепенном проникновении в Восточную Азию информации о тех важнейших достижениях неолитической революции, которые были уже широко распространены в Западной Азии в VII—VI тысячелетиях до н. э. Но только с IV тысячелетия до н. э. на территории западной части бассейна Хуанхэ появились неолитические земледельцы (культура Яншао).

Земледельческий неолит Яншао с его высокоразвитой техникой обработки земли, домашним скотоводством, оседлым образом жизни, шлифованными каменными орудиями труда и великолепной керамикой был принципиально новым явлением в Восточной Азии. До Яншао этот регион ойкумены мог похвастать лишь очень грубыми керамическими сосудами (шнуровая керамика) и примитивными хижинами собирателей и рыболовов. Только с Яншао неолит земледельческого типа с регулярным

производством зерна заложил твердый фундамент китайской цивилизации.

Загадка генезиса Яншао, поставленная в центр внимания по меньшей мере двух глав работы, едва ли и теперь может считаться окончательно решенной. Однако анализ этой культуры и процесса ее сложения, равно как и внимательное изучение всех возможных параллелей и аналогий между Яншао и другими неолитическими культурами расписной керамики Евразии, показывает, что есть весьма серьезные основания полагать, что Яншао возникла в ходе сложного переплетения различных культурных потоков. На местную мезолитическую основу культуры сапиентных монголоидов где-то в контактной зоне (предположительно в тибето-гималайском нагорье) была наложена информация о принципиальных достижениях неолитической революции в Западной Азии, причем ускоренному восприятию этой богатой информации способствовали как метисация, так и, возможно, воздействие со стороны юго-восточно-азиатской культурной традиции, уже знакомой с некоторыми принципами незернового земледелия.

Процесс переплетения культурных потоков, являвший собой нечто вроде мини-революции неолита, способствовал быстрому усвоению монголоидами основ зернового неолита и других достижений неолитической революции, следствием чего и явилось широкое распространение в бассейне Хуанхэ, а затем и к югу от него, в междуречье Хуанхэ и Янцзы, высокоразвитых неолитических культур расписной керамики типа Яншао.

Яншаоский горизонт земледельческого неолита был на рубеже III—II тысячелетий до н. э. заменен луншаньско-луншаноидным. Многие культурные авуары этого нового горизонта черно-серой керамики были унаследованы от Яншао, однако многие другие, в том числе некоторые принципиально важные новшества (новые виды домашнего скота, новые типы и формы керамики, гончарный круг и др.), явно были результатом заимствования извне. Другими словами, в формировании луншаньско-луншаноидного горизонта, столь широко распространившегося по всей территории Китая, кроме яншаоского неолита сыграли свою важную роль и перемещения народов (в том числе скотоводов), и культурная диффузия. Благодаря внешним влияниям китайский земледельческий неолит в начале II тысячелетия до н. э. был уже знаком со всеми важнейшими достижениями неолитических культур той эпохи. В бассейне Хуанхэ сложились благоприятные условия для возникновения цивилизации в собственном смысле этого слова — первичного очага культуры городского типа с уже заметным социальным неравенством, зачатками государственности, сложными административными и политическими институтами, письменностью и т. п.

Именно такой очаг цивилизации и возник в бассейне Хуанхэ в виде развитой бронзовой культуры Шан—Инь. Иньская циви-

лизация возникла не сразу: ее развитому этапу, представленному городищем Сяотунь (Аньян), предшествовал более ранний, чжэнчжоуский. Однако и формирование чжэнчжоуской культуры с ее высокоразвитой бронзолитейной индустрией, и тем более сложение аньянской цивилизации с характерными для нее чертами и признаками развитой урбанизации не были результатом лишь спонтанного развития автохтонных неолитических культур бассейна Хуанхэ. Это на нынешнем уровне научных знаний едва ли кем-либо может подвергаться сомнению: вопрос лишь в том, насколько важную, решающую, принципиальную роль сыграли в процессе генезиса иньской цивилизации внешние влияния. Если полагать, что эти воздействия ограничились второстепенными элементами, обогатившими и без того развивавшуюся тем же путем, в том же направлении и такими же темпами цивилизацию (например, познакомив ее с запряженными лошадьми колесницами), то можно сделать вывод (как это предлагает, например, Чжэн Дэ-кунь [312; 318]), что иньская цивилизация возникла без заметного культурного воздействия со стороны, за счет собственных потенций китайского неолита. Если же подвергнуть авуары иньской цивилизации всестороннему анализу, то станет гораздо более очевидным, что важнейшие достижения, которые сделали иньскую культуру цивилизацией городского типа, обязаны своим происхождением заимствованию информации извне, которое лежало в основе развития всей человеческой культуры.

Таким образом, анализ данных археологических раскопок культур каменного века и ранней (иньской) бронзы в Китае, преимущественно в бассейне Хуанхэ — колыбели китайской цивилизации, показывает, что если обратить внимание на сходство и различия между основными культурными комплексами и поставить вопрос об их возможном происхождении, о связях и аналогиях, то трудно не прийти к выводу, что все эти культуры, равно как и их насельники, формировались в процессе сложного синтеза. Активное участие в плодотворном взаимодействии культур принимали как местные, автохтонные компоненты, так и пришлые, в том числе и группы мигрантов. При этом на долю последних, как и вообще импульсов извне, приходилась роль того потока информации, который мог резко ускорить замедленные темпы спонтанной эволюции, ибо понятно, что изоляция от других культур равного уровня (а тем более опережающих и быстрее развивающихся) могла привести лишь к необходимости заново и в одиночку изобретать и открывать все то, что уже было изобретено и открыто человеком на его долгом пути закономерной эволюции в рамках всей ойкумены.

Восприняв необходимую информацию, сыгравшую принципиально важную роль катализатора, насельники протокитайских культур каменного века и древнекитайской культуры иньской бронзы тем самым в исторически сжатые сроки наверстывали

свое отставание от современных им развитых культур более западных регионов. И не только наверстывали, но и оказывались в числе передовых, ибо процесс заимствований и восприятия информации был не столько следствием счастливых случайностей, сколько результатом определенной закономерности. Поэтому не приходится удивляться тому, что на каждой ступени эволюции протокитайцев (архантропы и неоантропы, монголоиды-земледельцы эпохи яншаоского зернового неолита, луншаньско-луншаноидного неолитического горизонта, наконец, иньской культуры бронзы) этот процесс имел аналогичный характер и сводился ко все тому же синтезу местных и пришлых компонентов. Плодотворность же такого синтеза и его оптимальные результаты определялись, помимо всего прочего, благоприятными условиями среды, той экологической сферой, которая способствовала возникновению в бассейне Хуанхэ сначала очага земледельческого зернового неолита, а затем и развитой цивилизации городского типа.

Разумеется, это никак не означает, что китайская цивилизация была привнесена откуда-то со стороны. Ведь не следует забывать, что тот гипотетический культурный комплекс (или сумма компонентов), взаимодействие которого с местными культурами каждый раз, на каждой ступени эволюции формировало облик и определяло авуары протокитайцев, реализовал свои потенции именно в Китае. Другими словами, для реализации потенций, т. е. для активного творческого восприятия и переработки полученной информации, нужны были определенные условия, причем эти условия создавались не только экологией бассейна Хуанхэ, но и спонтанной эволюцией местных культур, оказывавшихся в нужный момент готовыми воспринять и использовать необходимую для их ускоренного развития информацию.

Важно иметь в виду, что эта закономерность была особенно очевидной для длительного периода сложения основ китайской цивилизации, изучению особенностей которого и посвящена данная работа. В рамках уже возникшего очага первичной цивилизации Шан—Инь начинало, естественно, складываться общество нового типа, шедшее в направлении формирования государства. Государство и общество древнего Китая весьма напоминают по форме и по существу, по структуре и по основным своим функциям то, что имел в виду К. Маркс, когда писал об азиатском способе производства. Однако независимо от того, как решать вопрос о социально-экономической и социально-политической характеристике этого общества (вопрос этот спорен и заслуживает по меньшей мере специального монографического исследования), важно заметить, что, раз возникнув, это общество в дальнейшем развивалось уже по своим внутренним законам. Конечно, и в ходе последующего развития Китая определенную и подчас немалую роль играли контакты с другими странами и заимствование чужого опыта. Однако роль этих контактов ста-

новилась все менее значимой на фоне все более весомого собственного потенциала китайской цивилизации, ее становившегося все более заметным ядра. Наличие такого массивного ядра, основой которого было конфуцианство (не только как идеология, но и как принцип жизни, система социально-семейных отношений и политической администрации [55]), позволяло Китаю на протяжении всей его истории сохранять устойчивость, консервативную стабильность, сравнительно быстро и легко «переваривать» все заимствованные нововведения, приспосабливая их к специфике своего устоявшегося облика.

С течением времени, с веками и тысячелетиями, массивное ядро китайской цивилизации накапливало дополнительные потенции и становилось все специфичнее и устойчивее: ни внутренние катаклизмы (не раз потрясавшие страну до основания), ни внешние воздействия (в том числе разрушительные нашествия иноземцев) не могли уничтожить его консервативную стабильность, каждый раз способствовавшую регенерации старых порядков и принципов. Все это позволяло Китаю сравнительно мало зависеть от воздействий извне и тем самым становиться в глазах китайцев — да и не только китайцев! — своего рода символом незыблемости, чуть ли не вечности. Отсюда и устойчивый стереотип: «китайское — это именно китайское и всегда было китайским».

Со всяким стереотипом трудно вступать в спор. Нет слов — китайская история велика и уходит корнями в глубокую древность. На протяжении веков Китай не раз демонстрировал исключительную устойчивость и преданность традициям старины. В старине этой, в глубокой китайской древности действительно немало уникального и специфического, свойственного только и именно Китаю и тем как бы наглядно свидетельствующего против любых попыток ставить под сомнение стопроцентную автохтонность древнекитайской цивилизации. И тем не менее все это — лишь устойчивый, веками апробированный стереотип, складывавшийся и закреплявшийся в исторической традиции. Факты, подвергутые сравнительному изучению, убедительно свидетельствуют о том, что процесс генезиса китайской цивилизации протекал иначе, чем это может показаться при знакомстве лишь с китайской исторической традицией. Процесс этот протекал при спорадическом воздействии извне, за счет миграций и диффузии. И только уже сложившись, приняв свой специфический облик, китайская цивилизация с соответствующими ей социально-экономическим строем и политической администрацией, культурными традициями и принципами внутренней структуры превратилась в ту устойчивую саморегулирующуюся систему, в рамках которой значимость внутренних закономерностей эволюции уже явственно превышала роль внешних контактов и культурных заимствований.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Алексеев В. П. Антропологические типы Южной Сибири (Алтае-Саянское нагорье) в эпохи неолита и бронзы,— «Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока», Новосибирск, 1961.
2. Алексеев В. П. Палеоантропология Алтае-Саянского нагорья эпохи неолита и бронзы,— «Антропологический сборник», вып. III, М., 1961.
3. Алексеев В. П. О рецидивах расизма в антропологии,— СЭ, 1963, № 4.
4. Алексеев В. П. Факторы расообразования, методы расового анализа, принципы расовых классификаций,— СЭ, 1964, № 4.
5. Алексеев В. П. Выступление на симпозиуме «Факторы расообразования, методы расового анализа, принципы расовых классификаций»,— ВА, вып. 20, 1965.
6. Алексеев В. П. Гоминиды второй половины среднего и начала верхнего плейстоцена Европы,— «Ископаемые гоминиды и происхождение человека», М., 1966.
7. Алексеев В. П. О первичной дифференциации человечества на расы. Первичные очаги расообразования,— СЭ, 1969, № 1.
8. Алексеев В. П. О первичной дифференциации человечества на расы. Вторичные очаги расообразования,— СЭ, 1969, № 6.
9. Алексеев В. П. О двух противоположных тенденциях в расообразовании,— ВА, вып. 35, 1970.
10. Алексеев В. П. Антропологические аспекты проблемы происхождения и становления человеческого общества,— «Проблемы этнографии и антропологии в свете научного наследия Ф. Энгельса», М., 1972.
11. Алекшин В. А., Курочкин Г. Н. Новая литература по луристанским бронзам,— СА, 1972, № 1.
12. Андрианов Б. В. Древние оросительные системы Приаралья, М., 1969.
13. Андрианов Б. В. Роль перехода к земледелию в историческом процессе,— «Проблемы этнографии и антропологии в свете научного наследия Ф. Энгельса», М., 1972.
14. Арзаканьян Ц. Г. Культура и цивилизация. Проблемы теории и истории,— ВИМК, 1961, № 3.
15. Артамонов М. И. К истории средств передвижения,— ПИМК, 1933, № 5—6.
16. Артановский С. Н. Историческое единство человечества и взаимное влияние культур, Л., 1967.
17. Артемьев В. В. Измерение времени радиоуглеродным методом,— «Новые методы в археологических исследованиях», М.—Л., 1963.
18. Арутюнов С. А. Проблемы классификации языков народов Восточной Азии в свете их этнической истории (доклад на VII МКАЭН), М., 1964.
19. Арциховский А. В. Даты,— ПИМК, 1933, № 7—8.
20. Ауэрбах Н. К., Сосновский Г. П. Остатки древнейшей культуры человека в Сибири,— «Жизнь Сибири», 1924, № 5—6.
21. Белановская Т. Д. Трипольская культура, Л., 1958.

22. Берзина С. Я. Дискуссия о происхождении человека,— ВИ, 1966, № 7.
23. Бернштам А. Н. Идеализм в этнографии,— СГАИМК, 1932, № 1—2.
24. Бернштам А. Н. О роли завоеваний в исторической концепции Карла Маркса,— ПИМК, 1933, № 3—4.
25. Бибиков С. Н. Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецкая на Днестре, М.—Л., 1953.
26. Бибиков С. Н. О некоторых вопросах синхронизации и расселения трипольских племен (доклад на VII МКАЭН), М., 1964.
27. Бичурин Н. Я. (Иакинф), Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, тт. I—III, М.—Л., 1950—1953.
28. Бобринский А. А. К изучению гончарного круга на территории СССР,— СА, 1961, № 2.
29. Богаевский Б. Л. Раковины в расписной керамике Китая, Крита и Триполья, Л., 1931.
30. Богаевский [Б. Л.] Изображение лошади в позднe«родовом» обществе Днестро-Днепровского района,— СГАИМК, 1931, № 1.
31. Богаевский Б. Л. Археология на службе у японского империализма,— СГАИМК, 1932, № 5—6.
32. Боголюбский С. Н. Происхождение и эволюция домашних животных, М., 1940.
33. Боголюбский С. Н. Происхождение и преобразование домашних животных, М., 1959.
34. Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Древняя Индия, М., 1969.
35. Борисковский П. И. Исследование памятников каменного века в Демократической Республике Вьетнам в 1960—1961 гг.,— СА, 1962, № 2.
36. Борисковский П. И. Первобытное прошлое Вьетнама, М., 1966.
37. Борисковский П. И. Древний каменный век Южной и Юго-Восточной Азии, Л., 1971.
38. Брюсов А. Я. Об экспансии «культур с боевыми топорами» в конце III тысячелетия до н. э.,— СА, 1961, № 3.
39. Бутомо С. В. Применение радиоуглеродного метода в археологии,— «Новые методы в археологических исследованиях», М.—Л., 1963.
40. Бутомо С. В. Радиоуглеродное датирование и построение абсолютной шкалы археологических памятников,— «Археология и естественные науки», М., 1965.
41. Быковский С. Н. Археология и политика,— СГАИМК, 1932, № 7—8.
42. Вавилов Н. И. Проблема происхождения мирового земледелия в свете современных исследований, М.—Л., 1932.
43. Вавилов Н. И. Пять континентов, М., 1962.
44. Вайнштейн С. И. Картинная галерея Сыын-Чюрека,— «Природа», 1975, № 5.
45. Васильев В. П. Об отношениях древнекитайского языка к среднеазиатским,— ЖМНП, сентябрь 1872, ч. CLXIII, отд. 2.
46. Васильев В. П. Очерк истории китайской литературы, СПб., 1880.
47. Васильев Л. С. Замечания по 2 части I тома «Истории научного и культурного развития человечества»,— ВИМК, 1958, № 4.
48. Васильев Л. С. Новый труд об археологии в Китае,— ВИМК, 1960, № 1.
49. Васильев Л. С. Аграрные отношения и община в древнем Китае, 1961.
50. Васильев Л. С. О роли внешних влияний в возникновении китайской цивилизации,— НАА, 1964, № 2.
51. Васильев Л. С. Генезис древнекитайской бронзы и этнокультурные связи Инь (доклад на VII МКАЭН), М., 1964.
52. Васильев Л. С. Изучение проблем генезиса китайской цивилизации.— «Историография и источниковедение истории стран Азии», вып. I, Л., 1965.
53. Васильев Л. С. Некоторые проблемы генезиса мировой цивилизации в современных зарубежных исследованиях,— НАА, 1966, № 2.

54. Васильев Л. С. (рец.), «Народы Восточной Азии», М.—Л., 1965,— НАА, 1967, № 4.
55. Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае, М., 1970.
56. Васильев Л. С. (рец.), Н. Л. Членова, Хронология памятников карасукской эпохи, М., 1972,— НАА, 1974, № 2.
57. Васильев Л. С. Происхождение древнекитайской цивилизации, — ВИ, 1974, № 12.
58. Возникновение и развитие земледелия, М., 1967.
59. Волков В. В. Бронзовый и ранний железный век Северной Монголии, Улан-Батор, 1967.
60. Воробьев М. В. (рец.) Су Бин-ци, Погребения на участке восточнее канала на террасе Доуцзи, Пекин, 1948,— СА, 1957, № 2.
61. Воробьев М. В. Состояние вопроса о палеолите зарубежного Дальнего Востока,— «Труды комиссии по изучению четвертичного периода», т. XIII, 1957.
62. Воробьев М. В., Итс Р. Ф. Работы китайских археологов,— СА, 1954, № 2.
63. Всемирная история, т. I, М., 1955.
64. Вуллли Л. Ур халдеев, М., 1961.
65. Гедин С. В сердце Азии. Памир. Тибет. Восточный Туркестан, тт. 1—2, СПб., 1899.
66. Георгиевский С. М. О корневом составе китайского языка в связи с вопросом о происхождении китайцев, СПб., 1888.
67. Георгиевский С. М. Анализ иероглифической письменности китайцев, как отражающей в себе историю жизни китайского народа, СПб., 1888.
68. Гинзбург В. В. Древние и современные антропологические типы Средней Азии,— ПЧДРЧ.
69. Го Мо-жо. Бронзовый век, М., 1959.
70. Го Мо-жо. Философы древнего Китая, М., 1961.
71. Гохман И. И. Ископаемые неоантропы,— «Ископаемые гоминиды и происхождение человека», М., 1966.
72. Григорьев Г. П. Новые аспекты проблемы происхождения Homo Sapiens,— ВА, вып. 34, 1970.
73. Григорьев Г. П. Начало верхнего палеолита и происхождение Homo Sapiens, М., 1968.
74. Грумм-Гржимайло Г. Е. Почему китайцы рисуют демонов рыжеволосыми? СПб., 1899.
75. Грумм-Гржимайло Г. Е. Белокурая раса в Средней Азии,— «Записки Российского Географического общества по отделению этнографии», т. XXXIV. «Сборник в честь 70-летия Г. Н. Потанина», СПб., 1909.
76. Грумм-Гржимайло Г. Е. Можно ли считать китайцев автохтонами бассейна среднего и нижнего течения Желтой реки? — «Известия Географического общества», т. LXV, 1933, вып. I.
77. Грязнов М. П. Минусинские каменные бабы в связи с некоторыми новыми материалами,— СА, т. XII, 1950.
78. Грязнов М. П. Писаница эпохи бронзы из д. Знаменки в Хакассии,— КСИА, вып. 80, М., 1960.
79. Грязнов М. П., Шнейдер Е. Р. Древние изваяния Минусинских степей,— «Материалы по этнографии», т. IV, Л., 1929, вып. 2.
80. Дебец Г. Ф. Палеоантропология СССР, М., 1948.
81. Дебец Г. Ф. Выступление на дискуссии по проблеме происхождения Homo Sapiens,— КСИЭ, вып. 9, 1950.
82. Дебец Г. Ф. Заселение Южной и Передней Азии по данным антропологии,— ПЧДРЧ.
83. Дебец Г. Ф. Происхождение коренного населения Америки,— ПЧДРЧ.
84. Дебец Г. Ф. Новые данные о соотношении галечной индустрии австралопитековых обезьян и древнейших людей,— СЭ, 1964, № 5.
85. Дикшит С. К. Введение в археологию, М., 1960.
86. Добронравов Н. И. Беседа о колесе, М.—Л., 1951.

87. Довгяло Г. И. О переходе к наследованию царской власти по отцовско-правовому принципу,— СЭ, 1963, № 6.
88. Думан Л. И. Система родства и реальные формы брака в эпоху Инь (XIV—XI вв. до н. э.),— КСИНА, № 53, 1962.
89. Жуковский П. М. Культурные растения и их сородичи, М., 1964.
90. Заднепровский Ю. А. Древнеземледельческая культура Ферганы, М.—Л., 1962.
91. Замятнин С. Н. О возникновении локальных различий в культуре палеолитического периода,— ПЧДРЧ.
92. Замятнин С. Н. Очерки по палеолиту, М.—Л., 1961.
93. Зелинский А. Н. Древние пути Памира, М., 1969.
94. Зубов А. А. Одонтология. Методика антропологических исследований, М., 1968.
95. Зубов А. А. Некоторые данные одонтологии к проблеме эволюции человека и его рас,— «Проблемы эволюции человека и его рас», М., 1968.
96. Иванов В. В. Хеттский язык, М., 1963.
97. Иванова И. К. Геологический возраст ископаемого человека, М., 1965.
98. История Сибири, т. I, Новосибирск, 1968.
99. Итс Р. Ф. Культуры Яншао и Луншань и их соотношение,— СА, т. XXIV, 1955.
100. Итс Р. Ф. Этническая история юга Восточной Азии, Л., 1972.
101. Кабо В. Р. Юго-Восточная Азия и ее место в формировании австралоидов,— ВА, вып. 21, 1965.
102. Карцов В. Г. О чем говорят курганы Енисея, Абакан, 1961.
103. Кашина Т. И. Некоторые проблемы, связанные с керамикой культуры Яншао,— «Известия Сибирского отделения АН СССР, серия общественных наук», 1970, № 11, вып. 3.
104. Кашина Т. И. Семантика геометрической орнаментации керамики культуры Яншао,— «Известия Сибирского отделения АН СССР, серия общественных наук», 1971, № 6, вып. 2.
105. Кинк Х. А. К проблеме экономических связей между древним Египтом и Двуречьем,— «Проблемы социально-экономической истории древнего мира. Сборник памяти академика А. И. Тюменева», М.—Л., 1963.
106. Киселев С. В. К вопросу о культуре древнейшего европеоидного населения Сибири,— ВДИ, 1948, № 1.
107. Киселев С. В. Древняя история южной Сибири, М., 1951.
108. Киселев С. В. Китай и Сибирь в бронзовом веке,— «Тезисы докладов исторического факультета. Юбилейная научная сессия МГУ», М., 1955.
109. Киселев С. В. Неолит и бронзовый век Китая,— СА, 1960, № 4.
110. Киселев С. В. К изучению минусинских каменных изваяний,— «Историко-археологический сборник», М., 1962.
111. Киселев С. В. Некоторые вопросы истории первобытного общества,— КСИА, вып. 88, 1962.
112. Клейн Л. С. Краткое обоснование миграционной гипотезы о происхождении катакомбной культуры,— «Вестник ЛГУ, серия истории, языка и литературы», вып. I, 1962, № 2.
113. Книга Марко Поло, М., 1955.
114. Кожин П. М. Гобийская квадрига,— СА, 1968, № 3.
115. Кожин П. М. К вопросу о происхождении иньских колесниц,— «Культура народов зарубежной Азии и Океании», Л., 1969.
116. Коробкова Г. Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней Азии, М., 1969.
117. Кочеткова В. И. Современное состояние проблемы гоминизации,— «Проблемы этнографии и антропологии в свете научного наследия Ф. Энгельса», М., 1972.
118. Кричевский Е. Ю. О роли межплеменных сношений в древнейшей истории,— КСИИМК, вып. XIII, 1946.
119. Крюков М. В. У истоков древних культур Восточной Азии,— НАА, 1964, № 6.

120. Ларичев В. Е. Древние культуры северного Китая,— «Сибирское отделение АН СССР. Дальневосточный филиал. Серия историческая», т. I, Саранск, 1959.
121. Ларичев В. Е. Древние культуры Северо-Восточного Китая (автореферат канд. диссертации), Л., 1960.
122. Ларичев В. Е. Ашельско-мустьерские памятники и остатки палеолитического человека в Китае,— ВА, вып. I, 1960.
123. Ларичев В. Е. Открытие нижнего палеолита в Центральной Азии,— ВАН, 1963, № 4.
124. Ларичев В. Е. К вопросу о локальных культурах нижнего палеолита в Восточной и Центральной Азии,— «Археология и этнография Дальнего Востока», Новосибирск, 1964.
125. Ларичев В. Е. Древнейшие антропоморфные обезьяны и гоминиды Южного Китая и их значение в эволюции человека Восточной Азии,— «Археология и этнография Дальнего Востока», Новосибирск, 1964.
126. Ларичев В. Е. Пути и время первоначального заселения Японии палеолитическим человеком, — «Известия Сибирского отделения АН СССР, серия общественных наук», вып. I, 1968, № 1.
127. Ларичев В. Е. Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии, ч. 1. Азия и проблема родины человека, Новосибирск, 1969.
128. Ларичев В. Е. Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии, ч. 2. Азия и проблема локальных культур, Новосибирск, 1972.
129. Ларичев В. Е., Волков В. В. Мустьерские и неолитические памятники южной Гоби,— «Археология и этнография Дальнего Востока», Новосибирск, 1964.
130. Левин М. Г. Новая теория антропогенеза Ф. Вейденрайха,— СЭ, 1946, № 1.
131. Левин М. Г. Древние переселения человека в северной Азии по данным антропологии,— ПЧДРЧ.
132. Левин М. Г. Этническая антропология и проблема этногенеза народов Дальнего Востока, М., 1958.
133. Левин М. Г., Чебоксаров Н. Н. Древнее расселение человечества в Восточной и Юго-Восточной Азии,— ПЧДРЧ.
134. Липский А. Н. Карасукские погребения 1200—700 гг. до н. э. в городе Абакане,— «Краеведческий сборник», № 1 Абакан, 1956.
135. Литвинский Б. А. Археологические открытия на Восточном Памире и проблема связей между Средней Азией, Китаем и Индией в древности (доклад на XXV Международном конгрессе востоковедов), М., 1960.
136. Маракуев А. В. Опыт характеристики антропогена Китая,— «Труды комиссии по изучению четвертичного периода», т. XIII, 1957.
137. Маркарян Э. С. О концепции локальных цивилизаций, Ереван, 1962.
138. Марков Г. Е. Кочевники Азии (автореф. докт. дисс.), М., 1967.
139. Марр Н. Я., Мещанинов И. И. Общее учение о языке и памятники материальной культуры,— ПИДО, 1934, № 3.
140. Мартынов А. И. Новый район карасукской культуры,— СА, 1964, № 2.
141. Массон В. М. Первобытно-общинный строй на территории Туркмении,— «Труды ЮТАКЭ», т. VII, Ашхабад, 1956.
142. Массон В. М. Древнеземледельческая культура Маргианы, М.—Л., 1959.
143. Массон В. М. Средняя Азия и Иран в III тысячелетии до нашей эры,— КСИА, вып. 93, 1963.
144. Массон В. М. Средняя Азия и Древний Восток, М.—Л., 1964.
145. Массон В. М. Историческое место среднеазиатской цивилизации,— СА, 1964, № 1.
146. Массон В. М. Проблема неолитической революции в свете новых данных археологии,— ВИ, 1970, № 6.
147. Массон В. М. Поселение Джейтун, Л., 1971.
148. Мечников Л. И. Цивилизация и великие исторические реки, М., 1924.

149. Мещанинов И. И. Теория миграций и археология,— СГАИМК, 1931, № 9—10.
150. Мещанинов И. И. К вопросу о датировке археологических памятников,— СГАИМК, 1932, № 5—6.
151. Миллер А. А. Приемы датировки археологических памятников,— СГАИМК, 1932, № 5—6.
152. Монгайт А. Л. Археология и современность, М., 1963.
153. Морган Л. Г. Древнее общество, Л., 1934.
154. Народы Восточной Азии, М., 1965.
155. Народы Сибири, М., 1956.
156. Нестурх М. Ф. Происхождение человека, М., 1958.
157. Нестурх М. Ф. Дарвин и современные проблемы антропогенеза,—ВА, вып. 2, 1960.
158. Нестурх М. Ф. Проблема первоначальной прародины человечества,— «У истоков человечества», М., 1964.
159. Нестурх М. Ф. Человеческие расы, М., 1965.
160. Нестурх М. Ф. Происхождение человека, М., 1970.
161. Новгородова Э. А. Центральная Азия и карасукская проблема, М., 1970.
162. Новиков Ю. Ф. О возникновении земледелия и его первоначальных формах,— СА, 1959, № 4.
163. Новиков Ю. Ф. Генезис плуга и этнография,— СЭ, 1963, № 1.
164. Окладников А. П. Пещера Джебел — памятник культуры прикаспийских племен Туркмении,— «Труды ЮТАКЭ», т. VII, Ашхабад, 1956.
165. Окладников А. П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья, т. I и II, М.—Л., 1950.
166. Окладников А. П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья, т. III, М., 1955.
167. Окладников А. П. Триподы за Байкалом,— СА, 1959, № 3.
168. Окладников А. П. Первобытная Монголия,— «К вопросу древнейшей истории Монголии», Улан-Батор, 1964.
169. Окладников А. П. Советский Дальний Восток в свете новейших достижений археологии,— ВИ, 1964, № 1.
170. Окладников А. П. К вопросу о мезолите и эпипалеолите в азиатской части СССР,— «Сибирь и Средняя Азия», М.—Л., 1966.
171. Окладников А. П., Бродянский Д. Л. Дальневосточный очаг древнего земледелия,— СЭ, 1969, № 2.
172. Окладников А. П., Ларичев А. Е. Археологические исследования в Монголии в 1961—1962 гг.,— «Известия Сибирского отделения АН СССР, серия общественных наук», № 1, 1963, вып. I.
173. Пазухин В. А. (рец.) Aitchison L. A History of Metals, vol. 1—2, London, 1960,— СА, 1963, № 3.
174. Памятники мирового искусства, вып. 2. Искусство древнего Востока, М., 1968.
175. Пассек Т. С. Периодизация трипольских поселений, М.—Л., 1949.
176. Пассек Т. С. Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья, М., 1961.
177. Пассек Т. С. Новое из истории трипольских племен Днепро-Днестровского междуречья (доклад на VII МКАЭН), М., 1964.
178. Петров Г. И. Н. Я. Марр и проблема расогенеза,— ПИМК, 1933, № 5—6.
179. Пиотровский Б. Б. Современное состояние изучения додинастического Египта,— ПИДО, 1934, № 7—8.
180. Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории, М., 1974.
181. Пэй Вэнь-чжун. Изучение ископаемого человека и палеолитической культуры в Китае,— СЭ, 1954, № 3.
182. Равдоникас В. И. Археология на Западе и в СССР в наши дни,— СГАИМК, 1932, № 9—10.
183. Равдоникас В. И. (рец.), Б. Л. Богаевский, Раковина в расписной керамике Китая, Крита и Триполья,— СГАИМК, 1931, № 6.

184. Равдоникас В. И. К вопросу о возникновении скотоводства,— ПИДО, 1934, № 3.
185. Решетов А. М. Новые антропологические материалы из Тибета,— ВА, вып. 18, 1964.
186. Решетов А. М., Чебоксаров Н. Н. Антропология и этнография о происхождении китайцев,— «Расы и народы», вып. 3, 1973.
187. Решетов Ю. Г. Природа Земли и происхождение человека, М., 1966.
188. Рижский М. И. Гунны в Забайкалье,— «Ученые записки Читинского государственного пединститута», вып. 4, 1959.
189. Рогинский Я. Я. Происхождение современного человека и теория «полицентризма»,— СЭ, 1947, № 1.
190. Рогинский Я. Я. Теории моноцентризма и полицентризма в проблеме происхождения современного человека и его рас, М., 1949.
191. Рогинский Я. Я. Основные антропологические вопросы в проблеме происхождения современного человека,— ПЧДРЧ.
192. Рогинский Я. Я. Некоторые проблемы происхождения человека,— СЭ, 1956, № 4.
193. Рогинский Я. Я. О некоторых общих вопросах теории антропогенеза,— ВФ, 1957, № 2.
194. Рогинский Я. Я. О проблеме «пресапиенса» в современной литературе,— СЭ, 1959, № 6.
195. Рогинский Я. Я. (рец.), К. Кун. Происхождение рас,— СЭ, 1964, № 1.
196. Рогинский Я. Я. Проблема прародины человека современного типа,— «Наука и человечество», М., 1964.
197. Рогинский Я. Я. Проблемы антропогенеза, М., 1969.
198. Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Основы антропологии, М., 1955.
199. Рыбаков Б. А. Космогония и мифология земледельцев энеолита,— СА, 1965, № 1, 2.
200. Сайко Э. В. К истории гончарного круга и развития форм керамики, Душанбе, 1971.
201. Сарианиди В. И. Энеолитическое поселение Геоксюр,— «Труды ЮТАКЭ», т. X, Ашхабад, 1961.
202. Сарианиди В. И. Культовые здания поселения анауской культуры,— СА, 1962, № 1.
203. Семенов С. А. О сложении защитного аппарата глаз монгольского расового типа,— СЭ, 1951, № 4.
204. Семенов С. А. Древнейший период в истории Китая,— ВДИ, 1949, № 4.
204а. Семенов С. А. Развитие техники в каменном веке, Л., 1968.
205. Семенов С. А. Происхождение земледелия, Л., 1974.
206. Семенов Ю. И. Как возникло человечество, М., 1966.
207. Сосновский Г. П. К истории добычи олова на востоке СССР,— ПИМК, 1933, № 9—10.
208. Стариков В. С. Земледельческие орудия лесостепных районов Восточной Азии (автореф. канд. дисс.), Л., 1966.
208а. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»), т. I, М., 1972.
209. Талько-Гринцевич Ю. Д. Заметки по антропологии северных китайцев,— «Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества», т. II, вып. 3, М., 1899.
210. Тейяр де Шарден, П. Феномен человека, М., 1965.
211. Теплоухов С. А. Палеоэтнологические исследования в Минусинском крае,— «Этнографические экспедиции 1924 и 1925 гг. (Государственный Русский музей)», Л., 1926.
212. Теплоухов С. А. Древние погребения в Минусинском крае,— «Материалы по этнографии», т. III, вып. 2, Л., 1927.
213. Теплоухов С. А. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края,— «Материалы по этнографии», т. IV, вып. 2, Л., 1929.

214. Титов В. С. Первое общественное разделение труда. Древнейшие земледельческие и скотоводческие племена,— КСИА, вып. 88, 1962.
215. Титов В. С. Роль радиоуглеродных дат в системе хронологии неолита и бронзового века Передней Азии и Юго-Восточной Европы,— «Археология и естественные науки», М., 1965.
216. Токарев С. А. К вопросу о значении женских изображений эпохи палеолита,— СА, 1961, № 2.
217. Токарев С. А. Религия в истории народов мира, М., 1965.
218. Толстов С. П. Расизм и теория культурных кругов,— «Наука о расах и расизм», М.—Л., 1938.
219. Толстов С. П. Некоторые проблемы всемирной истории в свете данных исторической этнографии,— ВИ, 1961, № 11.
220. Третьяков П. Н. Этногенический процесс и археология,— СА, 1962, № 4.
221. Тайлор Э. Б. Антропология. Введение к изучению человека и цивилизации, СПб., 1908.
222. Тэйлор Э. Первобытная культура, М., 1939.
223. У Жу-кан. Находка нижней челюсти ланьтяньского человека,— «Китай», 1964, № 2.
224. У Жу-кан, Чебоксаров Н. Н. О непрерывности развития физического типа, хозяйственной деятельности и культуры людей древнего каменного века на территории Китая,— СЭ, 1959, № 4.
225. У истоков древних культур, М.—Л., 1966.
226. У истоков человечества, М., 1964.
227. Урысон М. И. Начальные этапы становления человека,— «У истоков человечества», М., 1964.
228. Урысон М. И. Ископаемый гоминид из Республики Чад и проблема пограничных форм между австралопитековыми и древнейшими людьми,— ВА, вып. 22, 1966.
229. Фань Вэнь-лань. Древняя история Китая, М., 1958.
230. Хлобыстина М. Д. Бронзовые ножи Минусинского края и некоторые вопросы развития карасукской культуры, Л., 1962.
231. Хлопин И. Н. Некоторые вопросы развития древнейших земледельцев,— «Исследования по археологии СССР», Л., 1961.
232. Хлопин И. Н. Возникновение скотоводства и общественное разделение труда в первобытном обществе,— «Ленинские идеи в изучении истории первобытного общества, рабовладения и феодализма», М., 1970.
233. Ху Хоу-сюань. Некоторые итоги китайской эпиграфики,— «Проблемы востоковедения», 1959, № 6.
233а. Цуй Чен-яо. Неандерталоидная находка из Мапы, провинция Гуандун,— ВА, вып. 13, 1963.
234. Чайлд Г. Прогресс и археология, М., 1949.
235. Чайлд Г. Древнейший Восток в свете новых раскопок, М., 1956.
236. Чард Ч. Некоторые проблемы доисторической хронологии,— СЭ, 1967, № 2.
237. Чебоксаров Н. Н. К вопросу о происхождении китайцев,— СЭ, 1947, № 1.
238. Чебоксаров Н. Н. Северные китайцы и их соседи,— КСИЭ, вып. 5, 1949.
239. Чебоксаров Н. Н. Основные принципы антропологических классификаций,— ПЧДРЧ.
240. Чебоксаров Н. Н. Основные проблемы этнической антропологии Китая (доклад на XXV Международном конгрессе востоковедов), М., 1960.
241. Чебоксаров Н. Н. Основные этапы формирования антропологического состава населения Восточной Азии (доклад на VII МКАЭН), М., 1964.
242. Чебоксаров Н. Н. Проблемы происхождения древних и современных народов (вступительное слово на симпозиуме VII МКАЭН), М., 1964.

243. Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы, расы, культуры, М., 1971.
244. Чебоксаров Н. Н., Чеснов Я. В. Некоторые проблемы агроэтнографии Юго-Восточной Азии,— СЭ, 1967, № 3.
245. Черныш Е. К. Некоторые локальные особенности племен трипольской культуры (доклад на VII МКАЭН), М., 1964.
246. Чеснов Я. В. Юго-Восточная Азия — древний культурный центр,— ВИ, 1973, № 1.
247. Чеснов Я. В. Доместикация риса и этногенез народов Восточной Азии, М., 1973.
248. Чжан Я-цин, Керамика культуры Луншань,— «Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия общественных наук», № 1, 1972, вып. 1.
249. Членова Н. Л. Карасукская культура,— «История Сибири», т. I (макет), Улан-Удэ, 1964.
250. Членова Н. Л. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры, М., 1967.
251. Членова Н. Л. Хронология памятников карасукской эпохи, М., 1972.
252. Ши Син-бан. Новые данные о жизни наших предков в эпоху неолита,— «Народный Китай», 1957, № 7.
253. Шмидт А. В. Об использовании материалов в работах по истории материальной культуры,— СГАИМК, 1932, № 1—2.
254. Шмидт А. В. О хронологии доклассового общества,— ПИМК, 1933, №№ 1—2, 7—8.
254а. Шнирельман В. А. Некоторые проблемы происхождения и распространения животноводства,— СЭ, 1974, № 3.
255. Щетенко А. Я. Древнейшие земледельческие культуры Декана, Л., 1968.
256. Юань Кэ. Мифы древнего Китая, М., 1965.
257. Якимов В. П. Европейские неандертальцы и проблема формирования Homo Sapiens,— КСИЭ, вып. 9, 1950.
258. Яхонтов С. Е. Глоттохронология и китайско-тибетская семья языков, М., 1964.

259. Ackerman P. Ritual Bronzes of Ancient China, New York, 1945.
260. Adams R. The Origins of Agriculture,— «Horizons of Anthropology», Chicago, 1965.
261. Adams R. The Evolution of Urban Society, Chicago, 1966.
262. Adams W. Y. Invasion, Diffusion, Evolution?,— «Antiquity», 1968, vol. XLII, № 167.
263. Aitchison L. A History of Metals, London, 1960, vol. I—II.
264. Aldred C. Fine Wood-work,— HT.
265. Allchin B., Allchin R. The Birth of Indian Civilization, 1968.
266. Andersson J. G. Preliminary Description of a Bone Deposit at Choukoutien in Fang Shan Hsien. Chili Province,— «Geografiska Annaler», 1919, vol. 1.
267. Andersson J. G. A Prehistoric Village in Honan,— «The China Journal of Science and Art», 1923, № 1.
268. Andersson J. G. Prelimitary Report on Archaeological Research in Kansu, Peking, 1925.
269. Andersson J. G. Symbolism in the Prehistoric Painted Ceramics of China,— BMFEA, 1929, № 1.
270. Andersson J. G. Der Weg über die Steppen,— BMFEA, 1929, № 1.
271. Andersson J. G. Hunting Magic in the Animal Style,— BMFEA, 1932, № 4.
272. Andersson J. G. Children of the Yellow Earth, London, 1934.
273. Andersson J. G. Researches into the Prehistory of the Chinese,— BMFEA, 1943, № 15.
274. Andersson J. G. The Site of Chu Chia Chai,— BMFEA, № 17, 1945.

275. Andersson J. G. Prehistoric Sites in Honan,— BMFEA, № 19, 1947.
276. Arne T. J. Painted Stone Age Pottery from the Province of Honan China,— «Palaeontologia Sinica», ser. D, 1925, vol. 1, fasc. 2.
277. Bachhofer L. On the Origin and Development of Chinese Art,— «Burlington Magazine», vol. LXVII, 1935, № 393.
278. Bailly S. Histoire del' Astronomie ancienne, Paris, 1775.
279. Ball C. J. Chinese and Sumerian, London, 1913.
280. Barnard N. Bronze Casting and Bronze Alloys in Ancient China, Tokyo, 1961.
281. Bergman F. Archaeological Researches in Sinkiang, Stockholm, 1939.
282. Bezold C. Sze-ma Ts'ien (Ssuma Chhien) und die babylonische Astrologie,— «Ostasiatische Zeitschrift», 1919, Bd. 6.
283. Bishop C. W. The Beginnings of North and South in China,— «Pacific Affairs», 1934, vol. 7.
284. Bishop C. W. Origin and Early Diffusion of the Traction Plow, Smithsonian Report for 1937, Washington, 1938.
285. Bishop C. W. The Beginnings of Civilisation in Eastern Asia. Smithsonian Report for 1940, Washington, 1941.
286. Bishop C. W. Origin of the Far Eastern Civilization. A Brief Handbook, Washington, 1942.
287. Black D. A Note on the Physical Characters of the Prehistoric Kansu Race,— «Memoires of the Geological Survey of China», Ser. A, 1925, № 5.
288. Black D. Kansu and Honan Prehistoric Skulls,— «Palaeontologia Sinica», Ser. D, 1928, vol. 6.
289. Borhegyi S. F. de. Wheels and Man,— «Archaeology», vol. 23, 1970, № 1.
290. Borovka G. Scythian Art, New York, 1928.
291. Böttger W. Die Ursprünglichen Jagdmethoden der Chinesen, Berlin, 1960.
292. Braidwood R. J. Near East and Foundations for Civilization, Oregon, 1952.
293. Braidwood J. R., Willey G. R. Conclusions and Afterthoughts,— «Courses Toward Urban Life», New York, 1962.
294. Bromehead C. N. Mining and Quarring,— HT.
295. Bulling A. The Meaning of China's Most Ancient Art, Leiden, 1952.
296. Bushell G., McBurney C. New World Origins Seen from the Old World,— «Antiquity», vol. 33, 1959, № 130.
297. Bylin-Althin M. The Sites of Ch'i chia p'ing and Lo han t'ang,— BMFEA, 1946, № 18.
298. Campbell J. The Masks of God: Primitive Mythology, New York, 1959.
299. Chalmers J. The Origin of the Chinese, Hongkong, 1866.
300. Chang Kwang-chih. Chinese Prehistory in Pacific Perspectives: Some Hypothesis and Problems,— HJAS, 1959, vol. 22.
301. Chang Kwang-chih. China,— Curses Toward Urban Life, New York, 1962.
302. Chang Kwang-chih. The Archaeology of Ancient China, New Haven, 1964.
303. Chang Kwang-chih. Relative Chronologies of China to the End of Chou,— «Chronologies in Old World Archaeology», Chicago, 1965.
304. Chang Kwang-chih. Preliminary Notes on the Excavations in Formosa, 1964—65,— AP, 1966, vol. IX.
305. Chang Kwang-chih. The Archaeology of Ancient China, New Haven, 1968.
306. Chang Kwang-chih. Fengpiton, Tapenkeng and the Prehistory of Taiwan, New Haven, 1969.
307. Chang Kwang-chih. The Beginnings of Agriculture in the Far East,— «Antiquity», vol. XLIV, 1970, № 175.
308. Chard C. Early Radiocarbon Dates for Pottery in Japan and their Implications,— Труды VII МКАЭН, т. 5, М., 1970.

309. Chavannes Ed. Les documents chinois découverts par A. Stein dans les sables du Turkestan oriental, Oxford, 1913.
310. Chavannes Ed. Mission archéologique dans la China septentrionale, Paris, vol. I, 1913, vol. II, 1915.
311. Chëng Të-k'un. Archaeology in China, vol. I, Prehistoric China, Cambridge, 1959.
312. Chëng Të-k'un. Archaeology in China, vol. 2, Shang China, Cambridge, 1960.
313. Chëng Të-k'un. Animal Styles in Prehistoric and Shang China,— BMFEA, № 35, 1963.
314. Chëng Të-k'un. New Light on Prehistoric China, Supplement to Volume One, Cambridge, 1966.
315. Chëng Të-k'un. The Beginning of Chinese Civilization,— «Antiquity», vol. XLVII, 1973, № 187.
316. Chëng Të-k'un. The Origin and Development of Shang Culture,— «Asia Major», vol. 6, 1957.
317. Chëng Të-k'un. The Prehistory of China,— «T'oung Pao», vol. LX, 1974, № 1—3.
318. Chëng Të-k'un. New Light on Shang China,— «Antiquity», vol. XLIX, 1975, № 193.
319. Ch'êng-tzu-yai. The Black Pottery Culture Site at Lung-shan-chën in Li-ch'êng-hsien, Shantung Province, New Haven, 1956.
320. Childe V. G. A Short Introduction to Archaeology, New York, 1958.
321. Childe V. G. Eurasion Shaft-hole Axes,— ESA, vol. IX, 1934.
322. Childe V. G. A Prehistorian's Interpretation of Diffusion,— «Independence, Convergence, and Borrowing in Institutions, Thought and Art», Cambridge (Mass.), 1937.
323. Childe V. G. The Urban Revolution,— «Town Planning Review», vol. XXI, 1950.
324. Childe V. G. Early Forms of Society,— HT.
325. Childe V. G. Rotary Motion,— HT.
326. Childe V. G. Wheeled Vehicles,— HT.
327. Childe V. G. Piecing together the Past, London, 1956.
328. Childe V. G. The Socketed Celt in Upper Eurasia,— «The Annual Report of the Institute of Archaeology», London, 1958.
329. Coghlan H. H. Metal Implements and Weapons,— HT.
330. Cole S. M. Differentiation of Non-metallic Tools,— HT.
331. Cole S. M. Land Transport without Wheels, Roads and Bridges,— HT.
332. Cole S. M. The Neolithic Revolution, London, 1959.
333. Consten E. (ред.). The Archaeology of Ancient China. By Kwang-chih Chang, rev. ed., 1968,— JAOS, vol. 93, 1973, № 2.
334. Coon C. S. The Origin of Races, New York, 1962.
335. Cordier H. Histoire générale de la China, Paris, 1920, vol. I.
336. Coulborn R. The Origin of Civilized Societies, Princeton, 1959.
337. Creel H. G. Les récents progrès de l'archéologie en Chine,— RAA, t. IX, 1935, № 2.
338. Creel H. G. Studies in Early Chinese Culture, Baltimore, 1937.
339. Curwen E. C., Hatt G. Plough and Pasture, New York, 1953.
340. Dani A. H. Prehistory and Protohistory of Eastern India, Calcutta, 1940.
341. Daniel G. The First Civilizations. The Archaeology of Their Origins, London, 1968.
342. Deguines. Mémoire dans lequel on prouve que les Chinois sont une colonie égyptienne, Paris, 1758.
343. Dewall M. Pferd und Wagen in China, Bonn, 1964.
344. Diez E. The Ancient Worlds of Asia. From Mesopotamia to the Yellow River, London, 1961.
345. Downs J. F. The Origin and Spread of Riding in the Near East and Central Asia,— «American Anthropologist», vol. 63, 1961, № 6.
346. Drower M. S. Water-supply, Irrigation and Agriculture,— HT.

347. Du Halde J. B. Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise, s. l., 1736.
348. Eberhard W. Early Chinese Cultures and Their Development: A New Working Hypothesis,— «Annual Report of the Smithsonian Institution», Washington, 1937.
349. Eberhard W. Lokalkulturen im alten China, Bd I. Die Lokalkulturen des Nordens und Westerns, Leiden, 1942.
350. Eberhard W. Lokalkulturen im alten China, Bd II. Die Lokalkulturen des Südens und Ostens, Peking, 1942.
351. Eberhard W. A History of China, Berkeley — Los Angeles, 1950.
352. Eberhard W. The Formation of Chinese Civilization According to Socio-Anthropological Analysis,— «Sociologus», vol. 7, 1957, № 2.
353. Eberhard W. Settlement and Social Change in Asia, Hong Kong, 1967.
354. Edkins J. China's Place in Philology: An Attempt to Show that the Languages of Europe and Asia Have a Common Origin, London, 1871.
355. Egami N., Migration of Cowrie-Shell Culture in East Asia,— «Acta Asiatica», vol. 26, 1974.
356. Erkes E. Das Pferd im Alten China,— «T'oung Pao», 1940, vol. 35.
357. Fairbank W. Adventures in Retrieval, Cambridge (Mass.), 1972.
358. Fairservis W. A. The Origins of Oriental Civilization, New York, 1959.
359. Fairservis W. A. The Roots of Ancient India, New York, 1971.
360. Fitzgerald C. P. China. A Short Cultural History, London, 1935.
361. Forbes R. J. Man the Maker. A History of Technology and Engineering, London, 1950.
362. Forbes R. J. Extracting, Smelting and Alloying,— HT.
363. Forde D. Foraging, Hunting and Fishing,— HT.
364. Forke A. Der Ursprung der Chinesen auf Grund ihrer alten Bilder Schrift, Hamburg, 1925.
365. Franke O. Die prähistorischen Funde in Nord China und die älteste chinesische Geschichte,— MSOS, Jg XXIX, 1926, Abt. 1.
366. Frankfort H. The Birth of Civilization in the Near East, Bloomington, 1951.
367. Fried M. H. On the Evolution of Social Stratification and the State,— «Culture in History: Essays in Honor of Paul Radin», New York, 1960.
368. Fuchs St. The Origin of Man and His Culture, Bombay, 1963.
369. Gale E. M. Basics on the Chinese Civilization, Shanghai, 1934.
370. Gaul J. H. Observations on the Bronze Age in the Yenisei Valley, Siberia,— «Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology», Harvard, 1943, vol. XX.
371. Gimbutas M. Bronze Age Cultures in Central and Eastern Europe, The Hague, 1965.
372. Goloubew V. L'archéologie du Tonkin et les fouilles de Döng-són, Hanoi, 1937.
373. Goodrich L. C. China's Earliest Contacts with Other Parts of Asia, Canberra, 1962.
374. Graebner F. Methode der Ethnologie, Heidelberg, 1911.
375. Green R. C. Chinese-Pacific Relations (in the Neolithic),— «China and Its Place in the World», Aucland, 1967.
376. Grousset R. L'empire des steppes (Attila, Gengis-khan, Tamerlan), Paris, 1939.
377. Hamada K., Mizuno S. Hung-shan-hou, Tokyo, 1938.
378. Harrison H. S. Discovery, Invention and Diffusion,— HT.
379. Hashimoto M. Ueber die astronomische Zeiteinteilung im alten China, Tokyo, 1943.
380. Hawkes J. Prehistory,— «History of Mankind», vol. I, 1963, pt 1, London.
381. Hays H. R. In the Beginnings. Early Man and His Gods, New York, 1963.

382. Heine-Geldern R. L'art préboudhique de la Chine et de l'Asie du Sud-Est et son influence en Océanie,— RAA, vol. XI, 1937, № 4.
383. Heine-Geldern R. China, die ostkaspische Kultur und die Herkunft der Schrift,— «Paideuma», Bd 4, 1950.
384. Heine-Geldern R. Das Tocharenproblem und die Pontische Wanderung,— «Saeculum», Bd II, 1951, Heft 2.
385. Heine-Geldern R. Der Ursprung der alten Hochkulturen und die Theorien Toynbees,— «Diogenes», № 13, 1956.
386. Helbaek H. Domestication of Food Plants in the Old World,— «Science», 1959, vol. 130.
387. Hentze C. Objects rituels, croyances et dieux de la Chine antique et de l'Amérique, Anvers, 1936.
388. Hentze C. Frühchinesische Bronzen und Kultdarstellungen, Antwerpen, 1937.
389. Hentze C. Die Sakralbronzen und ihre Bedeutung in den frühchinesischen Kulturen, Antwerpen, 1941, Bd 1—2.
390. Hentze C. Bronzegerät, Kultbauten, Religion im ältesten China der Shang-Zeit, Antwerpen, 1951, Bd 1—2.
391. Hentze C. Das Ritual der Wiederbelebung durch die «neue Haut»,— «Sinologica», Bd VI, 1959, № 2.
392. Hentze C. Gods and Drinking Serpents,— «History of Religions», vol. IV, 1965, № 2.
393. Hentze C. Funde in Alt-China, Göttingen, 1967.
394. Herskovits M. J. Acculturation. The Study of Culture Contact, New York, 1938.
395. Herzfeld E. Iran in the Ancient East, London — New York, 1941.
396. Hirth F. The Ancient History of China, New York, 1923.
397. Hooke S. H. Recording and Writing,— HT.
398. Hooton E. A. Up from the Ape, New York, 1947.
399. Hopkins. Chinese and Sumerian,— «Proceedings of the Society of Biblical Archaeology», vol. 26—27, 1914—1915.
400. Hsia Nai. Archaeology in New China,— «Antiquity», vol. 37, 1963, № 147.
401. Hummel A. W. The Autobiography of a Chinese Historian, Leiden, 1931.
402. Hyams Ed. Soil and Civilization, London — New York, 1952.
403. Indreco R. von. Mesolithische und frühneolithische Kulturen in Osteuropa und Westsibirien, Stockholm, 1964.
404. Izikowitz K. G. Notes about the Tai,— BMFEA, № 34, 1962.
405. James E. O. Prehistoric Religion, London, 1957.
406. Janse O. L'empire des steppes et les relations entre l'Europe et l'Extrême-Orient dans l'antiquité,— RAA, vol. IX, 1935, № 1.
407. Jettmar K. The Karasuk Culture and Its South-Eastern Affinities,— BMFEA, № 22, 1950.
408. Kao Chü-hsün, The Royal Cemetery of the Yin Dynasty at Anyang,— «Каогу жэньлэй сюэкань», Тайбэй, 1959, № 13—14.
409. Karlbeck O. Notes on the Archaeology of China,— BMFEA, № 2, 1930.
410. Karlbeck O. Anyang Marble Sculptures,— BMFEA, № 7, 1935.
411. Karlgren B., Philology and Ancient China, Oslo, 1926.
412. Karlgren B. Some Fecundity Symbols in Ancient China,— BMFEA, № 2, 1930.
413. Karlgren B. Yin and Chou in Chinese Bronzes,— BMFEA, № 8, 1936.
414. Karlgren B. New Studies on Chinese Bronzes,— BMFEA, № 9, 1937.
415. Karlgren B. Grammata Serica,— BMFEA, № 12, 1940.
416. Karlgren B. The Date of Early Dong-son Culture,— BMFEA, № 14, 1942.
417. Karlgren B. Some Ritual Objects of Prehistoric China,— BMFEA, № 14, 1942.
418. Karlgren B. Some Weapons and Tools of the Yin Dynasty,— BMFEA, № 17, 1945.

419. Karlgren B. The Book of Documents,— BMFEA, № 22, 1950.
420. Karlgren B. Grammata Serica Recensa,— BMFEA, № 29, 1957.
421. Karlgren B. Some Characteristics of the Yin Art,— BMFEA, № 34, 1962.
422. Keesing F. M. Cultural Anthropology. The Science of Custom, New York, 1958.
423. Kidder J. E., Japan before Buddhism, New York, 1966.
424. Kircher A. La Chine d'Athanase Kirchere, Amsterdam, 1670.
425. Klaproth J. Mémoires relatifs à l'Asie, Paris, 1926, vol. 1—2.
426. Kroeber A. L. Anthropology. Race. Language. Culture. Psychology. Prehistory, New York, 1948.
427. Kroeber A. L. The Nature of Culture, Chicago, 1952.
428. Kuo P. C. Folksways in Prehistoric China,— «Tien Hsia Monthly», vol. IV, 1937, № 2.
429. Lacouperie T. de. Early History of the Chinese Civilization, London, 1880.
430. Lacouperie T. de. The Languages of China before the Chinese, 1887.
431. Lacouperie T. de. Western Origin of the Early Chinese Civilisation, from 2300 B. C. to 200 A. D., London, 1894.
432. Laet S. J. de. L archéologie et ses problèmes, Bruxelles, 1954.
433. Lamberg-Karlovsky C. C. Archaeology and Metallurgical Technology in Prehistoric Afghanistan, India and Pakistan,— «American Anthropologist», vol. 69, 1967, № 2.
434. Laming A. La découverte du passé. Progrès récents et techniques nouvelles en préhistoire et en archéologie, Paris, 1952.
435. Lane G. S. Tocharian: Indo-European and Non-Indo-European Relationship,— G. Cardona. Indo-European and Indo-Europeans, Philadelphia, 1970.
436. Lattimore O. Inner Asian Frontiers of China, New York, 1940.
437. Leach E. R. Primitive Time-Reckoning,— HT.
438. Leakey L. S. B., Working Stone, Bone and Wood,— HT.
439. Leakey L. S. B., Graphic and Plastic Arts,— HT.
440. Legge J., The Chinese Classics, Hongkong—London, 1861—1872, vol. 1—7.
441. Leroi-Gourhan A., L'art animalier dans les bronzes chinois,— RAA, t. IX, 1935, № 4.
442. Leroi-Gourhan A., Milieu et Techniques, Paris, 1945.
443. Levenson J. R., Schurmann F. China: An Interpretive History. From the Beginnings to the Fall of Han, Berkeley — Los Angeles, 1969.
444. Li Chi. The Formation of the Chinese People, Cambridge, 1928.
445. Li Chi. Importance of the Anyang Discoveries in Prefacing Known Chinese History with a New Chapter,— «Preceedings of the Eighth Pacific Science Congress», vol. I, Quezon City (Philippines), 1955.
446. Li Chi. The Beginnings of Chinese Civilization, Seattle, 1957.
447. Linton R. The Tree of Culture, New York, 1955.
448. Lloyd S. Building in Brick and Stone,— HT.
449. Loehr M. Zur Ur- und Vorgeschichte Chinas,— «Saeculum», Bd III, 1952.
450. Loehr M. Chinese Bronze Age Weapons, Ann Arbor, 1956.
451. Loehr M. The Stratigraphy of Hsiao-T'un (Anyang). With a Chapter on Hsiao-T'un Foundation Burials and Yin Religious Customs,— «Ars Orientalis», 1957, vol. 2.
452. Marett R. R. The Diffusion of Culture, Cambridge, 1927.
453. Maringer J. Contribution to the Prehistory of Mongolia, Stockholm, 1950.
454. Martin J. A Geography of Asia, London, 1932.
455. Maryon H., Plenderleith H. J. Fine Metal-work,— HT.
456. Maspero H. Les commencements de la civilisation chinoise,— «Mélanges posthumes sur les religions et l'histoire de la Chine», pt III. Etudes historiques, Paris, 1950.

457. Maspéro H. Influences occidentales en Chine avant les Han,— «Mélanges posthumes sur les religions et l'histoire de la Chine», pt III. Etudes historiques, Paris, 1950.
458. Mellaart J. Earliest Civilizations of the Near East, London, 1965.
459. Mellaart J. The Earliest Settlements in Western Asia, Cambridge, 1967.
460. Mellaart J. Čatal Hüyük. A Neolithic Town in Anatolia, London, 1967.
461. Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages etc. des Chinois, Paris, 1776—1788.
462. Michael H. N. The Neolithic Age in Eastern Siberia, Philadelphia, 1958.
463. Minns E. H. Small Bronzes from Northern Asia,— «The Antiquaries Journal», vol. X, 1930, № 1.
464. Minns E. H. The Art of the Northern Nomads,— «Proceedings of the British Academy», vol. XXVIII, London, 1942.
465. Movius H. L. The Lower Palaeolithic Cultures of Southern and Eastern Asia,— «Transactions of the American Philosophical Society», N. Ser, vol. 38, 1948, pt. 4, Philadelphia, 1949.
466. Movius H. L. The Old Stone Age,— «Man, Culture and Society», New York, 1956.
467. Needham J. Science and Civilization in China, vol. 1, Cambridge, 1954.
468. Needham J. Science and Civilization in China, vol. 2, Cambridge, 1956.
469. Neugebauer O. Ancient Mathematics and Astronomy,— HT.
470. Neustupný E. A New Epoch in Radiocarbon Dating, — «Antiquity», vol. XLIV, 1970.
471. Oakley K. P. Skull as a Human Possession,— HT.
472. Palmgren N. Kansu Mortuary Urns of the Pan-shan and Mach'ang Groups, Peking, 1934.
473. Parker E. H. Ancient China Simplified, London, 1908.
474. Paulson I., Hultkrantz A., Jettmar K. Die Religionen Nordeurasiens und der amerikanischen Arktis, Stuttgart, 1962.
475. Pearson R. S. Radiocarbon Dates from China,— «Antiquity», vol. XLVII, 1973, № 186.
476. Pelliot P. The Royal Tombs of Anyang. Studies in Chinese Art and Some Indian Influences, London.
477. Perry W. J. The Children of the Sun. A Study in the Early History of Civilization, London, 1923.
478. Piggott S. Chariots in the Caucasus and in China,— «Antiquity», vol. XLVIII, 1974, № 189.
479. Ponosov V. V. Evidences of Prehistoric Man on the Bones of Fossil Mammals from Ku-hsiang-t'un, Harbin, 1933.
480. Prusek J. Les récentes théories d'Eberhard sur les origines de la civilisation chinoise,— «Archiv Orientalni», № 21, 1953.
481. Pulleyblank E. G. Chinese and Indo-Europeans,— JRAS, 1966, pt 1—2.
482. Rainey F. Science and Archaeology,— «Archaeology», vol. 27, 1974, № 1.
483. Redfield R. The Primitive World and its Transformations, New York, 1957.
484. Reed C. A. Animal Domestication in the Prehistoric Near East, — «Science», 1959, vol. 130.
485. Reinecke P. Über Beziehungen der Altertümer Chinas zu denen des Skythisch Sibirischen Völkerkreises,— ZE, Bd. XXIX, 1897, h. 5.
486. Richthofen F. China, Berlin, 1877, Bd. I.
487. Ross J. The Origin of the Chinese People, London, 1916.
488. Rostovtzeff M. The Animal Style in South Russia and China, Princeton, 1929.
489. Roes A. Achaemenid Influence upon Egyptian and Nomad Art, — AA, vol. XV, 1952, № 1—2.
490. Rydh H. Symbolism in Mortuary Ceramics,— BMFEA, № 1, 1929.

491. Rydh H. Seasonal Fertility Rites and the Death Cult in Scandinavia and China,— BMFEA, № 3, 1931.
492. Salmony A. Die alte Kunst Sibiriens und ihre Beziehungen zu China,— «Sinica», Bd VI, 1931, № 4.
493. Salmony A. Sino-Siberian Art in the Collection of C. T. Loo, Paris, 1933.
494. Salmony A. Notes on the Iconography of the Shang Period,— RAA, t. XI, 1937, № 2.
495. Salmony A. Notes on a «Kamennaya Baba»,— AA, vol. XIII, 1950, № 1—2.
496. Sankalia H. D. India,— «Courses Toward Urban Life», New York, 1962.
497. Sankalia H. D. Indian Archaeologia To-day, New York, 1962.
498. Sankala H. D. New Light on the Indo-Iranian or Western Asiatic Relations Between 1700 B. C.— 1200 B. C.— AA, vol. XXVI, 1963, № 3—4.
499. Sauer C. O. Agricultural Origins and Dispersals, New York, 1952.
500. Sauer C. O. Agricultural Origins and Dispersals, 2nd ed., Cambr. Mass., 1969.
501. Saussure L. de. Le Système Cosmologique Sino-Iranien, — «Journal Asiatique», 12 ser, 1923, t. 202.
502. Schaeffer G. F. A. Stratigraphie Comparée et Chronologie de l'Asie Occidentale, London, 1948.
503. Schirokogoff S. M. New Contribution to the Problem of the Origin of Chinese Culture,— «Anthropos», t. XXVI, 1931.
504. Schlegel G. Sinico-Aryaca ou Recherches sur les racines primitives dans les Langues Chinoises et Aryennes. Batavia, 1872.
505. Schlegel G. Uranographic Chinoise, La Haya — Leyde, 1875, 2 vols.
506. Schmidt W. The Culture Historical Method of Ethnology, New York, 1939.
507. Scott L. Pottery,— HT.
508. Smith G. E. The Diffusion of Culture,— «Culture. The Diffusion Controversy», New York, 1927.
509. Smith G. E. The Migrations of Early Culture, Manchester, 1929.
510. Solheim W. G. II. Southeast Asia and the West,— «Science», vol. 157, 1967, № 3791.
511. Solheim W. G. II. New Directions in Southeast Asian Prehistory,— «Anthropologica», N. S., vol. XI, 1969, № 1.
512. Solheim W. G. II. Reworking Southeast Asian Prehistory,— «Paideuma», Bd XV, 1969.
513. Solheim W. G. II. Prehistoric Archaeology in Eastern Mainland. Southeast Asia and the Philippines,— AP, vol. XIII, 1972.
514. Solheim W. G. II. Northern Thailand, Southeast Asia and World Prehistory,— AP, vol. XIII, 1972.
515. Sommarström B. The Site of Ma-Kia-Yao,— BMFEA, № 28, 1956.
516. Sommerfelt A. Speech and Language,— HT.
517. Soper A. W. Eberhard on Chinese Art,— JAOS, vol. 71, 1951, № 1.
518. Sorre M. Les migrations des peuples, Paris, 1955.
519. Stein A. Innermost Asia. Detailed Report of Exploration in Central Asia, Kan-su and Eastern Iran, Oxford, 1928.
520. Steward J. H. Theory of Culture Change. The Methodology of Multilinear Evolution, Illinois, 1955.
521. Stover L. E. The Cultural Ecology of Chinese Civilization, New York, 1974.
522. Teilhard de Chardin. Early Man in China, Peking, 1941.
523. Ting V. K. How China Acquired her Civilization,— «Symposium on Chinese Culture», ed. by S. H. Chen Zen, Sh., 1931.
524. Tokunaga S. Naora N. Palaeolithic Artifacts Excavated at Ho-chia-kou in Ku-hsiang-t'un, Tokyo, 1936.
525. Tong Te-kong, Traditional Chinese Historiography and its Transformation under Communism, Oxford, 1964.

526. Toynbee A. A Study of History, London, 1934 (1955), vol. I.
527. Treistman J. M. China at 1000 B. C. A Cultural Mosaic,— «Science», vol. 160, 1968.
528. Treistman J. M. «Chu-chia-ling» and the Early Cultures of the Hanshui Valley, China,— AP, vol. XI, 1970.
529. Treistman J. M. The Prehistory of China, New York, 1972.
530. Treistman J. M. The Early Cultures of Szechwan and Yunnan, Ithaca, 1974.
531. Trombetti A. Elementi di glottologia, Bologna, 1922.
532. Tse Tsan Tai. The Creation. The Real Situation of Eden and the Origin of the Chinese, Hongkong, 1914.
533. Ulenbrook J. Einige Übereinstimmungen zwischen dem Chinesischen und dem Indogermanischen (Vorläufiger Bericht),— «Anthropos», vol. 62, 1967, № 3—4.
534. Ulenbrook J. Zum Chinesischen Wort hüe für «Blut»,— «Anthropos», vol. 63—64, 1968—1969, № 1—2.
535. Ulenbrook J. Zum Chinesischen Wort ti,— «Anthropos», vol. 65, 1970, № 3—4.
536. Ulving T. Indo-European Elements in Chinese?— «Anthropos», vol. 63—64, 1968—1969, № 5—6.
537. Umehara S. Antiquities Exhumed from the Yin Tombs outside Chang Tê Fu in Honan Province,— AA, vol. XIII, 1950, № 3.
538. Umehara S. L'analyse chimique des bronzes anciens de la Chine, [s. l., s. a.].
539. Vallois H. V. Les races humaines, Paris, 1951.
540. Vallois H. V. La grotte de Fontechevade, Paris, 1959.
541. Vasilyev L. S. Certain Aspects of Ancient Chinese Religion, Moscow, 1967.
542. Ward W. A. Relations between Egypt and Mesopotamia from Prehistoric Times to the end of the Middle Kingdom,— «Journal of the Economic and Social History of the Orient», vol. VII, 1964, pt. I, pt. II.
543. Waterbury F. Bird-Deities in China, Ascona, 1952.
544. Watson W. Archaeology in China, London, 1960.
545. Watson W. China before the Han dynasty, London, 1961.
546. Weidenreich F. On the Earliest Representatives of Modern Mankind Recovered on the Soil of East Asia,— «Bulletin of the Natural History Society of Peking», t. XIII, 1939.
547. Weidenreich F. The Skull of Sinanthropus Pekinensis: A Comparative Study on a Primitive Hominid Skull,— «Palaeontologia Sinica», ser. D, № 10, Chungking (Printed in USA, Lancaster, Pa), 1943.
548. Werner E. T. A History of Chinese Civilization, Shanghai, 1940.
549. White H. W. Chinese and Sumerian,— «The New China Review», vol. II, 1920, № 1.
550. White W. Ch. Bronze culture of Ancient China, Toronto, 1956.
551. Williams S. W. A History of China, New York, 1897.
552. Woo Ju-kang. Human Fossils Found in China and their Significance in Human Evolution,— «Scientia Sinica», vol. V, 1956, № 2.
553. Woolley L. The Beginnings of Civilizations,— «History of Mankind», Vol. I, 1963, pt. 2, London.
554. Wu Gin-ding. Prehistoric Pottery in China, London, 1938.
555. Wu Xin-zhi. On the Racial Types of the Upper Cave Man of Choukoutien,— «Scientia sinica», vol. X, 1961, № 8.
556. Zeuner F. E. Cultivation of Plants,— HT.
557. Zeuner F. E. Domestication of Animals,— HT.
558. Zeuner F. E. A History of Domesticated Animals, London, 1963.

559. Ань Цзинь-хуай. О фундаменте шанской городской стены в Чжэнчжоу (городище Ао),— «Вэньу», 1961, № 4—5.
560. Ань Цзинь-хуай. Обследование и предварительные раскопки нео-

литических стоянок в Баньцяо, уезд Миян, провинция Хэнань,— «Каогу», 1965, № 9.
561. Ань Чжи-минь. Сообщение о находках осенью 1952 г. в Чжэнчжоу, Эрлиган,— КГСБ, 1954, т. VIII.
562. Ань Чжи-минь. Каменные ножи в древнем Китае,— КГСБ, 1955, т. X.
563. Ань Чжи-минь. Древние культуры Ганьсу и связанные с ними проблемы,— КГТС, 1956, № 6.
564. Ань Чжи-минь (рец.) Bo Sommarström, The Site of Ma-Kia Yao,— КГТС, 1958, № 1.
565. Ань Чжи-минь. Основные достижения в изучении китайского неолита,— «Вэньу», 1959, № 10.
566. Ань Чжи-минь. О неолитических культурах в бассейне Хуанхэ,— «Каогу», 1959, № 10.
567. Ань Чжи-минь. Китайские неолитические культуры Яншао и Луншань,— ЛШЦС, 1960, № 8.
568. Ань Чжи-минь. К вопросу об анализе орнамента расписной керамики Яншао из Мяодигоу,— «Каогу», 1961, № 7.
569. Ань Чжи-минь. Предварительное обследование палеолитической стоянки в пещере Сяонаньхай, близ Аньяна, провинция Хэнань,— КГСБ, 1965, № 1.
570. Ань Чжи-минь. О проблемах датировки первобытных культур Китая,— «Каогу», 1972, № 1.
571. Ань Чжи-минь, У Жу-цзо. Следы каменного века в Чжаои и Дали, близ Шаюань, провинция Шэньси,— КГСБ, 1957, № 3.
572. Аньян фацзюэ баогао, Пекин — Нанкин, 1929—33, I—IV тт.
573. Археология в новом Китае (Синь Чжунго-ды каогу шоуху), Пекин, 1961.
574. Важнейшие итоги второго тура раскопок в Люцзычжэнь, уезд Хуасянь, провинция Шэньси (Шэньси Хуасянь... эрци),— «Каогу», 1959, № 11.
575. Ван Ин. Сообщение об археологическом обследовании и выборочных раскопках в Цзиньпиншань, близ Синьхайляньши, провинция Цзянсу,— «Каогу», 1960, № 3.
576. Ван Ин, Ю Чжэнь-яо, Второй сезон раскопок стоянки Эрцяньцунь, близ Ляньюньганши, провинция Цзянсу,— «Каогу», 1962, № 3.
577. Ван Сы-ли. Обследование неолитических стоянок в Цюйво, провинция Шаньдун,— «Каогу», 1963, № 7.
578. Ван Сы-ли. Обследование неолитических стоянок Тунъюй и Хуюй, уезд Аньцю, провинция Шаньдун,— «Каогу», 1963, № 10.
579. Ван Сы-ли, Цзян Ин-цзюй. Сообщение о неолитических погребениях из Ганшанцунь, уезд Тэнсянь, провинция Шаньдун,— «Каогу», 1963, № 7.
580. Ван Цзинь и др. Сообщение о неолитических стоянках, обнаруженных в районе строительства водохранилища Шилунгоцзян, уезд Цзиншань, провинция Хубэй,— ВУЦКЦЛ, 1955, № 4.
581. Ван Цзэ-и. Палеолитические орудия из Хосянь, провинция Шаньси,— ГГ, 1965, т. IX, № 4.
582. Ван Цзя-шу. Искусство расписной керамики в китайском неолите,— ЛШЦС, 1962, № 12.
583. Ван Чжэнь. О групповом и парном браке у насельников культуры Яншао,— «Каогу», 1962, № 7.
584. Ван Шань-цай. Первый сезон раскопок неолитической стоянки Чжуцзяцзюй, уезд Цзиншань, провинция Хубэй,— «Каогу», 1964, № 5.
585. Ван Юй-ган и др. Доклад о раскопках шанской стоянки в Шанцзе, близ Чжэнчжоу, провинция Хэнань,— «Каогу», 1966, № 1.
586. Ван Юй-пин. Новые находки палеолита в южной части уезда Имин, Внутренняя Монголия,— «Каогу», 1961, № 10.
587. Ван Юй-пин. К вопросу о палеолите в центральной и южной части Внутренней Монголии,— «Каогу», 1962, № 11.
588. Ван Юй-пин. Неолитическая стоянка в Ваяоцунь, Даратский хошун, уезд Имин, Внутренняя Монголия,— «Каогу», 1963, № 1.
589. Вопросы надежности радиокарбонных датировок,— «Каогу», 1974, № 5.

590. Вэй Цзин-у. Сообщение о раскопках в 1961 г. неолитической стоянки Лицзяцунь, уезд Сисян, провинция Шэньси,— «Каогу», 1962, № 6.
591. Гао Гуан-жэнь, Жэнь Ши-нань. Сообщение о первом сезоне раскопок стоянки Сисяхоу в Цюйво, провинция Шаньдун,— КГСБ, 1964, № 2.
592. Гао Тянь-линь. Обследование нескольких неолитических стоянок в низовьях р. Ихэ,— «Каогу», 1964, № 1.
593. Го Бао-цзюнь. Бронзовый век в Китае (Чжунго цинтун ци шидай), Пекин, 1963.
594. Го Дэ-юн. Археологическое обследование уездов Вэйюань, Лунси и Ушань в верховьях Вэйхэ, провинция Ганьсу,— КГТС, 1958, № 7.
595. Го Дэ-юн. Сообщение об археологическом обследовании района р. Сиханьшуй, провинция Ганьсу,— «Каогу», 1959, № 3.
596. Го Дэ-юн. Археологическое обследование притоков р. Вэй в провинции Ганьсу — Наньхэ, Баншахэ и Чжанхэ,— «Каогу», 1959, № 7.
597. Го Дэ-юн. Сообщение об обследовании стоянок Гоцзячжуан и Моцзюйцзы в уезде Увэй, провинция Ганьсу,— «Каогу», 1959, № 11.
598. Го Дэ-юн. Доклад о раскопках стоянки Хуаннянняньтай, уезд Увэй, провинция Ганьсу,— КГСБ, 1960, № 2.
599. Го Мо-жо. Критическое изучение древних надписей,— «Каогу», 1972, № 3.
600. Го Мо-жо и др. Обнаружение и изучение останков человека в Китае (Чжунго жэньлэй хуашиды фасянь юй яньцзю), Пекин, 1955.
601. Го Юань-вэй. Обследование и раскопки неолитических стоянок и могильников в 1962 г. в уезде Ваньнянь, провинция Цзянси,— «Каогу», 1963, № 12.
602. Гу Цзе-ган. Критическое изучение древней истории (Гу ши бянь), Пекин, 1926—1935.
603. Дай Цзунь-дэ. Сообщение о стоянке Ицзинцунь, близ Тайюань,— «Каогу», 1961, № 4.
604. Дай Эр-цзянь. Палеолитические орудия из Гунванлин и соседних местностей близ Ланьтянь, провинция Шэньси,— ГГ, 1965, т. X, № 1.
605. Дай Эр-цзянь, Сюй Чунь-хуа. Новые данные о ланьтяньском палеолите и культура ланьтяньского человека,— КГСБ, 1973, № 2.
606. Доклад о раскопках в Фэнси (Фэнси фачу баогао), Пекин, 1962.
607. Доклад о раскопках весной 1972 г. стоянки Цзянцай, в Линьтун,— «Каогу», 1973, № 3.
608. Жао Хуэй-юань. К вопросу о некоторых неолитических стоянках в провинциях Гуандун и Цзянси,— «Каогу», 1965, № 10.
609. Жэнь Бу-юнь. Остатки неолитических строений в уезде Циньань, провинция Ганьсу,— КГТС, 1958, № 5.
610. Жэнь Бу-юнь. Обследование нескольких неолитических стоянок в районе Ланьчжоу,— «Каогу», 1959, № 7.
611. Инь Да. Эпоха неолита в Китае (Чжунго синь шици шидай), Пекин, 1955.
612. Инь Да. Итоги и перспективы археологии неолита,— «Каогу», 1963, № 11.
613. Инь Хуань-чжан, Чжан Чжэн-сян. Первый сезон раскопок неолитической стоянки Люлинь, уезд Писянь, провинция Цзянсу,— КГСБ, 1962, № 1.
614. Инь Хуань-чжан, Чжан Чжэн-сян. Археологическое обследование района оз. Хунцзэ,— «Каогу», 1964, № 5.
615. Инь Хуань-чжан, Чжан Чжэн-сян, Цзи Чжун-да. Сообщение о раскопках стоянки Дадуньцзы, близ Сыхучжэнь, уезд Писянь, провинция Цзянсу,— КГСБ, 1964, № 2.
616. Инь Хуань-чжан, Чжао Цин-фан. Археологическое обследование района Хуайинь,— «Каогу», 1963, № 1.
616а. Инь Хуань-чжан, Юань Ин, Цзи Чжун-да. Повторные раскопки неолитической стоянки Люлинь, уезд Писянь, провинция Цзянсу,— КГСБ, 1965, № 2.

617. К вопросу о геологической датировке черепа цзыянского человека (Цзыян жэнь...),— КГСБ, 1974, № 2.
618. Кан Цзе (рец.) Chêng Tê-k'un, Archaeology in China, vol. I, Prehistoric China — «Каогу», 1959, № 5.
619. Ли Фэй-жань. Изучение перемещений народностей в древнем Китае,— «Синь Ясия», 1936, № 5.
620. Ли Ши-гуй. Сообщение о последующих раскопках яншаоской стоянки Сямэнцунь, уезд Биньсянь, провинция Шэньси,— «Каогу», 1962, № 6.
621. Ли Ши-гуй, Цзэн Ци. К вопросу о характере и датировке яншаоского культурного слоя в Саньлицяо,— «Каогу», 1965, № 11.
622. Ли Юй-чунь. Сообщение о раскопках в Хэнчжэнь, уезд Хуаинь, провинция Шэньси,— «Каогу», 1960, № 9.
623. Ли Ян-сун. Доклад об археологическом обследовании южного берега р. Ихэ, уезд Яньши, провинция Хэнань,— «Каогу», 1964, № 11.
624. Ли Ян-сун. Сообщение об обследовании неолитической стоянки Ихэцунь, близ Танцяо, уезд Линьтун, провинция Шэньси,— «Каогу», 1965, № 9.
625. Ли Ян-сун, Янь Вэнь-мин. Сообщение о раскопках стоянки Ванвань близ Лояна,— «Каогу», 1961, № 4.
626. Ли Янь-юань. К итогам споров о культуре Яншао,— ЛШЦС, 1964, № 4.
627. Линь И-пу. Останки древнего человека из Линьчжи, уезд Тагун, Тибет,— ГГ, 1961, т. 5, № 3.
628. Линь Хуэй-сян. Неолитические стоянки на юге провинции Фуцзянь,— КГСБ, 1954, т. VIII.
629. Линь Шэн. Находка ланьтяньского синантропа,— «Каогу», 1963, № 5.
630. Ло Цзун-чжэнь. Обследование неолитических стоянок близ Сучжоу и в уезде Усянь,— «Каогу», 1961, № 3.
631. Лю Дун-бинь. Неолитическая стоянка в Чжайциган, уезд Танхэ, провинция Хэнань,— «Каогу», 1963, № 12.
632. Лю Дунь-юань. Обследование луншаньской стоянки Лянчэнчжэнь, в Жичжао,— КГСБ, 1958, № 1.
633. Лю Сяо-чунь. Раскопки стоянки Цзяньси, уезд Мэнсянь, провинция Хэнань,— «Каогу», 1961, № 1.
634. Лю Фу, «Ди» и «тянь»,— «Гу ши бянь», т. II, Пекин, 1930.
635. Лю Юн-нэн, Некоторые вопросы характеристики культур Мяодигоу и Саньлицяо,— «Каогу», 1961, № 1.
636. Лян Сы-юн. Собрание сочинений Лян Сы-юна по археологии (Лян Сы-юн каогу лунь вэнь цзи), Пекин, 1959.
637. Ляо Цай-лян. Неолитическая стоянка Лицзяцунь, уезд Сисян, провинция Шэньси,— «Каогу», 1961, № 7.
638. Ма Дэ-чжи и др. Доклад о раскопках 1953 г. в Дасыкунцунь, близ Аньяна,— КГСБ, 1955, т. IX.
639. Ма Пэй-тан. Изучение миграции населения на восток в эпоху трех династий,— «Юй гун», т. VII, 1937, № 6—7.
640. Ма Чэн-юань. Расписная керамика Яншао (Яншао вэньхуады цайтао), Шанхай, 1957.
641. Ма Чэн-юань. Обследование неолитических стоянок Хуэйдиэр и Цзинганча, провинция Ганьсу,— «Каогу», 1961, № 7.
642. Ма Чэн-юань. К вопросу о культурах Яншао и Мацзяяо,— «Каогу», 1961, № 7.
643. Мао Се-цзюнь, Янь Инь. Доклад об изучении зубов иньцев из материалов раскопок в Аньяне и Хуэйсяне,— ГГ, т. I, 1959, №№ 2, 4.
644. Мо Чжи и др. Стоянки Цзоумаган в уезде Шаогуан и Няньюйчжуань и Мадипин в уезде Цюйцзян, провинция Гуандун,— «Каогу», 1964, № 7.
645. Мэн Вэнь-тун. Миграция населения в древности,— «Юй гун», т. VII, 1937, № 6—7.
646. «Мяодигоу юй Саньлицяо», Пекин, 1959.

647. Неолитическая стоянка Гуцзяпинтань близ Хэйсунъи, уезд Гулян, провинция Ганьсу («Ганьсу Гулян...»),— ВУЦКЦЛ, 1955, № 8.
648. Нин Ду-сюэ. Сообщение об обследовании неолитических стоянок в Шуйку, Сыгоуся, бассейн Хуанхэ,— «Каогу», 1960, № 3.
649. Нин Ду-сюэ. Сообщение о раскопках стоянки Сипова близ Ланьчжоу, провинция Ганьсу,— «Каогу», 1960, № 9.
650. Основные достижения Института археологии АН КНР в полевых работах 1960 г. («Чжунго кэсюэ юань...»),— «Каогу», 1961, № 4.
651. Основные достижения Института археологии АН КНР в полевых работах 1961 г. («Чжунго кэсюэ юань...»),— «Каогу», 1962, № 5.
652. Отчет о раскопках в Цилипу, уезд Шэньсянь, провинция Хэнань («Хэнань Шэньсянь...»),— «Каогу», 1959, № 4.
653. Отчет о раскопках стоянки Хуэйцзуй, уезд Яньши, провинция Хэнань («Хэнань Яньши...»),— «Вэньу», 1959, № 12.
654. Отчет о раскопках неолитической стоянки в Баоцзи, провинция Шэньси («Шэньси Баоцзи...»),— «Каогу», 1959, № 5.
655. Отчет о раскопках в Люцзычжэнь, уезд Хуасянь, провинция Шэньси («Шэньси Хуасянь...»),— «Каогу», 1959, № 2.
656. Пэй Вэнь-чжун. Исследование доисторической эпохи Китая (Чжунго шитянь шити чжи яньцзю), Шанхай, 1948.
657. Пэй Вэнь-чжун. Культуры каменного века в Китае (Чжунго шити шидайды вэньхуа), Пекин, 1954.
658. Пэй Вэнь-чжун. В конце концов синантроп древнейший из людей или нет? Ответ У Жу-кану, Цзя Лань-по и др.,— СЦШ, 1962, № 4.
659. Пэй Вэнь-чжун. Каменный век в Китае (Чжунго шити шидай), 1963.
660. Пэй Вэнь-чжун и др. Отчет о раскопках палеолитических стоянок в Динцунь, уезд Сянфэнь, провинция Шаньси (Шаньси Сянфэньсянь Динцунь цзю шити шидай ичжи фацзюэ баогао), Пекин, 1958.
661. Пэй Вэнь-чжун, У Жу-кан. Цзыянский человек (Цзыян жэнь), Пекин, 1957.
662. Пэн Жу-цэ. Обследование древних стоянок на обоих берегах реки Сицзян в провинции Гуандун,— «Каогу», 1965, № 9.
663. Се Дуань-цзюй. Сообщение о раскопках стоянки Чжанцзяцзюй уезд Юнцзин, провинция Ганьсу,— «Каогу», 1959, № 4.
664. Се Дуань-цзюй. Сообщение о раскопках стоянки Мацзявань, уезд Линьея, провинция Ганьсу,— «Каогу», 1961, № 11.
665. Се Дуань-цзюй. Основные итоги повторных раскопок в Циньвэйцзя, уезд Линьея, провинция Ганьсу,— «Каогу», 1964, № 6.
666. Се Дуань-цзюй. Сообщение об археологическом обследовании Яньгося и Бананься в верховьях Хуанхэ,— «Каогу», 1965, № 7.
667. «Сиань, Баньпо», Пекин, 1963.
668. Сообщение о радиокарбонных датировках, ч. 1,— «Каогу», 1972, № 1.
669. Сообщение о радиокарбонных датировках, ч. 2,— «Каогу», 1972, № 5.
670. Сообщение о радиокарбонных датировках, ч. 3,— «Каогу», 1974, № 5.
671. Сообщение о раскопках стоянки Дахэчжуан, уезд Юнцин, провинция Ганьсу («Ганьсу Юнцин...»),— КГСБ, 1974, № 2.
672. Сообщение об обследовании останков человека и животных каменного века в Маба, провинция Гуандун,— ГГ, т. I, 1959, № 2.
673. Сообщение о первом и втором сезонах раскопок стоянки Цяньшаньян в Усин,— КГСБ, 1960, № 2.
674. Сообщение о первичных раскопках 1959 г. в Эрлитоу, уезд Яньши, провинция Хэнань,— «Каогу», 1961, № 2.
675. Су Бин-ци. Доуцзитайские погребения (Доуцзитай Гаодунцюй муцзан), Пекин, 1948.
676. Су Бин-ци. Некоторые проблемы культуры Яншао,— КГСБ, 1965, № 1.
677. Су Хэ. Неолитические погребения из Внутренней Монголии,— «Каогу», 1963, № 10.

678. Сун Чжао-линь. Погребальные обряды племени наси (К вопросу о погребальных обрядах в Яншао),— «Каогу», 1964, № 4.
679. Сун Чжао-линь. Нравы племени наси из Юннин, провинция Юньнань (К вопросу о предназначении больших домов в Яншао),— «Каогу», 1964, № 8.
680. Сунь Дэ-хай и др. Сообщение о раскопках стоянки Цзяньгоуцунь, уезд Ханьдань, провинция Хэбэй,— «Каогу», 1961, № 4.
681. Сунь Шань-дэ. Три местонахождения Луншань в окрестностях Циндао,— «Каогу», 1964, № 11.
682. Сыма Цянь. Шицзи, изд. Эрши сы ши сонь бонабэнь, Пекин, 1958, т. I.
683. Сюй Бин-чжан. Неолитическая стоянка, недавно обнаруженная в Шэньси,— «Бэйпин яньцзююань юаньу вэйбао», т. VII, 1935, № 6.
684. Сюй Гуан-цзи. Сообщение о раскопках стоянки Фухэгоумэнь, хошун Балинчжун, Внутренняя Монголия,— «Каогу», 1964, № 1.
685. Сюй Си-тай. Сообщение о частичных раскопках и обследовании в уездах Хусянь и Чанань, провинция Шэньси,— «Каогу», 1962, № 6.
686. Сюй Сюнь-шэн. Доклад о предварительном обследовании «городища Ся» в западной Хэнани в 1959 г.,— «Каогу», 1959, № 11.
687. Сюй Цин-цюань. Обследование неолитических стоянок в Цзяньсу и Цзяньяне, на севере Фуцзяни,— «Каогу», 1961, № 4.
688. Сюй Цин-цюань. Доклад о раскопках неолитической стоянки Дунчжан, уезд Фуцин, провинция Фуцзянь,— «Каогу», 1965, № 2.
689. Сюй Шунь-чжань. Некоторые проблемы неолита Центральной равнины,— «Вэньу», 1960, № 5.
690. Сюй Шунь-чжань. В эпоху Яншао уже было патриархальное общество,— «Каогу», 1962, № 5.
691. Ся Най. Вновь обнаруженный могильник культуры Цицзя и изменение ее датировки,— «Чжунго каогу сюэбао», 1948, т. III.
692. Ся Най. Доисторическая стоянка в Мяньчи, провинция Хэнань,— «Кэсюэ тунбао», т. II, 1951, № 9.
693. Ся Най. Труды по китайской археологии (Каогу сюэ луньвэнь цзи), Пекин, 1961.
694. Ся Най. Археология в новом Китае,— «Каогу», 1962, № 9.
695. Ся Най. Новые достижения археологии Китая за последние 5 лет,— «Каогу», 1964, № 10.
696. Тан Ин-цзюнь, Цзи Хун-сян. Обнаружение костных останков ископаемого человека в Ланьтянь, провинция Шэньси, и значение этой находки,— «Вэньу», 1965, № 1.
697. Тан Лань. Изучение применения предмета в форме иероглифа «гун»,— «Каогу», 1973, № 3.
698. Тан Юнь-мин. Сходство керамического инвентаря Луншань и Инь,— ВУЦКЦЛ, 1958, № 6.
699. Тан Юнь-мин. О некоторых проблемах культуры Луншань,— «Каогу», 1964, № 1.
700. Тан Юнь-мин. Некоторые проблемы в связи с докладом о раскопках стоянки Дачэншань, в Таншань,— «Каогу», 1964, № 7.
701. Тан Юнь-мин. Некоторые проблемы культуры Яншао в провинции Хэбэй,— «Каогу», 1964, № 9.
702. Тун Чжу-чэнь. Общие сведения по археологии неолита,— «Вэньу», 1959, №№ 1, 2; 1960, №№ 5, 7, 10; 1961, №№ 1, 2.
703. Тун Чжу-чэнь. Некоторые особенности истории позднего этапа первобытного общества в Китае,— «Каогу», 1960, № 5.
704. У Жу-кан. Две теоретические проблемы возникновения человечества,— ГГ, т. I, 1959, № 1.
705. У Жу-кан. Процесс трансформации обезьяны в человека,— ГГ, т. I, 1959, № 2.
706. У Жу-кан. Останки человека из Люцзян, провинция Гуанси,— ГГ, т. I, 1959, № 3.

707. У Жу-кан. Обнаружение костных останков ископаемого человека в Ланьтянь, провинция Шэньси,— ГГ, т. VIII, 1964, № 1.
708. У Жу-кан. Современное состояние и перспективы изучения теоретических проблем возникновения человечества,— ГГ, т. VIII, 1964, № 4.
709. У Жу-кан. Череп обезьяночеловека из Ланьтянь, провинция Шэньси,— ГГ, т. X, 1966, № 1.
710. У Жу-кан, Пэн Жу-цэ. Окаменевший череп раннего палеантропа из Маба, уезд Шаогунь, провинция Гуандун,— ГГ, т. I, 1959, № 4.
711. У Жу-цзо. Общий облик и взаимосвязи первобытных культур в провинциях Ганьсу и Цинхай,— «Каогу», 1961, № 1.
712. У Жу-цзо. Данные раскопок погребений о характере общества Яншао,— «Каогу», 1961, № 12.
713. У Жу-цзо, Ян Цзи-чан. О некоторых проблемах монографии «Мяодигоу юй Саньлицяо»,— «Каогу», 1961, № 1.
714. У Ли. Стоянка Мяодигоу — Яншао позже Саньлицяо,— «Каогу», 1961, № 7.
715. У Ли. О периодизации типов орнамента на керамике Мяодигоу — Яншао,— «Каогу», 1973, № 5.
716. У Синь-чжи. Изучение шаньдиндунского человека из Чжоукоудянь,— ГГ, т. V, 1961, № 3.
717. У Чжэнь. Несколько стоянок неолита в восточной части Синьцзяна,— «Каогу», 1964, № 7.
718. Фан Инь. К вопросу о периодизации Яншао в связи с анализом расписной керамики Мяодигоу,— «Каогу», 1963, № 3.
719. Фан Му-ю. К вопросу о совершенствовании плуга в Китае начиная с Чжаньго,— «Каогу», 1964, № 7.
720. Фан Ю-шэн. Археологическое обследование уезда Мяньчи, провинция Хэнань,— «Каогу», 1964, № 9.
721. Фан Ю-шэн. Сообщение о раскопках в Эрлитоу, уезд Яньши, провинция Хэнань,— «Каогу», 1965, № 5.
722. Фан Ян. Некоторые размышления по поводу обычая совместных захоронений в Яншао,— «Каогу», 1962, № 3.
723. Фан Ян. Начало китайского виноделия в Луншань,— «Каогу», 1964, № 2.
724. Хань Кан-синь и др. Исследование неолитических костяков из Дадуньцзы, уезд Писянь, провинция Цзянсу,— КГСБ, 1974, № 2.
725. Хаяси Минао. Колесница в доциньском Китае,— «Тохо гакухо». Киото, 1959, т. 29.
726. Хаяси Минао. Лошадь в доциньском Китае,— «Минцзокугаку кэнкю», т. XXIII, 1959, № 4.
727. Ху Цзя-жуй. Костяные изделия из палеолитической стоянки Наньлян, близ Хоума, провинция Шаньси,— «Каогу», 1961, № 1.
728. Ху Юэ-цянь. Неолитическая стоянка Хуацзясы, уезд Сяо, провинция Аньхуэй,— «Каогу», 1966, № 2.
729. Хуан Вэнь-би. Археологические находки в Таримской впадине (Талиму пэньди каогу цзи), Пекин, 1958.
730. Хуан Юй-чжи, Ян Ши-тин. Археологическое обследование уездов Мэйсянь и Дапу в Гуандуне,— «Каогу», 1965, № 4.
731. Хэ Ю-фу. Остатки неолитической культуры в Ланьчжоу,— КГСБ, 1957, № 1.
732. Цзе Фу. О древнейших каменных орудиях и о том, был ли синантроп первым из людей,— «Каогу», 1962, № 4.
733. «Цзиншань, Цюйцзялин», Пекин, 1965.
734. Цзинь Сюэ-шань. Сообщение о раскопках 1958—1961 гг. в уездах Юньсянь и Цзюньсянь, провинция Хубэй,— «Каогу», 1961, № 10.
735. Цзя Лань-по. Ордосский человек (Хэтао жэнь), Шанхай, 1953.
736. Цзя Лань-по. Местонахождение «пекинского человека» («Бэйпин жэнь» ды гуцзюй), Пекин, 1958.
737. Цзя Лань-по. Синантроп — не древнейший из людей. Новое возражение Пэй Вэнь-чжуну,— СЦШ, 1962, № 7.

738. Цзя Лань-по. К мнению Цю Чжун-лана о датировке стоянки Кэхэ,— ГГ, т. VI, 1962, № 3.
739. Цзя Лань-по, Ван Цзянь. Современное состояние и перспективы изучения палеолита в Шаньси,— «Вэньу», 1962, № 4—5.
740. Цзя Лань-по, Ван Цзэ-и, Ван Цзянь. Стоянки раннепалеолитической культуры Кэхэ, уезд Жуйчэн, провинция Шаньси,— «Каогу», 1961, № 8.
741. Цзя Лань-по, Ван Цзэ-и, Ван Цзянь. Кэхэ. Стоянки раннего палеолита в юго-западной Шаньси (Кэхэ. Шаньси синань бу цзюшити шидай чуци вэньхуа ичжи), Пекин, 1962.
742. Цзя Лань-по, Ван Цзэ-и, Цю Чжун-лан. Палеолит в Шаньси (Шаньси цзюшити), Пекин, 1961.
743. Цзя Лань-по, Гай Пэй, Ли Янь-сай. Новые материалы о палеолитической стоянке в Шуйдунгоу,— ГГ, т. VIII, 1964, № 1.
744. Цзя Лань-по, Ю Юй-чжу. Остатки мастерской палеолитических орудий в Нгомаокоу, уезд Хуайжэнь, провинция Шаньси,— КГСБ, 1973, № 2.
745. Цзян Ин-цзюй. Обследование неолитических стоянок в Цзяодун, провинция Шаньдун,— «Каогу», 1963, № 7.
746. Цзян Цзань-чу. О стоянках первобытных культур в Цзянсу,— КГСБ, 1959, № 2.
747. Ци Сы-хэ. Культурные связи Китая с другими странами мира в древности,— ЛШЦС, 1964, № 4.
748. Цинь Сюэ-шэнь. К вопросу о возрасте и поле «цзыянского человека»,— ГГ, т. VI, 1962, № 1.
749. Цинь Чжун-вэнь. История китайской живописи (Чжунго хуйхуа сюэ ши), Пекин, 1934.
750. Цэнь Чжун-мянь. Об этногенезе народа ди и его возможных связях с культурой расписной керамики,— «Чжуншань дасюэ сюэбао» (шэхуэй кэсюэ), 1959, № 1—2.
751. Цю Чжун-лан. Проблема датировки стоянок культуры Кэхэ,— ГГ, т. VI, 1962, № 3.
752. Чжан Линь-шуй. Палеолитические каменные орудия, обнаруженные недавно на юге Внутренней Монголии и северо-западе Шэньси,— ГГ, т. I, 1959, № 1.
753. Чжан Линь-шуй. Новые материалы о палеолите юга Внутренней Монголии,— ГГ, т. II, 1960, № 2.
754. Чжан Син-лан. История сношений Китая с западом (Чжун-си цзяотун ши ляохуэй), Бэйпин, 1930, тт. 1—6.
755. Чжан Сюнь-ляо. Обсуждение статьи «Некоторые проблемы неолита Центральной равнины»,— «Каогу», 1961, № 9.
756. Чжан Сюэ-чжэн. Доклад об археологическом обследовании уездов Тяньшуй и Ганьсу в верховьях Вэйхэ,— КГТС, 1958, № 5.
757. Чжан Сюэ-чжэн. Сообщение об археологическом обследовании уездов Линьтао и Линься, провинция Ганьсу,— КГТС, 1958, № 9.
758. Чжан Сюэ-чжэн. Памятники древних культур провинции Ганьсу,— КГСБ, 1960, № 2.
759. Чжан Чжун-пэй. К вопросу об общественном строе эпохи Яншао в связи с практикой захоронений в Баньпо,— «Каогу», 1962, № 7.
760. Чжан Чжун-пэй. Сообщение о раскопках стоянки Лянбаньшань, провинция Гирин,— «Каогу», 1964, № 1.
761. Чжан Чжун-пэй, Янь Вэнь-мин. Характер культуры Саньлицяо—Яншао и ее датировка,— «Каогу», 1964, № 6.
762. Чжан Ши-цюань. К вопросу о хронологической последовательности яншаоских стоянок Мяодигоу и Саньлицяо,— «Каогу», 1961, № 7.
763. Чжан Янь-хуан и др. Сообщение о раскопках стоянок неолита и Шан на юго-западе Шэньси,— «Каогу», 1962, № 9.
764. Чжао И-цин. О расовом типе двух женских черепов из Шаньдиндуна,— ГГ, т. V, 1961, № 1.

765. Чжао Сюэ-цянь и др. Важнейшие итоги 2-го и 3-го этапов раскопок неолитической стоянки Баоцзи,— «Каогу», 1960, № 2.
766. Чжао Ся-гуан. Сообщение о раскопках стоянки Наньгуаньвай в Чжэнчжоу,— КГТС, 1958, № 2.
767. Чжао Цин-фан. Сообщение об археологическом обследовании неолитической стоянки Цинляньган в уезде Хуайань,— КГСБ, 1955, т. IX.
768. Чжао Цин-фан. Первый и второй сезоны раскопок в Иньянин, к северу от Нанкина,— КГСБ, 1958, № 1.
769. Чжао Цин-юнь. Отчет о раскопках в западном предместье Чжэнчжоу,— КГТС, 1958, № 9.
770. Чжао Цин-юнь. Лю Дун-я. Доклад о раскопках стоянки Гэдаванцунь близ Чжэнчжоу,— КГСБ, 1958, № 3.
771. Чжао Цюань-гу. Раскопки шанской стоянки в Чжэнчжоу,— КГСБ, 1957, № 1.
772. Чжао Чжи-цюань. Сообщение об обследовании «городища Хуачэн», уезд Яньши, провинция Хэнань,— «Каогу», 1964, № 1.
773. Чжао Чжи-цюань, Гао Тянь-линь. Сообщение о раскопках шанских и западночжоуских стоянок в Яньши, провинция Хэнань,— «Каогу», 1963, № 12.
774. Чжоу Вэй. Очерки истории оружия в Китае (Чжунго бинци шигао), Пекин, 1957.
775. Чжоу Цин-цзи. О статье «В эпоху Яншао уже было патриархальное общество»,— «Каогу», 1962, № 11.
776. «Чжуан-цзы», изд. «Чжуцзы цзичэн», т. III, ч. 2, Пекин, 1956.
777. Чжун Кань. Обследование микролитических стоянок в Таолэ, Нинся,— «Каогу», 1964, № 5.
778. Чжун Кань, Чжан Синь-чжи. Стоянка культуры Цицзя в Синлунчжэнь, уезд Сицзи, Нинся,— «Каогу», 1964, № 5.
779. Чжэн Най-у, Се Дуань-цзюй. Сообщение о раскопках двух стоянок Цицзя в уезде Линься — Дахэчжуан и Циньвэйцзя,— «Каогу», 1960, № 3.
780. Чжэн Сяо-му. Сообщение о раскопках стоянки Яогуаньчжуан, уезд Вэйфан, провинция Шаньдун,— «Каогу», 1963, № 7.
781. Чжэн Чжэнь-сян. Сообщение о раскопках 1962 г. в Дасыкунцунь, близ Аньяна,— «Каогу», 1964, № 8.
782. «Чжэнчжоу, Эрлиган», Пекин, 1959.
783. «Чэнцзыяй», Бэйпин, 1934.
784. Чэнь Лань-чжу, Го Дэ-юн. Сообщение о неолитическом могильнике в Мидисянь, уезд Цюаньлань, провинция Ганьсу,— КГТС, 1957, № 6.
785. Чэнь Ли-синь. Остатки яншаоских жилищ в Чжэнчжоу, Дахэцунь,— «Каогу», 1973, № 6.
786. Чэнь Мэн-цзя. Свод сведений о надписях на иньских гадательных костях (Иньсюй буцу цзуншу), Пекин, 1956.
787. Чэнь Цзя-сян. Сообщение о раскопках шанской стоянки Лодамяо в Чжэнчжоу,— ВУЦКЦЛ, 1957, № 10.
788. Ши Син-бан. Некоторые проблемы в связи с археологическим изучением первобытного общества в бассейне Хуанхэ,— «Каогу», 1959, № 10.
789. Ши Син-бан. Некоторые проблемы культуры Мацзяяо,— «Каогу», 1962, № 6.
790. Шн Тао. Патриархальное общество в верховьях Хуанхэ — изучение социально-экономического характера культуры Цицзя,— «Каогу», 1961, № 1.
791. Шуцзин, изд. «Шисань цзин чжушу», тт. III—IV, Пекин, 1957.
792. Шэнь Вэнь-чжо. Толкование термина «чжи-цзюй»,— «Каогу», 1961, № 6.
793. Ю Чжэнь-яо. Стоянки эпох неолита, Шан и Хань в уездах Синьхайляньши и Дунхай, провинция Цзянсу,— «Каогу», 1961, № 6.

794. Юань Ань-чжи. Раскопки неолитических могильников в Юаньяньчи и Юнчан,— «Каогу», 1974, № 5.
795. Ян Си-чжан. Разведывательные раскопки стоянок в долине р. Хуань близ Аньяна,— «Каогу», 1965, № 7.
796. Ян Сян-куй. Изучение переселений племени Ся на восток,— «Юйгун», т. VII, 1937, № 6—7.
797. Ян Цзи-чан. Раскопки шанской стоянки Цилипу, уезд Шэньсянь, провинция Хэнань,— КГСБ, 1960, № 1.
798. Ян Цзы-фань. Сообщение о стоянке Баотоу, уезд Нинъян, провинция Шаньдун,— «Вэньу», 1959, № 10.
799. Ян Цзы-фань, Ван Сы-ли. О культуре Луншань,— «Каогу», 1963, № 7.
800. Ян Цзянь-фан. Критика монографии «Мяодигоу юй Саньлицяо»,— «Каогу», 1961, № 4.
801. Ян Цзянь-фан. Анализ орнамента на расписной керамике стоянки Мяодигоу—Яншао,— «Каогу», 1961, № 5.
802. Ян Цзянь-фан. О периодизации культур Яншао и Мацзяяо,— КГСБ, 1962, № 1.
803. Ян Цзянь-фан. Несколько проблем культуры Яншао,— «Каогу», 1962, № 5.
804. Ян Цзянь-фан. Было ли уже патриархальное общество в эпоху Яншао? — «Каогу», 1962, № 11.
805. Ян Чжун-цян и др. Обследование неолитических стоянок вдоль Хуанхэ в средней и южной части Внутренней Монголии,— «Каогу», 1965, № 10.
806. Янь Вэнь-мин. О периодизации варианта Мяодигоу культуры Яншао,— КГСБ, 1965, № 2.
807. Янь Инь. Изучение костных останков неолитических людей из Хуасянь,— КГСБ, 1962, № 2.
808. Янь Инь. Изучение связей между поздним палеолитом и неолитом Китая с точки зрения антропологии,— «Каогу», 1965, № 10.
809. Янь Инь. Доклад об изучении неолитических костяков из Давэнькоу,— КГСБ, 1972, № 1.
810. Янь Инь. Доклад об обследовании неолитических костяков из Сисяхоу,— КГСБ, 1973, № 2.
811. Янь Инь, Лю Чан-чжи, Гу Юй-минь. Доклад об изучении неолитических костяков из Баоцзи,— ГГ, т. II, 1960, № 1.
812. Янь Инь и др. Изучение костяков из Баньпо, близ Сиани,— «Каогу», 1960, № 9.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВА	— Вопросы антропологии
ВАН	— Вестник Академии наук
ВДИ	— Вестник древней истории
ВИ	— Вопросы истории
ВИМК	— Вестник истории мировой культуры
ВФ	— Вопросы философии
ЖМНП	— Журнал Министерства народного просвещения
КСИА	— Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	— Краткие сообщения Института истории материальной культуры
КСИНА	— Краткие сообщения Института народов Азии
КСИЭ	— Краткие сообщения Института этнографии
МКАЭН	— Международный конгресс антропологических и этнографических наук
НАА	— Народы Азии и Африки
ПИДО	— Проблемы истории докапиталистических обществ
ПИМК	— Проблемы истории материальной культуры
ПЧДРЧ	— Происхождение человека и древнейшее расселение человечества, М., 1951
СА	— Советская археология
СГАИМК	— Сообщения Государственной Академии истории материальной культуры
СЭ	— Советская этнография
ЮТАКЭ	— Южно-Туркменская археологическая комплексная экспедиция
ВУЦКЦЛ	— Вэньу цанькао цзыляо
ГГ	— Гуцзижуй дунъу юй гужэньлэй
КГСБ	— Каогу сюэбао
КГТС	— Каогу тунсюнь
ЛШЦС	— Лиши цзяосюэ
СЦШ	— Синь цзяньшэ
AA	— Artibus Asiae
AP	— Asian Perspectives
BMFEA	— Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities
ESA	— Eurasia Septentrionalia Antiqua
HJAS	— Harvard Journal of Asiatic Studies
HT	— A History of Technology, ed. by C. Singer, E. Holmyard, A. Hall, Oxford, 1954, vol. I.
JAOS	— Journal of the American Oriental Society
JRAS	— Journal of the Royal Asiatic Society
MSOS	— Mitteilungen des Seminar für orientalische Sprachen
RAA	— Revue des Ars Asiatique
ZE	— Zeitschrift für Ethnologie

УКАЗАТЕЛЬ

Авраам (библ.) 129
Австралийцы (этн.) 32
Австралоиды (негро-австралоиды) 82, 95, 96, 99, 133, 145, 146, 148, 150
Австралопитеки (антропоиды третичные, прегоминиды) 73, 74, 83, 84
Адам (библ.) 45
Азия (см. также: Восточная, Передняя, Западная, Малая, Средняя, Центральная, Юго-Восточная, Южная) 19, 25, 26, 72, 84, 89, 115, 137, 144, 211, 294
Айны (этн.) 97, 98
Аккерман Ф. 210—212
Алексеев В. П. 78, 79
Америка 24, 144
Американоиды 78, 79, 96—99
Ананци (ст.) 50, 51
Анатолия 9, 24—26, 104, 108, 302
Анау (ст.) 54, 58, 125, 131, 155
Андерсон И. Г. 48—50, 54, 57, 58, 61, 62, 118, 119, 135, 144, 154, 160, 163, 170, 171, 186, 188, 190, 193—195, 203—205, 209, 210, 220, 223, 226, 227, 231, 292, 293
Андроновская (к.) 274, 278, 296, 307, 308, 312—317
Антропогенез 83, 84
Ань Чжи-минь 165, 167
Аньян (г.) 51—53, 59, 61, 63, 119, 139, 260, 261, 263, 264, 268, 271, 273, 278, 281, 282, 294, 299, 305, 308, 319, 320, 324
Ао (легенд.) 308, 319
Аравия 133
Арии (этн.) 263, 275, 278, 300
Арийское нашествие в Индию 14
Армения 25, 26, 40, 276
Арне Т. 54, 187
Архантропы, см. также: гейдельбергский чел., питекантроп, синантроп 48, 72—74, 78, 82—89, 92, 94, 325
Ассирия 23
Афанасьевская к. 216, 313, 317
Африка 19, 72, 73, 83—85, 104, 133, 137
Ацтеки (этн.) 24
Ашель (к.) 89, 90

Бадари (ст.) 10
Бадахшан 41
Байи С. 40
Бакшон (к.) 142
Балканы 134, 135
Баньпо (ст.) 61, 69, 118, 124, 125, 152, 154—161, 163—165, 167—171, 175, 176, 179, 181—185, 189, 228, 236, 245, 292, 299
Баньшань (мог.) 49, 57, 176, 178, 188—190, 199, 219, 223, 317
Баотоу (ст.) 206, 249—251, 253, 256
Баоцзи (ст.) 114, 115, 118—124, 136, 152, 159, 163, 183, 205
Барнард Н. 265—267, 316
Бахофер Л. 194, 217, 220
Белуджистан 11, 130, 133, 146, 149, 187
Бердселл Д. 97
Бернштам А. Н. 16
Бецольд 297
Бибиков С. Н. 134, 188
Библия 39, 214
Бицентризм (дицентризм) 78, 79, 83, 94, 95
Бишоп Ч. 55
Ближний Восток 21, 28, 32, 33, 64, 104, 128, 129, 270, 272, 276, 277, 283, 290, 291, 297, 300, 316
Блэк Д. 48, 56
Бо (чаша) 165, 166, 174—176, 237, 244, 250, 251, 257
Бо (легенд.) 308, 319
Богаевский Б. Л. 189
Болл Ч. 41, 298
Боровка Г. 291, 293
Бродянский Д. Л. 217
Брэйдвуд Р. 8, 114
Брюсов А. Я. 17
Буллинг Э. 127, 197, 199
Бушмены (этн.) 76
Бурзахом (к.) 149

Бучжаочжай (ст.) 204, 226, 230
Бэйшоулин (ст.) 159

Вавилов Н. И. 20, 104, 117
Вавилония 24, 297, 298, 303
«Вавилонская башня» 39
Валлуа А. 74, 75, 80
Ван Го-вэй 52
Ван дер Берг Л. 294
Ван Сы-ли 250—252, 254, 255
Ван Юй-пин 139
Ванвань (ст.) 159, 226, 229
Вань (чаша) 165, 166, 177
Васильев В. П. 42, 43
Вацзяпин (ст.) 172, 173, 177, 179, 182, 220
Вейденрейх Ф. 56, 71, 76—78, 80, 81, 84, 88, 94, 97, 100
Внутренняя Монголия 50, 60, 61, 139, 232
Вольтер 39
Восточная Азия 83, 94, 133, 138, 141, 144, 146, 148, 215, 322
Восточный Туркестан 42, 150, 216, 300
Вулли Л. 10—12, 25, 26
Вьетнам 20, 142
Вэй (Вэйхэ) (р.) 148, 153, 171, 172, 174, 179, 180, 182—185, 236
Вэн (кувшин) 176, 233
«Вэньу» 60
«Вэньу цанькао цзыляо» 60

Ган (корчага) 174, 176
Ганшанцунь (мог.) 252, 253
Ганьсу (пр.) 41, 49, 57, 118, 135, 153, 154, 156, 163, 164, 170—186, 188, 189, 194, 219, 222, 223, 224, 235, 236, 239—241, 248, 249
«Гао Яо мо» (гл. из Шуцзин) 196
Гаодунцзюй (ст.) 123
Гаояй (ст.) 304, 305
Гаррисон Г. 19
Гедин С. 47
Гейдельбергский чел. 72
Гейне-Гельдерн Р. 6, 8, 143, 144, 151, 213, 215, 279
Геоксюр (ст.) 131, 132, 155
Георгиевский С. 42
Германия 16
«Герой и зверь», мотив в орн. 291, 295, 309, 310
Герцфельд Э. 293, 294, 314
Гигантопитек 83, 84
Гиксосы (этн.) 263, 275
Гималаи 116, 130, 149—151, 215
Гиндукуш 219
Гиршман Р. 294
Глоттохронология 150
Го Бао-цзюнь 50
Го Бинь-цзя 58
Го Дэ-юн 172, 173, 222
Го Мо-жо 298, 299
Гоби 50, 51, 61, 93, 137, 139, 150, 215, 216
Гоминиды 71—73, 76, 77, 80, 83—87, 93, 103
Гребенчатая кер. и орн. 220, 222, 224, 234
Гребнер Ф. 15
Греция (см. также: Эллада) 276
Григорьев Г. П. 75
Грумм-Гржимайло Г. Е. 68
Гу Цзе-ган 45
Гуандун (пр.) 60, 142
Гуанси (пр.) 60, 96, 141, 142
Гуань (кувшин) 166, 174—177, 222, 227, 228, 233, 237, 238, 244, 245, 250, 257, 311
Гудрич К. 66
Гуй (трипод) 233, 242, 245—247, 250, 251, 253—257, 311
Гунванлин (ст.) 92
Гусяньтун (ст.) 49
Гэ (чеканы) 271—273, 307
Гэдаван (ст.) 230, 303

Давэнькоу (мог.) 249, 250, 253, 246
Дадуньцзы (ст.) 243, 244, 256
Дали (ст.) 139
Дальний Восток 51, 55, 276
Дасы (ст.) 236—239
Дасыкунцунь (ст.) 276, 284
Двуречье 11, 130
Дебец Г. Ф. 75
Дегинь 39, 40
Декан 133, 134, 136, 144, 155, 185
Джайльс Г. 43
Джамму и Кашмир (штат) 149
Джармо (ст.) 106, 128
Джебел (ст.) 28
Джеймс Э. 127, 183
Джейтун (ст.) 28, 131
Джемдет Наср (ст.) 291
Дженнингс В. 268—270
Дзёмон (к.) 67, 141, 142
Ди (см.: Шанди) 290
Ди И 281
Дикшит С. К. 127
Дин (трипод) 54, 161, 186, 187, 209, 210, 227, 228, 233, 237, 241—246, 250—253, 256, 257, 311
Дин (тетрапод) 305, 312
Дин Цянь 47
Динцунь (ст. и пал. к.) 60, 72, 86, 90, 93, 139
Динцуньский человек 60, 77, 86—94
Диффузия 8, 13—19, 22, 26—28, 33, 66, 69, 111, 114, 115, 136, 143, 323
Дицентризм, см.: Бицентризм
Днестр 156

Доу (сосуд) 134, 161, 177, 186—188, 227, 228, 237, 244, 245, 251—253, 256, 257, 311
Доуцзитай (ст.) 119—123
Дрейф генов 72, 80, 82, 83
Дриопитек 83, 84
Дун Цзо-бинь 52, 297
Дунвэйчжуан (ст.) 250
Дунганьгоу (ст.) 305
Дэниэл Г. 7
Дюгальд Ж. 40

Евразия 16, 22, 49, 54, 57, 58, 117, 125, 126, 129, 130, 135, 143, 145, 185, 189, 195, 201, 202, 224, 266, 269, 470, 284, 285, 317, 319, 323
Евреи древние 214
Евро-австралоиды 78, 82, 95
Европеоиды (см. также: Кавказоиды) 82, 278, 296
Европа 19, 20, 22, 23, 25, 27, 39, 76, 84, 89, 99, 117, 125, 137, 220, 258, 272, 276, 312, 314
Евфрат 9, 25, 146
Египет 11, 12, 20, 23—25, 27, 35, 108, 117, 125, 258, 272, 290, 297
Енох (библ.) 45

Жичжао (ст.) 256

Загрос 9, 104
Западная Азия 24, 41, 106, 125, 137, 209, 213—215, 260, 263, 278, 279, 322, 323
«Звериный стиль» 63, 267, 273, 289, 291—295, 302, 309, 310, 320
Зинджантроп 72—74
Зубов А. А. 81, 89

И (этн.) 295
Иерихон (ст.) 106, 128, 129
Инд 11, 23, 130, 146
Индийцы 40
Индия 12, 14, 20, 22, 23, 25, 90, 108, 125, 132, 133, 146, 150, 186, 188, 247, 258, 275, 282
Индокитай 115
Инки (этн.) 24
Инь 51—53, 63, 119, 193, 203, 207, 210, 211, 226, 248, 259—321
Инь Хуань-чжан 243, 247
Иньянин (мог.) 253
Ирак 108
Иран 108, 134, 155, 170, 187, 209, 212, 213, 275, 294
Итс Р. Ф. 70

Кавказоиды 97
Казахстан 214—216, 272, 273, 296, 312—314
Каин (библ.) 45, 314
Калмейер П. 294
Кан Ю-вэй 44
«Каогу» 60, 68
«Каогу сюэбао» 60
«Каогу тунсюнь» 60
Капсийцы (мез.) 105
Кара-депе (ст.) 131, 132
Карасукская к. и бронза 268, 273, 274, 277, 278, 292, 293, 295, 313, 317, 320
Карим-Шахир (ст.) 106
Кариотип 73
Карлбек О. 265, 269
Карлгрен Б. 196, 268—273, 286, 287, 291—294, 300
Касситы (этн.) 263, 275
Каури 129, 130, 162, 188—190, 196
Кветта 11, 132
Кельтеминарская (к.) 140, 216
Кельты (топоры) 26, 264, 269—271, 316
Керкук 294
Киддер Д. 67
Киккули (тр.) 278
Кипр 25
Кирхер А. 39
Киселев С. В. 69, 121, 181, 194, 270, 277, 317
Клапрот Ю. 40
Клейн Л. С. 17
Кожин П. М. 277
Колесницы 23, 24, 275—279, 284
Конфуцианство 38, 44, 326
Кребер А. 28, 35
Кремация 312, 316
Крил Г. 210
Крит 23, 25, 27
Кричевский Е. Ю. 17
Кроманьонцы 99, 100
Крюков М. В. 69, 148, 195, 236
Кулборн Р. 7, 8, 10
«Культурных кругов» теория 15, 17, 18, 54
Кун К. 71, 76—78, 80, 81, 87, 88, 94, 98—100
Куэнь-Лунь 42, 46, 148, 151, 153, 215
Кэхэ (ст.) 63, 92, 93
Кэшэнчжуан (ст.) 122, 123, 191, 232, 233
Кюн Г. 293
Кюсю (о.) 94

Лайбиньский чел. 96
Лакупри Т. де 41, 297, 298
Ланьтянь (ст.) 93
Ланьтяньский синантроп 63, 85, 92, 93
Ланьчжоу (г.) 171, 176, 179, 183
Ларичев В. Е. 69, 83, 90, 91, 217
Леваллуа (к.) 92
Легг Д. 42

Лер М., 55, 268—272, 274, 284, 307, 312, 314—316
Леруа-Гуран А. 18, 19
Ли (трипод) 120, 209—212, 216, 222, 224, 226, 227, 229—234, 239, 241, 242, 245, 247, 251, 254—257, 311
Ли Да-чжао 44
Ли Цзи 44, 50, 52, 56, 66, 203, 205, 261, 264, 268, 271, 273, 280, 287—291, 295, 296, 312
Ли Ши-гуй 168, 169
Лики Л. 72, 74
Линьси (ст.) 50, 51
Линьчжи (ст.) 96, 97
Лисан Э. 48
Лицзяцунь (ст.) 123, 124, 136, 152, 159, 162, 205
Ло Чжэнь-юй 52
Лодамяо (ст.) 304—306, 308, 311
Лоханьтан (ст.) 49
Лоян (г.) 59, 159, 229
Лу Синь 44
Лука-Врублевецкая (ст.) 156, 157
Лукашкин А. С. 49
Луншань (к.) 50—53, 62, 63, 69, 119, 120, 122, 143, 153, 154, 161, 165, 166, 181, 182, 202—258, 260, 263, 264, 280, 285, 288, 289, 304—306, 308, 316
Луристанские бронзы 294
Лэй (соха) 229, 230
Лэй-вэнь («громовой орнамент») 289
Люлинь (ст.) 206, 242—249, 251—256
Люцзычжэнь (ст.) 159
Люцзянский чел. 60, 96, 98
Люцзяпин (мог.) 183
Ля-микок (к.) 91
Лян Сы-юн 50, 51, 119, 203, 205, 229
Лян Ци-чао 44
Лянчжу (к.) 62, 242, 257
Лянчэнчжэнь (ст.) 256
Ляо Цай-лян 123

Мабаский чел. (череп из Маба) 60, 86, 87
Майя (этн.) 4, 24, 298
Малая Азия 134, 275
Маньчжурия 50, 211, 217
Марингер Д. 215
Маркс К. 16, 259, 325
Марр Н. Я. 15
Масперо А. 54, 292
Массон В. М. 20, 106, 111—113, 121, 128, 185
Мацзяяо (к.) 49, 57, 68, 157, 164, 170—176, 178—185, 194, 199, 219, 223
Мачан (к.) 49, 50, 57, 154, 164, 176, 178, 181, 188, 189, 194, 198, 199, 219, 220, 223
Междуречье, см.: Двуречье 10, 11
Меланезоиды 97—99, 296
Меримде (ст.) 10
Месопотамия 10—12, 23—26, 40, 188, 191, 262, 272, 283, 297
Метисация (гибридизация) 72, 75, 77, 80—83, 95, 98, 100, 101, 323
Мещанинов И. И. 16
Миграции 13, 14, 16—18, 22, 42, 64, 69, 83, 110, 111, 127, 136, 143, 150, 324
Микены 24
Микролит 51, 61, 104, 106, 136—140, 142, 215, 221, 224, 232, 322
Миннз Э. 291, 293
Минусинская к. 216, 278
Минусинский край 317
Митаннийцы (этн.) 24, 278
Мовиус Х. 89—91, 138
Монголия 64, 90, 115, 117, 211, 213—217, 274
Монголоиды 56, 60, 76—78, 82, 87—89, 92, 95—101, 144—146, 149, 150, 216, 278, 296, 322, 323, 325
Моногенизм 76
Монофилетизм 28
Моноцентризм 71, 75, 79, 95
Морган Л. Г. 6, 103, 109
Мохенджодаро (ст.) 291
Муе (поле битвы) 53
Мустье (пал. к.) 89—92, 136, 137, 139
Мутация 5, 6, 10, 12, 19, 28—30, 33, 72, 79, 80, 81, 94
Мяодигоу (ст. и этап) 61, 62, 68, 118, 124, 152, 154—156, 158—160, 164—170, 175, 176, 179, 181—184, 189, 194, 196, 199, 204—206, 225—232, 236, 239—241, 243—245
Мяошань (ст.) 246

Навдатоли (ст.) 134, 156, 157
Нагд (ст.) 155
Намазга (ст.) 125, 131, 155
Наньгуаньвай (ст.) 303
Наора Н. 49
Натуфийская к. 10, 104—107
Неандертальцы (неандерталоиды) 72—76, 80—82, 87, 94
Неоантропы, см. также: Кроманьонцы, Лайбиньский, Шаньдиндунский, Цзыянский чел. 60, 75, 77, 79—82, 84, 88, 89, 92, 95—98, 100, 101, 103, 322, 325
Неолитическая революция 8, 9, 19—22, 32, 103—117, 125, 147, 214
Нестурх М. Ф. 84
Нидэм Д. 19, 297
Нил 9—11, 146
Новоселово (мог.) 313
Новый Свет 4, 24, 25, 28—30, 32
Ной (библ.) 39, 45, 46
Норвежцы 76
Нюйва (миф.) 38, 45

Одонтология 81
Ойкумена 4, 18—20, 22, 24, 27, 29, 31—35, 38, 80—82, 94, 102—104, 128, 132, 136, 189, 322, 324
Океания 143, 287
Окладников А. П. 69, 137, 138, 140, 144, 217
Окуневская к. 216, 313, 317
Ордос 48, 232, 269, 273, 274, 295
Ордосский чел. 48, 49, 56, 86, 88, 92, 94

Пакистан 11, 132
Палеоантропы (см. также: Неандертальцы, Динцуньский, Мабаский, Ордосский, Чанъянский чел.) 60, 73—75, 80, 81, 86, 87, 89, 92, 94—97, 100, 101
Палеолингвистика 150, 302
Палестина 9, 76, 104, 108
Паллиблэнк Э. 300—302
Памир 278
Панойкуменная сапиентация 75, 80
Пань (тетрапод) 305
Пань Гэн 53, 281, 319
«Пань Гэн» (гл. из Шуцзин) 263
Паньгу (миф.) 200—201
Паньнаньцунь (ст.) 226
Паньху (миф.) 200
Паркер Э. 43
Пасхи (о.) 298
Пеллио П. 282
Передняя Азия 104, 258, 276
Перри У. 9
Пигмеоидность 95
Пин (кувшин) 174—177
Питекантроп 72—74, 85, 86
Пластромантия 247, 248, 250, 253—255, 257, 311
Плейстоцен 86, 94
Полигенизм 76, 77
Полицентризм 71, 76, 78—80, 83, 95
Поносов В. В. 49
Президжантроп 72—74
Пресапиенсы 73—75, 80
Приморье 143, 217
Приуралье 313
Протошумеры 10
Протоэламское письмо 300, 303
Прушек Я. 55
Пуруша (миф.) 200
Пуэбло (этн.) 192
Пэй Вэнь-чжун 48—50, 60, 85, 93, 95
Пэнь (чаша) 166, 174, 176, 177, 228

Радиокарбонный анализ и датировки 20, 66—69, 95, 124, 141, 148, 153—155, 157, 164, 169, 170, 172, 178—180, 182, 185, 206, 222, 223, 238, 239, 242—244
Расогенез 78—80, 82, 83, 98—101
Резцы лопаткообразные (зубы) 76, 77, 88, 89, 92, 261
Рейнеке П. 292
Рим 39, 276
Рис, рисосеяние 21, 112, 126, 149, 186, 238, 240, 241, 246, 247, 254, 255, 257
Рихтгофен Ф. 42
Рогинский Я. Я. 75—78, 100
Росс Д. 43
Россия 301
Ростовцев М. И. 291, 293, 294
Рыбаков Б. А. 187, 188, 196—198, 200
Рубила 89—91

Сальмони А. 292
Самарра (ст.) 129
Санкалия Х. Д. 11, 134
Саньлицяо (ст.) 61, 62, 152, 158, 164—169, 176, 205, 230
Саньмэньея 226
Сапиентация (сап. чел.) 75—81, 83, 94, 97, 99, 100, 103, 105, 107
Сати (самосожжение) 282
Сванскомб 74
Семенов Ю. И. 75, 81
Семиты 10, 296
Сиалк (ст.) 128, 155
Сиань (г.) 61, 84, 119, 122
Сибирь см. также: Южная Сибирь 23, 26, 51, 64, 115, 137, 140, 144, 215, 216, 220, 268, 271, 273, 274, 293, 313
Сибэйган (мог.) 281, 282
Сииньцунь (ст.) 164, 167, 205
Сим (библ.) 45
Синантроп, (см. также: Ланьтяньский синантроп) 37, 48, 49, 56, 60, 72—74, 76—78, 84—93, 95, 96, 100
Синьдянь (к.) 49, 50, 154, 178, 181, 210, 220, 223
Синьцзян 50, 61, 301
Сирия 23
Сиро-киликийская к. 128
Сисяхоу (ст.) 249, 253, 256
Скапулимантия 211, 212, 224, 229, 231—234, 241, 247—251, 254—257, 311
Содзюдай (ст.) 94
Сойер К. 18, 20, 105, 141
Сольхейм У. 67, 142—144, 150, 242
Соммарштрём Б. 177, 194, 196
Соссюр Л. де 297
Средиземноморье 137
Средняя Азия 42, 108, 131—133, 137, 155, 188, 212, 214—216, 278, 296
Средний Восток 272
Сринагар (г.) 149
Срубная к. 278, 313, 314
Стадий теория 15—17
Стариков В. С. 217

Старый Свет 4, 11, 12, 19, 20, 22, 28, 32—34, 54, 81, 101, 108, 113, 259
Стейн А. 47
Стиль («ядро») цивилизации 6—8, 29, 35, 326
Стюард Д. 6—8
Су Бин-ци 120, 123, 124, 167, 168, 193
Сузы (ст.) 54
Суйжэнь (миф.) 58
Схул (ст.) 74
Сыва (к.) 49, 50, 178, 181, 210, 220, 223
Сычуань (пр.) 60, 95, 141
Сюй Бин-чжан 119—122
Ся (легенд.) 51, 262, 263, 302, 304
Ся Най 62, 93, 119, 122, 123, 205, 226
Сямэнцунь (ст.) 159, 168, 169
Сяньлидунь (ст.) 246
Сяонаньхай (ст.) 61, 139
Сяотунь (ст.) 51, 119, 203, 291, 324

Табун (ст.) 74
Таиланд 20, 67, 69, 143, 150, 242
Тайвань 20, 118, 142, 257
Тальгрен А. 293
Тамга 299
Тан Юнь-мин 252
Танг, танговый топор 269—272
Танганьика 72
«Тан-ши» (гл. из Шуцзин) 262
Тао-те 185, 287, 290, 292, 295, 306—310, 312, 317, 318, 320, 321
Таохэ (р.) 153, 171, 172, 179—181, 183, 185
Тарим (р.) 42
Таса (ст.) 10
Тасманийцы 32
Тейяр де Шарден П. 48, 86
Тепе-Гавр (ст.) 188
Тепе-Гийян (ст.) 187
Теплоухов С. А. 69, 292, 313
Тибет 83, 96, 116, 141, 215
Тигр (р.) 9, 25, 146
Тойнби А. 4—8, 10—12, 28
Токунага С. 49
Толстов С. П. 18
Тотем 108, 167, 170, 184, 185
Тохары (этн.) 300—303
Триполье (ст. к.) 54, 125, 134—136, 144, 155, 170, 194, 198
Троя (ст.) 54, 187, 188
Трэйстмэн Ю. 66
Тунчжай (ст.) 303
Туркестан (см. также: Восточный Туркестан) 41, 42, 54, 117, 130, 213—215, 240
Туркмения 28
Тэйлор Э. 6, 13
Тэнсянь (у.) 252
«Тянь-ди» (гл. из «Чжуан-цзы») 46
Тянься 38

У Жу-кан 60, 85, 88, 95, 96
У Жу-цзо 165
У Ли 165, 166
У Синь-чжи 98
У Цзинь-дин 50
Уайт Г. 298
Убайд (ст.) 10, 194
Угуаньцунь (мог.) 282
Украина 134
Улвинг Т. 301, 302
Уленбрук Я. 301, 302
Уотсон У. 66, 286—289
Ур (мог.) 262, 283

Фан Ю-шэн 227, 308
Фаюм (ст.) 10
Фергана 135
Финикийский алфавит 39, 40
Фонтенешвад (ст.) 74
Форбс Р. 19
Франке О. 54
Фрэнкфорт Г. 35, 104, 290
Фу Сы-нянь 50
Фуси (миф.) 38, 45, 58, 302
Фэйрбэнк В. 266
Фейрсервис У. 20, 28, 66, 170, 189, 213
Фэнбитоу (ст.) 257
Фэньхэ (р.) 153

Халдеи (этн.) 40, 297
Хам (библ.) 39
Хан-ту 280, 281, 305—309, 312, 316, 320
Хань (дин.) 269
Ханьдань (ст.) 252
Хараппа (к.) 11, 187
Харбин 49
Хасимото М. 297
Хассуна (ст.) 128, 129, 190, 191
Хаяси Минао 276
Хеберер Г. 74
Хетты (этн.) 24, 26, 263, 275, 302, 303
Хиатус 104, 140
Хоабинь (к.) 142
Хорасан 41
Хоуган (ст.) 62, 119, 152, 164, 203, 204, 226, 229, 282
Хоукс Д. 74
Хоуцзячжуан (ст.) 261, 296
Хромосомы 73
Ху (урна) 177
Ху Ши 44
Хуадин (ст.) 243—248, 254
Хуай, Хуайхэ (р.) 157, 206, 219, 241, 254
Хуан (Хуан-тянь) 45
Хуанди (легенд.) 37, 41, 45—47, 58, 148

Хуаннянняньтай (ст.) 222
Хуанхэ 50, 59, 61, 63, 68, 94, 113—125, 136, 140, 143, 154, 160, 164—171, 179—183, 185, 202, 203, 206, 210—219, 224, 225, 228, 231—243, 249, 254—263, 266, 278, 283, 304, 312—316, 319—326
Хуасянь (мог.) 163, 183
Хуасянь (у.) 159
Хуачэн (ст.) 231
Хубэй (пр.) 60, 185, 236, 255
Хуншаньхоу (ст.) 50, 51
Хутон Э. 97, 99
Хуэйцзуй (ст.) 230, 231, 304
Хэбэй (пр.) 60, 229, 252, 260
Хэнце К. 29, 190, 191, 199, 296
Хэнчжэнь (Хэнчжэньцунь, ст.) 226, 232
Хэнань (пр.) 49, 60, 61, 63, 139, 153, 173, 203—205, 225, 226, 229—231, 234—236, 238, 239, 252, 254, 255, 260, 304, 311, 315
Хэтаоский человек, см. также: Ордосский человек 48

Центральная Азия 24, 26, 47, 51, 54, 55, 101, 133, 137, 138, 140, 218, 273, 274
Цзе (легенд.) 262
Цзинчжичжэнь (ст.) 252, 253
Цзиншуй (р.) 171
Цзунь (кувшин) 177
Цзыянский человек 60, 95, 96
Цзэн (паровик) 305, 311
Цзэн Ци 169
Цзя (тринод) 228, 233, 305, 311
Цзя Лань-по 48, 60, 85, 93
Цзян Цзань-чу 246
Цзянсу (пр.) 185, 241, 242, 254—256
Цзяньгоуцунь (ст.) 252
Ци (легенд.) 263
Цилиньшаньский чел. 96
Цилипу (ст.) 305, 306, 308, 317, 318
Цинляньган (ст. и к.) 62, 157, 164, 185, 241—248, 250—255
Цинхай (пр.) 50
Циньлин 153
Цинлунцюань (ст.) 236
Ицзя (к.) 50, 57, 119, 121, 122, 124, 136, 154, 171, 181, 202, 205, 206, 219—224, 233—235, 240, 241, 247, 248, 250, 254, 255, 267
Цицзяпин (ст.) 220
Цю Чжун-лан 93
Цюаньхуцунь (ст.) 226
Цюй (чекан) 271, 272
Цюйво (у.) 250, 253
Цюйцзялин (ст. и к.) 62, 123, 185, 206, 235—241, 246, 255, 311
Цяньшаньян (ст.) 242

Чад (озеро) 73
Чайлд Г. 3, 8, 9, 23, 24, 26, 30, 259, 270, 314
Чанъян (ст.) 86, 87
Чанъянский чел. 60, 87
Чард Ч. 141
Чатал-Гуюк (ст.) 106, 108
Чебоксаров Н. Н. 69, 140
Чжан Гуан-чжи 7, 65, 66, 101, 113—118, 121—124, 140, 145, 148, 154, 156, 168, 206—208, 235, 264, 308
Чжан Син-лан 57
Чжан Сюэ-чжэн 173, 177, 178, 181, 220, 223, 224
Чжан Чжун-пэй 168
Чжан Ши-цюань 165, 166
Чжаньго (пер.) 26
Чжао И-цин 98
Чжао Цин-фан 242, 243
Чжаои (ст.) 139
Чжоу (дин. и пер.) 118, 193, 207, 265, 271, 273, 278, 287, 296
Чжоу Вэй 271
Чжоу Синь 52, 281
Чжоукоудянь (ст.) 48, 49, 85—87, 90, 93, 97
Чжоусцы (этн.) 321
«Чжуань-цзы» (тр.) 46
Чжунго 38
Чжун-юань 153
Чжуцзячжай (мог.) 188
Чжэн Дэ-кунь 49, 62, 65, 66, 87, 121—123, 147, 154, 164, 168, 251, 267, 274—276, 288, 291—293, 324
Чжэнчжоу (ст.) 63, 260, 263, 270, 271, 280, 286, 287, 294, 299, 303—307, 310, 316, 318, 319
Чжэцзян (пр.) 242, 257
Челмерс Д. 40
Членова Н. Л. 270, 272, 294
Чопперы (чоппинги) 84, 89—92
Чумиза 117, 147—149, 208, 221, 223, 237, 238
Чуньцю (пер.) 236
Чустская к. 135
Чэн Тан (легенд.) 262, 263
Чэнцзыяй (ст.) 50, 51, 119, 203, 204, 206, 207, 256, 280
Чэнь Дэн-юань 47
Чэнь Ду-сю 44

Шаванн Э. 47
Шаготунь (ст.) 50, 51
Шан (пер.) (см. также: Шан-Инь, Инь) 321
Шан (г.), (см. также: Аньян, Сяотунь) 319
Шан (этн.) 276
Шанди 262, 290, 317, 318, 321
Шандиндун (ст.) 49, 98, 100

Шан-Инь, (см. также: Инь) 51, 258, 260, 264, 272, 303, 323, 325
Шанцзе (ст.) 304, 305, 308
Шаньдиндун (ст.), см. также: Шаньдиндунский чел. 49, 98
Шаньдиндунский чел. 49, 95, 97—100
Шаньдун (пр.) 50, 205, 241, 248—257, 260
Шаньси (пр.) 50, 60, 92, 93, 139, 153, 173, 226, 229
Шараоссогол (ст.) 92, 136
Шацзин (к.) 49, 50, 154, 178
Шаюань 61, 114, 139
Шелль (к.) 89
Ши Синбан 166, 167
Ши Тао 220
Ши Чжан-жу 281, 283, 284
Шицзи 51, 263, 319
Шлегель Г. 40, 300
Шмидт А. В. 16
Шмидт Г. 194
Шнуровая кер. 114, 115, 117—119, 123, 124, 141, 152, 161, 174, 176, 207, 304, 311
Штампованный орн. 63, 242, 305, 306, 308, 312, 313, 316
Шуйдунгоу (ст.) 48, 92
Шумер 12, 23, 27, 290
Шумеры (этн.) 12, 42, 299, 303
Шунь (легенд.) 38, 44, 195
Шуцзин 53, 195, 196, 262, 263, 319
Шэньнун (миф.) 37, 45, 58
Шэньси (пр.) 41, 50, 60, 61, 84, 93, 118, 139, 153, 171, 173, 183, 205, 226, 229, 234—236, 239, 241, 254, 260
Шэфер Г. 187

Эберхард В. 3, 55, 66, 147, 279
Эдкинс Д. 40
Эйнан (ст.) 106
Эйчисон Л. 25
Элам 23
Эллада, см. также: Греция 275, 294
Энгельс Ф. 103, 259
Эпикантус 101
Эпипалеолит 137, 138, 140
Эрингсдорф (ст.) 74
Эрлиган (ст.) 63, 230, 304—308, 311, 317—319
Эрлитоу (ст.) 63, 263, 270, 299, 303—308, 311, 318, 319
Эрцзяньцунь (ст.) 242, 243
Эскимосы, эскимоиды 97—99, 144

Юго-Восточная Азия 20—23, 32, 55, 69, 101, 116, 133, 141—144, 146, 149, 151, 186
Южная Азия 84, 133, 146
Южная Сибирь 145, 211, 214, 278, 296, 312, 314, 317
Юй (легенд.) 38, 44
Юй (сосуд) 177
Юньнань (пр.) 60, 83, 141
Юэчжи 301

Якимов В. П. 81
Ян Цзи-чан 165
Ян Цзы-фань 250—252, 254, 255
Ян Цзянь-фан 166, 167, 169, 174, 178, 226
Янцзы 142, 157, 185, 206, 213, 219, 236—241, 243, 323
Яншао (к.) 37, 49—51, 54—58, 61, 62, 66, 69, 116, 118, 119, 120, 123, 124, 140—145, 147, 148, 151—209, 211, 212, 215—229, 232—245, 249—251, 254—264, 280, 285, 288, 289, 302, 322, 323
Яншаоцунь (ст.) 49, 62, 152, 153, 158, 164, 188, 204, 205, 226, 227, 231
Янь Вэнь-мин 168, 169
Янь Инь 98
Янь Фу 44
Яньши (у.) 63, 231, 304, 306
Яо (легенд.) 38, 44, 195
«Яо дянь» (гл. из Шуцзин) 195
Япония 20, 94, 115, 118, 142
Яхонтов С. Е. 150

Условные сокращения

библ. библейский
г. город
гл. глава
дин. династия
к. культура (археологическая)
кер. керамика
легенд. легендарный
мез. мезолит
мог. могильник
о. остров
орн. орнамент
пал. пер. палеолитический период
пр. провинция
р. река
ст. стоянка (археологическая)
тр. трактат
у. уезд.
чел. человек
этн. этноним

SUMMARY

The process of the emergence of Chinese civilization was a protracted, complex and contradictory one. Initially, the territory of Eastern Asia was inhabited for hundreds of millennia by the ancestors of the modern Homo sapiens, whose last representatives, developing in close contact with the neoanthropes of the more westerly regions, contributed substantially to the shaping of the sapient Mongoloids. Those Mongoloids then spread all over Eastern Asia and, still under sporadic influences on the part of more westerly regions, especially in the marginal contact zones, contributed to the emergence of a number of Mesolithic and Microlithic cultures which were the immediate forerunners of the Neolithic culture in China and the neighbouring parts of the oecumena. The Microlithic Mesolith of the sapient Mongoloids (together with non-Microlithic, southern Mesolith which is close to the South-East-Asian type) provided the basis for an agricultural Neolith.

It did not arise in China at once, having been preceded by transitional (subneolithic) cultural types belonging to the sapient Mongoloids—gatherers, fishermen and hunters who (in about the 5th millennium B. C.) were familiar with come Neolithic achievements but not with agriculture. Admittedly, traces of such cultures on Chinese territory are few and far between. Yet they do exist, testifying to gradual penetration to Eastern Asia of information about the major breakthroughs of the Neolithic revolution which was already wide-spread in Western Asia in the 7th-6th millennia B. C. It was not until the 4th millennium B. C., however, that Neolithic agriculture emerged in the western part of the Hoang Ho basin (Yangshao culture).

The Yangshao Neolithic culture with its highly developed technique of land cultivation, domestic livestock tending, sedentary mode of life, polished stone tools and magnificent pottery was a fundamentally new phenomenon in Eastern Asia. Before Yangshao, that region of the oecumena could only boast very crude pottery (mat-marked vessels) and the primitive dwellings of the gatherers and fishermen. The Yangshao Neolithic culture with regular production of grain laid a solid foundation for the Chinese civilization.

The enigma of the origins of Yangshao, which forms the subject of at least two chapters in the present work, can hardly be considered resolved. However, an analysis of that culture and its emergence, and a careful study of all possible parallels and analogies between Yangshao and other decorated pottery Neolithic cultures in Eurasia, give solid grounds for believing that Yangshao was the result of a complex intertwining of various cultural streams. The local Mesolith-based culture of the sapient Mongoloids had come in contact (presumably in the Tibet-Hymalayan highlands) with the information on the breakthroughs of the Neolithic revolution in Western Asia, assimilation of that extensive information being accelerated both by inter-racial breeding and probably also the impact of the South-East Asian cultural tradition already familiar with some principles of non-cereal farming.

The intermingling of cultural streams, which represented a kind of Neolithic mini-revolution, speeded the assimilation by the Mongoloids of the cereal-growing Neolithic culture and other achievements of the Neolithic revolution. As a consequence, advanced decorated pottery Neolithic culture of the Yangshao type became widespread in the Hoang Ho basin and subsequently in the south between the Hoang Ho and Yangtze rivers.

The Yangshao horizon of the farming Neolith was replaced at the turn of the 3rd and 2nd millennia B. C. by the Lungshan-Lungshanoid cultures. Many of the artifacts of that new horizon of black-and-gray pottery were inherited from Yangshao. However, many novelties, including some of fundamental significance (new kinds of domestic livestock, new types and shapes in pottery, the potter's wheel, etc.) were clearly outside borrowings. This is to say that the Lungshan-Lungshanoid horizon, which became so prevalent all over China, owed its existence, along with the Yangshao Neolithic culture, to ethnic migrations (including by pastoralists) and cultural diffusion. Due to external influences, the Chinese agricultural Neolithic cultures of the early 2nd millennium B. C. were already familiar with all the major achievements of the Neolithic culture of that epoch. The basin of the Hoang Ho river afforded favourable conditions for the emergence of civilization proper—an original urban-type cultural centre with marked social inequalities, the rudiments of state, highly evolved administrative and political institutions, a written language, etc.

The advanced Shang-Yin bronze culture, which arose in the Hoang Ho basin, is an example of such a hotbed of civilization. The Yin civilization, before it reached its advanced stage represented by the Anyang site, was preceded by an earlier (Chengchow) type. However, neither the Chengchow culture, with its sophisticated bronze-casting industry, and still less the Anyang civilization with its traits of advanced urbanization, were solely

the result of spontaneous development of the autochtonous Hoang Ho Neolithic cultures. That can hardly be gainsaid, in light of the present scholarly knowledge. The question is how crucial and decisive a role did foreign influences play in the genesis of the Yin civilization. If one proceeds on the assumption that these influences were confined to secondary elements which enriched a civilization which was already evolving in the same direction and at the same rate (as by introducing horse-drawn chariots), one might conclude (as does, for example, Chêng Tê-k'un [312, 318]) that the Yin civilization arose without appreciable outside cultural influence, largely due to the inherent potential of the Chinese Neolithic culture. A closer inspection of the Yin artifacts would reveal, however, that the main achievements which made the Yin culture an urban-type civilization owe their origin to information drawn from outside, which lies at the basis of all human cultural development.

An analysis of the archeological excavations of the Stone Age and early (Yin) bronze cultures in China, largely in the Hoang Ho basin, which was the cradle of Chinese civilization, reveals that if one considers the similarities and differences between the major cultural complexes and asks oneself about their possible origins, connections and analogies, the conclusion suggests itself that all these cultures, and their bearers, emerged as a result of a complex synthesis. Both local, autochtonous elements and the aliens, including migrants contributed to the cross-pollination of cultures. Migrants, and outside stimuli in general, played the role of an information stream which could dramatically accelerate the slow rate of spontaneous evolution. Otherwise, isolation from other cultures of the same level (and particularly those of a higher level and greater dynamism) could entail arriving single-handed at discoveries long made by mankind in the course of its law-governed evolution on an oecumenical scale.

By assimilating the information which played a crucial role as catalyst, the bearers of Proto-Chinese cultures of the Stone Age and the ancient Chinese Yin bronze culture were, in a historically brief space of time, catching up on the more advanced contemporary westerly cultures. Not only were they catching up, but they found themselves among the advanced cultures because the process of borrowing and assimilation of information owed less to chance than to a certain regular pattern. Small wonder, then, that each successive stage of the evolution of the Proto-Chinese (archanthropes and neoanthropes, agricultural Mongoloids of the Yangshao cereal-growing Neolith, the Lungshan-Lungshanoid Neolithic horizon and the Yin bronze culture) reveals the same features and represents a synthesis of local and introduced components. The fruitfulness of this synthesis was enhanced, among other factors, by the favourable ecological

conditions which contributed to the emergence in the Hoang Ho basin, first of a hotbed of cereal-growing Neolithic culture and subsequently of an advanced urban-type civilization.

The inference should not be made, of course, that Chinese civilization was introduced from outside. One should not forget that the hypothetical cultural complex (or a sumtotal of components) which combined with local cultures to determine the features and artifacts of the Proto-Chinese at each successive evolutionary stage realized its potential in China, and not in another place. In other words, certain conditions were required for potentialities to be realized and for information to be creatively assimilated and digested. These conditions were offered, not only by the ecology of the Hoang Ho basin but by the spontaneous evolution of local cultures which proved ready at required moments to take in and use the information needed for accelerated development.

An important thing to bear in mind is that this pattern was particularly evident over the long period of the evolution of the Chinese civilization, which is the subject of the present work. Within the initial hotbed of the Shang-Yin civilization, a new type of society was naturally taking shape which moved towards the state. State and society in ancient China bear a strong resemblance in form and essence, structure and main functions to what K. Marx described as the Asiatic mode of production. Leaving aside the question of the socio-economic and socio-political nature of that society (a mooted question which merits at least a special monograph) it is important to stress that once it appeared, the society continued to develop according to its own internal laws. Needless to say, subsequent Chinese development drew to a certain (sometimes not inconsiderable) extent on contacts with other countries and their experience. However, the role of these contacts was gradually diminishing against the background of the increasing internal potential of the Chinese civilization and its growing nucleus. The presence of such a massive nucleus as represented by Confucianism (not only as an ideology but as a way of life, a social and family code and a system of political administration [55]) enabled China to preserve conservative stability and readily "digest" introduced novelties adapting them to its specific and well-settled ways.

For centuries and millennia, the massive nucleus of the Chinese civilization accumulated additional potential and became increasingly distinctive and stable. Neither internal upheavals (which more than once rocked the land to its foundations) nor external forces (including devastating foreign invasions) could destroty its conservative stability which invariably led to a regeneration of the old way of life and principles. All this enabled China to be relatively less dependent on foreign influences and thus come to symbolize a kind of immutability and almost eter-

nity for the Chinese (and not only Chinese, for that matter). Hence the stereotype: "What is Chinese is Chinese and has always been Chinese".

It is difficult to argue against a stereotype. Needless to say, Chinese history is long and rooted deep in antiquity. Over the centuries China repeatedly demonstrated its extraordinary stability and loyalty to tradition. Chinese antiquity does indeed offer much that is unique and distinctive, characteristic of China and only China and thus seemingly testifying against any attempts to call into question the one hundred per cent autochtonous nature of the ancient Chinese civilization. And yet it is no more than a centuries-old ingrained stereotype which has become sealed in the historical tradition. A comparative study of factual material shows convincingly that the genesis of the Chinese civilization was different than would appear from acquaintance with Chinese historical scholarship alone.

This factual material reveals that the ancient Chinese civilization, like any other civilization, was formed as the result of constant conflicts, interaction and borrowing, exchange of information and realization of that part of it which was acceptable and useful in the ecological conditions of the Hoang Ho basin. This information, selected to suit Chinese conditions, combined with the ancient Proto-Chinese local cultural traditions, contributed to the emergence of the nucleus of the Chinese civilization, with its distinct potential and style, and its religious, ethical, socio-political and other values and attitudes which took shape and became ingrained in the minds of generations. It was not until after it had assumed its distinctive shape that the Chinese civilization, with its socio-economic system, political administration, cultural traditions and inherent structure became a stable and self-adjusting system in which the significance of internal evolutionary laws was markedly higher than that of external contacts and cultural borrowings.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая. Некоторые общие проблемы генезиса цивилизации . . 3
Проблемы генезиса первичных цивилизаций 4
Миграции, культурная диффузия, конвергенция 13
Феномен фундаментального открытия 18
Механизм диффузии 28
Глава вторая. Историография генезиса китайской цивилизации . . 37
Западная синология о происхождении китайской цивилизации (XVII — начало XX в.) 39
Становление современной китайской синологии 44
Начало археологического изучения Китая 47
Новый этап изучения проблем генезиса китайцев и их цивилизации 53
Второй тур археологических открытий в Китае (50-е — начало 60-х годов) 59
Изучение проблем генезиса китайской цивилизации на современном этапе 63
Глава третья. Роль мутаций и метисации в возникновении антропологического и расового типа протокитайцев (палеолит и мезолит в Китае) 71
Проблемы антропо- и расогенеза 72
Архантропы и палеоантропы в Китае 83
Монголоидные неоантропы в Китае 94
Глава четвертая. Проблема генезиса земледельческого неолита в Китае 103
Проблемы неолитической революции 104
Проблема неолитической революции в Китае 112
Проблема дояншаоского неолита 117
Культуры земледельческого неолита к западу от Хуанхэ . . 125
Субнеолитические культуры восточноазиатского региона . . 136
Гипотетическая реконструкция процесса генезиса земледельческого неолита в Китае 146
Глава пятая. Земледельческий неолит расписной керамики (Яншао) . 152
Земледельческий неолит Яншао 153
Варианты Яншао в центральной зоне 164
Варианты Яншао в ганьсуйской зоне 170
Связи и взаимоотношения вариантов Яншао 178
Яншао и другие культуры неолита расписной керамики . . 186
Семантика и символика орнамента 192
Глава шестая. Неолит черно-серой керамики (Луншань и луншаноидные культуры) 203
Послеяншаоский неолит черно-серой керамики 207
Гипотетическая реконструкция процесса генезиса нового неолитического комплекса и его взаимодействие с Яншао . . . 212
Яншао и Цицзя 219
Яншао-луншаньская переходная культура в шэньси-хэнаньской зоне 225
Развитые варианты Луншань в шэньси-хэнаньской зоне . . 229

Цюйцзялин и Луншань 235
Цинляньган и луншаноидные культуры Восточного Китая . . 241
Взаимодействие луншаньских и луншаноидных культур в Шаньдуне 248
Глава седьмая. Возникновение иньской цивилизации 259
Общие сведения о бронзовой культуре Шан—Инь 260
Проблема генезиса китайской бронзы 265
Иньские боевые колесницы 275
Принципы и практика строительства в Инь 279
Искусство в Инь. «Звериный стиль» 285
Письменность и календарь иньцев 297
Этапы и варианты культуры Инь 303
Гипотетическая реконструкция процесса генезиса иньской цивилизации 311
Заключение 322
Библиография 328
Список сокращений 353
Указатель 354
Summary 362

Леонид Сергеевич Васильев

ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА
КИТАЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Формирование основ
материальной культуры и этноса

Утверждено к печати
Институтом востоковедения
Академии наук СССР

Редактор *В. Н. Кюзаджян.* Младший редактор *Н. В. Бушуева.* Художник *М. М. Мержеевский.* Художественный редактор *Э. Л. Эрман.* Технический редактор *Л. Е. Синенко.* Корректоры *М. К. Киселева* и *Е. И. Сорокина*

Сдано в набор 14/X 1975 г. Подписано к печати 16/III 1976 г. А-08052. Формат 60×90¹/₁₆ Бум. № 2. Печ. л. 23,0. Уч.-изд. л. 26,55. Тираж 2400 экз. Изд. № 3127. Зак. № 792 Цена 2 р. 77 к.

Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»
Москва, Центр, Армянский пер., 2
3-я типография издательства «Наука». Москва Б-143, Открытое шоссе, 28